Фёдор Головкин

ДВОР И ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I

Портреты
Воспоминания

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Граф Ф. Г. Головкин происходил из знатного рода Головкиных, возвышение которого было связано с Петром I. Благодаря знатному происхождению граф Федор оказался вблизи российского трона, при дворе европейских монархов.

На страницах воспоминаний Головкина, написанных на основе дневниковых записей, встает панорама Европы и России рубежа XVII–XIX веков, персонифицированная знаковыми фигурами того времени.

Настоящая публикация отличается от первых изданий, поскольку к основному тексту приобщены те фрагменты мемуаров, которые не вошли в предыдущие. Таким образом, данное издание представляет собой наиболее полный свод воспоминаний Ф. Г. Головкина.

- Фёдор Гавриилович Головкин
  - «…Пишу эти строки во цвете лет…»
  - Предисловие
  - Часть I
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
    - Глава VI
  - Часть II
    - Великий Князь Павел
    - 1796-й год[176]
    - 1797-й год
    - 1798-й год
    - 1799-й год
    - Отрывки относящиеся к царствованию Павла I и сообщенные графом Федором г-ну Шатлену
  - Часть III
    - I. Фридрих Великий и Российский Двор
    - II. Княгиня Дашкова и Двор Фридриха II
    - III. Алексей Орлов[220]
    - IV. Роджерсон
    - V. Граф Николай Салтыков[222]
    - VI. Разумовские[227]
    - VII. Характеристика русского дворянина конца восемнадцатого века

- VIII. Кобенцль[231]
- IX. Князь де Линь[233]
- X. Прекрасная фанариотка (г-жа де Витт)[237]
- XI. Граф Шуазель-Гуффье
- XII. Любомирский[240]
- XIII. В Берлине (1794 г.)
- XIV. В Вене (1794 г.)
- XV. Д'Аварэ
- XVI. Королева Каролина[249]
- XVII. Фердинанд I
- XVIII. Гамильтон
- XIX. В Пернове
- XX. Императрица Елисавета Алексеевна[261]
- XXI. Нессельроде
- XXII Барон д'Анштетт[272]
- XXIII. Фридрих-Вильгельм III (король прусский)
- XXIV. Королева Луиза Прусская (1804 г.)
- XXV. Меттерних
- XXVI. Императрица Мария-Луиза
- XXVII. Нарбонн
- XXVIII. Русская колония во Флоренции (1816–1817 гг.)
  - I. Предисловие
  - II. Письма графа Федора, писанные им из Италии своей двоюродной сестре г-же Местраль д'Аррюфон
  - III. Флоренция (1816–1817)
- XXIX. Две характеристики (Екатерина II, Павел I)
- XXX. А. В. Суворов
- XXXI. Шевалье Д'Азара
- XXXII. Граф Ангальт[333]
- XXXIII. Принц Нассау-Зиген[335]
- Анекдоты

Часть IV

- I. Госпожа де-Сталь
- II. Граф Иосиф де Мэстр
- III. Шевалье де-Буффлер[371]
- IV. Г-жа де Суза[374]
- V. Буаси д'Англо
- VI. Граф Каподистрия
- VII. Граф де Коаньи[386]

- notes
  - 1
  - 2

- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90

- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134

- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178

- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222

- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266

- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310

- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354

- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391

Фёдор Гавриилович Головкин
Двор и царствование Павла I
Портреты, воспоминания

«…Пишу эти строки во цвете лет…»

Однажды, французский писатель Люсьен Перей, путешествуя, оказался в вагоне с неким пассажиром. Как водится, разговорились. И, к нечаянной радости Перея — автора, пишущего на исторические темы, его собеседником оказался родственник лица, который видел рукопись воспоминаний графа Федора Гавриловича Головкина. Похоже, что Перей уже слышал эту фамилию, и вспыхнувший интерес мемуарам объяснялся не просто счастливой случайностью. Но откуда же французский писатель швейцарского происхождения мог что-либо знать о русском графе Головкине?

Пока единственным предположением является версия о возможном знакомстве писателя с публикациями каких-либо фрагментов воспоминаний Головкина. Дело в том, что в 1861 г. — а этот год, вероятно, следует считать датой первого знакомства читателей с мемуарами Головкина, — в журнале «Revue Suisse» («Швейцарское обозрение»)[1] некто Вильям Раймонд опубликовал биографический очерк о Федоре Головкине. Принадлежал очерк перу одному из близких графу людей — Н. Шателену. Там же были помещены отрывки воспоминаний Головкина о царствовании императора Павла I и переписка с друзьями. Заметим, что европейская публика первой ознакомилась с мемуарами нашего соотечественника. Имело значение то обстоятельство, что большую часть своей жизни Головкин провел в Европе, да и воспоминания написаны по-французски, ибо их автор русского языка не знал.

Л. Перей высоко оценил значение мемуаров Головкина: «Чтение мемуаров превзошло наши ожидания и заключающиеся в них любопытные, часто в высшей степени новые подробности о лицах и событиях представились нам могущими дополнить и осветить некоторые неопределенные или темные стороны истории XVIII столетия».

Приведенные строки были процитированы нашим замечательным историком Н. К. Шильдером. Он сопроводил ими публикуемые на русском языке выдержки из отрывков, изданных Переем. Часть из них он приводит в собственном изложении. Необходимо, однако, обратить внимание еще на одну фразу из публикации Шильдера. Из нее следует, что фрагменты из воспоминаний Головкина публиковались еще в каком-то периодическом издании. Как пишет Шильдер: «Воспоминания графа Федора Гавриловича Головкина, правнука известного канцлера, появившаяся в двух мало известных в России

французских журналах, прошли как-то не замеченными нашей исторической литературой». «К сожалению, — продолжает Шильдер, — из этих воспоминаний… опубликованы, до настоящего времени только небольшие отрывки и, притом, носящие несколько анекдотический характер». В сферу внимания историка они попали в период работы над книгой о Павле I. Он оценил их значение и представил русскому читателю в 1896 г. в журнале «Русская старина». Даже по этим отрывкам, считал Шильдер, «написанным живым языком, обличающим в их авторе тонкий наблюдательный ум, можно судить о том несомненном интересе и крупном значении для русской исторической науки, которые эти воспоминания представляют в их целом»[2]. Таким образом, русский читатель ознакомился с отрывками воспоминаний Головкина впервые в конце XIX столетия, и обязан он этим Н. К. Шильдеру.

Однако Шильдер не был единственным русским историком, узнавшим о существовании воспоминаний Головкина. Примерно в то же время с ними ознакомился известный знаток русской генеалогии А. Б. Лобанов-Ростовский. Во втором издании своей «Русской родословной книги» в 1895 г. он сообщает, что граф Федор Гаврилович Головкин оставил записки, доселе неизданные, но коими можно пользоваться с крайнею только осторожностью»[3]. Скорее всего Лобанов-Ростовский судил о мемуарах также по опубликованным отрывкам, о которых говорил Шильдер, но они ему «не показались». Быть может, имея перед собой весь текст, он оценил бы их иначе.

Шильдер свою публикацию выдержек из отрывков, опубликованные Переем, завершает следующими словами: «В интересах любителей нашей страны, будем надеяться, что записки эти не замедлят явиться на свет уже не в выдержках, а полностью». Призыв Шильдера был «услышан», но не в России, а во Франции.

В 1905 г. в Париже появляются изданные на языке оригинала воспоминания графа Ф. Г. Головкина. Они были тут же замечены в России: в том же 1905 г. в «Русском архиве» (вып. 5) в рубрике «Книжные заграничные вести» сообщалось о выходе в свет воспоминаний Головкина в публикации С. Боннэ. Публикатор был единственным человеком, который читал все сохранившиеся записи Ф. Головкина и оценил их значение, сочтя необходимым издать их как можно полно. Боннэ попытался собрать все то, что было наиболее интересным в архиве графа, в том числе и его корреспонденции, хотя они объединены под общим названием, давшем заглавие всей публикации «Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания и анекдоты». Очевидно, легшие в основу

воспоминаний дневниковые записи Головкина, были консолидированы в специальный очерк, им самим же и озаглавленный, и Боннэ сохранил это при публикации массива бумаг Головкина. Все находившееся тематически и в жанровом отношении вне записей о павловском царствовании, как то: отдельные зарисовки, литературные портреты, корреспонденты Головкина, выделено в самостоятельные разделы.

Но значение проделанного Боннэ заключается не только в разделе публикации архива графа Федора. Собирая по крупицам сведения о нем, он реконструировал его биографию, представив нам этого удивительного человека во всем объеме его обаяния и недостатков.

С. Боннэ сопроводил публикацию записок пространным, на первый взгляд, громоздким предисловием, тем не менее, подкупающим своей тщательностью, знанием русской историографии и истории. Главное же, желая приблизить читателя к описываемым Головкиным историческим реалиям, Боннэ в большинстве случаев комментирует их, в чем, безусловно, заключается достоинство его издания. Поле его поисков было расширено и в направлении изучения архивных источников для подтверждения, либо — напротив, той или иной версии Головкина.

Каким же образом С. Боннэ получил доступ к архиву графа Головкина? Во время своего путешествия по достопримечательным местам Швейцарии, Боннэ посетил замок Монна, расположенный в окрестностях Лозанны. Как пишет Боннэ, любезный владелец — г. де-Ф. — так Боннэ называет хозяина замка, ознакомил его со своей коллекцией, обратив внимание на галерею портретов предков. В их числе находились портреты представителей знатного рода графов Головкиных. Так началось знакомство Боннэ с архивом Головкина, который более полутора веков хранился в замке. В Монна, кроме воспоминаний Ф. Головкина находилась небольшая часть архива рода Головкиных. Связано это было в значительной степени с тем, что один из видных представителей рода — вице-канцлер Михаил Гаврилович Головкин был обвинен в дворцовом заговоре против взошедшей на престол Елисаветы Петровны. Он был выслан, а все имущество было конфисковано, включая семейные бумаги.

Но, как оказалось, изъятие бумаг коснулось и автора мемуаров. Об этом достаточно убежденно сообщает владелец бумаг графа в качестве завершающего примечания к блоку воспоминаний о Павле I и его времени: «На этом листе рукопись графа Федора внезапно прерывается. Нарочно ли это сделано, или же продолжение ее было уничтожено, когда ящик,

заключавший в себе бумаги графа Федора Головкина, был открыт и обыскан в Берне какими-то оставшимися неизвестными лицами — это вопрос». Далее сам Боннэ делает вывод о том, что не исключено, что опубликованные в 1861 г. Шателеном фрагменты, содержащие, по-видимому, сведения о последних днях пребывания Головкина при дворе Павла I, являлись недостающими страницами из его воспоминаний.

Необходимо также обратить внимание и на другое обстоятельство. Боннэ не раз цитирует то или иное место из воспоминаний Головкина, или же ссылается на них («в бумагах графа Федора»), что свидетельствует о том, что какая-то часть архива осталась за пределами его публикации.

Естественным было желание узнать что-либо о публикаторе воспоминаний Головкина, заслуживающего самых похвальных слов. Но, увы, все попытки оказались тщетными.

Французское издание мемуаров Ф. Г. Головкина обратило на себя внимание в России. В 1907 г. в журнале «Русская старина» (Т. 129. № 1–3; Т. 130. № 4) появляется в русском переводе значительная часть из опубликованного Боннэ и касающаяся текста очерка «Двор и царствование Павла I». Литературные портреты включены были лишь частью. Что же касается корреспонденций дружеского окружения Головкина, то они не вошли вовсе. Впрочем, создается впечатление, что публикация не была завершена. Имя публикатора русского перевода фрагмента воспоминаний было скрыто под псевдонимом — В. Т. Под ним подразумевалась сотрудничавшая в «Русской старине» Вера Васильевна Тимощук[4]. К сожалению, она по непонятной причине не указала на источник своей публикации — издание Боннэ, равно как и не воспользовалась его комментариями. Приведенные в кратком введении биографические сведения о графе Головкине также были заимствованы из обстоятельного предисловия Боннэ, оттуда же была процитирована оценка воспоминаний, данная Боннэ.

Однако независимо от этого, в начале XX столетия в российской периодике, исторических журналах время от времени появлялись отрывки из воспоминаний Головкина, не вошедшие в издание Боннэ. Так, в 1900 г. в «Историческом Вестнике» (т. 80. № 5) публикуются отрывки (без указания на публикатора), как сказано, «из неизданных записок графа Ф. Г. Головкина», посвященных А. В. Суворову. Отдельные, разрозненные сведения о фельдмаршале и его семье содержались в издании Боннэ. Однако в «Историческом Вестнике» они представлены в виде самостоятельного очерка. В 1914 г. «Русская Старина» (т. 157. № 3; т. 160. № 10, 11) печатает отрывки из воспоминаний

Головкина, также в виде отдельных очерков, известным российским историком Е. С. Шумигорским — автором биографических работ по истории Павла I. Извлеченные из воспоминаний Головкина литературные портреты представляют лиц, оставивших заметный след в истории XVIII в. И, в данном случае, Шумигорский, снабдивший примечаниями свои публикации, не указывает на их происхождение. Но при этом, Шумигорский присовокупляет: «Записки графа Ф. Г. Головкина, бывшего русским посланником в Неаполе в конце царствования Екатерины, далеко не все известны…». Между тем, по его мнению, они ярко характеризуют эпоху и самого автора. Однако вопрос о том, каков же источник происхождения отрывков из воспоминаний Головкина, которые не вошли в публикацию Боннэ, державшего в руках рукопись мемуаров, до сих пор остается без ответа.

Следует обратить внимание также на то, что публикация Шумигорского вышла в свет после того, как в 1912 г. московское издательство «Сфинкс» в серии «Историческая библиотека» издало русский перевод воспоминаний Головкина, осуществленного в 1905 г. в Париже С. Боннэ. Он абсолютно идентичен французскому изданию, переводчик А. Кукель сохранил как предисловие Боннэ, так и все его примечания. Он лишь не воспользовался алфавитным указателем Боннэ, а, также, в силу непонятных причин — возможно каких-то технических оплошностей — не поместил двух генеалогических таблиц (№ IV–V), хотя ссылка на них содержится в тексте. Между тем, одна из них является самой главной, поскольку посвящена роду Головкиных, и ее отсутствие сильно затрудняет чтение текста. В настоящем издании таблицы восстановлены по французскому изданию.

В процессе подготовки публикации мемуаров Головкина, неожиданно выяснилось следующее обстоятельство. Ни в одном из энциклопедических изданий не нашлось места для Федора Гавриловича Головкина, в отличие от других представителей рода. Тем самым он как бы признавался фигурой малозначительной, не заслуживающей специального внимания. Сведения о нем отсутствуют даже в таком издании, как «Русский биографический словарь». При том, что на его воспоминания ссылались историки, литературоведы, тем самым воздавая должное ему как мемуаристу, лишь публикаторы его бумаг (Шильдер, Шумигорский, Боннэ) сообщали биографические сведения о нем. Именно с таких позиций он был отмечен в справочнике «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях». (Т. 1. М., 1976. С. 199).

Граф Федор Гаврилович Головкин принадлежал к роду, истоки которого восходили к концу XV в. В лето 1485 г. к великому князю Ивану Васильевичу, самодержцу всея Руси, выехали из Польши (Волыни) шляхтич Ян Кишукумович (Кучукомович) Головкин с сыновьями. Стал он боярином у Дмитриевского удельного князя Юрия Ивановича. Служили Головкины на государевой службе, клали свои головы за новое отечество; ходили в стольниках, постельничих, комнатных. За «многие службы» им жаловались вотчины, земельные угодья, деревни[5].

Возвышение Головкиных произошло в эпоху петровских преобразований и связано было непосредственно с самим Петром I, состоявшим с ними в родстве по материнской линии. «Простой дворянин московский» Головкин Иван Семенович становится окольничим, затем — боярином.

Сын его Гавриил Иванович был приближен к царю в юношеском возрасте (они были почти ровесниками) и оставался преданным ему человеком, ревностным сторонником его реформаций, пользуясь его неограниченным доверием, выполняя различные поручения на занимаемых постах — будь то поприще государственного деятеля, или — дипломатическое. Начав со стольника царевича Петра Алексеевича, затем постельничего, сопровождал царя Петра в его походах, работал с ним на верфях в Голландии. Ему приходилось решать самые деликатные и ложные дипломатические задачи — переговоры по выборам нового короля Польши, или же с Мазепой. В качестве сенатора участвовал в разработке внутриполитических реформ, в годы Северной войны много сделал для расширения антишведской коалиции и др. Именно Гавриил Иванович, после успешного завершения Северной войны, заключения Ништадтского мира 1721 г. от имени Сената обратился к Петру I с просьбой принять титул «Отца Отечества, Петра Великого Императора Всероссийского». И, как все то многое, что в петровскую эпоху было впервые, Головкин стал одним из первых российских графов, государственным канцлером (1709 г.).

Гавриил Иванович дал детям европейское образование. Его сын Александр с малых лет был отличен Петром I и отправлен в Берлин в Академию Наук, основанную королем Фридрихом I и считавшуюся одним из лучших учебных заведений. Женился Александр Гавриилович по протекции Петра на богатейшей графине Дона, происходившей из знатного прусского рода.

Александр Гавриилович справедливо относили к числу наиболее просвещенных русских людей своего времени, что сыграло роль при определении его на дипломатическую работу.

На протяжении всей своей почти полувековой служебной деятельности он представлял Россию в качестве посланника при прусском королевском доме в Берлине, французском — в Париже. На посту чрезвычайного и полномочного посла в Гааге его коснулась царская опала, постигшая его сестру Анну Гаврииловну, обвиненную в заговоре против императрицы Елисаветы Петровны (так называемое «политическое дело» Лопухиных). Более всего его положение ухудшилось после падения его покровителя канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Несмотря на приказ императрицы вернуться в Россию, Александр Гавриилович из опасения разделить участь брата Михаила Гаврииловича, сосланного в Сибирь, отказался подчиниться, остался в Гааге, где и скончался.

Судьба другого сына Гавриила Ивановича — Михаила сложилась более драматично. Пользовавшийся большим влиянием при правительнице Анне Леопольдовне, он был назначен кабинет-министром и вице-канцлером по внутренним делам. Однако после дворцового переворота 1741 г., приведшего на престол Елисавету Петровну, как доверенное лицо Анны Леопольдовны был обвинен в государственной измене и приговорен к казне, замененной ссылкой в Якутию, где и умер. Подробности ареста графа Михаила Гаврииловича, случившегося в день именин его жены Екатерины Ивановны, достойно разделившей его участь, описаны в специальной, тому посвященной книге[6]. Екатерина Ивановна имела возможность поступить иначе. Несмотря на то, что она приходилась двоюродной сестрой Анне Леопольдовне, императрица Елисавета Петровна зла на нее не держала и предлагала остаться при дворе, сохранив за ней звание статс-дамы. Екатерина Ивановна этим предложением пренебрегла, и последовала за мужем. Все имущество Головкиных, «до последней мелочи», было тщательно описано и конфисковано. Так начались потери фамильного архива Головкиных.

Из 25 детей Александра Гаврииловича, в большинстве своем умерших в младенчестве, в Россию вернулся Юрий Александрович, и, потому, не случайно, Александра Гаврииловича считают родоначальником заграничной ветви Головкиных. Это дало возможность злоязычному мемуаристу Ф. Ф. Вигелю высказаться следующим образом: «Кажется, все потомство бывшего при Петре Великом первого графа Головкина, Гавриилы Ивановича, поселилось за границей, не отказываясь, однако же, от русского подданства и, не знаю по какому праву, продолжая владеть имениями в России и пользуясь с них доходами»[7].

Юрий Александрович, у которого, по мнению Вигеля, не было ничего русского, кроме имени, явился ко двору Екатерины II. Был приближен. Императрица женила его на дочери своего любимого обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина. Наблюдавший Головкина достаточно близко, Вигель составил его портрет — человека с поверхностными познаниями, который оставался «настоящим дореволюционным французом, сохранив до глубокой старости всю их любезность, их самонадеянность и легкомыслие»[8]. Карьера Головкина развивалась успешно как по линии придворной (камергер, обер-церемониймейстер), так и государственной службы (сенатор, действительный тайный советник). К 1805 г. он возглавил посольскую миссию в Китай. Помимо дипломатических задач, ему, по пути продвижения через сибирские просторы, поручалось проверить дееспособность тамошней администрации. Как говорилось в высочайшем рескрипте сенатору графу Головкину: «В числе затруднений, кои издавна встречаемы были в лучшем образовании губерний, одно из главнейших состояло в недостатке там способных и надежных чиновников. Ябеда и корысть нижних исполнителей нередко ниспровергали там лучшие начинания начальства»[9]. Посольство закончилось неудачей, об этом много судачили и писали, и, конечно же, более всего Юрию Александровичу досталось от Вигеля, бывшего участником этого посольства и отозванного раньше других.

Юрий Александрович продолжал свою деятельность на дипломатическом поприще (которое можно считать фамильной чертой Головкиных) в качестве посланника в Вюртемберге, Вене. С его смертью род графов Головкиных пресекся. Дочь Юрия Александровича Наталия Юрьевна, в замужестве княгиня Салтыкова, являясь последней в роде Головкиных, получила высочайшее разрешение именоваться «княгиней Салтыковой-Головкиной» (1846 г.), а на владетелей учрежденного ими заповедного имения в мужском потомстве, а в случае пресечения оного женском, возлагалось обязанность присоединять к своей фамилии фамилию «Головкин» (1845 г.). Фамилия Головкиных через роды Салтыковых и Головкиных перешла к роду Хвощинских. Последним владельцем майората стал гвардии капитан Юрий Николаевич Хвощинский (1895 г.), прямой потомок княгини Наталии Юрьевны Салтыковой-Головкиной по старшей женской линии[10].

Заграничная ветвь Головкиных затерялась в многочисленных потомках европейской аристократии, и нам известно о них лишь относительно генераций, современных графу Федору. Волею судеб они практически выпали из сферы внимания

соотечественников. И, в данном случае, мы должны быть благодарны Боннэ, который, изучив различного рода европейские источники, воспоминания и сочинения, представил их нам на страницах своего предисловия.

Правнук канцлера Гавриила Ивановича граф Федор Гавриилович происходил из заграничной линии Головкиных, ведущей начало от его деда — Александра Гаврииловича. Отец его Гавриил или Габриэль-Мари-Эрнет русским был уже наполовину. Он начал свою служебную карьеру в рядах швейцарской гвардии французского короля под именем маркиза де Фе-Брассьер, в чине генерал-лейтенанта состоял на службе в Голландии, комендант одной из ее провинций. Мать графа Федора-Аполлония Эртенг происходила из знатного голландского рода баронов де-Маркетт. Родившийся у них в 1766 г. сын Федор не мог не быть космополитом.

Для получения образования юный отпрыск в 1778 г. был послан в Берлин, где он не только приобретал научные знания, но и обретал светский лоск и придворные навыки в салоне своей тетушки графини Камеке. Молодое поколение Головкиных сочло целесообразным попытать счастья в России, на родине их предков. Успех должен был быть гарантирован тем, что они являлись отпрысками рода, носящего историческое имя Головкиных.

В 1783 г. граф Федор молодым человеком вместе со своими братьями появляется в Санкт-Петербурге при дворе Екатерины II. Его красивое лицо, живой и ироничный ум обратили на себя внимание императрицы, сделавшей его камер-юнкером и приблизившей к себе. Жизнь его текла мирно, он лишь должен был быть приятен государыне, рассказывая всевозможные придворные «истории», или же, сидя подле кровати императрицы, погруженной в дремоту, читал ей вслух. Нередко, наблюдая из окна дворца за прогулкой Екатерины II, рисовал виды Царского Села.

С началом войны со Швецией жизнь царедворца изменилась, его назначают генерал-адъютантом при командующим войсками на территории Финляндии графе И. П. Салтыкове, однако вспоминая об этом времени, он явно гипертрофирует свою роль на этом посту.

В последние годы царствования Екатерины карьера графа Федора достигла своего апогея — он был приближен к фавориту императрицы П. А. Зубову, стал неизменным участником больших и малых приемов. Однако понадобилось немного времени для того, чтобы создать себе массу врагов. Его тщеславие, самонадеянность, острый ум и колкий язык, страсть критиковать

все и вся, скоро сделали его общество трудно переносимым. Он сам же и положил конец своему столь успешному пребыванию при российском дворе, позволяя себе вмешиваться в придворные интриги, спорные ситуации, путая сложившиеся позиции придворного мира, примыкая к той или иной партии, совершая бездушные и неосмотрительные поступки. И Екатерина II решила вежливым образом отделаться от него, отправив в 1794 г. российским посланником в Неаполь.

Но, приехав туда, он не нашел ничего лучшего, как напечатать сатирические стихи против королевы Каролины. Более того, позабыв о своем дипломатическом статусе, принял участие в редактировании крайне резкого памфлета, также направленного против королевы. В ответ на это последовало приказание удалить его из Неаполя. Его дипломатическая карьера продолжалась всего лишь год.

Едва проехав русскую границу, граф Федор был арестован по повелению Екатерины II и отправлен в изгнание в маленькую крепость в Лифляндии Пернов, где оставался до самой кончины императрицы.

Восшествие на престол Павла I позволило ему вернуться в столицу, ко двору. Он получил должность церемониймейстера, но при строжайшем запрете острить. Граф Федор взял жену из старинного русского рода Измайловых. Наталия Петровна была дочерью Петра Ивановича Измайлова и Екатерины Васильевны Салтыковой. Батюшка ее был приближенным к Петру III человеком, его роль в день дворцового переворота и воцарения Екатерины II — не совсем ясна, но ему пришлось пережить при ней опалу. Воцарившийся Павел, напротив, вызвал Измайлова к себе, назначил действительным тайным советником и сделал кавалером ордена Св. Александра Невского. Словом, всячески привечал его.

Как нам известно, Наталия Петровна написала два романа, вышедшие в Париже: «Альфонс де-Лодев» (1809) и «Елисавета С… история одной русской» (1802). Сам граф Федор весьма скептически оценивал литературный дар своей супруги, о чем он не раз говорил, или писал.

Федор Гавриилович оставался при дворе Павла недолго. Очевидно он не сдержался и нарушил наложенный на него запрет — был изгнан государем из столицы с обязательством жить в своих имениях. Его досуг был заполнен весьма полезными занятиями: обучал деревенских детей азбуке, составлял всемирную историю и … покрывал лаком свои экипажи.

После воцарения Александра I граф Федор отправился путешествовать по Европе, поселяясь поочередно в Париже,

Флоренции, Вене, Берлине, лишь изредка появляясь в Петербурге и однажды — в Москве. Он с приятностью проводит время среди легитимистской аристократии. Но его обманчивое самоощущение значимости собственной личности толкает его вновь и вновь на путь легковесных политических поступков. Он в качестве дипломата-любителя щедро раздает тут и там советы, не удосуживаясь подумать о последствиях — об этом мы узнаем из его записей и корреспонденций. Удивительно то, что в своих дневниковых записях он ни словом не обмолвился о таком периоде в истории России, как война 1812 г. При том, что наполеоновские войны, завершившиеся Венским конгрессом, попытки Наполеона вернуть власть и связанные с этим события присутствуют не только как фон, но и преломляются через судьбы его ближайшего окружения. Известно лишь, что он в то время находился в Париже и Лозанне.

Его вилла, расположенная на возвышенности, на берегу Сены, под Парижем, названная «Монталлегре» («Гора веселья») и обставленная со вкусом и с приличествующей русскому графу роскошью — хорошее место для досуга. Но он перемещается в Швейцарию под Лозанну, покидая ее лишь для своих поездок по Италии, где он задерживается во Флоренции. Его общество всегда приятно, его повсюду ждут.

Граф Федор был человеком пишущим. В молодости он сочинял стихи. Имел склонность к изложению своих мыслей в эпистолярной форме. Вот почему так интересны его мастерски написанные корреспонденции. В 1821 г. были отдельно изданы «Разные письма, собранные в Швейцарии, сопровождаемые примечаниями и разъяснениями». Тогда же, в Париже увидел свет и его роман «Княгиня д'Амальфи», представлявший собой подражание рыцарским романам. Его склонность к дидактизму проявилась в сочинении «Отношение воспитания к правительству» (Женева-Париж, 1818)[11]. Что же касается труда «Рассуждения по поводу нравственного состояния Франции» (Женева, 1815), то сам Головкин как бы отрицал свое авторство, считал, что оно приписано ему, т. к. его фамилия не указана на этом сочинении. Очевидно, имело значение то обстоятельство, что русскому правительству оно не понравилось, поскольку содержало нападки на установившийся в Европе новый порядок, но более всего — на шведского короля, состоявшего в родстве с российским императорским домом.

Из дневниковых записей графа Федора, не вошедших в публикацию Боннэ, но им процитированных, мы узнаем, что именно Головкин был тем самым «секретарем», который записывал воспоминания Станислава-Августа Понятовского, в

бытность последнего польского короля в России 1797–1798 гг[12]. Его участие заключалось не в механическом записывании воспоминаний Понятовского, а в их обсуждении, редактировании. Быть может, именно тогда Головкин ощутил вкус к мемуаристике.

Но, безусловно, лучшим из его творений являются «Воспоминания», равно как и среди созданных им литературных портретов, лучшим следует считать его автопортрет.

* * *

Воспоминания Головкина написаны на основе дневниковых записей, что, по словам самого графа, делало их сродни летописям. «Свой дневник, — писал Головкин, — в котором я каждый вечер отмечал события при Дворе, послужит мне своего рода летописи». Он вменил себе в обязанность не обходить молчанием в своих воспоминаниях ничего того, что он видел и слышал. Таким образом, дневниковая основа его воспоминаний повышает степень их достоверности. Писал их, по его собственному ироническому замечанию: «Между развалинами старины и приготовлениями к будущности». Дневниковые записи велись практически до самого конца. Так, одна из записей (об А. В. Суворове) датирована 1821 г., за два года до смерти.

В воспоминаниях Головкина, через судьбы описываемых людей, либо сюжетов просматриваются тектонические сдвиги, которые происходили в недрах европейского общества — крушение абсолютизма и церкви, установление республики с ее кровавыми ужасами, наполеоновские войны и свержение наполеоновского деспотизма, перестройка складывавшейся столетиями в монархической Европе системы международных отношений. Разве Россия стояла в стороне от этих процессов? Она была частью мирового процесса, и свидетельства тому содержатся в его записях.

Через судьбы его персонажей мы узнаем об исторических событиях, сотрясавших Европу и Россию. Знакомство с их биографиями значительно увеличивает их масштабы, усиливая их значение, невзирая на место, отведенное им на страницах воспоминаний. Так, до нас доносится эхо далекой и давно уже забытой Семилетней войны, в которую были вовлечены европейские державы и Россия, или — за испанское наследство. Мы вновь вспоминаем о войнах с Турцией и Швецией, о разделах Речи Посполитой, не говоря уже о французской революции, наполеоновской империи, дворцовых переворотах и тому подобное.

Но графа Федора окружал и мир легких связей и интриг, мир, в котором превыше всего ценились острота и каламбур, служившие подчас своего рода ширмой для того, чтобы спрятать истину. Именно тогда родился знаменитый афоризм Талейрана, воспринимаемый значительно шире, чем дипломатическая тактика: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли».

Граф Федор Головкин по своему рождению и воспитанию оказался на стыке русской и европейской культур, и его справедливо считали космополитом. Близость к русскому и европейскому дворам, монаршей власти, родственные связи с европейской и российской аристократией обогащали его знания высшего света. Умный и начитанный, беспечный и общительный, наблюдательный и остроумный, он был желанным в любом обществе, а его умение говорить несерьезно о серьезном, столь ценимое во все времена, делали его предпочтительным собеседником. Как писал один из его корреспондентов, французский маршал Коаньи: «Я, конечно, очень люблю читать Ваши письма, но все же предпочитаю слушать Вас и при этом глядеть на Вас. С Вами предметы для разговоров неисчерпаемы, начиная с политики и кончая клубной болтовней». Мадам де-Сталь напишет ему: «Где Вы — там движенье и жизнь, которые исчезают вместе с Вами». Сознаемся, такая похвала дорогого стоит. Он был равно интересен Фридриху II и Екатерине Великой, писательнице Сталь и Каподистрия, Талейрану и Меттерниху.

Со страниц его воспоминаний встает череда королей и королев, императриц и императоров, великих князей, герцогов и дофинов, государственных, политических и военных деятелей, фаворитов и авантюристов, писателей, ярких представителей титулованной русской и европейской знати рубежа XVIII–XIX вв.

Персонажи воспоминаний графа Головкина являли собой удивительный мир, в котором сочетались: высокая образованность и невежество, воинская доблесть и бездарность, проявления замечательного государственного ума и дипломатического умения, скаредность, мотовство и самодурство, а личные судьбы складывались столь причудливо, что более походили на захватывающий роман.

Головкин вводит нас в мир русского двора, который предстает перед нами в ярких образах екатерининского и павловского времени. Это — люди, делавшие нашу отечественную историю и оставившие в ней след в качестве культурных феноменов — Дашкова, Разумовские, Орловы и др. При этом, Головкин показал себя мастером литературного портрета. Можно сказать, что он ближе всех подошел к истине при создании

портрета Елисаветы Алексеевны. Явной его удачей следует считать и портрет Нессельроде, отличающийся метафорической выразительностью. Или же, портреты неаполитанской королевской четы, семьи Разумовских, Фридриха Великого — этого короля-философа и многих других. И потому, не случайно, он создает собирательный образ молодого дворянина XVIII в.

В записях Головкина много места отведено воссозданию портретов лиц, по тем или иным причинам попавшим в Россию и также оставившим в ее истории свой след. Помещенные в публикацию Боннэ корреспонденции лиц, представлявших собой дружественное окружение графа Федора — а это цвет европейской культуры, общественно-политической мысли, государственные деятели — в той или иной мере имели отношение к России, а потому также интересны нам. Мы получаем представление о состоянии умов, мировосприятии людей того времени. И, невзирая на упреки Головкину в незнании им российской жизни, мы ощущаем как происходило интегрирование европейской культуры в русскую.

Граф Федор писал свои мемуары в контексте окружавшей его культурной среды, существовавшей богатой традиции, вниманию к мемуаротворчеству. Францию XVIII в. называли родиной мемуаров нового времени. И, тогда, когда в России раздавались голоса о недостатке в России всякого рода мемуаро-биографических материалов: «У нас не так как во Франции», наш соотечественник граф Федор составил свои записки мемуарно-биографического характера, в которых в действительности много места отдано отечеству, его историческим героям. Следуя принятой в исторической науке классификации, принадлежали они к мемуаристике верхушечно-элитарной по социокультурному происхождению их авторов[13].

Отношение современников к Головкину не было однозначным. Представители различных партий, существующих при дворе и постоянно соперничавших между собой, нередко подвергали его нещадной критике. Пожалуй, более всего в этом преуспела фрейлина Елисаветы Алексеевны, графиня В. Н. Головина, обвинявшая его в пособничестве в ухаживаниях светлейшего князя Платона Зубова за цесаревной. «Граф Федор Головкин, — вспоминала Головина, — хотя и ничтожная личность, некоторое время играл известную роль. Бесстыдный лжец, полный злого остроумия и дерзкий, он, шутя и развлекая, понемногу достиг высших чинов, пробрался к подножию трона; но он недолго пользовался милостью. Насмешки и злословие были изгнаны из кружка императрицы, которая не могла их терпеть. Граф Головкин стал чтецом и лакеем Зубова, другом

сердца и поверенным лицом графини Шуваловой. Зубов выхлопотал для него место посланника в Неаполе, но, дурное поведение заставило отозвать его оттуда. Он даже был на некоторое время выслан из России»[14]. Действительно, ему не раз приходилось поплатиться за свое легкомыслие.

Первый отклик на мемуары Ф. Г. Головкина последовал сразу же по выходе в свет публикации С. Боннэ. Начинающий тогда историк К. В. Сивков[15] довольно критически отозвался о мемуарах Головкина, по его мнению, мало что сообщавшим нам о «социальной политике» императора Павла I, «трехдневной барщине» и «причинах крестьянских восстаний» и т. п. Укор рецензента в том, что в воспоминаниях Головкина есть главы, не имеющие отношения к русской истории, также представляется несправедливым. Да, конечно, Эмма Гамильтон и весь этот любовный треугольник — чета Гамильтонов и адмирал Нельсон — не имели отношения в России, равно как и упоминание Головкиным герцогини, маркизы и их адъюльтерами, последствия коих, тем не менее сотрясали европейские дворы. Но, сознаемся, насколько были бы обеднены наши впечатления от истории, в которой действовали живые люди, если бы мемуаристы придерживались подобного прагматизма.

Оставшись недооцененными части архива Головкина, инкорпориванные Боннэ в предисловие, особенно те, в которых говорилось о представителях рода Головкиных. В этой связи, например, заслуживает внимания переписка Фридриха Великого с директором королевского театра в Берлине Александром Александровичем Головкиным. Она равно интересна как для характеристики прусского короля, так и А. А. Головкина.

Вместе с тем, нельзя обойти вниманием ошибки, допускаемые Головкиным при описании тех или иных событий (они комментируются по тексту). Многие отмечали любовь Головкина к злословию, ради красного словца, либо гипертрофировавшего, а, подчас, быть может и искажавшего тот или иной факт. Напомним, что Лобанов-Ростовский призывал с крайней осторожностью пользоваться его мемуарами. Конечно же, бросается в глаза гипертрофированное отношение Головкина к своей личности. Он сильно преувеличивал свой дипломатический вес, скажем, в переговорах России с Пруссией, точно так же как и свою роль в преддверии созыва Венского конгресса. Вызывает сильное сомнение вопрос о той заинтересованности, которую, якобы, проявлял Наполеон в отношении Головкина: «Бонапарт… меня откопал и приблизил к себе, желая впутать меня в свои политические сплетни» и тому подобное. Однако эта человеческая слабость Головкина не должна снижать его

значения как мемуариста. «Врет как очевидец» — фраза не пустая. Но, порой, бывает так трудно отказаться от соблазна поверить в очередную легенду, тем более, когда мемуарист наблюдателен и остроумен, и дает нам возможность почувствовать аромат эпохи, от нас такой далекой, покрытой слоем времени, персонифицированной яркими личностями, которых сам Головкин называл «красивыми призраками старины». XVIII в. можно назвать веком авантюристов, но, как причудливы и занимательны их биографии! И тянущийся за ними шлейф их приключений до сих пор волнует наше воображение.

Опорной главой, давшей название всему комплексу материалов из архива Головкина, является глава о Павле I, его правлении и дворе. В этот раздел вошли отрывки из воспоминаний Н. Шателена, также относящиеся к царствованию Павла I.

Головкин воскрешает сцены из жизни Павла I и царской семьи, коронацию и его поведение в первые дни правления. Здесь же, граф Федор вспоминает о перипетиях, выпавших на его долю при дворе Екатерины II, а затем — Павла I.

Характеризуя очерк, посвященный Павлу I — цесаревичу и императору, следует отметить стремление мемуариста запечатлеть не только какие-то отдельные, частные моменты, поступки или наиболее выразительные сюжеты его биографии, но и воссоздать более целостный образ Павла, его политику, окружение и царившую атмосферу. Граф Федор был современником Павла, близко наблюдавшим великого князя, но так и не разгадавшего до конца эту сложно противоречивую личность. Этим объясняется неприятие Головкиным Павла как монарха. Не будем также забывать и того, что Головкин был лицом, приближенным к Екатерине II. Но именно благодаря Павлу I он был возвращен из ссылки, куда был отправлен по повелению императрицы. Независимо ни от чего он признавал за Павлом благородство его сердца.

Головкин шаг за шагом прослеживает жизнь наследника русского престола, приводя теперь уже хорошо известные факты его биографии, достаточно насыщенной трагическими событиями.

Среди наиболее впечатляющих страниц биографии цесаревича, граф Федор выделяет, в частности, путешествие великокняжеской четы — Павла Петровича и Марии Федоровны.

Рассуждая о причинах, побудивших Екатерину отправить великого князя в заграничное путешествие, граф Федор останавливается на одной из них — желании отделаться от сына. Однако сам он эту версию отвергал. Хотя близкая к ней —

заключается в желании императрицы отправив в длительное путешествие сына и невестку (как известно, путешествие продолжалось более года), на время отдалить их от подрастающих сыновей. Это вытекает из решительности императрицы владеть монопольным правом влияния на внуков.

Посещение Австрийской империи с ее итальянскими владениями предполагало важное тогда для России сближение с этой страной в условиях сложившихся на тот момент международных отношений. Показательно, что просьба Марии Федоровны о разрешении посетить Пруссию, так и не была удовлетворена. Екатерина опасалась, что в силу испортившихся взаимоотношений с Пруссией, с одной стороны, поездка туда была также нежелательна с точки зрения все более усиливавшихся симпатий наследника к Фридриху II, прусским и общественным порядкам, с другой[16], и Берлин остался вне маршрута путешественников.

Рассказанная графом Федором сцена якобы отравления Павла во время путешествия, во Флоренции, и последовавшая следом его реакция — малоизвестны, но выглядят правдоподобными, поскольку отражали те тревоги и опасения, которые великокняжеская чета испытывала перед отъездом. Как писал Н. К. Шильдер: «По свойственной Павлу Петровичу подозрительности в его уме зародилась даже мысль, что императрица преднамеренно желает удалить его за границу, для достижения каких-либо сокровенных целей»[17]. Однако надо признать, что заграничное путешествие уже составляло предмет внимания цесаревича и цесаревны. Мария Федоровна стремилась побывать заграницей, чтобы повидать родственников, а изнывавший от безделия Павел легко откликнулся на просьбу супруги. Во избежании пышных церемоний согласно требованиям этикета, Екатерина пожелала, чтобы Павел Петрович и Мария Федоровна приняли титул графа и графини Северных. Не все описанные графом Федором факты шокирующего поведения Павла во время заграничного путешествия, равно как и его жизни, не нашли места на страницах крупнейших исследований об императоре Павле I. Как отмечал Н. Я. Эйдельман: «Будем осторожно пользоваться павловскими анекдотами, проверяя их подлинность там, где возможно. Дело в том, что социальная репутация Павла у «грамотного сословия» была такой, что кроме реальных историй ему охотно приписывали десятки недействительных или сомнительных»[18]. Но они, в свою очередь, что-то дополняют к образу Павла, поскольку выглядят логичными в контексте его характерологических особенностей.

Закономерно стремление мемуариста дать оценку

деятельности взошедшего на престол Павла, его поведению как монарха и, потому, вполне естественно, что начинает он с описания перезахоронения останков Петра III. Соображение Головкина по поводу того, что «первая мысль Павла состояла в том, чтобы опозорить память своей матери», была подхвачена историками, но, правомерно присовокупивших этот довод к другим[19]. Публичное перезахоронение бренных останков Петра III со всеми приличествующими данному поводу церемониями, царскими почестями, было актом государственного значения. Получалось, что преданный забвению более чем на треть века Петр III, тем не менее как бы оставался наравне с Екатериной II правящим монархом. «Возродив представление о нем как законно правившем Россией императоре, официально и всенародно провозгласив его своим отцом, Павел I выбил, таким образом, почву из-под могущих снова всплыть толков о темных обстоятельствах своего происхождения, о сомнительности потому прав на престол и т. д.»[20]. Живописуя во всех его подробностях церемониал перезахоронения останков Петра III, Головкин с большим сарказмом представляет читателям его персонажем, тем самым как бы оттеняя тот ужас, которым были охвачены присутствовавшие при том участники убийства Петра III, что в целом оставляло впечатление какой-то дьяволиады.

Головкин, в числе прочих современников Павла, видел лишь внешнюю сторону, подчас действительно вздорных, взаимоисключающих многочисленных распоряжений нового императора: о вмешательстве в личную жизнь, запрете на определенные фасоны одежды, причесок, изменении облика военных и гражданских чинов и т. п. Однако за этими внешними атрибутами перемен стояли более глубинные. Нет смысла говорить о том, что это — тема самостоятельного повествования, не входящего в задачу данной публикации. Можно лишь отослать читателя к замечательным исследованиям Н. К. Шильдера, Е. С. Шумигорской, Н. Я. Эйдельмана, А. Г. Тартаковского и др. Комментируя лишь взгляд на сей предмет Головкина, необходимо отметить следующее.

Сторонник укрепления абсолютизма, а недавний урок был преподан французской революцией, наилучшей формой такой власти Павел I считал единоличное монархическое правление, опирающееся на централизованную геометрически выстроенную администрацию. Сторонник сословного разделения российского общества, он, тем не менее, практически стремился искоренить сословное неравенство. Отсюда — эпатировавшее общество манифест о привидении к присяге крепостных крестьян наравне с привилегированными сословиями. Попытки уравнивания

сословий, к сожалению, не привели ни к чему другому, как восстановлению против себя всех и вся. Продолжая крестьянскую тему, столь живо затронутую Головкиным, необходимо осветить серию правительственных актов, удовлетворивших интересы крестьян (в частности, манифест о трехдневной барщине 1797 г.), которые регламентировали права помещиков в отношении крестьян. «Поставив этот манифест в один ряд с основополагающими актами своего царствования, — отмечал А. Г. Тартаковский, — Павел I уже одним тем доказал, какое исключительное государственное значение он ему придавал, несомненно видя в нем документ программного характера для решения крестьянского вопроса в России»[21].

Головкин не мог обойти вниманием вопрос о завещании Екатерины II о престолонаследии в пользу внука — Александра. Граф называет слухи об этом документе «басней, распространенной в начале царствования Павла». Однако это было не так. Известно, что Екатерина не раз бралась за этот проект, в который были посвящены несколько высших сановников империи. О нем доказательно писали историки[22]. Сарказм Головкина объясняется свойственной ему неприязнью к фаворитам, баловням судьбы, что, впрочем, лично распространялось и на других, близко стоявших к трону лиц. В данном случае — его адресат А. А. Безбородко, который знал о замыслах Екатерины и, очевидно, помог Павлу в изъятии и уничтожении завещания.

Не мог Головкин не коснуться и так называемого «Мальтийского дела», этого знакового события павловского правления. Остров Мальта внезапно приобрел для России такое значение, что всякая держава, которая осмелилась бы присвоить себе достояние Ордена св. Иоанна Иерусалимского, рассматривалась как наносящая ущерб новому великому магистру, вызывая враждебное отношение со стороны российского императора. Как писал Н. К. Шильдер: «Прежде всего поперек всякой разумной политике стояла Мальта»[23].

Обращение Павла I к Ордену иоаннитов на Мальте, при всей своей кажущейся экстравагантности, выявляет особенности личности Павла I, не случайно окрещенного Пушкиным «романтическим нашим императором». Сейчас трудно обойтись без той обобщающе-емкой характеристики миросознания Павла, системы ценностей, им исповедываемой, которую дал А. Г. Тартаковский. Это, прежде всего, идеализация социально-духовных ценностей средневековья, выдвинутая Павлом модель средневекового теократического государства (отсюда — четкая регламентация публичных и частных отношений, этикета и тому

подобное), при всей утопичности самой рыцарской идеи как таковой, как и возможности ее осуществления в условиях российских реалий[24].

Головкин описывает один из ключевых моментов в истории взаимоотношений Павла I с Мальтийским орденом, этого уцелевшего осколка объединения рыцарей-крестоносцев, под его покровительство, провозглашения его великим магистром Ордена св. Иоанна Иерусалимского. Оказавшийся в тяжелом положении после французской революции, Орден вынужден был искать защиты у глав европейских монархий. И Павел I в 1797 г. принимает Орден под свое покровительство. Как писал А. Г. Тартаковский: «С тех пор Мальта стала оказывать все большее влияние на идеологию павловского царствования…»

Головкин рассматривает это политическое событие в гротесковом ракурсе, высмеивая роль одной из знаковым фигур не только в учреждении российского великого приорства Мальтийского Ордена, но и павловского правления, графа де-Литта Юлия Помпеевича — надо сказать, что граф Федор не единожды обращается к нему в своих воспоминаниях. Между тем, де-Литта отнюдь не был личностью столь ничтожной, как его рекомендует нам мемуарист.

Выходец из известной австрийской семьи (отец его был генеральным комиссаром австрийских войск), способный и образованный молодой человек был зачислен в рыцари Мальтийского ордена, участвуя затем в ряде кампаний. Сведущий в морских делах, де-Литта был приглашен Екатериной II в Россию для переформирования русского флота на Балтийском море. За удачное командование в одном из эпизодов военных действий со шведами был произведен в контр-адмиралы, а проиграв другое сражение — подвергнут опале и отправлен в путешествие по Италии. Но затем, после ее смерти пришелся ко двору Павла I. Литта явился к императору в момент критической для Мальтийского ордена ситуации с предложением вернуть Ордену доходы с графства (на Волыни), которое после раздела Польши перешло к России. Благодаря его влиянию была заключена весьма важная в этом случае конвенция 1797 г. С учреждением же при Павле I «Российского великого приорства», Литта был назначен одним из его командоров, введен в графское Российской империи достоинство и назначен чрезвычайным послом Ордена при русском дворе. Видя в Павле I единственное лицо, могущее вернуть Ордену остров Мальту, захваченный Французами, Литта более других представителей католической партии при русском дворе хлопотал об избрании Павла I великим магистром. Как известно в 1798 г. Павел I был избран в великие магистры

Мальтийского Ордена (к императорскому титулу прибавились слова «Великий Магистр Ордена св. Иоанна Иерусалимского, а граф Литта сделался его наместником, получив влияние в государственных делах. Честолюбивый, осыпанный царскими милостями, Литта сумел занять соответствующее положение, чему способствовали и прекрасные физические данные, величественная осанка. По просьбе Павла папа Пий VI снял с его любимца обет безбрачия, требуемый Орденом. Женитьба на племяннице Потешкина графине Екатерине Васильевне Скавронской сделала его владельцем огромного состояния. Чета Литта занимала одно из видных мест при дворе. Однако ему не раз пришлось пережить опалу, в том числе, благодаря стараниям завистников и недругов. Настойчивость Литта в восстановлении в России ордена иезуитов, заносчивость его брата Лаврентия — папского нунция вызывали недовольство многих. Так называемая русская партия во главе с Ф. В. Ростопчиным старалась нейтрализовать влияние Литты, и тот был уволен в отставку. Но, несмотря ни на что, он верой и правдой служил России на всех занимаемых им постах, оставаясь уважаемым человеком: Александр I назначил его обер-шенком, обер-гофмейстером, членом Государственного Совета. В правление Александра I он разделял позиции реформистского окружения императора. Именно ему принадлежала инициатива присвоения Александру I звания «Благословенного», а в дни событий междуцарствия 1825 г. он участвовал в «Чрезвычайном Собрании» Государственного Совета, на котором, обращаясь к великому князю Николаю Павловичу, заявил о готовности признать его государем и присягнуть ему[25].

Но надо отдать должное Головкину, его проницательности, что во всей этой «мальтийской драматургии» он сумел почувствовать в Павле натуру романтически-рыцарскую: «Скажем…, — записал граф Федор, — что во всей этой истории могла заключаться великая и красивая мысль, а именно: чтобы государь стал во главе всего дворянства Европы, — в эпоху, когда самые старинные и самые полезные учреждения обрушивались».

Записи Головкина обрываются на событиях, датированных 1799 г. Между тем, известно, что он продолжал вести их почти до самой смерти. Трудно представить себе, что он мог бы обойти молчанием последний год, дни жизни и царствования Павла I, пронизанные напряжением и тревогами как для самого Павла, так и императорского окружения. Обер-церемониймейстер Головкин по роду службы неизменно присутствовал при дворе, и, даже, если он и не владел какой-либо конкретной информацией, то, конечно же, до него не могли не дойти какие-то слухи о чем-то

готовящемся. Не случайно, вечером 11 марта 1801 г. он произносит фразу, услышанную будущим начальником полиции Александра I, тогда еще простым офицером Я. И. Сангленом. Показывая на окно в Михайловском замке Головкин сказал: «Этой ночью произойдет ужасная катастрофа»[26]. Потому сомнительно, чтобы Головкин мог обойти своим вниманием трагические события той ночи, и то, что предшествовало ей. Или, быть может, он знал нечто такое, что было опасно доверить бумаге в уже наступившее другое царствование? И здесь необходимо вспомнить о предположении, высказанном владельцем рукописи воспоминаний Головкина о том, что часть бумаг графа Федора была изъята какими-то неизвестными лицами…

Головкин представил нам замечательную возможность взглянуть на наших соотечественников со стороны. Он близко наблюдал их заграницей, и не устоял перед соблазном посвятить им самостоятельный очерк «Русская колония во Флоренции». Но, по существу, за исключением предисловия, в его основе лежат письма Головкина к кузине Амалии Александровне Местраль д'Арюффен. Ему были равно понятны как русское общество, так и их время препровождение, бытовой уклад, степень инкорпорированности в европейский.

Граф Федор отправился во Флоренцию, которую считал местом, более всего отвечающим его душевному состоянию в то время. По его собственным словам, русские и дипломатический корпус осыпали его любезностями.

Русская колония представляла собой «квинт-эссенцию России», а реплика Головкина о том, что это был Восток, перевезенный на Запад, не была данью метафоре. Русская аристократическая элита действительно демонстрировала поистине сказочную роскошь и невероятное мотовство, а досуг был наполнен увеселениями, удивительными историями, казусами, любовными похождениями, и лишь неожиданно возникавшие кредиторы омрачали этот праздник. Родственники графа Федора — Нарышкины, владевшие в Италии несколькими палаццо, графы Толстые, наследники фельдмаршала А. В. Суворова, в судьбе которых Головкин принимал деятельное участие, контр-адмирал П. В. Чичагов, князья Гагарины, семейство Луниных — все они собирались вокруг русского посланника во Флоренции Н. В. Хитрово, жестоко расплатившегося за свое расточительство дипломатической карьерой. Зарисовки Головкина о Хитрово, его жене — Елизавете Михайловне, дочери Кутузова и друге Пушкина впоследствии широко использовались в пушкиниане.

Рассказывая об этой поре своей жизни во Флоренции,

Головкин одновременно проявляет свои политические убеждения. Пожалуй, в письмах к графини д'Арюффен они изложены наиболее концентрированно. Мы знаем замечательные примеры того, как русские путешественники использовали эпистолярную форму для изложения своих впечатлений, наблюдений, выходивших за рамки простой их констатации. Виденное становилось объектом размышлений и осмысливалось сквозь призму своего мировосприятия, политических позиций, системы ценностей. В данном случае было бы уместно вспомнить о «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина и «Хронике русских» А. И. Тургенева, конечно же, не сопоставимыми с письмами Головкины ни с точки зрения их содержательности, ни, тем паче, масштабов их составителей. Однако все они были написаны во время посещения Западной Европы. Увиденное глазами человека русского перерастало в глубокие историко-философские и культурологические размышления не только о Европе и европейцах, но и о самих себе, стремление осознать себя в европейском контексте. Потому, не случайно, заглавие корреспонденциям Тургенева — «Хроника русских» дал Пушкин, печатавший их в своем «Современнике», отметив тем самым основное значение эпистолярий подобного рода.

Граф Ф. Г. Головкин рос и формировался в роялистской среде, и сложившийся образ мышления отражал эти особенности становления его как личности. Падение монархических режимов, окружавшая его эмигрантская среда постоянно подпитывали его монархические убеждения. Когда Бурбоны вновь взошли на трон, Головкин сказал себе: «Это было торжество для моих принципов». Он был нескрываемым противником либерализма, и, сказанные им однажды слова своему доброму знакомому и корреспонденту, известному государственному и политическому деятелю Греции Каподистрия, затем были редижированы им в письмах к Амалии д'Арюффен: «Вы не заставите меня полюбить либеральное просвещение и либеральные мысли. Эти слова только талисманы, с которыми считают все дозволенным». Такова формула политических взглядов Головкина.

Головкин повидал много и многих на своем веку. Как правило, это — фигуры влиятельные, занимавшие высокое положение. Их литературные портреты, пусть незначительные по месту, ими занимаемому в воспоминаниях Головкина, тем не менее по подмеченным штрихам, позволяют оценить их место, а в совокупности создать более объемный образ времени, среды.

Например, признанный мастер сыска Николай Петрович Архаров, возвысившийся при Екатерине II, вполне соответствовал

духу павловского правления. В первые дни своего воцарения Павел I пожаловал Архарова андреевской лентой, снятой со своего плеча. Назначил генерал-губернатором Петербурга. Однако обернувшаяся глупостью угодливость Архарова, стоила ему карьеры. Возвращавшегося из Москвы после коронации Павла, Петербург встретил окрашенными заборами, дверями по образцу караульных будок. Взбешенный император наказал губернатора — отстранил от должности и выслал из столицы.

Трудно проверить правдивость сведений графа Федора об Аншетте — личности весьма полезной для России. Получив образование в Страсбурге, он выбрал Россию в качестве своего поприща. Головкин походя отмечает его таланты, как во время военной службы под началом принца Нассау-Зигенский, за что был получен офицерский чин, так и в период его дипломатической деятельности, которая была особенно плодотворной, и пришлось на время наполеоновских войн и послевоенной Европы. Аншетт — участник русской дипломатической миссии в Вене, в 1812 г., был назначен директором дипломатической канцелярии при армии Кутузова, представлял Россию на конгрессах и был одним из составителей международных конвенций. В свите Александра I сопровождал его в поездках по Европе, и в 1818 г. — назначен чрезвычайным уполномоченным послом России при Германском Союзе. Тем не менее, Головкин не отказал себе в удовольствии посплетничать и на его счет.

Биография одной из героинь мемуаров Головкина вовсе напоминает персонаж из сказок Шехерезады. Она была столь невероятна, что породила несколько версий истории ее жизни. Однако нам она интересна прежде всего связью с событиями политического значения. Своим вниманием ее почтил и другой мемуарист — Ф. Ф. Вигель[27], который, в отличие от Головкина, расцветил ее жизнеописание различного рода подробностями. Трудно решить, какой из версий может быть отдано предпочтение.

Ее подлинная фамилия неизвестна. В русском свете она прославилась под фамилией де-Витт. Она сама называла себя Софьей де Челиче, Вигель — Софьей Константиновной, урожденной де Челиче. Ее история начинается с константинопольского периода, который отразился в прозвище, ей данном — «прекрасная фанариотка»: фанариотами называли жителей греческого квартала в Константинополе (Фанара). Эта гречанка из Константинополя (то ли рабыня, то ли служанка одного из трактиров), «темного происхождения», на 13-м году жизни была продана матерью польскому посланнику[28] (у

Головкина — несколько иной вариант этой поры ее жизни). Затем была перепродана за 100 червонцев сыну Каменец-Польского коменданта Иосифу Витт (у Вигеля — это польский генерал граф Витт), который и женился на ней.

Она кружила головы многим, и в их числе — граф И. П. Салтыков, прославившийся в русско-турецкую кампанию (1768–1774) взятием крепости Хотин. Позже она осталась под Очаковым при князе Тавриды. Потемкин, ценя ее ум, стал давать ей поручения политического свойства. Одно из них поражает своей значимостью: ей, можно сказать, вверялась судьба одного из сложных политических соглашений в истории Польши, русско-польских отношений. Дело в том, что в сложном узле международных отношений, в центре которого находилась Польша, России необходимо было нейтрализовать оппозиционную часть шляхетства, выступившей против польской конституции 1791 г. Среди недовольных особенно выделялся граф Потоцкий, прибегнувший к влиятельному Потемкину с просьбой о помощи в создании своей конфедерации против конституции. Екатерина II, заинтересованная в создании среди оппозиционеров русской партии под лозунгом «возвращения Речи Посполитой свободы и законности», подкрепила «свои намерения вводом войск в Польшу. Шедшие с войсками поляки остановились в местечке Тарговице (1792), основав здесь конфедерацию, наместником, или маршалком которой был назначен Станислав-Феликс (Щенсный) Потоцкий. Так вот, красавице де-Витт было поручено склонить Потоцкого примкнуть к Тарговицкой конфедерации. Граф не только не примкнул к конфедерации, но и страстно влюбился в очаровательного посланника. Было возбуждено дело о разводе как самого Потоцкого, так и Витта. «Безутешный» муж уступил жену за большое вознаграждение. Развод же Потоцкого мог состояться лишь по смерти жены. Старик Потоцкий любил красавицу-жену и, поселившись на Умани, развел там парк, названный Софиевкой. Но… жена увлеклась пасынком. Потрясенный Потоцкий вскоре умер, а последующая жизнь де-Витт с Потоцким-младшим закончилась разорением. Ему удалось проиграть все свое состояние, и графине пришлось заплатить его долги, при условии отъезда его из России. Она изменила свою жизнь, благодаря М. М. Сперанскому восстановила наследственную часть состояния Потоцкого. Ей не было чужда благотворительность, умерла она 56 лет отроду, оставив по себе добрую память! Ее дочери сделали удачные партии: одна из них была замужем за известным государственным деятелем графом П. Д. Киселевым, другая — за графом Л. А. Нарышкиным.

Интерес царедворца Головкина к светским красавицам — закономерен тем более, когда молва приписывала им влияние на то или иное событие. К их числу принадлежала также Екатерина Федоровна Долгорукова, дочь того самого гофмаршала Федора Сергеевича Барятинского, который участвовал в возведении Екатерины II на престол. Она была пожалована во фрейлины, и с того времени заняла прочное место одной из первейших придворных дам. Последовав в период русско-турецкой войны за мужем генерал-поручиком В. В. Долгоруковым, оказалась в Бендерах, в сфере влияния Потемкина, окружавшим себя красавицами и тем самым оживлявшим свою лагерную жизнь. Ходили слухи, что Потемкин, стараясь снискать ее благосклонность, якобы ускорил штурм Измаила, дабы поразить ее воображение зрелищной картиной атаки крепости. Окруженная толпой поклонников, Долгорукова всегда находилась в центре внимания двора. Ее первым и неотступным поклонником был австрийский посол Кобенцль. Обладая сценическим талантом, она ввела в моду в Петербурге домашние представления и живые картины. С воцарением Павла I, родители Долгоруковой вынуждены были уехать за границу, но, и, поселившись в Париже, она заняла видное положение, ее салон был посещаем знаменитостями. Позже она вернулась в Россию, овдовев в 1812 г., она прожила до глубокой старости, пользовалась почетом в свете и при дворе, олицетворяя собой живую хронику XVIII в.[29]

Пришедшая Боннэ мысль — включить в свою публикацию корреспонденции лиц, с которыми Головкин был связан с той или иной степенью дружественных отношений, позволяет в значительно большем объеме представить себе личность мемуариста. Мы получили возможность взглянуть на него их глазами. Судьба каждого из них — неординарна, и отразила на себе драматизм переломного времени, соединив их с Головкиным общностью мировосприятия, любовью к литературному творчеству.

Французская писательница мадам де-Сталь — одна из примечательных фигур, удостаивавших графа Федора своей дружбой. Личность европейского масштаба, она принадлежала к родоначальникам французской романтической школы. Жила в то время, когда так много места отводилось политике. Она была дочерью известного государственного и политического деятеля, министра финансов при дворе Людовика XVI Неккера, дом которого являлся средоточием самых образованных и известных людей, была непосредственным свидетелем тех событий, которые сотрясали Францию в канун революции, ибо ее отец был одним из их участников.

Ее литературная слава была огромна. Карамзин первым в России оценил ее писательский дар и перевел для русского читателя ее повесть «Мелина». Ее литературно-поэтические пристрастия (а письма к Головкину — свидетельства тому) с очевидностью говорят о тяготении к женским образам, порожденными мифологией и отразившимися в древнегреческой трагедии. Это — женские характеры, исполненные высокого героизма, нежной любви, превосходившие мужчин силою воли, яркостью чувств. Созданные ею популярные женские образы — Коринна, Дельфина отражали и биографию их создателя.

Но ее литературное творчество было одной из сторон ее личности. Политическое чутье и кругозор ставили ее в центр культурной и общественно-политической жизни Парижа. Ее общества искали, ее сочинениями зачитывались. Ее суждения о французской революции — посмертно изданный трактат «Considérations sur les principaux événements de la revolution» («Соображения по поводу основных событий французской революции»), в частности, были интересны Пушкину, который использовал их в своих штудиях над историей французской революции.

Ее салон в Париже принадлежал к одному из самых оппозиционных Наполеону, в нем собирался весь спектр цветов оппозиции. Она сама была сторонницей либерально-буржуазной республики по образу Соединенных Штатов Америки. Эта одна из самых умных женщин века претендовала на то, чтобы стать вождем либеральной партии[30]. В те годы ее единомышленником был знаменитый писатель и политический деятель Бенжамин Констант, с которым ее долгие годы связывали самые тесные, под конец, тяготившие его, отношения.

Наполеон дважды высылал ее из Парижа. Ее появление в Санкт-Петербурге в 1812 г. было своего рода сенсацией. Александр I удостоил знаменитую изгнанницу продолжительной беседой, в которой они сошлись в оценке Наполеона. В своих воспоминаниях «Dix annues d'Exil» («Десятилетнее изгнание») она опишет свои встречи в России, которую она оставила, по словам Пушкина, «как священное убежище, как семейство, в которое она была принята с доверенностью и радушием». «Исполняя долг благородного сердца, — как писал Пушкин, — она говорит о нас с уважением и скромностью, с полнотою душевною хвалит, порицает осторожно, не выносит сора из избы»[31].

Мадам де-Сталь было интересно общество графа Федора, она дорожила им, ибо это была среда их интеллектуального взаимопонимания. И, когда она пишет ему: «Ваше отсутствие — большое горе не для сердца, а для ума. Где Вы — там движенье и

жизнь, которые исчезают вместе с Вами» — это не светская любезность, и данный ею портрет Головкина подтверждает это.

Небольшое, изящное письмецо писательницы де-Суза, тем не менее содержит в себе отголоски как ее добрых отношений с графом Федором, так и трагических событий в ее жизни. Романы популярной писательницы имели успех в России, ими зачитывались Карамзины: «Читаем романы г-жи де Сузы, — пишет в одном из своих писем императрице Елисавете Алексеевне Карамзин, — и я все еще плачу как ребенок»[32]. Для русских писательниц считалось лестным быть прозванной «российской де-Суза». Получив похвальное письмо от Головкина по поводу вышедшего романа «Евгения и Матильда» (1811), она упоминает о своем сыне Карле. Между тем, за этим стояла история ее жизни: замужество за графом Флао, казненным во время революции на гильотине. Она была вынуждена бежать с сыном за границу, где перебивалась литературными трудами, став впоследствии известной писательницей под фамилией второго мужа маркиза де-Суза.

Пожалуй. наиболее парадоксальной фигурой в числе лиц, с коими общался Головкин, был граф Каподистрия. Крупный государственный и политический деятель Греции обратил на себя внимание Александра I, и был приглашен в Россию. Его антифранцузские настроения, истоки которых восходили к годам французского протектората над Ионическими островами (он был статс-секретарем республики по иностранным делам) повлияли на его решение и он в 1809 г. приехал в Россию. Каподистрия ценил русское покровительство, связывая с ним надежду на обретение независимости своей родины. Соединяя в себе качества умелого дипломата и хорошего администратора, сделал для России много полезного. К примеру, им, по поручению Александра I, был разработан проект управления присоединенной к России Бессарабской области.

В данном случае нам интересен тот период его деятельности, который привел его в Швейцарию. Им было получено от Александра I одно весьма важное дипломатическое поручение — склонить Швейцарию, после битвы под Лейпцигом в 1813 г., отделиться от Наполеона, обеспечив тем самым союзным войскам свободный проход по альпийским ущельям. В этой связи он был отправлен в Цюрих в качестве полномочного посланника России при швейцарском сейме. Успешно выполнив это поручение, Каподистрия еще недолгое время оставался в Швейцарии в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра. Скорее всего знакомство Головкина с Каподистрия произошло в начале его дипломатической миссии. Они продолжали

встречаться и тогда, когда Каподистрия в должности статс-секретаря России по иностранным делам бывал в Швейцарии и навещал графа Федора. Помимо того, их связывала переписка. Одно из его писем Головкину из Цюриха (11 апреля 1814 г.) как раз посвящено этому политическому событию, а также вопросу о положении Швейцарии. Как и в последующих письмах, он делится с графом Федором своими соображениями по поводу статуса стран в постнаполеоновской Европе, места России. Характеризуя одно из своих пространных посланий Каподистрия написал: «В нем говорится о моем возрасте, о моих принципах, о моем навыке в делах республик…» и тому подобное. Нужно подчеркнуть, что содержание их переписки противоречит расхожему мнению о легковесности графа Федора, который, судя по всему, давал достаточно дельные советы, принимаемые статс-секретарем к размышлению.

Сам Головкин считал свою переписку с Каподистрия одной «из самых оригинальных, какие можно себе представить», объяснив это различием их политических взглядов. Каподистрия — человек либеральных воззрений, Головкин — их противник.

По письмам графа Федора мы можем судить о самооценке, надо отметить, весьма парадоксальной, своей личности: «…Я стою гораздо меньше и в то же время больше, чем моя репутация».

Графу Федору не давалось стать свидетелем осуществления мечты Каподистрия — обретение Грецией независимости: в 1827 г. он был избран ее президентом. Но ему не суждено было узнать и о гибели своего корреспондента от рук заговорщиков в 1831 г.

Некоторые корреспонденты Головкина — фигуры приметные в общественной жизни Петербурга, его светских кругах. Один из них — известный деятель католицизма, государственный деятель, писатель — граф Жозеф де-Мэстр.

Познакомились они и сошлись, скорее всего, в Швейцарии. Они много беседовали и одна из тем — история. Нельзя остановиться перед искушением процитировать высказанную им мысль из письма к графу Федору о значении истории, к опыту которой человечество безуспешно взывает в надежде предотвратить очередной катаклизм: «Никогда еще история не предупредила ни одной глупости, ни одного преступления».

Полученное де-Мэстром воспитание не могло не сказаться на формировании его мировоззрения: изначально — под руководством иезуитов, а затем образование в туринском университете, в котором он изучал право. Испытал на себе влияние идей Руссо. Французская революция застала де-Мэстра

на посту сенатора в Савойе; безоговорочно не принятая им, окончательно определила его взгляды в духе идей абсолютизма и капитализма. Однако он рассматривал Наполеона как гениального узурпатора, могущего восстановить монархию — мысль, которая посещала не одну голову. Мэстр не допускал никакой сделки с революцией, а, потому, по его собственному выражению, потерял все — отечество, состояние, семью и самого монарха. Он вынужден был проживать в бедности в Лозанне, на острове Сардиния. Головкин принимал участие в судьбе изгнанника, в том числе, пытаясь разыскать его жену. Отголоски приключившихся с ним невзгод мы находим в его корреспонденциях графу Федору. Они нам особенно интересны тем, что написаны из Санкт-Петербурга, куда он был командирован в качестве титулованного посланника при императорском дворе от лишенного владений сардинского короля. Именно в Петербурге, в котором он прожил 15 лет (1802–1817 гг.) им были написаны его главные сочинения. Они стояли на книжных полках Пушкина, Чаадаева. Мэстр занял видное положение при дворе. В качестве посланника он видится и беседует с Александром I. Однако дело было не только в его дипломатическом статусе. Он активно действовал в иезуитско-эмигрантской придворной колонии, среди прусско-немецких патриотов, настроенных враждебно к Наполеону, пытаясь ослабить преобладающее влияние Франции в России. Он пытался также влиять на политику в области народного просвещения, или вмешиваться в административные реформы высших органов государственной власти. Не говоря уже о неудавшейся попытке учредить в России орден иезуитов.

Среди корреспондентов Головкина — французский маршал граф де Коаньи. Биография другого корреспондента — известного французского государственного деятеля графа Буасси д'Англа была довольно типичной для времен французской революции — сотрудничество с революционной властью, террористический режим которой заставил его отвернуться от нее (участие в падении Робеспьера, выступление против казни короля), приглашение на службу Наполеоном, а при реставрации Бурбонов — пэр Франции. Публицистика Буасси д'Англа привела его во Французскую Академию, членом которой он был избран. Или же, маркиз Станислав де-Буффиер, член национального собрания, губернатор Сенегала, с началом революции покинувший Францию. Нашел пристанище при прусском дворе, а, вернувшись во Францию, занялся литературной деятельностью.

Таков граф Федор Гавриилович Головкин, его друзья и недруги, круг общения, и все это отражено на страницах его

воспоминаний и корреспонденций. Масштабы представшего перед нами мира не могут не инициировать интерес читателя к истории, тем более, отечественной, вызвав желание поглубже узнать о ее героях, теперь уже давно забытых, воздать должное тому месту, которое они в ней занимали. Ибо, как сказал граф Федор: «История — это первая из наук цивилизованных людей».

Однако граф Федор написал своему адресату, — «если бы Вы знали, как я тоскую по родине», — что он подразумевал под словом «родина»? Родился он в Голландии, большую часть жизни провел в Европе, умер в Швейцарии. Но он вернулся в Россию на страницах своих воспоминаний в ее исторических образах.

Предлагаемая вниманию читателя публикация воспоминаний графа Ф. Г. Головкина отличается от издания Боннэ-Кукеля. К тексту приобщены те фрагменты мемуаров, которые были обнаружены в русских исторических журналах и не вошли в указанные издания. Предвидя возможность некоторых повторов, тем не менее, следует признать необходимость их публикации. Таким образом, настоящее издание представляет собой наиболее полный свод воспоминаний Ф. Г. Головкина.

В жанровом отношении эти фрагменты являются продолжением той части, в которой собраны литературные портреты. В этой связи пришлось пойти на некоторое нарушение структуры издания С. Боннэ и поместить их в конце части III, перед разделом «Анекдоты».

В настоящее издание включены выдержки из воспоминаний, которые были впервые опубликованы Н. К. Шильдером (на основе публикаций Л. Перея во французских журналах) в «Русской Старине», Спб., 1896, т. 88, с. 369–379. Отрывок, посвященный характеристике А. В. Суворова — публикация из «Исторического вестника», 1900, СПб., т. 80, № 5, с. 525–529. Из публикации Е. С. Шумигорского в «Русской Старине» (1914, т. 157, № 3, с. 633–641) привлечен фрагмент, посвященный Д'Азара, который частично был опубликован в главе «Королева Каролина». Кроме того, из неизданных «Записок» Головкина включены очерки: «Граф Ангальт» и «Принц Нассау-Зиген», которые были также опубликованы Е. С. Шумигорским в «Русской Старине», соответственно: 1914, т. 160, № 10, с. 106–108 и № 11, с. 296–304.

В тексте воспоминаний содержатся четыре различных примечаний и комментарий. Это — примечания, сделанные в рукописи собственноручно графом Федором Головкиным, публикатором С. Боннэ (1905 г.) и переводчиком русского издания (1912 г.) А. Кукеля. Они обозначены звездочкой. Комментарии к настоящему изданию обозначены цифрами и сгруппированы в конце разделов.

Предисловие, комментарии и подбор иллюстраций доктора исторических наук Д. И. Исмаил-Заде.

Предисловие

Предисловие и примечания С. Боннэ
Перевод с французского А. Кукеля

Для любителей живописной природы окрестности Лозанны скрывают много приятных сюрпризов: то очаровательные места, где озеро своею голубою поверхностью весело отражает свет; то селения, ютящиеся в тени стройных колоколен или вековых каштанов; то, наконец, замки, гнездящиеся на горах, как свидетели давно минувших веков. В числе последних самое почетное место занимает замок Вюффлан. Его история находится в связи с благородным и храбрым родом Сенаркланов, приобретших известность благодаря легенде и роману.

Привлекаемый свежестью и спокойствием этого благодатного уголка Ваатланда, я много раз поднимался по пыльным дорогам, извивающимся среди виноградников. Подъем — довольно трудный, особенно, когда серые стены изгородей отражают томительную жару; но, достигнув цели, вы все это забываете и всецело предаетесь восхищению несравненным видом. Там раскрывается обширная картина, величественная и стройная, и каждую минуту вы открываете все новые красоты.

От ослепляющего блеска озера ваши взоры с наслаждением переходят к окаймляющим его снеговым вершинам Альп; на горизонте темными очертаниями лесов вырисовывается на светлом небе Юра, а налево, на расстоянии, смягчающем грехи современного строительства против здравого смысла архитектуры, выделяется город Лозанна, возвышающийся на последних склонах Жора.

На первом плане, из темной зелени виноградников выглядывает маленький городок Морж, кокетливо отражаясь в голубой воде озера.

От этой первой возвышенности можно в четверть часа дойти до деревни Монна, господствующей над глубоким оврагом, покрывающимся весною жонкилями.

Отсюда замок Вюффлан производит сильное впечатление: его зубчатые, с вышками, стены, его огромная башня, словом — все в этом почтенном памятнике старины, как будто на зло разрушающему действию времени, рассказывает нам о воинственной эпохе рыцарства. Углубляясь с удовольствием в созерцание этой картины, нельзя однако, не заметить другого, возвышающегося вблизи хорошенькой деревни Монна, замка более скромного и, может быть, менее известного, чем его

величественный сосед.

Замки, выстроенные в эпоху владычества Берна, носят на себе отпечаток какой-то сельской простоты. Их отвесные, покрытые красными черепицами крыши, их стройные башенки и окна с зелеными ставнями — все в них очаровывает и привлекает вас своею уютною приветливостью.

Огромные вязы и каштаны скрывают замок от нескромных взглядов и придают ему вид пристанища тихого счастья, куда не доходят шум и движение городов.

Такое впечатление производит замок Монна.

Однажды, когда любезный владелец этого замка принял меня у себя, я за беседой с ним заметил, что в числе портретов его предков, покрывающих стены, находилось несколько представителей знаменитого русского рода графов Головкиных: канцлер Петра Великого, а также умный и веселый граф Федор, российский посланник в Неаполе, и почтенная герцогиня Ноайль, вдова графа Александра Головкина.

С величайшею предупредительностью г. де-Ф-м объяснил мне эту загадку. Он рассказал мне, каким образом великий канцлер Петра I приходится одним из его предков и как ценные семейные воспоминания, вместе с частью архива графов Головкиных, нашли себе постоянное и безопасное место в замке Монна. Они там хранятся уже почти сто пятьдесят лет, оставаясь неизвестными большой публике и даже любителям. Один только женевский писатель, Люсьен Перей, с разрешения владельца этих интересных документов напечатал некоторые выдержки из них.

Я позволю себе здесь высказать мою глубокую благодарность г. Ф., теперешнему владельцу замка Монна, за то, что он благосклонно раскрыл свой архив также и для меня.

Его любезность сначала дала мне возможность выяснить некоторые темные стороны истории его предков в России и представить затем читателям *«Мемуары»* графа Федора Головкина с кратким очерком истории его рода.

Чтобы довести до конца взятую на себя задачу, я был так счастлив приобрести благонадежного и верного советчика в лице г. профессора Леонса Пэнго[33] из Безансона. Благодаря его неисчерпаемой любезности, я мог прибавить еще другие важные материалы к собранным мною в Монна.

Не менее важное значение для меня имело сотрудничество г. Фондэ де-Монтюссэна[34], который поделился со мною своими исследованиями в архиве министерства иностранных дел в Москве и которому я обязан депешами, бросающими своими странностями свет на необычайные приемы дипломата Головкина.

Наконец, я считаю своим приятным долгом поблагодарить г. профессора Ф. А. Фореля в Морже. Документы, которые он так любезно предоставил в мое распоряжение, не менее сообщенных мне, с такою же предупредительностью, г. Эмилем дю-Плеси в Лозанне, — способствовали выполнению моей задачи.

Еще одно слово по поводу портретов. Оригиналы портретов графа Федора и графа Юрия Головкиных находятся в Монна. Силуэт Екатерины II, вырезанный Станиславом-Августом, королем польским, взят из альбома автора «Мемуаров», так же как и портрет г-жи Нарышкиной, некогда столь известной милостями, расточаемыми для нее ее царственным поклонником.

Эта книжка отчасти содержит весьма любопытные воспоминания, из коих характерный образ князя Потемкина занимает первое место. Его весьма удачный портрет набросан графиней Головиной, урожденной Голицыной, автором интересных «Мемуаров»[35], которая обладала замечательным талантом рисовать портреты. Она в 1790 г. провела несколько месяцев в Яссах, главной квартире князя Потемкина, и видела его там, среди блестящей свиты, расточавшего свои ласки «прелестной Фанариотке», г-же де-Витт. «Князь обыкновенно наряжается в кафтан, обшитый соболем», — так она его описывает в своих «Мемуарах» и в таком же виде изобразила его на портрете.

Часть I
Головкины

Глава I
Великий канцлер

Бояре. — Первые шаги будущего канцлера. — Его родство с Петром Великим. — Определение на службу при опочивальне Ее Величества царицы. — Дальнейшая карьера. — Характер Головкина. — Первый российский «граф». — Русская аристократия. — Интимные черты. — Оргии Петра I. — Роль, которую играл в них великий канцлер.

Первый Головкин, образ которого выступает в новейшей истории России, был современником Петра I; это Гаврила Иванович, канцлер царского реформатора. Его предки не безызвестны русской генеалогии[36]; но интерес, который могли бы внушить бояре московского периода испытующему уму современного ученого, нельзя назвать историческим, ибо их индивидуальность слабо очерчена, благодаря отсутствию в их жизни принципов, некогда столь дорогих рыцарству запада, а именно — сознания чести[37] и свободы. И главнейшая добродетель заключалась в послушании и в изречениях: «Без вины виноват», «Богу и царю все возможно» и «Бит, но доволен»[38].

Есть основание думать, что предки Гаврилы Головкина ни в чем не отличались от других московских бояр. Подобно их собратьям, они наряжались в большие собольи шапки и восточные кафтаны, полы которых живописно распахивались от леденящих северных ветров; и подобно же им, они подобострастно простирались перед царем и били челом об пол, а когда представлялся случай или надобность в подаче высшему начальству челобитной, они учиняли на ней уничижительную подпись[39]. Наконец, они, как и все остальные, называли себя без вины виноватыми, находили, что Богу и царю все возможно, позволяли себя бить и были довольны!

Случайное обстоятельство способствовало, однако, возвышению Головкина среди окружавшей престол толпы. Некий Иван Раевский отдал свою дочь за Симеона Родионовича Головкина; ее сестра Прасковья, благодаря браку своей дочери с Кирилой Нарышкиным, стала бабкой Петра I.

Таким образом, у реформатора России и у Гаврилы Ивановича Головкина был один и тот же прадед.

В нынешние времена такое родство быстро забывается, но тогда воспоминания о нем заботливо сохранялись в праздной

атмосфере терема[40], где тяжелый, переполненный благовонными духами воздух и таинственный полусвет особенно способствовали болтовне старых кумушек, этих хранительниц преданий старины. Благодаря этим традициям Гаврила Головкин начал свою карьеру в должности «спальника» или камергера, состоящего при опочивальне Ее царского Величества, положение, считавшееся в доброе старое время царя Федора Алексеевича весьма завидным, ибо тот, кто его занимал, жил в постоянном общении с главою государства. По-видимому, служба Гаврилы Ивановича пользовалась одобрением, так как его, немного спустя, повысили на должность «постельника»[41], т. е. такого камергера, к обязанности которого относилась главным образом забота о содержании в чистоте и опрятности царского ложа.

Все это совершенно изменилось с воцарением Петра I. Азиатский этикет должен был уступить европейским нравам. Впрочем, молодой и энергичный государь мало заботился о чистоте своего ложа. Парадной постели он предпочитал медвежью шкуру, а во время похода, когда ему приходилось отдыхать, он заставлял одного из своих денщиков лечь на землю и клал свою голову на его живот, вместо подушки. Для такого выбора надо было обладать молодостью и хорошим пищеварением, ибо при малейшем движении денщика царь вскакивал и бил его немилосердно[42].

Таким образом, неумению своему наводить порядок в царской опочивальне, Головкин был обязан повышением на важное место государственного канцлера. Будучи сам очень трудолюбив, Петр ценил хороших работников, а Гаврила Головкин несомненно принадлежал к числу их. Устанавливая дипломатические сношения с Западной Европой, Петру пришлось создавать все из ничего. Я не стану приводит многочисленных договоров, заключенных канцлером. Это значило бы утомлять читателя перечнем пергаментов, не представляющих более интерес — с тех пор, как границы Российской Империи достигали с одной стороны Вислы, а с другой Тихого Океана.

Один заслуженный историк, обогативший несколько лет тому назад французскую литературу капитальным сочинением о Петре I, ставит Головкина в один ряд с «второстепенными сотрудниками» Петра. Я сомневаюсь, может ли подобная классификация быть оправдана историческими фактами! Имеет ли Петр I, вообще, «первостепенных» сотрудников? В этом я тоже сомневаюсь.

Конечно, никто из приближенных Петра I не имел мужества настаивать из необходимости нравственной реформы, потому что никто сам не чувствовал этой необходимости[43]. К несчастью, и

Головкин принадлежал к числу последних. Но в моих глазах его возвышает над остальными приближенными царя то, что он не злоупотреблял своим положением, как Меншиков, Ушаков, Толстой, Ромодановский и столько других. И я надеюсь, что в тот день, когда Петр I и его сподвижники предстанут перед Страшным Судом, от которого никто не может укрыться и на котором придирки и отговорки не будут приняты в расчет[44], — Гаврила Головкин окажется в числе тех, чьи поднятые к Всевышнему руки не будут обагрены кровью невинных жертв!

Одно обстоятельство в жизни Гаврилы Головкина заслуживает особого внимания. Он был *первый российский граф*[45]. Это достоинство было ему пожаловано Петром I в 1709 г., спустя два года после того, как он был произведен в графы Священной Римской Империи.

Два столетия прошли с тех пор, как была сделана попытка привить русским нравам это западное учреждение[46], но ее успех ограничился лишь установлением внешних форм. Нормальное развитие сильной родовой аристократии сделалось невозможным вследствие того, что эта аристократия постоянно вырастала от прибавления к ней новых членов, вышедших из подонков общества.

Петр I возвел в императрицы простую крестьянку легкого поведения, а «князь» Меншиков, бывший подмастерье булочника, стал первым сановником империи. То же самое повторяется при наследниках Петра: Бирон, внук конюха, кончил свою жизнь герцогом Курляндским; графы Разумовские, в своей молодости, пасли в деревне скот. Граф Кутайсов, своею ловкостью в бритье, приобрел расположение Павла I, того же самого, который однажды произнес азиатскую аксиому: «Я в своем государстве не признаю других вельмож, кроме тех, которым я делаю честь своею милостью, и лишь на то время, пока я им делаю эту честь». Наконец, в царствование Николая I Перовский[47] и Орлов[48] играли выдающуюся роль. Хотя их происхождение было далеко не из знатных, но они были возведены в графское и княжеское достоинство и стали приближенными самодержца.

Тем не менее, было бы большою ошибкою приписать неуспех аристократии в России исключительно неудачным мерам русских государей и надо полагать, что их попыткам привить русским правам понятия феодализма препятствовал демократический, в сущности, дух славян.

Недостаток серьезных материалов для нравственной характеристики Гаврилы Головкина придает некоторое значение заметке, находящейся в дневнике гольштинского посланника

Берхольца[49], которая сама по себе не представляет особенного интереса: «Великий канцлер, — рассказывает нам, день 5-го июля 1721 г., этот внимательный наблюдатель русских нравов, — лично встретил Его Высочество (герцога Голштинского) на лестнице, перед входом, и ввел его в комнату, наиболее ценное украшение которой состояло в огромном светло-русом парике. Этот предмет висел, в виде украшения, на одной из стен, так как, будучи чрезвычайно скупым, он (т. е. Головкин) никогда не надевает его; кажется, что этот парик ему привез его сын из-за границы, вопреки его желанию, или что он был ему поднесен кем-нибудь другим, так как, по его собственным словам, он не был достаточно богат, чтобы купить себе подобную вещь, а тем менее — портить ее ежедневным ношением. Головкин — высокий, очень худой, человек, одевающийся как можно хуже, почти как лицо низшего сословия; он чаще всего носит старый костюм серого цвета. Можно бы еще много рассказать про его скаредность и, если он не превосходит «Скупца» во французской комедии, то во всяком случае, может с ним сравниться. У него старуха жена, которая еще скупее его!»

Некоторые разбросанные сведения о жизни великого канцлера содержатся также в неизданных документах его правнука, графа Федора Головкина. «В повторявшихся часто оргиях Петра I, его великий канцлер играл большую роль, — рассказывает нам граф Федор. — Об этой части истории трудно говорить, не нарушая приличия, но она слишком интересна, чтобы совсем обойти ее молчанием. Регламент этих оргий[50] требовал, чтобы вокруг стола проносили живое изображение бога садов и никто из вельмож не оказался более подходящим для этого, как мой прадед. В тот момент, когда процессия трогалась с места, две дамы, из коих одна всегда была г-жа Чернышева[51], мать двух фельдмаршалов, брали обеими руками большое золотое блюдо, на которое великий канцлер клал необходимые атрибуты богатства, после чего начиналось шествие, с пением подходящих к случаю гимнов и возлиянием меда.

Эти нравы были очень грубы, но они не были русского происхождения и вызывали поэтому большое негодование в народе. Реформатор, находя национальное пьянство слишком грубым, заменил его другим, древнегерманского происхождения, с которым он ознакомился, во всей его омерзительности, при посещении за границей верфей и кабаков, которое он еще пересолил. Введение в России подобных сатурналий он считал началом цивилизации!»…

Подобно старому памятнику монархии, созданной заново Петром I, граф Головкин сохранил, в царствование Екатерины I и

Анны Иоанновны, до самой своей смерти если не власть, то по крайней мере внешнее положение первого министра, пользуясь благоприятными обстоятельствами для того, чтобы приобрести огромное состояние[52]. Он умер в 1734 г., не испытав горя быть свидетелем несчастья своих детей.

Глава II
Дети великого канцлера

Граф Иван. — Он ведет скромную жизнь в тени царского двора. — Петр I велит повесить сенатора Гагарина, тестя графа Ивана. — Место установки и необыкновенная высота виселицы. — Алексей Гаврилович, внук Ивана, — коллекционер редкостей. — В 1812 г. Московский музей превращается в пепел. — Граф Михаил, канцлер Ивана VI. — Его блестящая свадьба и карьера. — Катастрофа. — Одиссея в Сибири. — Супружеская привязанность графини Головкиной. — Возвращение графини. — Ее жизнь в Москве. — Дочери канцлера Гаврилы Ивановича. — Трагическая судьба Анны Бестужевой.

Иван, старший сын канцлера, поступил на дипломатическую службу и занимал некоторое время место русского посланника в Гаге.

Как человек посредственных дарований, он давно был бы забыт в России, если бы его имя не приводилось кое-где в биографиях Тредьяковского, русского поэта, лишенного большого таланта, но еще не забытого, благодаря тому, что в его время поэты встречались в России весьма редко. Тредьяковский, сын бедного попа, возымел необыкновенную в то время мысль учиться за границей. В Голландии он нашел приют в гостеприимном доме русского посланника Головкина и провел там целый год. Это почти все, что мы знаем о частной жизни Ивана Гавриловича, и надо полагать, что она не отличалась романтизмом, если верить графу Федору, который выражается весьма лаконически на счет своего двоюродного дяди и, вместо всякой биографии, только в нескольких словах говорит о нем, что «он вел скромный образ жизни в тени Двора».

Этот скромный образ жизни был, однако, потрясен грозовым ударом, поразившим его родных. Его тесть, князь Гагарин, Сибирский губернатор, обвинявшийся в разных служебных злоупотреблениях, должен был, летом 1721 г., предстать перед судом. «Его семь раз подвергали пытке, но не могли добиться от него признания вины. Наконец, его присудили к повешению, против Сената[53], на более высокой виселице, чем обычно полагалось, так как, будучи губернатором, он в то же время был сенатором. Тело князя было оставлено на виселице, но сенаторы, крайне смущенные иметь его, во время заседаний, перед глазами,

неоднократно входили к Петру с представлениями, умоляя его распорядиться о снятии тела и указывая на то, что присутствие его унижает в глазах народа их почтенное учреждение, вызывает к ним презрение тех, кого они призваны судить, и подрывает подобающее им послушание. Наконец, Петр, которому эти ходатайства надоели, приказал убрать тело и повесить его на обыкновенной виселице».

Внук Ивана — Алексей Гаврилович Головкин — был последним представителем этой, так называемой русской ветви Головкиных. «Он не пожелал жениться, — говорит о нем граф Федор, — также как и его сестра Елисавета не вышла замуж, и, затратив все свои богатства на покупку картин, камней, статуй, минералов и тысячи различных редкостей[54], был свидетелем, как при занятии Москвы французами, его музей один из великолепнейших в то время, превратился в пепел[55]. Он сам сошел со сцены этого мира в 1823 г. вследствие недостатка средств к продолжению подобающего его положению образа жизни. Вместе с ним прекратилась только что зацветшая ветвь его рода, и исчезли огромные богатства, выпавшие на его долю».

Александр (1689–1760), второй сын канцлера, сделался родоначальником второй, так называемой заграничной, ветви Головкиных. О нем будет речь в третьей главе.

Трагическая участь постигла младшего сына великого канцлера, Михаила (1701–1744). Благодаря своему браку с Екатериной Ивановной Ромодановской, дочерью «князя-кесаря», Федора Юрьевича, он, казалось, обеспечил себе блестящую карьеру и огромное состояние. Михаил Головкин вступил в жизнь с необыкновенным блеском. Царь удостоил его, как своего любимца, чести личного своего участия в устройстве его свадьбы и так добросовестно взялся за это дело, что под вечер все приглашенные, не исключая самих новобрачных, уже не были в состоянии удержаться на ногах.[56]

Карьера Михаила Головкина, при преемниках Петра I, становилась менее быстрой, чем можно было ожидать по ее началам. Под руководством своего отца, старого и хитрого канцлера, Михаилу удалось избежать отмели и подводные камни, которые в царствование Екатерины I угрожали всем приверженцам старорусской партии, враждебной Меншикову. Восшествие на престол Петра II, а затем императрицы Анны, двоюродной сестры его жены, избавило его от всяких забот, но, вследствие его легкомысленного характера, не дало ему также такого политического положения, какое в России так часто предшествует быстрому падению. Тем не менее, во время регентства Анны Леопольдовны честолюбие побудило его принять

должность вице-канцлера императора-ребенка Иоанна Антоновича. Это было его несчастьем. За произведенным Минихом, ночью государственным переворотом последовал другой переворот, учиненный Елисаветой. Миних, Остерман, Левенвольде и Головкин сделались его жертвами и Сибирь была их участью.

Я не буду повторять исторических данных, приводимых Гельбигом[57], князем Яковом Петровичем Шаховским[58], саксонским посланником Пецольдом и многими другими об этой катастрофе. Они слишком хорошо известны не только ученым, но и большой публике, особенно благодаря уменью, с которым они описаны одним из наиболее изящных историков этой эпохи[59].

Мы имеем также подробное описание ссылки, которую перенесли Михаил Головкин и его жена в Восточной Сибири, и обязаны этим описанием перу Хмырова. Следуя приемам славянофилов, старавшихся окружить московский период русской истории блестящим ореолом, этот историк часто сопровождал свой рассказ, за неимением достоверных сведений, фантастическими прикрасами, но то, что он рассказывает об одиссеи супругов Головкиных в стране якутов, основано на тщательном исследовании документов того времени[60].

В течение более чем двух лет несчастные блуждали по обширным пустыням этого ледяного края, отыскивая место своей ссылки. Но приведем здесь слова графа Федора. Его рассказ хотя в некоторых отношениях и не совсем точен, но все же имеет то преимущество, что основывается на сообщениях одного из главных действовавших лиц этой драмы — графини Головкиной, урожденной Ромодановской.

«Любимец своего отца, — говорит граф Федор, — очень красивый и прекрасно воспитанный, младший из трех братьев, Михаил, имел быстрый и блестящий успех. Назначенный в молодые годы посланником в Берлине и в Париже, он скоро вернулся оттуда[61], чтобы занять место вице-канцлера[62] или министра иностранных дел под руководством отца. Его женили на Екатерине, последней представительнице древнего рода Ромодановских и двоюродной сестре по своей матери, великой княжны, а впоследствии императрицы, Анны. Ее отец был известен под названием «князя-кесаря», потому что он занимал трон каждый раз, когда Петр I жаловал самому себе чины и награды, которые он, по его мнению, заслужил перед государством.

Петра I, Екатерины I и Петра II уже не было в живых; скончался также и великий канцлер Головкин, первый российский граф. Маленький принц Бранушвейгский наследовал

престол под именем Иоанна VI, под опекой своей матери, урожденной принцессы Мекленбургской, женщины без характера, опиравшейся, с одной стороны, на герцога Ульриха, своего мужа, в чине генералиссимуса, но без власти и без дарования, а с другой стороны — на графа Линара, саксонского посланника, своего любимца, которые не знали, ни страны, ни ее обычаев, ни духа народа, ни его языка, и поэтому не могли управлять Россией. Вся забота управления лежала таким образом на графе Головкине, и он был того мнения, что правительнице следует как можно скорее отправиться в Москву, чтобы быть там вместе с сыном помазанной на царство. В его намерение входило также, чтобы в этой поездке приняла участие Елисавета, дочь Петра I и Екатерины I, честолюбивая принцесса, которую он предполагал на второй же день поездки заключить в монастырь. Так как ему надоело делать по этому поводу устные представления, на которые не обращали должного внимания, он изложил свой проект письменно и послал его с доверенным лицом, неким Грюнштейном, во дворец. Но этот человек был подкуплен[63] и начал с того, что передал пакет Елисавете, которая, прочитав и запечатав его снова тщательно, послала его правительнице. После этого Анна Леопольдовна, наконец, согласилась с доводами вице-канцлера и отъезд был решен; но, желая еще отпраздновать в С.-Петербурге день св. Екатерины, именины ее дочери, правительница дала заговорщикам время помешать этому проекту и революция разразилась в самую ночь перед праздником. Со всеми, кто не подчинился лейб-хирургу Лестоку и горсти гвардейских гренадер, которые возвели Елисавету на престол, было поступлено с неслыханною жестокостью. Первые удары постигли вице-канцлера. На предложение принести присягу новой императрице, он ответил холодно: «У меня только одна присяга и она принадлежит императору младенцу; когда он умрет, я последую примеру всей империи». Его тотчас же обвинили в измене крови Петра Великого и стали собирать самые противоречивые улики к его обвинению. Фельдмаршал граф Миних в своих «Мемуарах»[64], хранящихся в королевской библиотеке в Берлине, доходит до утверждения, будто граф Головкин, на основании своего родства с последней императрицей, старался установить право на престол в пользу своей собственной семьи. Но какую ему пришлось бы иметь за собою сильную партию, чтобы добиться этой цели, если даже принцы, призванные, в большей или меньшей степени, к престолонаследию по праву рождения, могли удержаться на троне не без большого труда? Подобные утверждения, поэтому, не заслуживают даже опровержения. Головкин был присужден к

обезглавлению, но на эшафоте ему была объявлена монаршая милость; но какая милость! Он был лишен дворянства и чинов и сослан на поселение, с конфискацией всего его имущества. Его супруга, Екатерина Ивановна Головкина, поставила судей в некоторое затруднение. Это была женщина такого знатного происхождения и такой высокой нравственности, окруженная, к тому же, таким почетом, что суд не решался постановить о ней приговор; а так как ее муж ограничивался, в сношениях с ней, одним уважением, то ей предоставили выбор: или следовать за ним в ссылку, или же развестись с ним. Но она его любила неблагородным и пожелала следовать за ним в его несчастье. Тогда и ее огромное состояние было подвергнуто конфискации. Обоих супругов обездолили до такой степени, что старик Чернышев, отец трех сыновей, ставших впоследствии знаменитыми, с трудом и рискуя своею собственною свободою, добился того, чтобы им дали овечий тулуп и двадцать два рубля деньгами.

Головкины, с высоты своего величия и восточной роскоши, пали в глубокую нищету и были переданы в руки одного лифляндца, поручика Берга[65], которого я впоследствии знал генералом и комендантом Риги. Он сопровождал их до Иркутска, где его ожидал приказ передать надзор за ними другим лицам. Там теряется их след. Из многочисленных слуг и крепостных, окружавших их раньше, осталось лишь двое, которых нельзя было заставить расстаться с ними. Их слепая и трогательная привязанность ускользнула от бдительности тиранов[66]. Г-жа Головкина мне потом часто рассказывала, как они сначала питались дикими кореньями и малоизвестными снадобьями, которые им доставляли шаманы, или жрецы, кочующих в этих обширных и пустынных странах инородцев; ее муж вскоре скончался[67], но ей, с помощью тех же преданных слуг, удалось набальзамировать его труп и сохранить его в землянке, которую они выкопали. Там они оставались в течение более чем двадцати одного года».

«Когда Екатерина II взошла на престол, она приказала вернуть графиню Головкину из ссылки, но прошло почти два года пока ее отыскали. Фельдмаршал князь Трубецкой[68], ее зять, который в отношении ее был далеко не безупречен, напрягал все свои усилия, чтобы воспрепятствовать ее возвращению, — но безуспешно. Она, наконец, прибыла в Москву и привезла с собою прах своего мужа, позаботившись, первым делом, предать его земле со всеми почестями, подобавшими ему по праву рождения и должностей, которые он занимал при жизни. Но их состояние уже давно было роздано фаворитам покойной императрицы.

Тогда Екатерина II пожаловала ей четыре тысячи душ и пенсию в четыре тысячи рублей. Она поселилась в древних хоромах своего отца «князя-кесаря», но вскоре после того ослепла. На мой вопрос, не произошло ли это от несчастного случая, она ответила: «Несчастный случай! Я не переставала плакать в течение двадцати трех лет!» Тем не менее она жила с величавой простотой древних бояр и принимала во всякое время всех, кто желал ее видеть; и все шли к ней, как на поклонение национальной святыне. В дни Нового Года и Пасхи я стоял за ее креслом и для меня было внушительным зрелищем видеть, как все классы общества и все возрасты толпились вокруг этой старухи, которая не могла их видеть, но слышала все, что они говорили. Когда она скончалась, ей недоставало всего несколько месяцев до ста лет[69], причем она сохранила все свои способности, кроме зрения и памяти о событиях второй половины ее жизни; т. е. она помнила все подробности, касавшиеся Петра I, его Двора и роли, которую при нем играл ее отец; помнила также почести, которые ей оказывали при Анне Иоанновне, происходившей от Салтыковых, как и она сама; помнила, как она, будучи в Париже, разговаривала с Людовиком XIV и гуляла в Версальских садах с этим королем и с г-жей Мэнтенон; помнила свою жизнь в Берлине и в Вене, а также на границах Камчатки. Но все, что произошло со времени ее возвращения оттуда и даже то, что было накануне, она забывала».

Дочери Гаврилы Ивановича Головкина сделали блестящие партии, как это можно было ожидать от высокого положения их отца, но несчастье коснулось их не менее их братьев.

Наталия Гавриловна (1689–1726) вышла замуж за генерала-аншефа Ивана Федоровича Барятинского[70].

Анна Гавриловна[71] вышла замуж за графа Павла Ивановича Ягужинского. «Сын школьного учителя и органиста лютеранского прихода в Москве, Ягужинский начал свою карьеру чистильщиком сапог, соединяя это занятие с другими, о которых приличие не позволяет говорить, — пишет Вебер, — и кончил свою жизнь генерал-прокурором генерал-аншефом, министром и графом»[72]. Карьера — великолепная и сам он, по-видимому, не был настолько дурным, чтобы внушить своей жене отвращение к браку, ибо, спустя несколько лет по смерти Ягужинского, его вдова вторично вышла замуж за Михаила Петровича Бестужева, брата канцлера Алексея Петровича. Высокое происхождение Анны Гавриловны и важные должности, которые занимали Бестужевы[73], не спасли ее от ужасной участи. Замешанная без всякой вины с ее стороны в известное «дело Ботта», она в числе многих других обвиняемых, из коих нашего сочувствия, главным

образом, заслуживает прелестная Наталия Лопухина, была обречена на все ужасы пытки. Последнее действие этой драмы разыгралось на эшафоте и в Сибири, и сопровождалось кнутом, обрезанием языка и бесконечными страданиями.

Сестра Анны Гавриловны, Анастасия Головкина, была избавлена от ужасных несчастий, постигших Анну Бестужеву. Но была ли она счастлива в своей супружеской жизни?[74] Можно ли говорить о счастье с таким мужем, как фельдмаршал Никита Юрьевич Трубецкой, который положил все свои старания на то, чтобы погубить своего шурина, вице-канцлера Михаила Головкина, и воспользоваться его несчастьем! Его интересный дневник дает понятие о его черством, скупом и честолюбивом характере[75].

Но, умирая, он раскаялся в своих многочисленных злодеяниях и даже, послав за вдовой Михаила Головкина, бросился к ее ногам и, вырывая на себе волосы, воскликнул: «Сестра, простите меня, ваше несчастье в значительной степени было делом моих рук! Моя совесть меня мучит, и я чувствую, что если вы меня не простите, меня на том свете ждут ужасные муки»[76]. Она его простила и в течение всей своей последующей жизни служила панихиды об упокоении его души.

Глава III
Заграничная ветвь Головкиных

Александр Гаврилович. — Его молодость и воспитание. — Петр I предоставляет выбор его невесты королю прусскому. — Графиня Екатерина Дона. — Дипломатическая карьера Александра Гавриловича. — Торг великанами. — его жизнь в Гааге. — Несчастья его брата Михаила отражаются также и на нем. — Рассказ в передаче графа Федора. — Императрица Елисавета тщетно призывает в Россию детей посла. — Двор Елисаветы. — Верность Чулкова. — Переписка Императрицы с графом Александром.

Александр Гаврилович Головкин (1689–1760), второй сын канцлера Петра I, был родоначальником, так называемой, заграничной ветви Головкиных. Звон колоколов святой Москвы убаюкивал его детство, и никто из тех, кто видел, как маленький Саша играл со своими товарищами, в тени фантастических глав Кремля, не мог подумать, даже если бы его стали в том уверять, что это московское дитя со временем сделается отцом и дедом многочисленного потомства в Голландии, Пруссии и Швейцарии, но только не в России, и что его потомки к тому же будут тесно связаны с реформатскою церковью.

Александр уже в ранней молодости был послан в Берлин, где он поступил в академию, основанную королем Фридрихом I[77]. Будучи еще почти ребенком, он попал в число лиц, которых Петр I отличил своею особою милостью, и был в 1711 г., не более двадцати двух лет от роду, назначен чрезвычайным посланником при берлинском Дворе, где он пробыл до 1727 г. В 1715 г. он женился на графине Екатерине Дона, заключив этот блестящий союз благодаря могучей протекции царя. «Во время осады Штральзунда, — рассказывает граф Федор, — Петр I просил прусского короля отыскать богатую и знатную невесту для его посланника. Фридрих I, стараясь во всем угодить императору, выбрал графиню Екатерину Дона, наследницу бургграфов Дона[78], состоявшую через свою мать в родстве со всеми династиями Севера, а через свою бабку, Эсперансу Пюй де Монбрэн, со всеми знатными родами Франции.

Заслуги графа Александра перед Россией — многочисленны и нашли себе должную оценку. На его долю, главным образом, выпала задача вести переписку с немецкими учеными, которые приглашались в Петербург для пополнения ими рядом вновь

созданной Академии наук[79].

Как ловкий дипломат[80], он играл решающую роль на конгрессах в Суассоне и в Брауншвейге. Проворный и подвижной, он заключил много договоров с иностранными государствами, которые потом были скреплены его отцом, канцлером Головкиным. Здесь не место входить в подробности его дипломатической деятельности, но следует все же упомянуть о некоторых обстоятельствах жизни Александра Головкина.

Те из наших читателей, которые знакомы с многочисленными историческими мемуарами восемнадцатого столетия, наверное перелистывали хорошо известные сочинения Фридерики Софии Вильгельмины, маркграфини Байрейтской. Они вспомнят о впечатлении, которое произвело на молодую принцессу посещение Берлина Петром I и его супругой. «Ему показали, — пишет она, — все, что было замечательного в Берлине и, между прочим, кабинет медалей и древних статуй. В числе последних, как мне передавали, была одна языческая богиня в крайне неприличной позе: во времена древних римлян такими изображениями украшали комнаты новобрачных. Эта статуя считалась большою редкостью и, в своем роде, одной из самых красивых на свете. Царь очень восхищался ею и приказал царице ее поцеловать. Когда же она стала отнекиваться, он рассердился и сказал ей на ломаном немецком языке: «Кор ab»[81], что означало: я велю отрубить вам голову, если вы мне не повинуетесь. Царица испугалась и сделала, то чего он требовал. Петр без обиняков выпросил себе эту статую и еще несколько других вещей у короля Фридриха, который не решался отказать ему в его просьбе. То же он сделал относительно одного кабинета, разукрашенного панелями из янтаря, который, к общему огорчению, тоже пришлось отправить в Петербург». Пересылка этого драгоценного подарка из Берлина в Мемель выпала на долю графа Александра Головкина.

Этот анекдотический эпизод, описанный остроумной маркграфиней заслужил бы, конечно, участь многих других анекдотов — быть преданным забвению, если бы с ним не были связаны другие, более важные события. Кто дарит, — тот может рассчитывать и на ответный подарок. Кабинет из янтаря был щедро оплачен Петром I, который послал для гвардии прусского короля тридцать пять великанов, лодку, кубок, выточенный им самим, и токарный станок, который поныне можно видеть в Берлине в Гогенцоллернском музее. Правда, что начала союза между Пруссией и Россией не лишены некоторого комизма и что эти подарки людьми, взамен неодушевленных предметов, отнюдь не способствовали укреплению дружбы между обеими великими

державами[82].

Не подлежит сомнению, что эти посылки русских великанов сопровождались продолжительной и сложной перепиской со стороны графа Александра. К сожалению, русские историки до сих пор еще не нашли документов, относящихся к этому вопросу.

Головкин оставался на своем берлинском посту до 1727 г., когда он был переведен в Париж[83]. В 1731 г. мы встречаемся с ним в Гааге. В это время, когда сношения между Францией и Россией были еще мало развиты, место посланника при Нидерландских Генеральных Штатах вовсе не считалось менее важным, чем посольство в Париже.

В то время, как и теперь, Гаага была прелестным местопребыванием, оживленным присутствием иностранных дипломатов. Барон Карл Людвиг фон Пэлльнитц[84], этот остроумный рассказчик, говорит о ней с умилением. Он не забывает графа Головкина и, перебирая представителей иностранной колонии в Гааге, пишет: «Граф Головкин, полномочный посланник России, занимает это место, пользуясь общей симпатией всех тех, кто его знает. Он настолько же учтив и благороден, насколько климат, в котором он родился, суров. Его ум и мягкость его характера всеми уважаются. Во время своего пребывания в Берлине, он женился на дочери покойного графа Феррасьер де-Дона, который, к несчастью, был убит под Денэном, состоя в чине генерал-лейтенанта на службе Генеральных Штатов. Она — высоконравственная дама, окруженная самым очаровательным семейством, какое можно себе представить».

Немилость его брата была ударом молнии, поразившей мирную жизнь графа Александра. «Легко можно себе представить — пишет граф Федор в своих «Воспоминаниях» — те чувства и мысли, которые им овладели в это время. Трепеща за свою участь, за своих детей и за свое состояние, будучи женат на женщине, принесшей ему в браке столько же претензий, сколько детей, и имевшей повсюду родственников, которым она поверяла весь ужас, внушаемый ей Россией и ее государыней, — он только и думал о том, как бы найти средства, чтобы, не возбуждая подозрений и преследований, отстраниться от дел. И как раз в это время Елисавета написала ему письмо, предложив ему место великого канцлера».

«Весьма возможно, что ему следовало принять это предложение и что он этим мог спасти своего брата; но гордость и набожность его жены удержали его от такого решения. Я уже заметил, что между нею и императрицею возникла длинная переписка на немецком языке[85], которая сохранилась, как памятник того, до чего в деспотической душе может дойти

желание настоять на своем. Елисавета предлагала для старшего сына графа Александра, Ивана, еще очень молодого человека, чин тайного советника, Александровскую ленту и руку единственной дочери великого канцлера графа Воронцова[86], которая впоследствии вышла за графа Строганова[87]; но все эти попытки и обещания милостей не имели успеха. Кончилось тем, что был заключен договор, согласно которому миссия в Голландии была возведена в постоянное посольство для моего деда, которому Генеральные Штаты, в знак благодарности за некоторые услуги, оказанные им на Суассонском конгрессе, предоставили в пожизненное пользование знаменитый замок в Рисвике».

Рассказ графа Федора несомненно отражает душевное состояние посла, но не будет ли рискованным придавать абсолютную веру подробностям, которые он содержит? Правдоподобно ли, чтобы между императрицей Елисаветой и графиней Головкиной происходила такая большая переписка, которая могла бы наполнить целую папку, и чтобы подобная переписка оставалась до сих пор неизданной, особенно после того, как такой любитель редких документов, каким был князь Лобанов-Ростовский, занимался этим вопросом? Я в этом сомневаюсь! Жизнь этой государыни, столь популярной среди ее подданых, текла спокойно. В ее царствование мы не встречаемся со скукой. Пышность Двора усугубляла блеск короны. Шумные празднества чередовались с благочестивыми путешествиями на богомолье, и вокруг центральной звезды — самодержицы Всероссийской — двигались ослепительные метеоры, недавно выскочившие из тени. То были Разумовские, Шуваловы и целая плеяда менее значительных спутников. Вихрь удовольствий не прекращался ни днем, ни ночью.

Императрица никогда не ложилась спать рано. Государственный переворот, благодаря которому она добилась власти, произошел ночью и напоминал ей об опасностях, которые скрываются в ночной тишине. Верный Чулков следовал за нею в опочивальню. Днем он был камергером, генерал-аншефом, Александровским кавалером, а ночью — становился «истопником», топившим раньше печи, и раскладывал свой маленький тюфяк на полу, возле ложа императрицы. А старые кумушки, состоявшие на услужении Ее Величества, начинали свое дело. Почесывая пятки своей повелительнице, они вполголоса беседовали о сплетнях двора. От поры до времени Чулков вмешивался в их разговор, чтобы положить конец их злословию, при чем он «иногда выражался такими словами, которые, приличия ради, не следовало бы произносить во дворце»[88].

Императрица вставала после полудня и приступала тотчас же

к своему туалету; у нее было 15 000 платьев… Если принять все это во внимание, то поневоле является сомнение, могла ли Елисавета найти свободное время, чтобы написать графине Головкиной целую папку писем?

До сих пор нам известны только два рекскрипта императрицы Елисаветы на русском языке графу Головкину[89]. Князь А. Б. Лобанов огласил их, не предупредив нас, однако, из какого архива он их почерпнул.

Вот эти рескрипты:

I

«(По титулу), Высокоблагоурожденный наш любезноверный,

Мы рекомендуем вам старание в вашем месте приложить: несколько птиц, маленьких параклетов, которые наилучше к разговорам человеческим привыкают и говорят, и несколько же белых канареек, кои минуэты и другие маленькие арии свистать могут, приискать и купить. И сколько возможно будет их сыскать, то оных с пристойными клетками сюда ко двору нашему, на отходящих оттуда кораблях, сколь скоро возможно, отправить: а сколько вы на то денег издержите, о том в нашу коллегию иностранных дел доносить имеете, которые потому вам немедленно заплачены и переведены будут. Впрочем пребываем и пр.

Елисавет».

«Дано в С.-Петербурге, Апреля 22-го дня 1746 г. Подписал: гр. Алексей Бестужев-Рюмин. Д. т. сов. чрезвычайному и полномочному послу, графу А. Г. Головкину».

II

«Божиею милостию, мы Елисавет Первая, императрица и самодержица всероссийская и пр. и пр. и пр.

Нашему действительному тайному советнику, чрезвычайному и полномочному послу графу Александру Головкину.

Мы к удовольствию и с похвалою слышим о тех качествах и поведении, в которых ваши сыновья

находятся, но не без удивления токмо сие усматриваем, что хотя они, особливо старшие, довольно уже возрастны суть, однако ж вы их всех еще при себе без всякой от них могущей быть пользы содержите, а сюда, для поступления по достоинству их на нашу службу ни одного не пришлете; ежли б иногда к вам тому некоторое сумнительство или опасение, случившиеся с братом вашим, ниже для вас, ниже для детей ваших ни малейшим примером быть не может; яко он себя несчастливым учинил, сам на себя и ответствует; а впрочем мы довольно памятуем, колико наши, в бозе почивающие Государи Родители, как покойного вашего отца, так и вас всех, детей его для оказываемой к Их Величествам от времени до времени верности и добрых услуг в своей Высочайшей милости всегда содержали, в сем обыкновенно и мы Высокоупомянутым Родителям в рассуждении вас для оказуемой и Нам прямой верности и службы вашей не инако, но совершенно последовать хощем, да и брат ваш равномерно тем же всегда пользоваться мог бы, ежели б он с прочими в толь тяжкие преступления себя не уклонил, и яко вы по сему довольно видеть можете, что не будучи от вас никакое участие в делах и преступлениях брата вашего, Наша Высочайшая Милость к вам не только ни малейши не отъемлится, но оную и дети ваши продолжительно возимеют; того и Наше-ж Всемилостивейшее намерение и соизволение есть, дабы вы своих старших сыновей сюда к нам отправили, которых мы в службу при Нашем Дворе весьма охотно увидим и, как по собственному их достоинству, так и для знатности их фамилии, размеряемыми чинами Всемилостивейше не оставим, а впредь, по усмотрению и в Министерстве Нашем, где-либо при чужестранных дворах употребить их толь наиначе склонны будем, понеже мы слышим, что они по своим наукам и не бесполезны быть могут. И пребываем вам впрочем и пр.

«Дан в Санкт-Петер-Бурге октября 27-го дня 1746 г. (на подлинном). «Елисавет».

Воздействие, которое должен был иметь этот последний рескрипт, заставило себя ждать долгие годы[90] двое из сыновей посла появившись в России в начале царствования Екатерины II. «Старший, — рассказывает граф Федор, — принял даже место посланника при городе Данциг и заседал в комиссии о сочинении

проекта нового уложения; но оба брата привезли с собою на родину много претензий и легкомыслия, и снова уехали оттуда навсегда и тем легче, что иностранки, на которых они были женаты, не подарили им детей».

Александр Гаврилович никогда не возвратился в Россию. На портрете, нарисованном карандашом графом Анри Огюст де-Сэн-Жорж[91], он изображен стариком в халате, сидя в кресле, в одной из комнат Рисвикского замка. Большой парик покрывает его голову. Его лицо выражает спокойствие и веселость и на нем можно как будто прочесть: «Я здесь и не уйду отсюда». И он хорошо сделал, что остался в Голландии. Совершенные им с точки зрения русских законов проступки были исключительно тяжки. Он не только отказался вернуться на родину, когда государыня его туда звала, но под влиянием своей жены, ревностной протестантки, даже принял реформатскую веру[92].

Остаток своих дней посол и его супруга посвятили заботам о своих детях. У них было не менее двадцати пяти детей[93], из коих лишь восемь достигли зрелого возраста. Благодаря сильной протекции, обеспеченной им высоким происхождением их матери, они все получили выгодные места.

Глава IV
Граф Александр Александрович

Головкин-«философ». — Он оригинал, но хорошего пошиба. — Пребывание в Монна и в Лозанне. — Общество в Лозанне. — Супруга графа Александра, впоследствии герцогиня Ноайль. — Граф принимает предложение Фридриха II прусского и становится «директором спектаклей». — Фридрих II и театр. — Краткое пребывание Головкина в Берлине; он удаляется в Париж. — Его странные взгляды на воспитание. Их применение к собственным детям. — Его переписка с Павлом I, Императором Всероссийским.

Граф Александр Александрович Головкин, сын посла в Гааге, был, то что называют «оригиналом».

Современники называли его «философом».

Окончив курс учения в Голландии, он ужаснулся при мысли, что хотя его учителя всегда были им довольны, но что он все же ничего не знает. «Вот, — сказал он однажды Дьёдонне Тьебо[94], — время учиться для меня прошло, а я ничего не знаю! Виноваты ли в этом те, кто должны были меня учить? Нет, это хорошие люди, обладающие как усердием, так и знаниями. Не виноваты ли книги, которые меня заставляли изучать? Но могла ли вся Европа в течение веков ошибаться при их выборе и с всеобщего согласия вручать молодежи такие книги, которые ничему не научили бы ее? Это тоже невозможно. А потому, если я ничего не знаю, то это моя собственная вина. Стало быть, надо начать снова и сделать лучше». «Таким образом, — рассказывает Тьебо, — он без посторонней помощи вторично прошел все классы, изучая один в своей комнате по порядку и по лекциям все те книги, которые он проходил раньше, и размышляя по мере сил и возможности над мельчайшими подробностями их содержания. Эта работа отняла у него несколько лет и имела двойную пользу — приучить его к сидячей жизни и к размышлению». «Если я что-нибудь знаю, — говорил он мне потом, — то я этим обязан вторичному курсу наук, убедившему меня, по крайнем мере, что мы знаем только то, чему мы сами себя учим».

Ученый пыл молодого графа является тем более похвальным, что родители предназначали ему прелестный замок, расположенный на берегу Женевского озера, и что в те времена для владельца замка не требовалось больших знаний. В 1761 г. граф Александр принес присягу швейцарским властям в Берне и в

виду последовавшей тогда же в Гааге смерти отца, переселился в свой замок Монна[95]. Но большую часть года он имел привычку проводить в деревне, у подножия Мондриона, близ Лозанны. Теперь еще можно видеть сельский дом, окруженный старинными кедрами, где раньше жил Вольтер, потом принц Людвиг Виртембергский и, наконец, граф Головкин.

Это были лучшие дни для Лозанны. Как столица земледельческой страны[96], она собирала в своих стенах всю сельскую аристократию. Громкие имена ваатландских владельцев напоминали героическое время давно минувших дней, но их просвещенный ум и изящные манеры соответствовали тому веку, в котором они жили. Общественная жизнь в Лозанне соперничала в приятности с красотою очаровательной природы. Живописный силуэт древней Лозанны, окруженной зеленью виноградников и многочисленных фруктовых садов, вызывал восхищение путешественников не менее величественных вершин Савойских гор и извилистых очертаний Женевского озера.

Все эти преимущества имели магическое влияние на знатных иностранцев, стекающихся со всех сторон, чтобы поселиться в Лозанне, как например, Гиббон, Вольтер, маркиз Лангалльри, Серван, Разумовский, принц Людвиг Виртембергский и много других, в числе которых граф Александр Головкин, несомненно, занимал место, принадлежавшее ему по праву рождения и образования.

Все это общество развлекалось, веселилось и занималось, смотря по средствам и наклонностям каждого. Гиббон писал историю Нидерландов, Вольтер ставил театр, Разумовский занимался естественной историей Жора; принц Людвиг Виртембергский наконец основал «Лозанское общество нравственности», члены коего принимал на себя обязанность просвещать друг друга путем разговоров и переписки. «Маленький журнал предназначался к распространению просвещения, которое должно было расцвесть от общения людей, из коих некоторые с основательными достоинствами соединяли непринужденный и веселый нрав; но в конце двух месяцев этот журнал, под заглавием «Аристид или Гражданин», надоел обывателям Ваатланда и перестал учить их нравстенности»[97].

Головкин, хотя и был философом и приятелем принца Виртембергского, но не принадлежал к активным членам «Общества нравственности». Научные занятия, тихие радости домашнего очага и дружба с знаменитым доктором Тиссо всецело наполняли его жизнь. Он женился на дочери профессора Иогана Лоренца фон Мосгейма, глубокая ученость, изящное красноречие и литературная производительность которого долгие годы

украшали кафедры богословия в Гельмштедте и в Геттингенте.

Автор этого вступления неоднократно, с одинаковым интересом и удовольствием, рассматривал портрет графини Головкиной, урожденной фон Мосгейм. Хотя художник представил ее уже не в расцвете молодости, но ее лицо, с тонкими и умными чертами, все же сохранило на этом портрете следы чудной красоты. Ее задумчивый взгляд обнаруживает чувствительную душу. Известно, что она до такой степени была тронута трагическими приключениями французских эмигрантов, что стала ангелом-утешителем одного из самых знаменитых, но не менее других испытанных судьбою эмигрантов, Жана Поля-Франциска, герцога де Ноайль, мать, жена и дочь которого сделались в один и тот же день 4-го термидора года 11 (22 июля 1794 г.), жертвами гильотины. Он в 1796 г. женился на овдовевшей еще в 1781 г. графине Головкиной и прожил с нею до 1823 г., в усадьбе Юттэн (Uttins), близ Ролля.

В 1765 г. мирное пребывание Головкиных в Лозанне и в Монна было прервано неожиданным предложением со стороны прусского короля. При его дворе освободилась вакансия «директора спектаклей», и Фридрих II считал Головкина достойным занять это место. Вспомним кстати, что две сестры графа Головкина были замужем за членами прусской аристократии: одна из них, графиня Камеке[98], была на очень хорошем счету у Фридриха Великого. Надо полагать, что граф Александр Александрович был обязан этим неожиданным предложением женским влиянием. Друзья Головкина, впрочем, сомневались в прочности его нового положения. Доктор Тиссо, между прочим, писал ему 22 марта 1765 г. следующее[99]:

«Я, милостивый государь, всегда предпочитал счастье моих друзей своему собственному; поэтому, если бы Вы могли мне сказать: мое новое положение сделает нас счастливее, чем мы были раньше, — я в этом нашел бы утешение моей скорби по поводу Вашего отъезда и охотно пожертвовал бы своим удовольствием ради Вашего; но я должен Вам сознаться, что я несколько дней подряд сомневался в достоверности первого известия о Вашем приглашении к берлинскому Двору. Мне было трудно согласовать его с Вашей любовью к свободе, которую я считал для Вас столь дорогой, а характер этой должности казался мне несовместимым с отвращением, которое Вы питаете к шумным удовольствиям или, вернее, к шуму удовольствий. Но письмо устранило мои сомнения, и я теперь вижу, что ласки короля, слишком хорошо знающего людей, чтобы не осыпать Вас ими, а также просьбы Ваших родственников, которым Вы сердечно преданы, и приятность блестящей среды, изысканного

общества и хорошего материального положения, составляют столько же причин, побудивших Вас не отказаться от этого места. Я, впрочем, убежден, что возможность возвратиться в Швейцарию, когда Вам заблагорассудится, было одним из условий принятия Вами этого предложения».

Как видно, сомнения Тиссо основывались более на знании им характера его приятеля, чем на затруднениях, которые он для него предвидел. Положение «Директора спектаклей» было действительно, не из легких. Он находился в ежедневных сношениях с монархом, весьма требовательным, нередко капризным и стремление которого к сбережению государственной казны, после семилетней войны, дошло до скупости, заслуживающей названия скаредности. Фридрих Великий страстно любил музыку. Когда он достиг высшей власти, одна из первых забот его состояла в сооружении великолепного здания для оперы, которое и теперь еще украшает бульвар «Unter den Linden» в Берлине. По окончании постройки этого храма муз, король назначил для него достаточное число актеров и актрис. Танцы тоже нашли своих жриц, и Берлин мог похвалиться тем, что принимал у себя знаменитую танцовщицу Барбарину[100], которая, как говорили, некоторое время пользовалась благорасположением великого Фридриха.

Прусский король лично занимался делами театра, до мелочей. Его переписка с «директорами спектаклей» представляет много интересных черт. «Я Вам пишу это письмо, — писал он 11 марта 1773 г. графу Зеротину-Лильгенау, — чтобы предупредить Вас, что, как мне известно, певица Шмелинг собирается тайно бежать, почему Вам следует установить за нею надзор и принять все необходимые меры». Другой раз он дает знать барону Арниму: «Вы можете сказать певице Мара, в ответ на прилагаемое при сем письмо, которое она мне только что написала, что я плачу ей для того, чтобы она пела, а не для того, чтобы она писала, и что арии были очень хороши в таком виде, в каком они были, и что ей следовало к ним приспособиться, не теряя так много слов и не делая затруднений».

Приписка собственною рукою короля:

— «Ей платят для того, чтобы она пела, а не для того, чтобы она писала»[101].

Случалось, что к театральным делам примешивалась высшая политика, и тогда интерес, представляемый посланиями короля, получает пикантный привкус.

Когда великий князь Павел приехал в Пруссию, «это, — рассказывает Фридрих II[102], — был беспрерывный ряд празднеств, начиная с границы и до самого Берлина, где роскошь

и хороший вкус соперничали между собою, чтобы оказать высокому иностранцу наибольший почет». Не было упущено ничего, чтобы поддержать в наследнике русского престола хорошее расположение духа. Поэты и музыканты принялись за дело, чтобы сочинить достойный случая пролог, для произнесения его перед началом оперы в честь высокого гостя. В этом прологе гении России и Пруссии должны были приветствовать друг друга, соединив свои голоса в дуэте, и, наконец, броситься в объятия друг друга. Актеры, предназначенные сыграть этих двух гениев, были избраны самим королем. Но при этом он принял во внимание исключительно их голоса, а не их внешность, причем случайно гений России оказался мизерным, а гений Пруссии изображался актером крупного телосложения. Великий князь Павел, вспыльчивый и подозрительный нрав коего был достаточно известен, мог в этом усмотреть умышленное оскорбление своего отечества. С другой стороны, не исключалась возможность, что этот маленький сатирический намек входил в намерения короля. Можно ли было, в виду таких обстоятельств, предупредить его?

Эти сомнения беспокоили директора спектаклей барона Арнима; но гордиев узел был разрублен одним смелым музыкантом, который отважился обратить внимание короля на этот щекотливый вопрос. Король остался доволен его смелостью, как видно из двух писем, обращенных им к барону Арниму:

I.

«По весьма разумным причинам я приказал моему капельмейстеру Рейхардту передать в прологе к предстоящей опере роль г-жи Кох — г-ну Порпорини, а роль последнего — первой».

«Вам следует озаботиться, чтобы этот обмен ролей был произведен без малейшего замедления, под каким-нибудь правдоподобным предлогом, каковую предосторожность я рекомендовал также г-ну Рейхардту. К сему молю Бога принять вас под Свою святую защиту.

Дано в Потсдаме 16 июля 1776 г.»

II.

«При обмене роли г-жи Кох, как я вчера приказал, речь идет лишь о том, чтобы поручить роль гения России певцу большого роста: и если Порпорини не может ее выучить в столь короткое время, то надо выбрать кого-нибудь другого такого же самого роста, чтобы изобразить в этой картине гения России, а г-жу Кох

переодеть в хориста и поставить ее по соседству с этим гением, так, чтобы не было заметно, что гений и тот, кто поет его роль, два различных лица. Я предоставляю вам заботу устроить все это по соглашению с моим капельмейстером — так, чтобы моя воля была исполнена без ущерба для пролога. К сему молю Бога принять вас под Свою святую защиту».

Переписка короля с Головкиным лишена пикантных мест, вроде тех, какие мы привели.

Она содержит разные мелочи и технические подробности, а также указания на сбережения, которые можно было бы осуществить, о чем, главным образом, заботился Фридрих Великий. «Я не люблю, ни чтобы меня обирали, ни чтобы обирали других, — пишет он своему новому директору спектаклей, — поэтому я предоставляю каждому щипать курицу так, чтобы она не кричала, и выписать из Франции те перья, в которых встретится надобность».

«Вы должны, — пишет он снова, — стараться найти лучших актеров и актрис, которые будут оплачивать, согласно установленным штатам, и должны устраивать дела так, чтобы при представлениях соблюдались *возможнейшие экономия и совершенство»*.

Между прочим, король занялся с Головкиным составлением регламента, касающегося распределения лож и мест в театре между придворными чинами и публикою, соответственно их положению. Лучшие места были предоставлены генералам, министрам, высшим военным и гражданским чинам, а также дворянству. «Что же касается четвертого яруса, или райка, — повелевает король директору спектаклей, — то там можно сажать купцов, банкиров и граждан, которые сами захотят там сидеть, а также евреев».

По-видимому, послушные купцы, банкиры, граждане и евреи прусской столицы удовольствовались почетными местами в «райке». Однако же, летописи того времени передают, что один голландский банкир, еврейского вероисповедания, возмущенный этой сомнительной честью, отослал королю обратно свой билет.

По этому поводу в берлинских гостиных была распространена следующая эпиграмма:

В век просвещенья мудростью прослыв,
Еврейчика нахалом мы браним
За то лишь, что билет отослан им!
Не лучше ль, сплетни ход остановить,
Спросить, кто виноват? Кто знает.

Не тот ли, *кто евреев в рай сажает!»*[103]

Письма короля к Головкину находятся в архиве замка Монна. Они, как я уже сказал, имеют лишь мало значения; тем не менее, я с величайшим интересом рассматривал эти маленькие клочки пожелтевшей бумаги, покрытые убористым почерком секретаря короля, Ле-Катта, и подписанные победителем у Росбаха и Лейтена.

Головкин скоро заметил, что управление театром причиняет ему много мелких неприятностей, которые, в конце концов, его утомляли и вселили в нем отвращение к этой должности. Поэтому он, несмотря на отличный прием, оказанный ему Фридрихом, остался в Берлине не более двух лет.

Освободившись от положения, которое было ему в тягость, граф удалился в Париж, чтобы насладиться там вновь приобретенной свободой. Будучи поклонников Руссо, он применял наставления этого философа к воспитанию своих детей и даже имел смелость прибавить к существовавшим в то время многочисленным сочинениям о воспитании собственную анонимную брошюру на французском языке[104] под заглавием: «*Мои мысли о воспитании женщин, или Основы проекта воспитания моей дочери»* (посвящено графине д'Арвилль, урожденной княжне де ля Чистерна), Лондон, 1777 VIII, 81 стр.

Не имея под рукой этой брошюры, которую нельзя было разыскать, я должен ограничиться несколькими разбросанными замечаниями его современников, дающими довольно точные понятия о воспитательном методе графа. Этот метод не был лишен оригинальности и нравился Руссо, отрывок письма коего, из Бургоэна от 1768 г., приводится по этому поводу филэллином Эйнаром:

«Я столь же тронут, сколь почтен интересом, засвидетельствованным мне г-ном и г-жей Головкиными, и прошу вас выразить им за то мою благодарность. Путь, который они избрали для воспитания своих детей, несомненно, самый трудный, и если он окажется успешным, то это лучше всего докажет добродетель самих родителей и пр.[105]».

«Я встретил графа в Париже, во время моей поездки в 1777 г., — рассказывает его приятель Тьебо. — Он пришел ко мне с визитом в сопровождении барышни, его дочери, представляющей собою до первого часа дня очаровательного молодого человека, а после этого и до самого вечера прелестнейшую барышню[106]».

Такому эксцентричному методу воспитания соответствовали

воспитатели, выходящие из ряда обыкновенных. В числе их был будущий изобретатель республиканского календаря Жильбер Ромм, известный также своим практическим курсом республиканизма, который он преподавал своему воспитаннику графу Павлу Строганову, а, главным образом, своею трагическою смертью. Он некоторое время преподавал детям Головкина арифметику[107].

Особенное внимание обращалось на физическое воспитание детей. «Для того, чтобы оградить своих детей от ревматизма, которым он сам страдал с пятнадцатилетнего возраста, — рассказывает Тьебо, — он приучал их чуть не с самого рождения принимать немедленно после вставания холодную ванну и питаться исключительно молоком и овощами».

Факты доказали превосходство метода графа Александра. Его дети (их было двое) пользовались прекрасным здоровьем и дожили до глубокой старости.

Граф скончался 5-го августа 1781 г. Как видно из свидетельства о его смерти, он был похоронен на кладбище для иностранцев в Париже. В том же свидетельстве значится, что он был кавалером Мальтийского ордена, камергером королей прусского и английского, владельцем баронства Монна, а также Малым и Большим Во (Vaux) в Швейцарии, родился в Гааге, приобрел права швейцарского гражданства и умер сорока девяти лет от роду.

Его дочь Амалия, которую Тьебо встретил в Париже, одетую утром мальчиком, а вечером девочкой, воспитывалась в Пруссии в разлуке с матерью ее опекуном и дядей, графом Шметтау. Она впоследствии вышла замуж за Местроля д'Арюффан и жила в прелестном замке Вюлльеран близ Лозанны. Это была очень красивая и величественная дама, скончавшаяся в 1855 г. в возрасте восьмидесяти девяти лет и обладавшая до последней минуты прекрасным здоровьем и всеми своими чувствами. В эпоху Революции она усердно принимала у себя эмигрантов, бежавших в Ваатланд и, между прочим, мать маркиза Кюстина. У нее была только дочь, которая вышла замуж за Александра де Фрейденрейха.

Тьебо сообщает, что граф Александр Александрович Головкин поддерживал в течение многих лет переписку с великим князем Павлом Петровичем, впоследствии императором Павлом I, и что эта переписка началась по почину великого князя, настоятельно желавшего вести ее, в виду репутации графа, которого он никогда не видел в лицо. Со стороны графа эта переписка, — как утверждает Тьебо, — имела более нравственно-философский, чем политический характер. Но русские историки,

а также граф Федор Гаврилович Головкин ничего не упоминают об этой переписке. Не имеется о ней также ни малейших следов в бумагах графа Александра. Спрашивается, пропала ли эта переписка окончательно, или же она существовала только в воображении Тьебо? Если бы ее удалось отыскать, она явилась бы ценным вкладом в историю Павла I.

Глава V
Последний своего рода

Возвращение в Россию графа Юрия и других внуков посла Александра Гавриловича. — Вероятная причина этого решения. — Обстоятельства, способствовавшие их возвращению. — Женитьба графа Юрия на Нарышкиной. — посольство в Китай. — Обширные приготовления к этой экспедиции. — Неудача. — Последующая карьера графа Юрия: дипломат, обер-камергер, попечитель Харьковского учебного округа. — Характеристика, данная о нем одним из русских аристократов.

Единственному сыну графа Александра, Юрию Александровичу, при смерти отца едва минуло девятнадцать лет. Пользуясь всеми преимуществами тщательного воспитания к тому же прекрасным здоровьем, ему ничего недоставало, кроме большого состояния. По причине его вероисповедания, всякая карьера во Франции была ему закрыта. Не следовало ли ему, в виду этого, направиться в Берлин? Можно ли было еще надеяться на покровительство престарелого Фридриха? Все эти сомнения озадачивали молодого человека. Одна только Россия, родина его предков, представляла шансы успеха для отпрыска рода, носящего историческое имя Головкина.

«В 1783 г., — рассказывает граф Федор, — было, наконец, решено, что мой брат[108], я и мой двоюродный брат, граф Юрий, поедут на родину для того, чтобы поступить на службу и собрать остатки состояния, которое было почти уничтожено».

«Таким образом, — продолжает граф Федор, — этот род, который мог бы с таким блеском возвыситься до подобающего ему места, подходить к нему, после пятидесятилетних скитаний, понемногу и по частям, подобно остаткам племени, находившегося долгое время в изгнании, утратившего свою религию и забывшего свой язык; он просит, чтобы ему опять позволили распоряжаться небольшими владениями, еще не конфискованными деспотизмом или не проданными по глупости и беспечности; и не имея более ни друзей, ни слуг, ни связей, он получает в виде милости от чужестранной императрицы-немки то, что дочь Петра I убеждала его принять, в виде возмездия и дани раскаяния. Нас было трое и мы принесли с собою то, чего Россия не могла бы нам дать — изящное и солидное воспитание, и все же мы могли иметь успех лишь путем интриги. Впрочем,

мне нечего упрекать себя в этом и я не упрекаю также других…»

Элегические жалобы графа Федора не вполне основаны на фактах. У Головкиных были влиятельные покровители, среди которых Екатерина занимает первенствующее место. Эта императрица-философ, так ценившая известные сочинения я доктора Циммермана: «Об одиночестве» и «О национальной гордости», вероятно, посмеивалась внутренне над предрассудками, которые невежество и глупость так глубоко внедрили в сердца ее подданных. Эти предрассудки сводятся к принципу, что все, что не от народа, что различается от его нравов и обычаев — как бы они ни были глупы и смешны — в силу внутренней необходимости скверно и не заслуживает подражания. Как умная и хитрая женщина, Екатерина умела щадить эти убеждения. Ей это так хорошо удалось, что русские совсем забыли, что она была немкой. «Известно, — рассказывает Вигель, — как однажды Екатерина, которой надо было пустить кровь, храбро протянула руку своему английскому врачу Роджерсону, сказав ему: «Пускайте кровь, пускайте ее хорошенько, чтобы в моих жилах не осталось ни одной капли немецкой крови[109]».

Поэтому, в намерения Екатерины входило льстить самолюбию окружавших ее лиц, тосковавших по давно и безвозвратно минувшим временам, — когда она вызвала из чужих еретических стран Головкиных, этих блудных сыновей древней Москвы, с тем чтобы вернуть их в лоно святой Православной Церкви.

Нельзя не пожалеть, что в бумагах графа Федора не сохранилось подробностей о переговорах, предшествовавших возвращению в Россию Головкиных. Можно лишь делать предположения насчет влияний, способствовавших перемене мыслей трех последних представителей этого покинувшего родину семейства. Надо полагать, что графиня Камеке, урожденная Головкина, о которой была речь в предыдущей главе, не была чужда этого неожиданного решения[110]. Графиня пользовалась большою симпатиею при дворе Фридриха Великого и была дружна с Екатериной, так что, по всей вероятности, ее молодые племянники обязаны ей ласковым приемом при русском Дворе.

«В первый раз, — рассказывает граф Федор, — когда я, несмотря на мою крайнюю молодость и отсутствие всякой протекции, был допущен к вечернему собранию, что называли «малым собранием у императрицы», Ее Величество, заметив, вероятно, некоторое удивление на лицах остальных участников этого собрания, бывших более или менее в ее возрасте, начала

самым естественным тоном рассказывать подробности жизни, которую она вела до ее вызова в Россию. Желая нас ознакомить с удручавшею ее тогда бедностью, она сказала нам:

«Зимою 1742 г. я испытала одну из величайших радостей моей жизни. Мне тогда было всего тринадцать лет и мой отец был так добр, что послал меня, во время карнавала, на две недели в Берлин; но я была так бедна и так плохо одета, что не решалась нигде показаться… Тогда графиня Камеке, его тетя, — прибавила она, указав на меня, — сжалилась надо мною. Она заказала мне, что считалось тогда верхом изящества — платье из желтой камки, обшитое серебряным галуном, и взяла меня с собою к королеве и к принцессам крови, где я могла каждый вечер танцевать. С тех пор ничего, кажется, не доставляло мне такого удовольствия, как то платье!»

Год спустя после приезда в Россию, граф Юрий Александрович женился на Екатерине Львовне Нарышкиной — весьма выгодная для него партия, так как его тесть, обершталмейстер Лев Александрович Нарышкин, был один из приближенных Эрмитажа и его остроумные каламбуры пользовались благосклонным вниманием Семирамиды Севера. К тому же род Нарышкиных был очень богат и восходил до весьма почтенной древности; к нему, как известно, принадлежала мать Петра I, а впоследствии от него произошла особа, сделавшаяся предметом сердечного внимания императора Александра I, ибо брат жены графа Юрия Головкина, обер-егермейстер Дмитрий Львович Нарышкин, был снисходительный супруг. Впрочем, грация и красота его жены, очаровательной Марьи Антоновны, урожденной княжны Четвертинской, его не трогали; но ее чары были достаточно привлекательны, чтобы завладеть сердцем могущественного государя, даже когда они бывали «украшены только простым платьем из белого крепа и гирляндой из тех лиловых цветов, которые называются «незабудками» — как описывает г-жу Нарышкину графиня Шуазёль-Гуффье в своих «Мемуарах».

Карьера большого русского барина в начале девятнадцатого века делалась уже не так быстро, как во времена Елисаветы и Екатерины, когда безусые юноши нахватывали звания и должности гетмана казаков и президента Академии Наук. Но хотя просвещенный ум Александра I принципиально отвергал эти быстрые повышения, они все-таки не были еще совсем забыты в царствование, славные начала коего предвещали победу просвещения над произволом и грубой силой. Поэтому, продолжали искать опору трона предпочтительно среди лиц, блиставших своим происхождением, при чем старались заменить

заслуги, весьма часто отсутствовавшие, пышными титулами и высокопарными знаниями. Такова роковая сила привычки!

Нечего, следовательно, удивляться, что граф Юрий, обладавший кроме преимуществ своего имени еще и тщательным воспитанием, проложил себе дорогу так же скоро, как любой безграмотный и грубый мандарин. Придворные альманахи приводят его быстро повышающимся по лестнице чинов, со ступеньки на ступеньку. В 1795 г. он — камергер; в 1801 г. — сенатор, председатель департамента торговли и обер-церемониймейстер Двора; несколькими годами позже — действительный тайный советник и кавалер ордена св. Александра Невского.

В описании этой жизни, протекавшей, в общем, довольно однообразно, можно ограничиться воспоминанием о происшествии, о котором один русский, современник графа Юрия, передает весьма любопытный рассказ:

«В начале 1805 г., — пишет Вигель[111], — было решено послать графа Головкина, во главе многочисленного посольства, в Китай. Надеясь путем удачных переговоров заставить китайцев возвратить нам Приамурский край, уступленный Китаю во времена Анны Иоанновны и Бирона, когда немцы так хорошо соблюдали интересы России. Может быть, — прибавляет Вигель, — выбор пал на Головкина, потому что он был обер-церемониймейстер, а китайцы из всех народов мира наиболее привыкли к церемониям, но я сознаюсь и даже убежден в том по сие время, что в этом деле с самого начала ничего не было твердо решено. Графа Головкина послали в Китай… так себе… на всякий случай… наудачу. Я сам походил на матроса, который сел на корабль, не спросив, зачем едут в Индию, или в Бразилию, или в Канаду».

Свита, сопровождавшая посланника, была очень многочисленна. Там были секретари, кавалеры, дворяне, прикомандированные к посольству, доктора, фармацевты, историографы, художники-живописцы. Затем представители науки: один астроном, действительный статский советник Шуберт, отличавшийся своею шляпою с султаном и громадной звездой св. Анны, которая красовалась у него на груди; профессора: зоологии, минералогии и ботаники; переводчики и, наконец, знаменитый ориенталист Клапрот[112].

Предусмотрительность правительства дошла до того, что оно к этой, и без того очень многочисленной свите, прибавило еще несколько военных топографов, чтобы снимать, в случае надобности, в Китае топографические карты и, наконец, одного архимандрита с внушительным персоналом духовных лиц и

студентов богословских наук, — может быть с целью сгладить то прискорбное обстоятельство, что лица, стоявшие во главе посольства, очень мало заботились о православии, ибо Головкин сам был реформатского вероисповедания, Потоцкий — католик, а Байков, первый секретарь Головкина, — атеист. Сорок драгун и двадцать казаков с офицерами должны были сопровождать экспедицию для ее безопасности. Эта предосторожность была необходима ввиду огромного обоза, сопровождавшего ее. Чего только не было в этом обозе! Драгоценные подарки для китайского императора, в том числе несколько зеркал необыкновенной величины, которые, как полагали, должны были в одно и то же время испугать и восхитить китайцев; затем много дорожной мебели, роскошный столовый прибор из серебра для ежедневной надобности представителей посольства; наконец, целый оркестр музыкантов и, дабы не было ни в чем недостатка, — дорожная канцелярия.

Все члены экспедиции были одеты в зеленые мундиры с белыми металлическими пуговицами. Благодаря влиянию графа Головкина, его свите было разрешено нашить на мундиры серебряные галуны и украсить головы зелеными шапками, напоминавшими казачьи папахи.

Вся эта масса людей тронулась в путь отдельными отрядами в начале лета 1805 г. Путешествие совершалось небольшими этапами, и лишь в сентябре этот огромный караван соединился в Иркутске.

Согласно дипломатическому обычаю, граф Головкин не преминул известить китайское правительство о своем прибытии в столицу Сибири и послать ему одновременно подробный список лиц, составлявших его свиту. Ответ китайцев не заставил себя долго ждать. Будучи крайне подозрительными, мандарины потребовали уменьшения персонала посольства, на что со стороны графа тотчас же последовало согласие. Первый, кого принесли в жертву требованию китайского правительства, был астроном экспедиции; многие другие, в том числе знаменитый ориенталист Клапрот, также были вычеркнуты из списков, но по секрету. Приказ о возвращении в Россию был им сообщен лишь в Кяхте, на границе Сибири. Но опасения китайцев не были вполне рассеяны исключением астронома и ориенталиста. «Было весьма потешно, — пишет Вигель, — наблюдать за китайскими солдатами. Подобно азиатским купидонам, с луком и колчаном за спиною, и со стеклянным шариком и павлиньим пером на шапке, эти герои окружали наших драгун, с явно изображенным на их лице страхом. И, действительно, все наши солдаты были великаны с огромными усами, их лошади были более похожи на

слонов, а на голове они носили каски неимоверной величины!»…

21 декабря 1805 г. огромный караван длиною почти в версту тронулся по направлению к пустыне Гоби. Целые стада степных лошадей были запряжены в европейские экипажи и повозки, которых они никогда в жизни не видали. Они ржали и становились на дыбы, а нередко и разрывали постромки. На козлах сидели монголы, рядом с русскими кучерами, которые учили их обращаться с поводами. Другие монголы, привлекаемые любопытством, кружились на своих маленьких лошадках вокруг экспедиции. Во главе каравана гарцевал на своей великолепной лошади сам посланник, со страшно величавым видом, сопровождаемый блестящей кавалькадой…

Результаты этого чрезвычайного посольства не соответствовали его блестящему началу. После трехнедельного похода через пустыню Гоби, караван остановился вблизи одного монгольского стана, где его ждали посланные из Пекина навстречу мандарины. Первые дни прошли в обмене вежливостей, т. е. бесконечных церемониях. Посланник обошелся с китайцами совсем на европейский лад, очень любезно и благосклонно, но, по-видимому, такое обращение не производило должного впечатления на монголов. Они смотрели на посланника более как на жонглера, посланного Россией для их развлечения, и с каждым днем их требования становились непомернее. Терпение Головкина было подвергнуто тяжкому испытанию. Китайцы имели даже смелость предложить ему повторить весь церемониал[113], которому подвергались все лица, представляющиеся китайскому императору. Его пригласили в помещение, где висел портрет сына небес; он должен был войти туда на четвереньках с подушкой на спине, на которой должна была лежать верительная грамота. Посланник ответил, что он мог бы решить на такое уничижение только в том случае, если бы ему это было разрешено особым приказом его государя. Может быть, он думал напугать китайцев перспективой прожить еще долго на их счет. Но на следующий день все подарки, которые он привез для китайцев, оказались разбросанными на земле, вблизи его палатки. После этого ему не оставалось ничего больше, как вернуться в Россию чрез Сибирь, в страшный холод и под угрозой голода.

Подобно Моисею, но еще несчастнее его, Головкин вернулся в Кяхту, не узрев после 56-дневного скитания по пустыне обетованной земли!

Граф Юрий Александрович исполнил свой долг, как честный человек; но эта экспедиция, явившаяся посмешищем и нанесшая ущерб престижу России на Дальнем Востоке, отразилась также и

на его карьере. Ему стали поручать лишь второстепенные дипломатические миссии. В 1808 г. императрица Мария Федоровна выбрала его, чтобы подготовить женитьбу принца Георгия Ольденбургского на великой княжне Екатерине Павловне. Позднее его назначили поверенным в делах в Карлсруэ, а в 1818 г., когда китайская экспедиция уже была предана забвению, — послом в Вене.

В 1820 г. он присутствовал на конгрессе в Троппау, вместе с Нессельроде, Каподистрия, Волконским и Алопеусом, чтобы поддержать там интересы России.

Но его пребывание в Вене[114] продолжалось недолго. Он не сумел приобрести доверия Меттерниха[115] и с 1822 г. мы находим его постоянно в отпуску, то в Петербурге, то за границей.

В 1831 г. престарелый граф был назначен членом департамента законов государственного совета. Это для него была совершенно незнакомая область, но в то время в России не смотрели отрицательно на незнание дел: преданность государю, седые волосы, а главное, строго военная выправка ценились в глазах правительства не менее мудрости. Это была та именно эпоха, которая так хорошо характеризуется шуткой князя Петра Долгорукова[116]: «Чиновник или генерал, пораженный апоплексическим ударом, назначается в сенате; при втором ударе его производят в члены государственного совета, а при третьем — он может рассчитывать на должность министра».

Несколькими годами позже мы снова встречаемся с почтенным старцем; он исполняет щекотливые обязанности обер-камергера при свадьбе великой княжны Марии Николаевны, дочери императора Николая, с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским: «Граф Головкин вступил в должность по случаю свадебных празднеств, — пишет Кюстин[117] — но у него меньше опыта, чем у его предместника. Один из назначенных им молодых камергеров навлек на себя гнев императора, а на своего начальника — довольно строгий выговор. Это было на балу у великой княгини Елены Павловны. Император как раз разговаривал с австрийским послом. Молодой камергер, получив от великой княгини Марии Николаевны приказание пригласить этого посла на танец, желая скорее исполнить это поручение, прорывает круг, отделявший его от разговаривавших и в присутствии Его величества стремительно подлетает к послу со словами: «Граф, герцогиня Лейхтенбергская просит вас на первый полонез».

«Император, раздосадованный незнанием этикета со стороны молодого камергера, сказал ему очень громко: «Вас только что

назначили на должность камергера, милостивый государь, и вам следует учиться ее исполнять: во-первых, мою дочь зовут не герцогиней Лейхтенбергской, а великой княгиней Марией Николаевной, а затем вы должны знать, что меня нельзя прерывать, когда я разговариваю с кем-нибудь».

«Новый камергер, получивший такой строгий выговор из уст самого государя, был, к несчастью, бедным польским дворянином. Император не ограничился этими несколькими словами: он велел призвать обер-камергера и посоветовал ему быть на будущее время осторожнее в выборе камергеров».

Спрашивается поневоле, к чему граф Юрий Александрович добровольно подвергал себя таким неприятностям. Делал ли он это из любви к родине? Или их привязанности к долгу службы? Отчего он не предпочел проводить дни своей старости в почетном отдыхе, достойном сына философа? Надо полагать, что в то время некоторые финансовые неудачи его почти разорили; это подтверждается как будто тем обстоятельством, что он еще в течение двенадцати лет дышал пыльной атмосферой русских канцелярий. С другой стороны этому противоречат распоряжения, сделанные им за несколько месяцев до смерти, коими он учредил майоратное владение над 8000 душ. До восьмидесяти четырехлетнего возраста он исполнял должность попечителя Харьковского учебного округа[118], каковое место, однако, вовсе не соответствовало его прежней карьере.

Граф Юрий Александрович не оставил после себя наследников мужского пола. Его единственная дочь, Наталия, вышла замуж за князя Салтыкова, один из дальних потомков которого и теперь еще владеет учрежденным графом Юрием маиоратом[119].

«Граф Юрий Александрович, — пишет один из представителей русской аристократии, князь Петр Долгоруков[120], — был тоже порядочный хвастун; это был настоящий тип салонного кавалера восемнадцатого столетия. Высокого роста, стройный, он в девяностолетний возраст держал себя, как человек пятидесяти лет; каждое утро он совершал прогулку по Невскому проспекту и каждый вечер посещал гостиные, любезничал с дамами и ухаживал за всеми мужчинами, имевшими влияние при Дворе. Возвратившись в Россию, когда ему было восемнадцать лет от роду, он никогда не научился, как следует, говорить по-русски. В царствование императора Павла он был сенатором и когда в том департаменте сената, где он заседал, какой-то процесс был решен неправильно, все сенаторы этого департамента получили выговоры «за исключением — как было сказано в Высочайшем указе — тайного советника

Головкина, по той причине, что он не знает русского языка, при чем указать ему на необходимость изучить этот язык, как можно скорее»[121].

Глава VI
Граф Федор

Родители графа Федора. — Его воспитание. — Берлинские впечатления. — Возвращение в Россию. — Екатерина II назначает его камер-юнкером за то, что он подал прошение в стихах на французском языке. — Его жизнь при Дворе. — Сказочная страна. — Шутка. — Федор в качестве стратега. — Дело Любомирского. — Чтобы удалить его из России, императрица назначает его посланником в Неаполь. — Поездка туда. — Критическое положение королевства Обеих Сицилий. — Граф Федор вмешивается в неаполитанские дела. — Сатирические куплеты на неаполитанскую королеву окончательно компрометируют его. — Немилость. — Возвращение в Россию маленькими этапами. — Пребывание в Венеции у принца Нассау-Зигенского. — Заключение в Перновскую крепость. — Его освобождение после смерти Екатерины II. — Император Павел I назначает его церемониймейстером. — Вторичное изгнание. — С 1801 по 1823 г. он ведет жизнь космополита. — Пребывание во Флоренции с 1816 по 1817 г. — Его литературные труды. — Его Мемуары.

Автор сочинения, впервые печатаемого в этой книге, родился в Голландии от матери, уроженки Нидерландов, и от отца смешанной национальности. Последний, граф Гавриил-Мария-Эрнст Головкин[122], начал свою карьеру в рядах швейцарской гвардии французского короля, под фамилией маркиза де Феррассьер, и кончил ее в чине генерал-лейтенанта на службе Нидерландов. Нет поэтому ничего удивительно в том, что его сын Федор, родившийся в 1766 г., сделался *космополитом.*

В 1778 г. этот молодой человек был послан в Берлин, чтобы пройти там курс наук и закончить свое воспитание; «ибо, — говорит сам граф Федор, — можно быть очень ученым и не знать приличий большого света; мы это видим ежедневно повсюду, даже в Париже»… «За исключением математика Лагранжа и физика Ашара, — продолжает он, — там были только второстепенные ученые, как Дениус, Мариан, Битобе, Тьебо, Формей, уже выживший из ума, его зять Мейротто, Бернульи и несколько немцев; но это было более чем достаточно, чтобы дать дворянину с доброю волею ту дозу знаний, в которой он нуждается, и внушить ему желание расширить со временем и собственными силами круг этих знаний».

«Так как дом вдовствующей графини Камеке[123], старшей сестры моего отца, считался тогда лучшим в Берлине, я имел случай изучить там науки и в то же время ознакомиться с обществом и немного с Двором, ибо графиня часто имела честь принимать у себя принцев крови. Как почти всегда в подобных случаях, это имело свои хорошие и дурные стороны».

«Я нашел, что Берлин очень большой город, состоящий из дворцов, построенных по планам Палладио и других знаменитых архитекторов; но при всем том это пустынный, мрачный и бедный город, начиная с простого народа и до принцев включительно. В жизни все относительно. Братья короля пользовались, по слухам, хорошими доходами, но в других странах простые дворяне богаче их! Фридрих Великий выходил из своего святилища, в Потсдам, только для того, чтобы производить маневры войскам в разных частях своего государства. Его присутствие в столице во время карнавала было событием для одних только членов дипломатического корпуса и для иностранцев, имеющих вход ко двору. Публика могла его тогда видеть один или два раза в партере оперы, где по старому обычаю, в очень красивой, но плохо освещенной зале весьма посредственные певцы и танцовщицы в течение нескольких недель изощрялись в своем искусстве. Представительство при Дворе было возложено на королеву и на принцев крови, исполнявших эти обязанности со скупостью пропорциональною их доходам. Королева, престарелая и весьма почтенная женщина, отличалась умом, свойственным Брауншвейгскому семейству, но она до крайности заикалась и, так как неудобно было обращать на это внимание, то разговор с нею бывал затруднителен и даже нередко принимал комический оборот, вследствие несуразных ответов лиц, с которыми она разговаривала. Принц Генрих, № 2 королевского дома, проживал в Рейнсберге, откуда он появлялся лишь изредка, в виде жреца, произносящего оракулы, которые он, однако, доверял лишь на ухо. Принцесса, его супруга, с которой он никогда не встречался, устраивала в определенные дни в одном из флигелей своего дворца в Берлине вечера с бесконечными и прескверными ужинами, которые, однако, сопровождались иногда весьма интересными разговорами.

«Принц Фердинанд, третий брат короля и гроссмейстер прусского ордена св. Иоанна, обладая более значительными средствами, вел более широкий, хотя не менее скучный образ жизни, то во дворце своего Ордена в Берлине, то в своем замке Фридрихсфельде, настоящем оазисе среди песков, окружающих столицу. Принцесса Амалия, сестра короля, была некогда знаменита своей красотой, а теперь не менее отличалась своим

безобразием. Министры и генералы весьма скудно оплачивались, но старались показать путешественникам свои дома с наиболее выгодной стороны; и они, однако, не могли сгладить того впечатления, что слава здесь окружена атмосферой скуки, облечена в бедность и повсюду проявляет посредственность.»

«Некоторые из путешественников добивались, но лишь весьма редко и на короткое время, отличия добраться шаг за шагом, чрез море песка, до святилища, где гений работал над созданием средств из ничего. Этих редких аудиенций могли удостоиться только лица, прославившиеся чем-нибудь, хотя и не всегда своими заслугами, и вызывающие скорее любопытство, чем уважение. К тому же эти аудиенции не всегда проходили для посетителей так благополучно, как думали те, которым не удавалось их добиться. Великий король, от избытка ли сознания своего превосходства над другими, или же от чрезмерно вспыльчивого самолюбия, нередко своевольно превращал в ничто действия и мысли, для которых можно было ожидать немного снисхождения. Всего охотнее он выказывал это государственным деятелям; но и военные, а в особенности писатели, редко выходили из его кабинета без маленьких уколов. Среди памятников, хотя и пышных, но дурного вкуса, которыми он окружил свое одиночество, король жил так же скупо, как его генералы и министры. Ему прислуживали только один камердинер и несколько лакеев. Его обеды, весьма посредственные, готовились с подряда за известную плату с прибора; его наследник с женою и детьми проживал очень скромно в нескольких шагах от дворца, в маленьком домике, не смея покинуть город иначе, как с разрешения короля или же под величайшим секретом. В последние годы своей жизни король почти никого не терпел вокруг себя и кроме его чтеца, маркиза Лукезини, трудно было бы указать на кого-нибудь из его приближенных».

Эти заметки, написанные в 1822 г., по-видимому, довольно верно отражают впечатления произведенные на молодого студента прусским Двором и Берлином, но не вполне точно рисуют истину на счет его собственного положения. Граф Федор, будучи очень беден, послан своими родителями в Берлин не столько для того, чтобы приобрести там «ту долю сведения, в которой нуждается всякий дворянин», сколько для того, чтобы заняться там изучением богословия. Позднее, он в Гене приобрел степень кандидата богословских наук.

1783 год разрушил все его планы. Как мы видели в предыдущей главе, Головкины в это время решили послать трех из младших представителей рода в Россию, чтобы попытать там

счастье. Граф Федор находился в числе избранных.

«Меня назначили камер-юнкером, — рассказывает он, — после того, как я написал прошение в стихах на французском языке и отправил его по почте, что тогда было запрещено вследствие разных злоупотреблений. В моем прошении я напомнил императрице о таких вещах, которые нельзя было изложить в прозе: о моем происхождении, о заслугах моих предков, наконец, о моих правах быть при Дворе, более чем где-либо в другом месте и чем подобало многим другим. Удивление по поводу моего назначения среди публики было неимоверно, а сановники стали неодобрительно относиться к моим манерам, называя их «голландскими».

Должность молодого царедворца, если верить его близкому приятелю, Николаю Шателену, была из самых приятных: «Он ходил по императорскому дворцу с полною свободою, как член царского семейства. Иногда он принимался за устройство императорского ложа, взбивал подушки, приводил в порядок одеяла и т. п. Однажды, императрица сказала ему: «Право, граф, я думаю, что вы превосходите лучшую голландскую горничную».

По свидетельству самого графа Федора, Двор великой Екатерины представлял из себя настоящую сказочную страну! «Неуместная щедрость препятствовала сбережениям, которые сами по себе казались мало значительными, но взятые вместе заслуживали самого серьезного внимания. Я раз присутствовал при предложении, сделанном императрице обер-гофмаршалом князем Барятинским и касавшимся отмены весьма разорительного, хотя и пышного обычая, подробности которого покажутся даже мало правдоподобными, а именно: при каждом смене службы, т. е. через две недели, в комнату каждого из придворных приносили по две бутылки известных марок столового вина и по одной бутылке всякого сорта ликеров, что, насколько мне помнится, составляло шестьдесят бутылок на каждого, не считая английского пива, меда, минеральных вод и пр. Это расточительство было тем более вопиющим, что никто из нас не дотрагивался ни до каких напитков, кроме шампанского, смешанного с сельтерской водой, которое мы пили в жаркие дни, так что этот обычай приносил пользу только прислуге. Императрица сначала терпеливо выслушала речь Барятинского, а потом оборвала его словами: «Я вас прошу, милостивый государь, никогда не предлагать мне экономию свечных огарков; это, может быть, хорошо для вас, но мне это не приличествует». В доказательство того, насколько эти злоупотребления были значительны, я приведу пример барона Николаи[124], секретаря великого князя Павла Петровича, который, по истечении

тридцати лет, обладал лучшим винным погребом во всей империи, а также пример графини Эльмпт[125], камерфлейлины императрицы, собравшей и продавшей в течение своей двенадцатилетней службы достаточное количество свечей, чтобы за счет их заказать себе, ко времени ее свадьбы с генералом Турчаниновым, секретарем кабинета Ее Величества, серебряный сервиз».

Жизнь камер-юнкера Двора Ее Императорского Величества протекала тихо, если только он хорошо умел вести свое дело, а именно: нравится государыне, развлекать ее и способствовать своею расточительностью пышности Двора. Граф Федор в высокой степени обладал всеми этими качествами.

Мы встречаем его то сопровождающим императрицу по огромным залам Эрмитажа и рассказывающим ей то, что называли «ее историями», то сидящим на кровати у ног полузаснувшей Екатерины II и читающим ей вслух; то рисующим один из живописных видов Царского Села, в то время как государыня совершает прогулку; то голос его слышится смешанный с громкими возгласами молодых великих князей, играющих в жмурки; и государыня тоже иногда принимает участие в этих играх молодежи, переходящих в гомерические состязания, причем пылкий великий князь Константин имел привычку так драться с придворными что он однажды сломал руку величавому Штакельбергу[126]. Одним словом, ему все очень нравится при Дворе. Только шутки, которые иногда позволяют себе приглашенные Ее Величества, его немного смущают, ибо «эти шутки очень забавны, — говорит он, — когда можно над ними смеяться, но так как это не принято при Дворе, то они настолько тягостны, что можно ими подавиться». Вот один из случаев, рассказанных графом Федором: «Барон Фелькерзам, саксонский посланник в Росси, желая летом 1791 г. сделать какие-то сообщения, был приглашен в Царское Село, и, согласно установленному для лета этикету, имел честь обедать за одним столом с императрицей. Он сидел рядом со мною, напротив Ее Величества, перед которой стояло блюдо великолепной спаржи. Добродушный старичок был туг на ухо и чувствовал себя крайне неловко, особенно когда императрица к довершению его замешательства обратилась к нему с несколькими словами. Он их не понял, и императрица приказала мне повторить ему то, что она с казала: «Ее Императорское Величество изволит вам передать, что в этот момент у вашего государя, курфюрста, в Пилльнитце собралось большое и прекрасное общество». — Это было как раз время знаменитых конференций. — «Да, государыня, — ответил посланник, — я всегда замечал, что

спаржа на солнце достигает огромных размеров». Вы поймете положение присутствующих. Императрица, умевшая всегда владеть собою, была столь милостива, что послала ему той самой спаржи, которая так сильно занимала его мысль, и он съел ее с большим аппетитом; но великий князь Павел Петрович не мог удержаться и покатился со смеху, что послужило и для других, менее сдержанных лиц, сигналом к смеху. Я не понимаю, как я тогда не умер на месте; от неожиданности действие смешного еще усилилось и смех, не нашедший себе выхода, измучил мои внутренности. Правда, что вечером, на малом собрании у императрицы этот случай был достойным образом использован»[127].

Война со Швецией внесла в жизнь молодого царедворца перемену ролей. Его сразу назначают генерал-адъютантом при графе Иване Петровиче Салтыкове и, что удивительнее всего, он дает уроки военного искусства своему седовласому начальнику. Предоставим слово молодому стратегу: «Единственная война, которую можно вести в Финляндии, — это война небольшими отрядами, ибо помимо времени когда озера замерзают, там нет ни одной местности, где можно было бы развернуть в боевом порядке три тысячи человек. Г. Салтыков, считая себя слишком высокопоставленным, чтобы предводительствовать одним из многочисленных мелких отрядов, расположенных вдоль Кимена, устроился в Выборге, как в центральной позиции и он был бы прав, если бы он в то же время наблюдал за принцем Нассауским, флот которого должен был непременно остаться под начальством командующего сухопутными силами, и за бароном Игельстремом, старшим из генерал-лейтенантов, надсмеявшимся скоро над ним самым постыдным образом. Но мы видели, как к этим господам из Петербурга наехало много дам и как один из них всецело посвятил себя своей личной храбрости, достойной искателя приключений, а другой дипломатическим интригам — в то время, как главнокомандующий занимался прогулками и устройством празднеств и позволял своей жене восстановлять против себя этих столь опасных соперников, то оскорбительными жалобами, то неуместными шутками. Тогда я сжалившись над общественным благом, решился использовать мое влияние на г. Салтыкова, чтобы возвратить его к своему долгу. Но, чувствуя свою неопытность в военном деле, я устроил секретные совещания с бароном де Нумсен, датчанином, весьма искусным военным, который в чине генерал-лейтенанта командовал левым флангом, и с генерал-майором фон Сухтелен, голландцем и выдающимся инженером, учеником великого Дюмулена[128]. С вечера я предлагал им вопросы, которые вызывались обстоятельствами;

они в моем присутствии обсуждали разные возможности, и я, обогатившись их опытом, отправился к нашему общему начальнику, чтобы объяснить ему свои соображения и убедил его в их целесообразности. Таким образом, мне удалось заставить его покинуть Выборг и перенести главную квартиру в Фридрихсгам. Мы собирались наносить неприятелю, несмотря на поражение принца Нассауского, большие удары, но тут курьер из С.-Петербурга сообщил нам, что Игельстрем ведет переговоры о мире»…

«Последние годы царствования Екатерины II ознаменовали апогей карьеры графа Федора. Как близкий друг фаворита Платона Зубова[129], пользовавшегося неограниченною властью, он имел как малый, так и большой вход ко Двору и начинал уже возбуждать зависть других придворных. Граф Ростопчин, низкий царедворец, пишет 23 мая 1794 г. графу С. Р. Воронцову: «Этот надменный бездельник Головкин просил шестьдесят тысяч рублей, чтобы заплатить свои долги, и так как теперь пошло время милостей, он ожидал их получить; но, к счастью, одна глупость с его стороны избавила графа Зубова от необходимости просить за него, а казна сберегла свои деньги. Он был посредником в деле князя Любомирского с наследниками князя Потемкина; это дело поступило сначала в суд совести, который отклонил его, а Головкин послал некоторую сумму председателю, сенатору Ржевскому. За это посредничество он получил хорошую головомойку и ему сказали, что такое лиходательство достойно польского адвоката».

«Глупость» — это слово лучше всего характеризует неосторожность графа Федора. Вмешиваться в дела, касавшиеся наследства князя Потемкина, — значило открыто противодействовать некоторым намерениям императрицы. Это неосторожное вмешательство, подробно описываемое им в статье «Любомирский», возмутило государыню гораздо больше, чем те ребячества, в которых его обвиняла королева Каролина, во время его пребывания при Неаполитанском дворе, и, вероятно, было причиною его немилости.

Завидное положение, занимаемое Головкиным при русском Дворе, благодаря его дружбе с всемогущим фаворитом, отлично характеризуется выражениями, употребляемыми им, когда он говорит о самом себе и о своей карьере: «…ввиду того, что никто не знал, что мне еще предстоит, большая часть России и значительная часть Европы старались заручиться моим расположением… Но, чтобы обеспечить себе гавань на случай будущих ураганов, я добился назначения посланником в Неаполь».

Его блестящее положение, впрочем, не было обеспечено от тайных опасностей. Царедворец, как моряк, всегда имеет основания бояться подводных камней, и граф Федор говорит о них, как сведущее лицо:

«Я в начале 1793 г. почувствовал усталость от того, что при Дворе называли милостью мне. Исключительное для моего возраста отличие — находиться ежедневно в интимном обществе Екатерины II — казалось мне слишком пустой славой для того, чтобы перенести сопряженные с ним неприятности и опасности. Господа Зубовы, считавшиеся моими покровителями — мнение ошибочное и оскорбительное для меня, — завидовали преимуществам, которые давали мне мое образование и происхождение; они опасались, как бы эти преимущества когда-нибудь не имели воздействия на ум императрицы, ставшей, по старости лет, более восприимчивой к прелестям беседы, чем сердце ее было раньше — к внешней красоте. Но больше всего они боялись смелости, которую они будто бы открыли во мне и которая, в виду моей близости к центру движения, могла их рано или поздно сбить с пути. Опираясь на одну только личность императрицы, мое будущее возвышение представлялось им столь грозным, что они считали нужным вовремя подкопаться под меня; и так как было вполне ясно, что все будут содействовать моей гибели, когда она им покажется нужной, — то мое молодое честолюбие сочло более удобным удалиться добровольно, чем ждать от времени и от более скромного поведения случая, чтобы завладеть последними днями престарелой государыни. Я сначала исходатайствовал посольство в Неаполе, где после смерти графа Скавронского открылась вакансия графу Панину, человеку еще очень молодому, о котором я тогда имел хорошее мнение. Все это знали, и мне показалось пикантным отнять это место у него и взять его себе. Я устроил ему перевод в Голландию и предавался дикой радости при мысли, что мне можно будет прожить мирные дни и посвятить себя музам, отдыхая в тени лаврового дерева Виргилия. Эти мечты молодого и честного, но лишенного опыта и друзей человека, были причиною всех событий моей жизни».

Головкин уехал в Неаполь осенью 1794 г. не без того, чтобы проездом пробыть долго время в Берлине, что доставило ему случай совершить еще одну неосторожность: он на собственный риск и страх занялся немного политикой[130].

Длинный рассказ, который он посвящает наивностям, отпускаемым им в качестве молодого дипломата в присутствии поседевших в делах стариков, не лишен известной прелести. Он помещается ниже, под статьей «Берлин».

В 1794 г. дипломаты не торопились прибытием к своим

местам. Продолжительные посещения маленьких и больших дворов, находившихся по пути, относились прямо к их службе. Следуя такому обычаю времени, граф Федор остановился довольно долго в Вене, которая ему крайне не понравилась, может быть, по вине тамошнего представителя России, графа Разумовского, «самого надменного и фатоватого человека».

Граф Федор закончил свои визиты европейским дворам Веной. К сожалению, он не сообщает подробностей о тех маленьких дворах, где он представлялся. Но если судить по разговору, который он имел с графом фон Вурмб, министром курфюрста саксонского, то граф Федор, как тонкий наблюдатель, мог бы нас рассмешить многими пикантными анекдотами.

«Отправляясь в Неаполь в 1794 г. — пишет он, — мне надо было видеться со многими лицами и я был сильно огорчен найти почти все умы подготовленными к восприятию принципов революции, проникающих со всех концов из Франции. Возмущение и опасения, казалось, находят себе место только в моем сердце. Одни имели слишком много веры, другие слишком мало, и никто не старался быть достойным, а это тогда было еще вполне возможно. В Дрездене я познакомился с графом фон Вурмб, министром курфюрста, человеком знатного происхождения и большого ума, которого не любили, но за то очень боялись, и который, если бы у него не было такой склонности к деньгам, пользовался бы всеобщим уважением. Я был очень удивлен, когда этот столь ловкий министр и старый дворянин сказал мне легкомысленным и непринужденным тоном: «Что мне за дело до французской революции? Если бы она даже дошла до Саксонии, что я потерял бы от этого? Милость моего государя? Я никогда ею не пользовался. Мою должность? Мне мешают исполнять ее. Мое состояние? У меня его нет. Мои титулы? Мое семейство никогда не домогалось их, а что касается моей фамилии, то она так коротка, что все революции в свете не могут ее сократить еще больше».

По приезде графа в Италию, он, к его удивлению, был завален претензиями, которых он при всем своем усердии не мог удовлетворить. Они были вызваны знаменитою княгинею Екатериною Дашковой, автором «записок». Под статьей «Дашкова», оказавшейся между бумагами графа Федора, мы читаем: «Как только она ступила на итальянскую землю, она стала предлагать свое покровительство художникам. Эти бедняки повсюду отдавали ей все то, что она собирала именем императрицы. Все эти вещи были погружены в Ливорно на корабль, отходящий в С.-Петербург. Все рассыпались в похвалах по поводу великодушия Екатерины и ее знаменитой подруги, а

головы были полны ожиданием с Севера знаков благоволения. Но княгиня исчезла, время протекало и ничего не было слышно. Мраморные изваяния, вазы и камеи были в порядке сложены на берегах Невы. Оттуда эти вещи были перевезены в Москву; потом от княгини перешли к ее наследникам, как приобретенные законным путем. Жалобы умолкли, поток революций прошел по Италии, как и по другим местам, и я один, может быть, сохранил воспоминания об этой несправедливости».

Молодой дипломат совершил свой въезд в Неаполь в момент всеобщего кризиса. Во Франции царствовал террор, и магический звук трех слов: свобода, равенство и братство уже распространился по соседним странам; в Италии глухой ропот народных страстей приводил в ужас королевскую чету на подгнившем троне Обеих Сицилий. Сотрясения земли, в связи с необычайной деятельностью Везувия[131], предвещали как будто политический переворот, который мог уничтожить весь установившийся издревле порядок. К тому же, слабость короля, вспыльчивый характер королевы Каролины и всемогущество авантюриста Актона значительно ухудшали политическое положение этой страны «лаззарони».

Поэтому дипломатам, аккредитованным при этом Дворе, следовало соблюдать величайшую осторожность, что для дипломата значит настоящее или притворное равнодушие ко всем внутренним делам той страны, где он имеет свое пребывание — насколько эти дела не затрагивают интересов его собственной страны.

Таково именно было поведение предместника Головкина в Неаполе. Несмотря на свои странности, граф Скавронский[132] был на очень хорошем счету у правителей Обеих Сицилий и заведовал там с 1785 г. по 1793 г. делами русского посольства без малейших неприятностей.

По-видимому, приемы, избранные графом Головкиным, во многом отличались от приемов его раздушенного предместника, так интересно описанного Горани.

Молодой, честолюбивый и ветреный, он вмешивался во все, высказывал свое мнение и становился на ту или на другую сторону во внутренних раздорах правительства с неаполитанским народом[133]; к довершению своей неосторожности, «Он, — говорит Николай Шатлэн, — позволил себе во время одной увеселительной экскурсии пропеть куплеты, сочиненные им самим, в которых дочь Марии Терезии была серьезно задета. Эти куплеты были тем более недопустимы, что они, в сущности, соответствовали истине»[134]. К сожалению, мы не могли достать копии этих несчастных стихов, погубивших карьеру графа

Федора.

Последствия этой неосторожности не заставили себя ждать. Граф Федор тотчас же был отозван своим правительством. Следы этого события находятся в переписке Екатерины II с Гриммом: «Головкина отозвали, потому что он осмелился наговорить неаполитанской королеве тысячу дерзостей и после того, как он это сделал, он имел еще неосторожность сообщить мне подробности о том в длинном письме»[135].

В дипломатическом мире это дело хотя и произвело некоторый шум, но историки, наиболее серьезно занимавшиеся этой эпохой, Каллетта и граф Григорий Орлов, о нем не упоминают. По-видимому, этот инцидент был скоро забыт. Граф Ростопчин пишет по этому поводу графу С. Р. Воронцову от 8/9 дек. 1795 г.:[136] «Вследствие нескольких жалоб неаполитанского Двора на нашего посланника и его лживых донесений, императрица приказала отозвать несчастного Головкина, и теперь кандидаты домогаются этого прелестного места». А граф С. Р. Воронцов пишет графу Андрею Разумовскому из Лондона от 9/20 мая 1796 г.[137]: «Если вам что-нибудь известно о знаменитом Головкине и о месте его пребывания, сообщите мне о том, ради Бога».

Тем временем о личности Головкина стали распространять разные анекдоты. Тридцать пять лет спустя, приятный и забавный рассказчик, Дюпре де Сен-Мор[138], которого в то время много читали, собрал эти салонные разговоры. Не совсем обыкновенная переписка русского посланника служит для него подтверждением мнения: «что дипломатия всех стран любит иногда быть приятной, чтобы вознаградить себя за то, что она не всегда бывает полезной». Граф Г…, русский посланник при неаполитанском Дворе, тщетно старался подобрать в своем уме материалы для составления депеши — ничего не выходило: при Дворе и в делах преобладало безнадежное однообразие и спокойствие. Наконец, дали знать о прибытии в неаполитанские воды английского фрегата; вот — тема для первой депеши — и он донес о приходе этого фрегата; по второй депеше фрегат отошел в Сицилию; по третьей — он изменил курс и ушел в крейсерство и т. д. В шестой депеше посланник сам почувствовал смешную сторону этих пустячных донесений и закончил свое письмо министру несколько фамильярными словами: «Что касается фрегата, то черт с ним, я больше не вмешиваюсь в его дела и не буду вам о нем говорить».

Вот подлинный текст этой последней депеши, находившейся в Архиве министерства иностранных дел в Москве:

«Ваше Сиятельство,

Судно «Парфенона» наконец ушло, чтобы присоединиться к английскому флоту, и я этому очень рад, ибо с тех пор как я в Неаполе, я не переставал в своих письмах повторять Вашему Сиятельству: «оно ушло», а потом: «оно еще не ушло» — это не особенно интересно ни для Вас, ни для меня и т. д.

Неаполь, 4 августа 1795 г.»

Бесцеремонность, с которой Головкин составил эту депешу, повторяется в другой депеше, может быть, единственной в своем роде в летописях дипломатии:

Депеша графа Федора Головкина вице-канцлеру графу Остерману.

«Ваше Сиятельство,

На сей раз я принужден ограничиться признанием знаменитого Монтеня: «Я знаю, что я ничего не знаю». Есть много заграничных новостей, но Ваше Сиятельство узнаете о них лучше другими путями, а из Неаполя я только могу засвидетельствовать Вам свое почтение, с коим я имею честь быть Вашего Сиятельства и пр.

Неаполь, 16/27 октября 1795 г.»[139].

Эти любопытные образцы дипломатической переписки графа Федора доказывают, что непринужденность его прозы легко могла раздражить такого высокомерного и педантичного начальника, каким был старик Остерман.

Очень жалко, что граф Федор в своих «Воспоминаниях» обходит молчанием все личные передряги, которые ему пришлось испытать во время его краткого пребывания в Неаполе. Эти подробности были бы гораздо интереснее, чем характеристики главных действующих лиц этого Двора, которые, впрочем, тоже стоят того, чтобы о них вспомнить[140].

Докладная записка от 20 февраля 1796 г., которую Головкин представил императрице в свое оправдание[141], пополняет этот недостаток, но лишь до некоторой степени. В ней слышится не беспристрастный историк, а преобладает личная нота, и сквозь жалобы несчастного дипломата, потерявшего свое место и милость императрицы, проглядывает скорее ветреность молодого человека. Таким образом эта записка не прибавляет новых подробностей к печальной истории неаполитанского Двора.

Граф Федор был отозван из Неаполя в декабре 1795 г., после того, как он пробыл там неполный год. Судя по его рассказу, возвращение его в Россию совершалось отнюдь не с той

быстротой, которой можно было ожидать. Подобно провинившемуся в какой-нибудь шалости школьнику, возвращающемуся нерешительным шагом домой, мы видим графа Головкина, подвигающимся небольшими этапами к северной столице, где его ожидают упреки, немилости, а может быть, и строгое наказание.

Два целых месяца он бродил по Венеции. Здесь его приятель, принц Нассау-Зигенский, устроил во дворце Лоредан, название которого его прельстило еще больше, чем самая местность. «Здесь он открыл нечто в роде приюта для эмигрантов, где каждый мог платить или служить, смотря по своим средствам, — пишет граф Федор, — и я сам провел там два месяца, когда, возвращаясь с неаполитанского посольства, я хотел выиграть время, чтобы узнать причины моего отзыва. Неимущие принимались там беспрепятственно и не платили ничего, а принцесса Нассауская прекрасно исполняла роль хозяйки… Она была полька, урожденная Гоздьско, разведенная жена князя Сангушко и, кажется, еще кого-то, и отличалась своею красотою. Будучи в восторге, что ей удалось сделаться женой короля авантюристов, она, смотря по своему настроению и по обстоятельствам, казалась начитанной, скромной, покладистой или смелой и так умела лгать, что приобрела этим знаменитость. Возвращаясь однажды из собора св. Марка после богослужения в день св. Пасхи мы не без иронии спросили ее, о чем было сказано в проповеди? — «Об астрономии», — ответила она. Можно представить себе наше удивление. «Как об астрономии, в день Св. Пасхи?» — «Да, об астрономии», — и она начала сочинять нам прекрасную речь. «Ужасно, — сказал ей на это серьезно епископ Ломбе, — так врать после того, как вы молились Богу, хотя надо полагать, что та проповедь, которую вы нам сказали, была лучше той, которую вы слыхали». Но ее ничто не могло смутить[142].

Через пять месяцев после своего отъезда из Неаполя, граф Федор добрался, наконец, до русской границы. Там его тотчас же арестовали и отвезли в Пернов, маленькую крепость в Лифляндии, где он был заключен. Рассказ о его пребывании в этой крепости, и о последующем освобождении содержит интересные места; он будет приведен под статьей «Пернов».

Воспоминания о Дворе и царствовании Павла I графа Федора дают нам некоторые разрозненные сведения о жизни графа при Дворе Императора Павла I. Хотя ему был внушен строжайший запрет острить, но кажется, что он не мог вполне отказаться от этого любимого препровождения времени. Он не сумел снискать милости своего строгого и капризного государя и 22 июня 1800 г. был изгнан из столицы, с обязательством жить в своих имениях.

Год, проведенный им в этом изгнании, он употребил на обучение деревенских детей азбуке, на покрывание лаком своих экипажей и на составление всемирной истории[143].

Восшествие на престол императора Александра I вернуло ему свободу; он воспользовался ею, чтобы отныне вести жизнь космополита. Первые годы XIX века он прожил в Дрездене[144], этом Эльдорадо отставных русских, где он вел знакомство с д'Антрэг и д'Армфельдом, а в особенности сблизился с Меттернихом. В 1804 г. мы его встречаем в Берлине, где он принимает участие в придворных увеселениях, устраиваемых по почину молодой и прекрасной королевы Луизы. В 1806 г. он снова туда возвратился с берегов Женевского озера, где он часто посещал замок Коппе. На сей раз он стал давать королеве советы по политическим делам, что крайне не понравилось при Дворе. Затем он поехал в Москву, но остался там не дальше заключения Тильзитского мира. После этого он поселился в Париже, где он занимал вначале красивую квартиру на улице Кастилион[145], обставленную с роскошью, какая подобает русскому графу. Впоследствии он купил, в окрестностях Парижа, дачу, которую назвал «Монталлегр»[146].

«Я пользовался большим успехом в обществе, что во Франции имеет такое решающее значение, — рассказывает граф Федор, — ибо, благодаря моим манерам, моим разговорам и даже моим недостаткам, я представлял из себя настоящего француза: одно лишь мое политическое ничтожество не соответствовало тем любезностям, которыми меня осыпали. Очутившись с самого начала среди лучшего общества, я походил на растение, разведенное в хорошие дни старины».

Где находился граф Федор Гаврилович в 1812 г., столь бурном для его родины? Он об этом не говорит ни в Воспоминаниях, ни в письмах. Но в Национальном Архиве имеется один документ, ясно доказывающий, что он за все время войны с Россией находился во Франции: 19-го июля 1811 г. он просит у Паскье, префекта полиции в Париже, разрешения уехать на минеральные воды, в Контрексвилль — по семейным обстоятельствам и для здоровья. «Будьте так любезны узнать у герцога Ровиго, хочет ли он подарить жизнь столь опасному врагу, как я, разрешив ему беседовать с бакалейщиками и фабрикантами из Нанси в таком важном месте, как Контрексвилль…» Несколько насмешливый тон этого прошения не препятствовал его успеху и на просьбу графа последовало разрешение. В марте 1813 г. он ее повторяет и проводит весну и лето в Швейцарии. Он встречается там то в Лозанне, то на даче, на прелестном маленьком островке при впадении реки Аар в

Тунское озеро. В октябре 1813 г. мы его опять находим в Эпинэ, любимым и уважаемым членом кружка, принадлежащего к легитимистской аристократии.

Следующий год граф Федор выступил в неблагодарной роли дипломата-любителя[147], но так как ему этим путем не удалось войти опять в милость к государю, он снова удалился в Лозанну. Однообразная жизнь, которую пришлось вести в скромной столице Ваатланда, ему, однако, скоро надоела и осенью 1816 г. он отправляется во Флоренцию[148]. Столица Тосканы кишела тогда знатными иностранцами; в особенности там встречалось много русских. Среди этого космополитического общества граф Федор чувствует себя опять хорошо и встречается там со своим старым другом, князем Меттернихом. Отблеск славы, окружавшей тогда знаменитого государственного деятеля, падает также на графа Федора. В Лукке он наслаждается внимательным гостеприимством князя. Затем он его сопровождает в Ливорно, где знаменитый дипломат, который умел также быть большим проказником, представил его, в костюме простого туриста, Бразильской принцессе и ее сестре, императрице Марии Луизе, окруженным пышным Двором. Это был последний раз, что граф Федор блистал, веселился и веселил других. После своего возвращения в Лозанну, он ведет там уединенную и праздную жизнь[149] «между развалинами старины и приготовлениями к будущности», — как он выражается в «Разных письмах, собранных в Швейцарии». Местрали в Вюльеране, Фрейденрейхи в Монна, фон Мюйдены в Лоазнне, Ноайль, Эйнары и Николай Шатлэн в Ролле составляют круг его ближайших друзей. Состояние его здоровья, уже расстроенного, ухудшается из года в год, и в 1823 г. кризис уносит его навсегда.

В обширном кругу своих знакомых граф Федор пользовался репутацией очень занимательного и приятного человека.

В дневнике княгини Меттерних[150] мы читаем заметку от 4 по 10 декабря 1843 г.: «…В пятницу герцогиня Талейрин обедала у нас с Шуленбургом, обоими Гюгелями, Левенштейном, Зенффтом, возвратившимся из Мюнхена, и некоторыми другими кавалерами. Один из сих последних рассказал несколько анектодов о Головкине, которые очень рассмешили Клементия (князя Меттерниха), а герцогиня поделилась с нами случаями из его жизни, свидетельницей коих она была сама и которые являются единственными в своем роде».

Граф Федор много писал. Пока он был молод, он сочинял стихи, которые, однако, были посредственны. В продолжение всей своей жизни он имел склонность к изложению своих мыслей в форме писем. Его переписка была очень обширна и письма

женщине разоблачают в нем счастливого наперсника некоторых из самых красивых и самых умных светских женщин того времени. «Говорят, что весь Париж находит вас таким очаровательным, что вас принимают за француза былого времени, сто лет тому назад, который возвратился во Францию под видом русского, чтобы повеселиться», — сказал ему г-жа Сталь, и в этом же приблизительно духе ему пишут письма все его корреспондентки, в числе которых находятся царствующие особы[151].

Граф Федор несомненно обладал качествами, необходимыми для того, чтобы нравиться красавицам большого света его времен: он был приятный собеседник, остроумен и не без юмора, немного насмешлив, в общем натура импульсивная и великодушная, под внешностью образцового кавалера. Легкость, с которой он писал по-французски, по-видимому, облегчала ему успехи по части переписки.

Письма интимного содержания, писанные им в 1816 и 1817 гг. из Флоренции его двоюродной сестре, г-же де Местраль д'Арюффан, представляют большой интерес. Они ясно доказывают, что способность наблюдать и изящно излагать свои наблюдения никогда ему не изменяла. Достигнув зрелого возраста, он поставил себе более серьезные задачи. Его крайне легитимистские убеждения внушили ему написать: «Рассуждения по поводу нравственного состояния Франции»[152], сочинение, которое очень не понравилось русскому правительству, по причине некоторых нападок на только что установившийся новый порядок вещей в Европе и, главным образом, на шведского короля[153].

Немного позже он издал «Отношение воспитания к правительству»[154]. Но в роли воспитателя граф Федор положительно скучен и то же самое можно сказать по поводу его единственного романа: «Принцесса Амальфи».

Более полезным трудом были: «Разные письма, собранные в Швейцарии, сопровождаемые примечаниями и разъяснениями» (1821 г.). Историк, изучающий Швейцарию в XVIII столетии, будет не без пользы с ними справляться. Сэнт-Бёв в письме Вилльмену[155], написанном, вероятно, в 1838 г., по возвращении его из Швейцарии, говорит об этом труде Головкина следующее: «Я прочел довольно хорошие сборники и образчики французской литературы Ваатланда, а именно — «Письма, собранные в Швейцарии», — сочинение одного русского, графа Головкина, где приезд Вольтера и все его сношения с местными жителями описываются в его же письмах, которые мало известны и, как всегда, пикантны».

Его «Воспоминания» — бесспорно лучшее из его сочинений[156]. Как хороший наблюдатель, схватывающий, главным образом, смешные стороны того, что он видел, и владеющий вполне свободно французским языком, он оставил нам ряд пикантных описаний, характеризующих правителей и дипломатов того времени. Тем не менее все эти лица, сквозь призму его воображения, испытали не мало изуродований и не следует, конечно, придавать его рассказам безусловную веру. Надо, впрочем, заметить, что «Воспоминания» графини Головиной, напечатанные недавно на русском языке, подтверждают многие из черт и подробностей, к которым было основание относиться с подозрением.

Воспоминания о Дворе и царствовании Павла I составляют самую существенную часть его сочинений, так как автор был, в одно и то же время, наблюдателем и действующим лицом в том, что он описывает. Царствование Павла Петровича было мрачно и трагично, но то, что граф Федор видел и слышал при Дворе этого несчастного государя, представляет ничто иное, как жалкую комедию, смешные стороны которой не ускользнули от этого наблюдателя, кажущегося, на первый взгляд, поверхностным и беспечным.

Мы его видим то принимающего участие в обрядах, коронования «в бархатном кафтане, богато расшитом шарфами, в штиблетах из белого атласа и в треугольной шляпе с белым султаном, по-военному»; то провожаем его в ночной поездке, в карете с зеркальными стеклами, когда он, дрожащий от холода в зимнюю ночь, отправляется к посланникам иностранных Дворов, чтобы объявить им о рождении великого князя Михаила Павловича; то присутствуем при гневном припадке императора, когда Головкин, которому Павел I, назначая его на должность церемониймейстера, настрого запретил «заниматься в его царствование остротами», забывает этот запрет.

В то же время граф Федор Гаврилович оставил нам очень ясный портрет самого себя. Ибо разнообразие местностей и лиц, о которых он говорит, легкость, с которою он рассуждает о серьезных делах, значение, которое он нередко придает мелочам, интерес, с которым он следит за европейскими событиями[157], незнание русского языка и русской жизни, а главное — самоуверенность, проявляемая им в своих мнениях, характеризует его как космополита.

Таким образом, граф Федор представляет собой прототип того любопытного класса русских, являющегося произведением сложившихся обстоятельств и управлявшего Россией в течение девятнадцатого столетия.

Часть II
Двор и царствование Павла I

Великий Князь Павел

Этот государь родился в недобрый час. Народы уже давно с нетерпением ждали его появления на свет, но отец отрекся от него, а мать его не возлюбила. В его жизни долгое время было нечто неопределенное, непрочное, а от этого постоянное беспокойство легло в основание его характера. Нравственное воспитание, данное ему политикой, прибавило к тому нечто подавленное и подобострастное, что каждую минуту могло разразиться и делало его царствование столь страшным для трусливых людей. Первую часть своей жизни он провел в сожалении о том, что он так долго не мог царствовать, а вторую часть отравило опасение, что ему не удастся царствовать достаточно долго, чтобы наверстать потерянное время. Это царствование имело большие последствия для всей Европы и было богато весьма странными и оригинальными событиями, которые поучительны для тех, кто, в постигшем родину несчастье, оценивает свободу и жизнь только по их нарицательной цене.

В продолжение всей этой неблагополучной эпохи, казавшейся очень длинной, хотя она продолжалась всего пять лет, самым несчастным из всех русских людей был сам император.

Мой дневник, в котором я каждый вечер отмечал все события при Дворе, должен послужить мне основанием к своего рода летописи. Руководствуясь фактами, я хотел бы доказать, что одно и то же лицо может быть, разом, очень плохим государем и очень честным человеком и что это неминуемо имеет место в тех случаях, когда ум не уравновешивается чувствами, а порывы власти не управляются сознанием долга; кроме того, я желал бы еще указать на то, что в наших суждениях о государях мы упускаем из виду преимущественное и непреодолимое воздействие физических влияний на нравственный облик их действий.

Павел, который был так безобразен, родился красавцем, так что лица, видевшие в галерее графа Строганова его портрет, где он, в возрасте семи лет, изображен в парадном орденском костюме, рядом с портретом императора Александра I в том же возрасте и в том же костюме, спрашивал, отчего у графа Строганова один и тот же портрет встречается два раза. Все дети Павла были на него похожи и тем не менее они были красивы и хорошо сложены; но это становится понятным, если принять во внимание, что он в 1764 и 1765 гг. пережил болезнь, сопровождавшуюся судорогами и что от этого произошло сокращение нервов на его лице; жизнь его удалось тогда спасти

только посредством операции горла. Его глаза сохранили много выражения, а его очень большие зубы были так белы и ровны, что рот от этого казался почти приятным. Он был чрезвычайно худ и состоял весь из костей и мускулов, но в талии хорошо сложен и, если бы он, желая вырасти и приобрести величественный вид, не приучил себя к театральной походке, его можно было бы назвать стройным.

Его воспитание было поручено графу Панину, впоследствии министру иностранных дел, приобретшему во время своего посольства в Швеции репутацию даровитого дипломата. Этот выбор делал честь как императрице, так и графу Панину, ибо последний принял участие в заговоре, посадившем ее на престол, с условием, что она, до совершеннолетия великого князя, примет на себя только регентство. Было ли поведение гувернера последствием его добродетели или же его честолюбия — во всяком случае надо было твердо верить в его честность, рассчитывая на то, что принесенная им, в конце концов, присяга заставить его отречься от замысла, который должен был возвести так высоко его счастье и славу. К нему назначили, в качестве помощников, нескольких немцев, считавшихся способными к исполнению обязанностей инструкторов, но слишком незначительных, чтобы заводить интриги. Самый замечательный из них был Эпинус[158], хороший писатель и физик. Не было упущено ничего, что могло придать воспитанию больше блеска. Молодой великий князь прошел с успехом гимназический курс и весьма прилежно занимался литературой; история, география и математика преподавались ему хорошими учителями, но из длинных разговоров, которые я с ним имел, я вывел заключение, что такие крупные отделы воспитания, как политика, военное искусство и государственное право были им только слегка затронуты. Павел умел вести скорее блестящий, чем основательный разговор, отличался большою вежливостью к женщинам, правильно оценивал величие своей судьбы и питал высший страх перед императрицей, как матерью и государыней. При его раздражительном и желчном характере было не легко добиться этого последнего результата, для чего ловкий гувернер воспользовался следующим случаем:

Великий князь достиг девятнадцатилетнего возраста, не говоря и не делая ничего такого, что могло вызвать беспокойство относительно его намерений или возбудить сомнение на счет беспрекословности его повиновения; но вдруг, в такой момент, когда этого меньше всего ожидали, была открыта очень обширная переписка с неким бароном Кампенгаузеном[159], молодым лифляндцем большого ума и довольно бурного поведения. Эта

переписка хотя и не заключала в себе ничего явно преступного и не содержала никакого проекта, но в ней говорилось о будущности, о правах и надеждах; это были плохо переваренные мысли головы, в которой начинается брожение. Императрица и гувернер, обсудив этот случай, решили им воспользоваться. Панин, вместо того, чтобы явиться к великому князю, как всегда, велел ему сказать через камердинера, чтобы он немедленно зашел к нему. Великий князь, удивленный, прибегает впопыхах и вместо того, чтобы встретить со стороны своего наставника обычное почтение, застает его лежащим в кресле. Не двигаясь с места, Панин обратился к нему со следующей речью:

— Кто вы, по вашему мнению, — наследник престола?

— Конечно, как же нет?

— Вот вы и не знаете, и я хочу вам это выяснить. Вы, правда, наследник, но только по милости Ее Величества благополучно царствующей императрицы. Если вас до сих пор оставляли в уверенности, что вы законный сын Ее Величества и покойного императора Петра III, то я вас выведу из этого заблуждения: вы не более как побочный сын, и свидетели этого факта все на лицо. Взойдя на престол, императрице угодно было поставить вас рядом с собою, но в тот день, когда вы перестанете быть достойным ее милости и престола, вы лишитесь как последнего, так и вашей матери. В тот день, когда ваша неосторожность могла бы компрометировать спокойствие государства, императрица не будет колебаться в выборе между неблагодарным сыном и верными подданными. Она чувствует себя достаточно могущественной, чтобы удивить свет признанием, которое, в одно и то же время, известит его о ее слабости, как матери, и о ее верности, как государыни. Вот ваши письма барону Кампенгаузену, прочитайте их еще раз и подумайте о том, какое решение вам остается принять[160].

Эта страшная речь произвела то действие, на которое можно было рассчитывать: великий князь просил прощения. Оно ему было обещано, но с тех пор всякое чувство нежности между матерью и сыном исчезло. Она стала для него только всемилостивейшею государыней, а он для нее верноподданным. Иногда его желчь, растроганная нескромными царедворцами, проявлялась наружу, но Екатерина, уверенная в действительности нанесенного ему удара, никогда его не боялась. В течение двадцати трех лет она позволяла ему производить военное учение нескольким тысячам человек, на расстоянии всего одной мили от Царского Села, где при ней находились только шестьдесят гвардейских гренадер. У него было одно изречение, обрывающее всякие коварные наущения: «Прежде чем быть сыном, великий

князь есть подданный, и религия мне внушила, что все, что я мог бы предпринять против моей матери, послужило бы впоследствии только к оправданию моих сыновей, если бы они когда-нибудь задумали предпринять что-либо против меня».

Столь умеренное поведение обеспечило ему при жизни императрицы существование, значительно превышающее меру того, что обыкновенно предоставлялось наследнику престола. Он жил на всем готовом, получая содержание в 175,000 рублей серебром, а великая княгиня, его супруга — 70,000 руб. Когда он приступал к какой-нибудь более значительной постройке, императрица предоставляла в его распоряжение или материал, по его выбору, или же вспоможение наличными деньгами. Два раза в неделю он, по утрам, являлся к императрице, где один из статс-секретарей докладывал ему все текущие дела и она сама давала объяснения на вызываемые этим докладом вопросы. Кроме обер-гофмейстера, состоявшего лично при нем, он был окружен таким же штатом, как сама императрица. Он устраивал празднества у себя в городе и на даче, и Ее величество в таких случаях была настолько внимательна к нему, что посылала на бал к его Высочеству часть окружавшего ее общества и даже своего фаворита. С тех пор, как императрица подарила ему Гатчину, купив это владение у наследников князя Орлова, великий князь имел возможность отправляться туда на дачу, когда ему было угодно; он проводил там иногда всю осень, прежде чем возвратиться на зиму в столицу.

Казалось бы, что в такой стране, как Россия, подобное обхождение исключало всякое неудовольствие. Но, несмотря на то, постоянно раздавались жалобы и претензии; фавориты молодого двора громко вопили и никто им в этом не препятствовал.

Екатерина выписала в С.-Петербург ландграфа Дармштадтского с его тремя дочерьми, чтобы великий князь выбрал себе между ними супругу. Он избрал самую некрасивую, но самую умную, нареченную впоследствии великой княгиней Наталией. Ее две сестры вернулись домой, награжденные лентой св. Екатерины и одаренные бриллиантами; одна из них, принцесса Луиза, вышла потом замуж за герцога Веймарского[161] и приобрела известность величием своего характера, выказанным Наполеону; а другая, принцесса Амалия, была выдана за наследного принца Баденского[162].

Молодая великая княгиня в весьма короткое врем вполне овладела умом великого князя, что одинаково не понравилось как императрице, так и народу; первой, потому что она ей показалась интриганкой, а второму, потому что она им видимо пренебрегала.

Никто тогда не предвидел, что ее карьера скоро кончится, так как никто не знал, что ее мать скрыла то обстоятельство, которое препятствовало ей дать престолу наследника. Мне впоследствии, в Германии, сообщили об этом следующее: принцесса родилась с неестественным наростом хвостца, который увеличивался с ростом и становился весьма тревожным. По этому поводу были спрошены первые хирурги Европы, но безуспешно. Наконец, явился какой-то шарлатан из Брауншвейга, осмотрел ребенка и обещал удалить этот нарост. Он велел изготовить род сиденья из железа и посадил туда бедную крошку с такою силою, что хвостец переломился и провалился во внутрь тела. Девочка чуть не умерла от этой ужасной операции, но хотя ее тогда вылечили, она должна была умереть с выходом замуж; действительно при первых же родах ребенок был остановлен внутренним препятствием, о котором никто не знал и которое нельзя было устранить. Великая княгиня выказала в последние минуты необычайный героизм, требуя, чтобы ею пожертвовали ради ребенка. Это был сын, но жертва матери не могла его спасти. Это происшествие описывалось различно, но то, что я рассказываю — истина[163]. Г. де Николаи, секретарь этой принцессы, и ля-Фермьер, ее чтец, были моими друзьями и присутствовали при всем этом. Я все эти подробности и то, что будет сказано дальше, знаю от них.

Горе великого князя не знало границ. Он отказывался от всякого содействия и совета, и императрица была очень озабочена; тогда принц Генрих Прусский, находившийся как раз в С.-Петербурге, просил ее предоставить ему избрание средства, чтобы вернуть великому князю спокойствие, от которого, казалось, зависела его жизнь. Императрица колебалась и хотела сначала знать, какими средствами принц воспользуется, но он не хотел ей этого сказать, зная, что она воспротивится его плану. Опасность, между тем, все увеличивалась и Екатерина, наконец, уступила принцу, полагаясь на его мудрость. Тогда, в течение суток, была разыграна самая гнусная интрига, которую когда-либо затевали против памяти усопшей, интрига, которую никто не осмелился бы защитить разумными доводами. Принц Генрих насильно ворвался к упорно уединявшемуся великому князю и сказал ему, что, рискуя прослыть за невежу, он должен открыть ему тайну, а именно, что он убивается ради женщины, совершенно не достойной нежной памяти и сожалений. После этого первого удара, принц выждал, пока оскорбленный в своей чести великий князь не потребовал от него объяснений; тогда он стал ему напоминать разные случайные обстоятельства, подкрепляя их письмами, которые были заранее заготовлены на

основании мнимых признаний, сделанных будто бы покойной на исповеди ее духовнику Платону; последнего заставили подтвердить эту ложь, ввиду блага, ожидаемого от нее, и указать виновника в лице ближайшего фаворита несчастного супруга — графа Андрея Разумовского, внешность и смелость коего придавали некоторую правдоподобность приписанной ему роли. Когда все было готово, чтобы нанести великому князю последний удар, принесли ларчик, наполненный мнимыми письмами, и призвали Платона, впоследствии знаменитого московского митрополита, привыкшего еще раньше к разным интригам, который должен был открыть тайну принятой им от умирающей исповеди. Эта чудовищная интрига имела полный успех. Великий князь добровольно вернулся к жизни и согласился через несколько месяцев поехать в Берлин, чтобы встретиться там с виртембергской принцессой, избранной для того, чтобы его окончательно утешить. Но граф Разумовский за всю свою остальную жизнь не мог добиться разрешения предстать перед великим князем. Дерзость этой интриги делала ее всегда в моих глаза мало вероятной, но подробности переданные мне гг. де Николаи и ля-Фермьером о внутренней жизни великокняжеского двора, в течение трех лет, пока продолжался этот брак (1773–1776), убедили меня в том, что эта мысль сама собою должна была прийти в голову принцу Генриху и что, желая предохранить великого князя от гибели, он не мог отыскать ничего лучшего[164].

Павел, будучи в то время еще очень молод, в семейной жизни, у себя дома, проявлял высшую степень фамильярности и товарищеских отношений. Граф Разумовский входил к нему утром, когда он еще был в спальне с великой княгиней, которая очень смеялась над его возней с фаворитом, при чем оба иногда, во время свалки, валялись на кровати. Так как уединенная жизнь Его Императорского Высочества давала повод ко многим вольностям, которыми фатоватый Разумовский потом хвастался перед Двором, то принцу Генриху стоило только приписать преступные намерения тому, что в публике уже давно служило предметом критики.

Великий князь, для которого семейная жизнь представляла так много прелести, в скором времени забыл, в объятиях свежей и рослой принцессы, ту, которую он сначала считал возможным пережить, и потомство, вышедшее из этого нового брака, в достаточной степени доказало, что он был устроен весьма мудро. Его вторая жена далеко не обладала умом первой, но у нее были все те качества, которых не доставало первой: беспредельное восхищение перед императрицей, большое пристрастие к

представительству и к придворной жизни и чрезвычайное благоволение к нации, языку которой она поспешила выучиться и религию которой она приняла с искренним умилением и верою в нее. Как известно, русские великие князья могут жениться только на принцессах, принявших православие. Герцогиня Виртембергская, женщина очень тщеславная, предназначив своих дочерей к занятию первых европейских тронов, придумала, чтобы избавить их впоследствии от упрека в отступничестве, ограничить их религиозное воспитание первоначальными элементами христианской веры и решать вопрос об их вероисповедании лишь в момент их замужества[165]. Таким образом, виртембергская принцесса, сделавшаяся супругой великого князя Павла Петровича, перед тем была предназначена дармштадскому принцу и должна была принять лютеранство, но тотчас же перешла в православие, как только принц Генрих Прусский, ее родственник, предложил ее русскому Двору; а ее сестра, принцесса Елисавета, была помещена в католический монастырь в Вене, когда император Иосиф II назначил ее для своего племянника, впоследствии императора Франца.

Не следует, однако, приписывать великой княгине всю заслугу ее прекрасного поведения, так хорошо приспособленного к новым обстоятельствам, в которых она очутилась. Переход от маленького двора в Монбельяре к большому Петербургскому Двору требовал много наблюдательности, а так как ее мать знала ее слабость, по этой части, она назначила ей в подруги и советчицы некую г-жу Шиллинг, вышедшую впоследствии за лифляндца, генерала Бенкендорфа[166]. Эта особа, под весьма скромною внешностью, сумела в короткое время так завладеть умом великого князя, что при его дворе ничего не делалось без ее совета. В виду этого сочли нужным установить за ней секретное наблюдение; но из донесений, которые императрица получала о ней, она скоро прониклась искренним уважением к г-же Бенкендорф. Не решаясь высказать это слишком открыто, чтобы не рассердить великого князя и не обеспокоить его фаворитов, Екатерина, однако, не упускала ни одного случая, чтобы доказать ей свое благоволение; так, например, однажды, когда г-жа Бенкендорф находилась в последнем периоде беременности, она заставила ее сесть, несмотря на то, что вся царская семья стояла. До тех пор, пока продолжалась ее милость, двор престолонаследника отличался спокойствием и хорошими манерами. Постоянная вспыльчивость великого князя уравновешивалась мирными занятиями у домашнего очага, ибо великая княгиня любила товарное искусство и гравирование, которые чередовались интересным чтением вслух г-жи Ля-

Фермьер. Не обошлось, конечно, без того, чтобы эта хорошо организованная семейная жизнь не имела также смешных сторон, о которых мне стало известно от г-жи Нелидовой, фрейлины великокняжеского двора, а также из разговоров с императрицей.

Я никогда не мог выяснить, что именно заставило Екатерину отправить великого князя в путешествие. Последствия в достаточной степени доказали неосновательность мотивов, которые ей тогда приписывали, между прочим — будто она хотела от него отделаться. Сам великий князь позволил себе распространить эти некрасивые слухи и придать им правдоподобность своими нескромными разговорами и странными сценами. Так например, во Флоренции, обедая в тесном семейном кругу и без соблюдения этикета у великого герцога Леопольда. Он вдруг вскочил из-за стола и, сунув все свои пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту, стал кричать, что его отравили. Великогерцогская семья, крайне обиженная в своей мещанской простоте, все же старалась всеми средствами его успокоить; но потому ли, что Павел действительно воображал, что он находится в опасности, или же потому, что он притворялся, — его удалось успокоить лишь с большим трудом. В Неаполе, когда однажды зашла речь о правительстве, королева сочла нужным сказать, что не следует говорить о законах в присутствии принца, привыкшего к самому совершенному законодательству, которое существует на свете. На это великий князь воскликнул: «Законы в России! Законы в такой стране, где та, кто царствует, может удержаться на троне только в силу того, что она законы топчет ногами!» Все ужаснулись — как мне впоследствии передавала сама королева — и постарались скорее переменить разговор.

Когда он хотел, великий князь умел впрочем быть очень любезным, и во Франции это с ним часто случалось. Передают много остроумных изречений, принадлежащих ему. Я приведу одно из них, характеризующее сразу двух лиц: в Трианоне герцог, впоследствии маршал, де Коаньи, весьма модная в то время личность, стоя облокотившись на камин, спросил великого князя, не меняя своего положения, как он находит французов: «Они очень милы, — ответил Павел, — хотя немного фамильярны». Несмотря на то, что он лицом был очень некрасив, над чем он сам посмеивался, он так хорошо умел себя держать, что отнюдь не казался простым и был настолько сдержан, что как будто ничему не удивлялся. Однажды в его честь устроили бал в большой галерее в Версале, где уже много лет не давались празднества, и король рассчитывал, что произведет этим большое впечатление на великого князя. Когда граф дю Нор[167] вошел, он раскланялся

и стал, как всегда, разговаривать с придворными: «Посмотрите-ка на моего дикаря, — сказал Людовик XVI, потеряв терпение, графу де Бретёль, — ничему он не удивляется». — «Это потому, — ответил министр, — что он каждое воскресенье видит то же самое у своей матери». Бретёль, который потом был послом в России, мне сам рассказал этот эпизод и он говорил правду. Если же, как я думаю, цель преследуемая Екатериной, когда она своего наследника отправила путешествовать, была просветительная, то она в ней ошиблась, ибо он вернулся таким же, каким уехал; в ее присутствии, он по-прежнему был неловкий царедворец, а за ее спиной неудачно выражал свое недовольство. И действительно, никто из тех, кто наблюдал за ним в Европе, не удивился его поведению, после того, как он взошел на престол.

В числе фаворитов великого князя самый неважный, но самый смелый был Вадковский[168], который, как все дураки, хотел ловить рыбу в мутной воде. Г-жа Нелидова, обладавшая умом, недоставшим у Вадковского, не довольствуясь своим положением на втором месте после немки, подстрекала его к осуществлению задуманного им проекта — смешать карты. Не было ничего легче — для этого надо было только сказать великому князю, что в глазах всего света им управляет великая княгиня, т. е. другими словами, г-жа Бенкендорф. Как только это слово было произнесено, все здание рушилось; великая княгиня вообразила себе, что можно остановить разруху высокомерием; безумие дошло до того, что ее уговорили дать почувствовать мужу, что она, как виртембергская принцесса, сделала ему слишком большую честь, прибыв с конца света, чтобы выйти за него замуж, тогда как его происхождение не дало бы ему даже права на прием в любой дворянский институт. Эти подробности я слышал от самого великого князя. Ему посоветовали подзадорить великую княгиню, притворяясь, что он ухаживает за Нелидовой, которая была уже не молода[169] и настолько некрасива, что не могла представлять опасности для законных прав.

Это был удобный момент отступить с почетом и выказать снисхождение, но, вместо того, стали кричать о прелюбодействе, о необходимости прогнать эту фрейлину и, наконец, довели жалобы до императрицы, что только усугубило беду. Граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин[170], Николаи, адмирал Сергей Иванович Плещеев[171], которого старые отношения, со времени путешествия великого князя под псевдонимом графа дю Нора, привязывали к нему, и еще несколько благоразумных людей, приходивших в силу своей службы поочередно в соприкосновение с великим князем, старались успокоить умы, но было уже поздно. Великий князь подпал под власть Нелидовой,

которая, несмотря на невинность их отношений, стала держать себя публично, как фаворитка. Наконец, в один осенний вечер, когда мы все находились в Гатчине, бомба лопнула: г-же Бенкендорф было велено удалиться, а меня с графом Мусиным-Пушкиным послали к великой княгине, которая, погруженная в печаль, приняла нас лишь после особого приказания сыграть с нами, как всегда, партию. Мы не успели сесть за карточный стол в кабинете, расположенном в башне, думая, конечно, все трое меньше всего о картах, — как увидели в стеклянную дверь великого князя и г-жу Нелидову, устроившихся рядом и весело хохотавших. Это мучение продолжалось до самого ужина, от которого бедная принцесса наотрез отказалась. Несколько дней спустя Ля Фермьер был уволен и великая княгиня осталась одинокой в своих апартаментах; вместе с тем положение при Дворе было поколеблено.

Великий князь сам удивился своей храбрости, а так как его фавориты ему рукоплескали, а императрица не нашла нужным высказать ему свое неодобрение по поводу его внезапного и преждевременного проявления власти и необдуманности наложенных им наказаний — в чем она впоследствии горько раскаялась — то он придумал окружить себя специальной полицией, от которой долгое время пришлось страдать всем придворным. Впоследствии будет сказано, каким образом мне пришлось быть камнем преткновения в этих зачатках тирании. Нельзя себе представить, каким крайностям великий князь предавался в отношении придворных чинов, являвшихся через каждые четыре дня на дежурство при его особе. Привычные к деликатному обращению со стороны Ее Величества, они от великого князя должны были выносить или тягостные милости, или же слышать оскорбления, которые они не могли перенести. Я приведу лишь несколько примеров, не потому, что они заслуживают особого упоминания, а потому что они придают жизненность моему рассказу.

Однажды осенью, мы вчетвером прибыли в Гатчину: Загряжский, граф Тизенгаузен, один из князей Голицыных и я. Как всегда, мы направились в наши комнаты, но были остановлены одним гоф-фурьером, ставшим с некоторого времени носителем повелений великого князя, который нахальным тоном приглашал нас следовать за ним. Пришлось, не рассуждая, повиноваться. Он открыл нам дверь под лестницею и ввел нас в комнату, где находились четыре кровати, четыре стола и четыре стула. Мои спутники разгневались, я же смеялся до слез. Он объявил нам, чтобы мы не смели оттуда выходить, и занялись пока своими туалетами. Что же касается нашей прислуги, то ее

оставили с нашими вещами в вестибюле и даже не указали ей, где она могла бы устроиться. Нас позвали к обеду и великий князь, как всегда, допустил нас к своей руке, а после обеда пришли нам сказать, — не в чем была наша вина (этого мы никогда не узнали), — но что все в порядке и что мы можем отправиться в наши апартаменты.

Другой раз, меня привели в одну из отдаленных комнат, где на столе был сервирован великолепный завтрак. Я был очень заинтригован, как вдруг вошел великий князь, смеясь над моим удивлением, и пожелал сам прислуживать мне за завтраком. Весь день он меня осыпал милостями. Вечером, войдя в свою комнату, я заметил, что кровать как-то не прочна и велел ее боковые доски прикрепить веревками к столбам. Я уже лежал около получаса, как вдруг почувствовал сильное сотрясение, затем второе, еще более сильное. В то же время я услышал шаги в алькове. Я вскочил, позвонил, приказал осмотреть комнату, но безуспешно, и кончил тем, что лег спать на диван. На следующее утро я еще находился в нерешимости, следует ли мне говорить о том, что я принял за землетрясение или за попытку вторжения воров, как явился один из преданных мне слуг и рассказал мне, что эта комната раньше была ванной покойной княгини Орловой[172] и что ванна еще теперь находится под кроватью. Г-жа Нелидова, чтобы развлечь великого князя, велела под постелью устроить качалку, с таким расчетом, чтобы я — если бы мне не пришло в голову принять меры предосторожности — сразу опрокинулся в ванну, наполненную водой. Великий князь был крайне недоволен, что эта шутка не удалась и что он понапрасну оказал мне столько милостей, которые были предназначены для того, чтобы убаюкать меня насчет конца приключения (1794 г.). Я же счел более достойным и осторожным притворится ничего не знающим.

Вот в чем состояли развлечения великого князя, когда ему уже было сорок лет от роду, и его манеры обращаться с людьми, занимающими известное положение; но мало-помалу все это приняло трагический характер, и чтобы ограничиться одной истиной, я приведу только те происшествия, которые случились со мною лично.

Я был допущен к малым собраниям у императрицы — беспримерный случай, в виду моей молодости. Она привыкла видеть меня около себя; я рисовал, читал ей вслух и поэтому располагал собственным апартаментом в Царском Селе, что составляло весьма редкое отличие. Таким образом, когда я отправлялся на службу к великому князю, я не доставал императрице. После этого поверять, что зависть меня окружала со всех сторон и клевета меня постоянно преследовала; все это,

однако, не имело воздействия на императрицу. Но великий князь, которому всякое изъявление почтения его державной матери причиняло муки и который был счастлив, когда ему удавалось опечалить человека, бывшего, в глазах его фаворитов, не более как самозванцем, придумал, в первый же раз как я явился в Павловск на дежурство, арестовать меня в моей комнате и держать меня под домашним арестом в течение целых двенадцати дней. Императрица, видя, что я не возвращаюсь, рассердилась. Она велела отправить обер-камергеру приказ, коим я освобождался от всякой службы, как при ней, так и в другом месте, а великий князь, узнал об этом, велел меня выпустит. По этому поводу не последовало никаких объяснений и помимо того, что мне впоследствии пришлось дорого расплатиться за это освобождение, которое меня оградило от причуд великого князя, я некоторое время оставался в стороне от придворных интриг.

История, произведшая в то время много шума, неожиданно погрузила меня опять в этот омут. Ростопчин, ставший недавно камер-юнкером и начинавший утверждаться в симпатиях великого князя, должен был однажды повторить дежурство в Царском Селе и написал по этому поводу весьма нелюбезное для своих товарищей письмо обер-камергеру Шереметеву, который имел глупость его показать. От этого последовали комичные вызовы и дуэли, кончавшиеся тем, что жены и сестры дуэлянтов бросались разнимать их скрещенные шпаги. Императрица, осведомленная об этом полицией и не допускавшая шуток, когда дело шло о подобающем Двору уважении, приказала дежурному генерал-адъютанту разобрать этот инцидент, что кончилось приказанием Ростопчину удалиться в Москву[173]. Великий князь, вне себя от гнева, спрятал его в Гатчине, и не зная, кому за это отомстить, выдумал следующее:

Императрицу часто беспокоили в Царском Селе, и когда она бывала нездорова, за ней плохо ухаживали. Однажды, она отослала окружавшую ее компании и легла отдыхать на диван, в большом лаковом кабинете. Я читал ей вслух, в течение часа, как вдруг камердинер вошел в комнату без доклада. — «Зачем вы пришли?» — спросила императрица. — «Не знаю, смею ли это сказать?» — «А что же?» — «Господин Нарышкин прибыли из Павловска и ждут уже давно на лестнице, внизу». — «Это мне безразлично». — «Да, но он желает что-то сказать графу, по поручению Его Императорского Высочества». — «Можно подумать, что вы здесь служите с сегодняшнего утра; вы должны бы знать, что сюда не входят, пока я не позвоню. Уходите! А вы, будьте так добры, продолжать чтение». — Через некоторое время она задремала. Около половины десятого она позвонила и

спросила камердинера: — «А что, господин Нарышкин все еще ждет?» — «Точно так, Ваше Величество». — «Так пойдите, граф, и узнайте, что это за важные дела привели его сюда». — Меня разбирало любопытство, но и опасение того, что мне придется слышать. Я поэтому спустился по маленькой лестнице к бедному Нарышкину, занявшему впоследствии важную должность обер-гофмаршала и сидевшему тогда на нижних ступеньках. Когда он меня увидал, он встал и большие слезы выступили в его глазах. — «Надеюсь, вы меня простите, что я должен вам передать ужасное поручение, ноя не могу ослушаться». Это слово «ужасное» звучало смешно для человека, пользующегося высочайшей милостью. «В чем же состоит это столь ужасное поручение?» — «Великий князь приказал мне вам передать, что первая расправа, которую он учинит, когда взойдет на престол, будет состоять в том, что он велит вам отрубить голову». — «Вот кто очень спешит приступить к делу», — ответил я, смеясь, но потом присовокупил серьезно: — «Мне очень жаль, милостивый государь, что вам дали такое поручение. Скажите великому князю, что я буду иметь честь ему написать». — «Берегитесь это делать, он терпеть не может, когда ему пишут». — «Что же делать, раз я приговорен к смерти, мне нечего беспокоиться о том, что может понравиться или не понравиться Его Императорскому Высочеству». Затем, тоном человека, привыкшего давать аудиенции, я пожелал услужливому камергеру спокойной ночи.

На следующий день я написал великому князю весьма почтительное, но короткое письмо, в котором я выражал свое сожаление, что навлек на себя такую неслыханную немилость, даже не подозревая ее причины, но что, рискуя заслужить немилость, я умоляю Его Величество остерегаться таких опрометчивых осуждений и предварительных приговоров. После этого я ожидал одного из двух: или что Его Императорское Величество меня вызовет для объяснений, или что он запретит мне показываться ему на глаза, что было бы чрезвычайно неудобно для человека, встречавшего его только у императрицы, но вышло совсем иначе.

Я получил от Николаи письмо, на которое мне только пришлось пожать плечами. Он мне сообщал, что великий князь получил мое письмо, но не может на него ответить по двум причинам: во-первых, потому что он слишком умен для того, а во-вторых, потому что великая княгиня собирается разрешиться от бремени. На следующий день императрица меня спросила, какое важное поручение Нарышкин имел мне передать. Я просил Ее Величество смотреть на эту вещь, как на недостойную ее внимания, но это мне ничего не помогло. Тогда, желая дать

понять, насколько мое положение щекотливо, я просил ее приказать мне говорить, что она тотчас сделала. Императрица, узнав в чем дело, страшно рассердилась, вся покраснела от гнева и повторила несколько раз: «Он еще не дошел до того, чтобы рубить головы; он даже не может быть уверенным, что когда-нибудь дойдет до того. Я скажу ему по этому поводу несколько слов. Он сходит с ума».

Великому князю было повелено явиться на следующий день в Царское Село, последовал такой выговор, что Павел Петрович, как всегда в таких случаях сильно перепуганный, обошелся со мной в высшей степени любезно. С тех пор я его встречал только у императрицы, а у него лишь в высокоторжественные дни. Он поглядывал на меня милостиво, но не говорил со мною ни слова, до тех пор, пока меня не назначили послом в Неаполь. Тогда он мне сказал: «Если вам это доставляет удовольствие, я вас с этим поздравляю». Было замечено, что после той сцены, которою он был обязан мне, он стал намного осторожнее в обращении с своими придворными. Его друг Ростопчин[174], впрочем, научил его, что не надо так скоро снимать маску, и давал ему, из своею убежища в Гатчине, советы, которые могли бы быть прекрасными, если бы их исходною точкою не были обман и интрига. Я помню, что когда однажды в личных апартаментах императрице рассказывали про какую-то новую выходку великого князя, граф Зубов сказал, со свойственной ему откровенностью: «Он сумасшедший». Императрица ему на это ответила: «Я это знаю не хуже вас, но, к несчастью, он недостаточно безумен, чтобы защитить государство от бед, которые он ему готовит».

Мое посольство в Неаполе и заточение в крепость, которому я был подвергнут по возвращении оттуда, лишили меня возможности дать подробный отчет о поведении великого князя в продолжении двух последних лет царствования Екатерины II (1794–1796). Я только знаю, что он постоянно был окружен группой лиц, называемых «гатчинцами», почти не выезжал из Гатчины и появлялся в городе лишь в торжественных случаях. Но тем скорее он появился в столице, как только до него дошло известие о болезни Ее Величества. Эта великая государыня еще не перестала дышать, Ростопчин и граф Шувалов[175] без уважения к почившей, уже заняли ее опочивальню и впустили туда своих друзей и любимцев. Я никогда не мог понять, каким образом граф Зубов и остальные могли до такой степени потерять голову, чтобы допустить подобную профанацию.

Прежде чем войти в подробности этого необыкновенного царствования и, оставляя в стороне политику, о которой я не имел возможности судить, я должен рассказать то, что я видел по

поводу стараний, прилагаемых лицами, окружавшими Павла I, чтобы довести его окончательно до помешательства. Следовало посоветовать ему продолжать лечение у лейб-медика Фрейганга, который каждый месяц в новолуние давал ему слабительное, что очищало его от желчи и имело благотворное действие на его характер. После его восшествия на престол эта последняя диета имела бы еще большее значение и его мнимым друзьям следовало еще больше настаивать на ее продолжении но император, освободившись от своих опасений (что ему не придется царствовать), думал только о том, как бы проявлять побольше свою власть, а фавориты заботились меньше о здоровье государя и о счастье подданных, чем о благополучии их собственных карманов. Фрейганг, имевший неосторожность хвастаться, был удален от Двора, а низость и злоба второстепенных царедворцев окончательно погубили, нравственно и физически, этого несчастного государя.

Французская революция произвела на него сильнейшее впечатление; он был от нее в ужасе. Однажды он мне сказал: «Я думаю о ней лихорадочно и говорю о ней с возмущением». С тех пор все, что раньше ему только не нравилось, стало его раздражать. Неурядицы, неизбежные при всяком большом управлении, показались ему величайшими преступлениями и малейшая забывчивость — умышленным проступком. Это был удобный момент, чтобы успокоить его мысли, смягчить его нрав и убедить его в том, что мягкость, в связи с твердостью, составляет самое могущественное оружие для государя.

Но какие тогда были друзья у того, кто царствовал над таким обширным государством? Кто мог тогда иметь такое сильное влияние на судьбы Европы? Князь Куракин? — он был так глуп, как только можно и, начав с полного ничтожества, достиг, путем лести, высших почестей. Камергер Вадковский? — человек злостный до ослепления. Князь Николай Алексеевич Голицын, впоследствии обер-шталмейстер? — новообращенный вольнодумец, воображающий себя государственным мужем и утешавший великого князя по поводу сцен ревности, которые ему устраивала его супруга тем, что, сделавшись императором, он сможет ее заключить в монастыре. Граф Эстергази, состоявший раньше при наследнике французского короля и принимавший участие во всех ошибках, закончившихся французской революцией? Он имел обыкновение говорить, мрачно покачивая головою: «Только посредством своевременного кровопускания можно предупредить возмущение в большом государстве». Вот те советчики, окружавшие государя, умственные способности которого все больше суживались в кругу домашних споров между

его женой, г-жей Нелидовой и их приверженцами.

Наконец, он взошел на престол и был в восторге от перешедшей к нему полноты власти. Это также был удобный момент выставить на первом плане долг, но, по-видимому, и тут не нашли более действенного средства, чтобы снискать его расположение, как уверить его в том, что все существует только для него и ради него и что он может всем пользоваться, без всякого зазрения совести, для своего собственного удовольствия. Со всех концов империи стали появляться старики, уже тридцать пять лет умершие гражданскою смертью, чуждые обычаев Двора, учтивых нравов царствования Екатерины II, грозных событий Европы и исходящего оттуда просвещения. Они, вместе со своими старомодными костюмами, привезли с собою устаревшие манеры и умели только бить челом и поклоняться. И что из этого вышло? Все поколение, занимавшее место, не имея возможности сразу подражать этим образчикам старины и не подозревая даже, чтобы это могло быть средством понравиться верхам, казалось поколением мятежников, вознесшихся в своей гордости, тогда как патриархи преклонялись перед помазанником Божьим. Государь жаловался старикам на молодых и первые отвечали, что они осуждают своих сыновей и племянников, находили, что они развращены философией, внушавшей им ужас, и убедили деспота, который пробовал свои силы, в том, что для России полезна лишь система управления Петра I и Анны Иоанновны. Но времена изменились. Екатерина сумела, мягкостью власти и славою успеха, создать верность, основанную на любви, и послушание, происходящее от восхищения. Павел, окруженный стариками и неизвестными молодыми людьми, вообразил себе, что можно сразу требовать того, что нужно сначала заслужить. Но нельзя достичь того, что невозможно. Тогда он начал ссылать, но не виновных, ибо никому не приходило в голову провиниться, а наиболее сдержанных, наименее услужливых и наименее покорных. Ссылки охлаждающе подействовали на других; от этого произошли новые ссылки, новые охлаждения и настал скоро всеобщий ужас с одной стороны и подозрительность, остервенение — с другой. Дошло до того, что через три года в Петербурге не было ни одного должностного лица и ни одного уцелевшего семейства из всех тех, которых там оставила умирающая Екатерина.

Это — неизбежное последствие всякого несправедливого насилия. Сердце императора, чувствующего себя одиноким посреди Двора, состоявшего из выскочек и лишенного хорошего общества, окруженного одними лакеями, шпионами и палачами, или лицами готовыми во всякое время стать тем или другим, —

развратилось и сжалось, а его ум сузился и утратил способность правильно оценивать людей и события. Соблазнительное счастье, выпадавшее в его царствование на долю нескольких лиц, было, впрочем, для России лишь преходящей бедой; но в то же время раскрылась одна рана, которая, как я боюсь, заживет не так скоро, а именно: высшее дворянство, уже давно недовольное тем, что правительство мало заботится о нем, живет теперь только тою жизнью, которую правительство ему дозволяет. Я должен указать на эту печальную истину, прежде чем рассмотреть причины и последствия деспотизма. Недуги, вызывающие боязнь, праздность и скуку, выродились в царствование Павла I в эпидемию, и если бы оно продлилось еще немного дольше, покрыли бы Россию общим трауром. Вельможи этой страны не обладают тою силою ума и личным достоинством, которые так сильно ограничивают область деспотизма. Несведующие, неспособные заниматься и учиться, слишком апатичные, чтобы умело развлекаться, они каплями пьют тот одуряющий напиток, который им преподносит Двор, и деспотизм в их лице не находит ничего такого, что могло бы возбудить сожаление или вынудить уважение.

Тут я перестаю писать историю и буду только простым составителем летописи. Я ограничусь приведением, год за годом, событий, записанных в моих дневниках, и, если я к ним иногда прибавлю некоторые рассуждения, то лишь такие, которые мне приходили в голову на месте и в эпоху, где и когда происходили эти события. Иной раз покажется удивительным, что я не даю никаких разъяснений по поводу того, что я рассказываю, но это происходит от того, что я в этих случаях, не мог бы ничего разъяснить.

Впрочем, ввиду отсутствия последовательности, характеризовавшего это царствование, было бы невозможно всегда выяснять причины и последствия. Так как я знаю Россию только со времени Екатерины, и лишь настолько, насколько этой великой государыне угодно было развить во мне эти знания, то они, с ее смертью, не могли получить дальнейшего развития. Я сразу очутился среди незнакомых мне обстоятельств, среди хаоса. Чувствуя себя чужим для тех, кто управлял государством, я пережил это царствование в каком-то вихре, или чересчур блестящем, или же чересчур мрачном, чтобы я мог в нем что-нибудь рассмотреть своими глазами.

1796-й год[176]

Первая мысль, озаботившая Павла I по восшествии на престол, состояла в том, чтобы опозорить память своей матери; средствами для этого он избрал — во-первых, вырытие из могилы останков Петра III, хотя последствия показали, что он не считал себя его сыном, а во-вторых, — всевозможные выражения соболезнования князю Зубову, занимавшему, при смерти императрицы, положение фаворита. В первом из этих средств заключалось много кажущейся ловкости и в то же время действительной неловкости, ибо, с одной стороны, он, столь изысканным доказательством сыновнего сострадания хотел уверить публику в том, что его доброта торжествует над всеми другими соображениями; с другой же стороны, неловкость средства заключалась в том, что уважающий себя государь и отец многочисленного семейства обязан перед государством не возбуждать излишних воспоминаний и деликатных вопросов, рассмотрение которых сопряжено с позором. Я полагаю, что на счет законности рождения Павла не может быть серьезных сомнений, а так как во всяком случае, можно быть более уверенным в своей матери, нежели в своем отце, то не имеет смысла вырывать из земли одного, чтобы свидетельствовать против другой, и пользоваться мертвыми чтобы затмить славу, которая загладила многое и составляла единственное право на престол того, кто так неосторожно рисковал этим правом.

Последовал приказ вырыть останки Петра III. Это казалось весьма просто: он был похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры. Старый монах указал место. Но рассказывают, что тело можно было распознать только по одному сапогу и что этот гроб[177]… Как бы то ни было, кости, вместе с этим сапогом, были вложены в гроб, который по внешности точь-в-точь походил на гроб императрицы, и был установлен рядом с последним на одном и том же катафалке. Это произвело громадное впечатление: дураки рукоплескали, благоразумные потупляли свои взоры; но первых больше всего поразило то обстоятельство, что для оказания почестей праху Петра III выбрали именно тех людей, которые подготовили его смерть; из них выделялись князь Орлов, герой Чесмы, и обер-гофмаршал князь Барятинский. Первый был стар и уже долгие годы разбит на ноги, так что, когда погребальное шествие должно было тронуться с места, — а предстоял длинный путь, — он стал извиняться невозможностью участвовать в этой церемонии. Но Павел, присутствовавший при этом и наслаждавшийся этим, несомненно заслуженным, но не

особенно приличным, возмездием, приказал вручить ему императорскую корону на подушке из золотой парчи и крикнул ему громким голосом: «Бери и неси». Когда же вслед за тем князю Орлову было разрешено отправиться путешествовать, а князь Барятинский был сослан, — в этом усмотрели новую тонкость и способ обратить внимание света на то, что советчики императора называли великим делом справедливости.

После этого крупного шага, можно было ожидать еще много других, и ожидания общества не были обмануты. Два совершенно неизвестных дотоле в Петербурге рода людей вдруг заняли путь к трону и казалось, что император одною рукою создает, а другою воскрешает.

С одной стороны, появилась целая группа простоватых и ничтожных лиц, одетых в невидимые до тех пор мундиры, украшенные неизвестными орденами, без хороших манер, но со смелостью в походке и взгляде, и без имени, и когда спрашивали, кто эти люди, ответ гласил: «Это гатчинцы» — т. е. люди, выдрессированные самим императором и одетые на его манер, в то время, когда он — в течение долгих лет — проживал в Гатчине. Это были такие карикатуры, что Вадковский, Нарышкин, Ростопчин, одним словом фавориты, одетые так же, как он, с первого взгляда не узнававшие друг друга. С другой стороны, — явилась группа стариков, в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти лет, одетых в старые кафтаны, с широкими золотыми галунами, потертыми от времени, отвешивающих при каждом слове глубокие поклоны, целующих руку у государя каждый раз, когда он им улыбался, и преподнесших каждый императору какую-нибудь вещь в воспоминание времен Петра III. Во главе этих стариков был Гудович, бывший близкий друг этого государя, и заслуживший своим благородным и воздержанным поведением уважение Екатерины II, от которой он никогда ничего не хотел принять; человек посредственных способностей, но добродетельный, скоро навлекший на себя опалу за свою откровенность. Между ними был также Измайлов, мой тесть, который был уволен в 1762 г., будучи капитаном гвардии. Он принес гренадерскую каску с султаном и старую алебарду. Будучи допущен к малым приемам, он ежедневно обедал и ужинал с Их Императорскими Величествами, был произведен в генерал-лейтенанты, затем награжден орденом св. Анны I степени, пожалован кавалером ордена св. Александра Невского и получил, в виде подарка, кроме прекрасного особняка в С.-Петербурге, еще очень значительное поместье[178]. Благодаря его влиянию, я был выпущен из Перновской крепости, как только Павел I взошел на престол. Его Величество соблаговолил простит мне преступление,

которого ни я сам, ни кто-либо другой на свете никогда не узнал и в котором я, во всяком случае, не был виноват перед Павлом I. И чтобы довершить эту высокую милость, Его Величеству, в то время как я стоял перед ним на одном колене, угодно было произнести: «Если моя мать вас сослала в Лифляндию, то я сошлю вас в Сибирь». Это было вероятно сказано ради рифмы[179], ибо эти слова не заключали в себе здравого смысла. Мне не возвратили старшинства в придворной службе и, так как я поднял на смех должность церемониймейстера, созданную для князя Барятинского, сына принцессы Гольштейн-Бек, фатишки, который был всего менее пригоден для этого места, император, чтобы меня унизить, тотчас же создал вторую такую же должность для меня. Когда он велел Нарышкину объявить мне об этом, он вместе с тем запретил мне отпускать остроты на все время его царствования, и я, не избрав это своим ремеслом, конечно, решил молчать. Легко можно понять, какое впечатление на меня произвело такое начало царствования преемника Екатерины, после того положения, какое я занимал при ней.

На первом дипломатическом приеме, происходившем у нового государя, он обратился к присутствующим со словами: «Господа, я не унаследовал ссор моей матери и прошу вас сообщить об этом вашим дворам». Он сказал еще: «Я — солдат и не вмешиваюсь ни в администрацию, ни в политику; я плачу Безбородке и Куракину, чтобы они занимались этими делами».

О политике Павла I я скажу только следующее: когда обстоятельства заставляли его заниматься насущными интересами государства он поневоле, впадал всегда в политические ошибки Екатерины. Первое выступление его в делах внутренней администрации было не менее странно и повело за собою поступки, доказавшие такое невежество, что трудно понять, как тогда могло найтись столько людей, восхвалявших этого государя, как великого праведника. Между прочим, он издал указ, от которого его ненависть к покойной императрице ожидала большого успеха, но который только вызвал всеобщее удивление, а именно: он разрешил приносить жалобы на прошлое и обращаться, с полным доверием, к ступеням трона с претензиями, прекращенными при предшествующем царствовании, — но никто не являлся и принятые меры тоже не привели никого в комиссию, учрежденную для рассмотрения таких претензий. Несколько дней спустя, выскочки, из которых состоял тайный совет, желая нанести чувствительный удар дворянству, коим они уже начинали пугать государя, убедили его издать указ, предоставляющий крепостным право возбуждать жалобы против

своих господ. Огонь не действует быстрее. Возмущение в Новгородской и Тверской губерниях так разрослось, что надо было поспешить отправкою туда князя Репнина с шеститысячным отрядом, чтобы обуздать восставших[180]. Неосторожный законодатель должен был отречься от своего распоряжения, издав второй указ, который как будто подтверждал первый, но содержал оговорку, что каждый крепостной, который будет жаловаться на своего господина, будет выслушан лишь после того, как он пройдет через руки палача и получит несколько ударов кнутом. От всех этих попыток осталось лишь одно учреждение, которое могло быть полезным, если бы оно не преследовало открыто цели потворствовать доносчикам. Это был так называемый «ящик», т. е. маленькое окошечко по правую сторону входа в Зимний дворец со приспособленным в глубине его помещением, куда бросали прошения и письма, адресованные государю, — мысль очень благодатная, но чересчур напоминающая пресловутые львиные пасти Венеции.

В числе тысячи указов, следовавших одни за другим, был один столь необыкновенный, чтобы не сказать ненавистный, для высших классов и вместе с тем столь комичный по своим результатам что большинство обитателей столицы не имели возможности его исполнить и вследствие этого улицы опустели и в них разыгрывались маскарадные сцены. Этим указом было запрещено выходить во фраке и можно было появляться на улице не иначе, как в мундире, присвоенному по должности, и со всеми орденами, если таковые имелись. Круглые шляпы, панталоны, сапоги с отворотами — все это было строго запрещено и указ этот подлежал немедленному исполнению, так что у многих не хватило времени и материальных средств, чтобы исполнить его. Одни были вынуждены скрываться у себя дома, другие появлялись на улицах, одетые, как кто мог: в маленьких круглых шляпах, переделанных наскоро посредством булавок в треуголки, во фраки, с которых сняли отложные воротники, а потом нашили на них клапаны, в панталоны, подобранные изнутри и прилаженные к коленям, с обрезанными кругом и напудренными волосами и с привязанной сзади косой. Я устроился так, чтобы по утрам выезжать только в коляске, вне района надзора, и гулять там в обыкновенном костюме; но скоро я заметил, что играю слишком опасную игру, так как по установленному обычаю, я должен был выходить из коляски при встрече с собаками императорского дома и рисковал поэтому поминутно быть замеченным в нарушении указа.

Иностранцы в особенности англичане, считали себя изъятыми от этого закона, но полиция обошлась с ними так круто, а власти

обратили так мало внимания на жалобы тех, против которых были направлены строгости, что они сочли более благоразумным подчиниться. Даже франкмасоны, столь покровительствуемые Павлом, когда он был еще великим князем, и к которым он как будто даже хотел присоединиться, стали теперь для него не более, как привилегированными бунтовщиками, которых желательно было удалить из империи.

Но если он одной рукой уравнивал род человеческий, другою рукой, он так расточал знаки отличия, что они потеряли всякое значение, как по количеству, в котором их раздавали, так и по выбору лиц, на которых они, главным образом, сыпались[181]. Орден св. Анны был разделен на четыре степени и стал отличительным знаком для гатчинцев; орден же св. Екатерины, которому покойная императрица придавала такое большое значение, что в ее царствование им были пожалованы лишь немногие дамы, был теперь разделен на два класса и награждения им следовали ежедневно. То же самое было со статс-дамами, число которых раньше не превышало четырех или пяти а фрейлин вскоре появился целый легион. Но в особенности эта расточительность коснулась военных чинов. Безусых юношей производили в генералы, а жезл фельдмаршала, который до тех пор приобретался лишь на поле брани, вручался теперь на смотрах. Обесценение наград дошло до того, что император сам был поражен этим. Однажды, когда князь Репнин, во время смотра хотел выразить свое мнение о чем-то, император сказал ему: «Фельдмаршал, вы видите эту выстраивающуюся гвардию? В ее составе 400 человек, а мне стоит сказать только одно слово и все они будут фельдмаршалами». Ему же император, как-то раз во время приема, находя, что он становится слишком далеко впереди, сказал: «Знайте, что в России вельможи только те, с которыми я разговариваю и только пока я с ними разговариваю». Главным занятием Павла было военное дело, и смотрам придавалась такая важность, что все дела в течение дня зависели от их более или менее удачного исхода. Гатчинцы формированные втайне во время предыдущего царствования, сделались инструкторами и инспекторами всей армии, которой было очень трудно сразу все забыть, что она знала, чтобы учиться тому, о чем она раньше никогда не слыхала. Старейшие генералы подвергались такому обращению, как будто они были школьниками, В свите государя находились лица, которые с трудом держались на лошади. Но ни одной части не приходилось столько страдать, как гвардии. При императрицах она изображала собой блестящий корпус, чрез который должны были проходить все те, кто желал попасть ко Двору или служить с выгодой в

армии; она никогда не оставляла столицы, если не считать первого замешательства при нападении Густава III; нижние чины в этом случае доказали свою храбрость, но зато офицеры вели себя ниже всякой критики. Поэтому пришлось переформировать гвардию, а чтобы произвести эту большую операцию успешно и безопасно — ибо гвардия изображала из себя нечто в роде янычаров — ее начали шпиговать гатчинцами, которые отвечали за все и хорошо исполнили свою задачу, чему распределение денег и мяса способствовало не менее смотров и ударов.

Страсть Павла к церемониям почти равнялась его страсти к военщине. С утра до вечера — всегда бывали поводы, чтобы не дать вздохнуть придворным. Церковные празднества, тезоименитства членов императорской семьи, орденские праздники — все это казалось ему недостаточным. После обеда он отправлялся торжественно в церковь, чтобы принимать от купели всех новорожденных солдатских детей; но скоро это занятие ему надоело и понемногу эти обязанности перешли от имени Его Величества к обер-гофмаршалу. Государеву руку целовали и становились перед ним на одно колено при всяком случае и не так как раньше, только для вида; требовалось, чтобы государь слышал стук колена об пол и чувствовал поцелуй на своей руке.

Сколько придворных оказалось под запретом за несоблюдение этих требований, — больше из замешательства, конечно, чем из злого умысла! Скольких придворных постигла такая же участь за то, что они пытались сохранить остаток изящества! Однажды в воскресенье, после обедни и во время приема, один из флигель-адъютантов, получив на ухо приказание от императора, взял князя Г. под руку, отправился с ним во внутренний двор, велел караулу выйти под ружье и перед фронтом и окнами двора, откуда на эту сцену смотрели император и вся его свита, заставил его сесть на барабан и приказал барабанщику его причесать.

Вход ко Двору, считавшийся раньше большим отличием, был теперь предоставлен стольким лицам, что прием у Его Величества превратился в какое-то сборище. Все присутствующие допускались к целованию руки и по два проходили мимо государя и государыни; а напротив стояли обер-гофмаршал и церемониймейстер, которые напоследок сами удостаивались этой чести и несли ответственность за шум и неловкости, проявляемые всем этим народом. От страха люди, с приближением момента целования руки, цеплялись друг за друга, а потом извинялись друг перед другом; в то же время другие приготовлялись к этой чести и громко сморкались, так что от всей этой толпы доносился

шум, который приводил императора в ярость. То он нам приказывал учить других, как они обязаны вести себя перед ним, то, выходя из терпения от недостаточного успеха наших увещаний, или вернее, наших просьб — ибо мы весь этот народ умоляли сжалиться над нами, — он восклицал своим гробовым голосом: «Тише!» — что заставляло бледнеть наиболее храбрых. Я помню, что однажды, когда я заканчивал церемонию, целуя ему, в свою очередь, руку, он довольно добродушно заметил, как странно, что нельзя заставить людей почтительно относиться к такому случаю. Думая, что он в хорошем расположении духа, я ему ответил: «Ваше Величество, к сожалению нет ничего более шумного, как молчание шестисот человек». На это он, покрасневши от гнева и выпрямившись во весь рост, ответил: «Я нахожу, что с вашей стороны очень смело заниматься остротами, когда вы существуете только для того, чтобы слушаться моих приказаний!» Тем не менее, он в общем был доволен моей манерой действовать и часто говорил мне: «Вы исполняете ваши обязанности с достоинством и как подобает вельможе; если бы они все были как вы, это напоминало бы Людовика XIV. Вы никогда не теряете голову, и мне, во время церемоний, стоит только посмотреть на вас, чтобы знать, что мне делать». А это происходит от того, что я никогда не трусил и решил мстить за унижение, сопряженное для меня с этим жалким местом, самоуверенностью и осанкой, рассчитанными на то, чтобы внушить уважение самому государю. Что же касается гг. В. и К. и моего коллеги, князя Барятинского, то они возмущались, что я не лезу всегда из кожи, как они, и что меня хвалили в то время, как на их долю выпадали одни только выговоры.

Я закончу статью, касающуюся 1796 года, обзором финансовой системы императора. Так как, по его мнению, все было отвратительно в предшествующее царствование, он не мог не заметить ошибки, в которую впали тогда чрезмерными выпусками бумажных денег, и в силу самолюбия, не имевшего, кажется, примера, он захотел, чтобы чеканная монета стоила больше ее нарицательной цены. Легко понять, что эта монета быстро исчезла из обращения, так как ее переплавка давала верный барыш, а в России умы были весьма доступны всему, что касалось барыша. Он не хотел, по случаю своего внешнего безобразия, чтобы его изображение красовалось на этой драгоценной монете и заменил его девизом, который украшал знамя рыцарей Св. Храма. Александр I последовал его примеру.

Многие, при виде милости, в которой Безбородко был у государя, поверили басне, распространенной в начале царствования Павла, будто бы Екатерина II оставила завещание,

скрепленное четырьмя вельможами, в силу которого престол должен был перейти к ее внуку, и что это завещание было выдано Павлу вице-канцлером Безбородко. Но, во-первых, императрица слишком хорошо знала дела. Чтобы поверить, что несколько слов, начертанных ее рукою, оказались бы достаточными изменить судьбу государства. А во-вторых, кого, собственно говоря, можно назвать в России вельможей? В чем состоит их власть, пока они не составляют между собою заговора? Каким они пользуются вообще почетом, как только они удаляются от ступенек трона? Наконец, где государыня отыскала бы таких четырех дураков для скрепы фантастического документа, который повел бы их прямо на лобное место? Доверие Павла к Безбородке основывалось исключительно на его способностях, или вернее, на его опытности в делах, без чего вначале нельзя было обойтись; к тому же он был низкого происхождения, а этому обстоятельству деспотизм всегда придавал большое значение; к его же племяннику Кочубею император питал особенное расположение[182]. Заслуга этого министра состояла в том, что он, с первых же дипломатических сношений нового царствования, убедил государя соблюдать принятые формы и не обрывать слишком рано и слишком круто политическое положение которое он застал.

Великая и благая мысль занимала императора в конце года, а именно: собрать под сенью своего трона всех монархов, свергнутых с престолов. Он предложил всем им неприкосновенное убежище у себя. Даже папе было предложено приехать в Петербург, но его преклонный возраст, резкая перемена климата, неудобства искать приют в лоне Церкви, считавшейся, с католической точки зрения, схизматической — все это говорило против возможности принять подобное предложение. Он тогда еще не предвидел жестокого обращения, которое его ожидало в будущем, а, может быть, и покорился выпавшему на его долю мученичеству. Один только король польский воспользовался великодушным предложением Павла и был принят по-царски. Интимность обращения с ним императора, однако, со второго же дня стала тяготить короля. Последний мне сам рассказывал, что император, со слезами на глазах и целуя ему руки, просил его сознаться, что он его отец; но что он не мог этого сделать, так как сам был уверен в том, что это неправда. Тогда император, придававший большое значение такому происхождению, в которое он твердо верил, переменил тон и стал требовать по этому поводу страшных для него подробностей. Король не поддавался и старался ему доказать, вескими доводами что он имеет полное основание считать себя сыном Петра II; но

Павел несколько раз, с непонятною настойчивостью, говорил о последнем, как о человеке, преданном спиртным напиткам и неспособном царствовать.

Среди всех необыкновенных мероприятий императора попадались однако и такие которые свидетельствовали о благородстве его сердца. Хотя в освобождении генерала Костюшки усматривали только новый способ поношения памяти Екатерины II, но надо сознаться, что Павел вложил в это много милости. Он лично, в сопровождении великого князя Александра, посетил его в тюрьме, чтобы объявить ему о его освобождении и пожаловал ему пенсию, взамен чего он удовольствовался его честным словом. Что бы ни говорили, но радость, испытываемая при виде счастливых, и доверие, выражаемое врагу, доказывают доброе сердце. К несчастью, Павел редко допускал влияние сердца на характер.

1797-й год

Коронование имеет важное значение для государя, страстно преданного церемониям и облеченного светскою и духовною властью, соревнование которых он считает нужным для увеличения их блеска. Но коронование также весьма важно для придворных, ожидающих, в воздаяние их малейших заслуг, милостей или подарков.

Неудивительно поэтому, что вопрос о коронации уже давно занимал умы в С.-Петербурге и что все мысли направлялись к Москве, как к предельной цели их нового величия. В особенности те, которые ждали особенных милостей, думали, что они будут помазаны вместе с царем и что благодаря этому их счастье станет ненарушенным.

Пасха в этом году приходилась 5-го апреля, и этот день был выбран для коронования. Помазанник Господень должен был появиться на троне в то же время, как Господь появляется на престоле. Павел льстил себя надеждой приобрести, благодаря этому, в глазах своего народа сугубое освящение. Мы скоро увидим, до чего он доводил это желание.

Я здесь привожу копию из моего дневника, который отличается большою точностью, так как ведь я тогда был церемониймейстером.

15 марта. — Их Величества отбыли из С.-Петербурга; их путешествие в Москву продлится пять дней. Оно совершается в мундире при шпаге.

Их Величества были встречены под Москвой, в Петровском дворце, придворным штатом, тайным советом и дамами трех первых классов. Как только духовенство совершило установленные священнодействия, их Величества удалились во внутренние покои. При встрече, между прочим, присутствовал знаменитый Платон, митрополит Московский, которому надлежало, по праву его сана, совершить чин коронования; но государь его недолюбливал и, не желая его оставлять в сомнении на этот счет, объявил, что он не хочет быть им коронованным. Гавриил, митрополит Новгородский, должен был его заменить. Платон, стоявший выше подобного оскорбления, сказал, что он в таком случае будет присутствовать на короновании, как простой иерей, и Павел не чувствовал в себе достаточной самоуверенности, чтобы запретить ему это. Будучи очень болен, Платон велел перенести себя на руках в Петровский дворец. Никто из присутствовавших, в продолжение всего времени,

которое нам пришлось ожидать Высочайшего приезда, не подходил к нему. Я один, знавший его хорошо, так как я устоял против его красноречия, когда он, по поводу моей женитьбы, хотел обратить меня в православие (Головкины были протестанты), — я стал около него. Это его растрогало и он сказал мне, улыбаясь: «Во всей этой толпе благочестивых христиан я могу рассчитывать только на одного еретика!»

После отдыха, продолжавшегося четверть часа, Их Императорские Величества снова появились в круглой зале. Митрополит Новгородский, как первоприсутствующий в Святейшем Синоде, обратился к ним с речью. После него произнес слово Платон, как митрополит Московский. Его речь была длинна, но так хороша, так преисполнена бессмертных истин, что их Императорские Величества были тронуты до слез и приложились к его руке в большом волнении[183]. Император ему ответил, после чего началось прикладывание к руке с коленопреклонением; сначала подходили дамы, потом кавалеры, а по окончании этой церемонии Их Величества показались на балконе и, хотя народу было запрещено выходить из Москвы, но во дворе дворца стояла все-таки огромная толпа.

Немилость митрополита Платона происходила от того, что император, решив жаловать духовенство орденами, что раньше не было принято, послал Платону голубую ленту[184], от которой последний отказался со словами: «Кавалер должен носить меч, а меч существует, чтобы проливать кровь, кровь же марает престол. Я не могу быть в одно и то же время иереем и кавалером». Ни просьбы, ни угрозы не могли поколебать его решения. Два года спустя, когда над империей нависли тучи и в провинции начали возмущаться деспотизмом, император велел сказать Платону, что для первосвященника, пользующегося таким почетом, нехорошо служить примером неповиновения. Тогда Платон подчинился — тем легче, что его пример уже не мог послужить соблазном, ибо он удалился на покой в Сергиево-Троицкую Лавру[185].

16 марта. Их Императорские Величества осматривали Кремль, император верхом, а императрица в экипаже. Стечение народа было необычайно и до самых крыш все было покрыто любопытными. Великий князь Александр Павлович прибыл после обеда. Их Величества отправлялись также на осмотр дворца графа Безбородко, который предназначался для их местопребывания, так как Кремль был слишком мал и покои в нем были плохо распределены, так что он не мог вместить в себя столь многочисленное семейство, как царское.

17 марта. Приезд великого князя Константина Павловича. Вечером вбивали гвозди в знамена 2-го гвардейского полка.

18 марта. Утром — освящение знамен. Их Императорские Величества посетили Воспитательный дом. Офицеры 2-го гвардейского полка имели счастье ужинать у Их Величеств. Приезд великих князей.

19 марта. Освящение знамен 3-го гвардейского полка.

20 марта. Их Императорские Величества посещают Военный Госпиталь.

21 марта. Их Императорские Величества совершают прогулку в окрестностях Москвы. Посещение одной больницы.

22 марта. Их Императорские Величеств присутствовали у обедни. Вечером состоялся прием для чинов 4-го класса.

23 марта. День проводится в уединении, так как получено известие о кончине г-жи фон-Бенкендорф (урожденной Шиллинг фон-Канштадт), которую Е. В. императрица удостаивала своим особенным расположением.

24 марта. Поутру церемониймейстеры оповещали дипломатический корпус о короновании.

25 марта. Первое публичное провозглашение коронования. Кортеж, верхом, собрался под начальством генерала Архарова у Тверских ворот. Герольды были в костюмах, наш герольд — в богато расшитом бархатном камзоле с шарфом, в штиблетах из белого атласа с лисьими хвостами и в треуголке военного образца с султаном. Те, у которых были высшие ордена, имели ленту через плечо. Первая остановка была у Петровского дворца. Пока кортеж ждал у ворот приказания войти во двор, подъехал польский король. Второе провозглашение — в Кремле, третье — в Торговых рядах. Здесь кортеж разделился на две части, из которых каждая направилась в свою сторону, согласно полученному ордену.

26 марта. Второй объезд, сходный с первым.

28 марта. Торжественный въезд Их Императорских Величеств в Москву. Порядок шествия: лейб-казаки, лейб-гусары, экипажи московских вельмож, молодые дворяне верхом, придворные чины, конная гвардия, кавалергарды. Е. В. Император и великие князья верхом, камергеры и камер-юнкеры верхом. Е. В. Императрица в карете с великими княгинями Елисаветой Алексеевной и Еленой Павловной. Гвардейские полки, придворные дамы. Шествие тянулось от Петровского дворца до Кремля и продолжалось от часа дня до пяти часов вечера. Холод в этот день был очень чувствителен, а великолепие церемонии не допускало принятия против этого мер предосторожности.

29 марта. Поутру третье и последнее провозглашение коронования. Большой прием с участием дипломатического корпуса. Польский король обедал у их Императорских Величеств.

30 марта. После обеда аудиенция папского нунция. Крещение сына графа Б., при чем восприемником от купели был император.

1 апреля. Поутру император перенес в Кремль знамена гвардии и поселился в этом старинном дворце.

2 апреля. Омовение ног; мурование.

3 апреля. Репетиция церемоний коронований. Император на ней присутствует. Эта репетиция была одна из наиболее пикантных сцен в числе стольких других, в которых мы участвовали до изнеможения. Император вел себя, как ребенок, который в восторге от приготовляемых для него удовольствий, и выказывал такое послушание, какое только можно ожидать от этого возраста. Надо было обладать большой дозой страха или осторожности, чтобы не изобразить на своем лице нечто большее, чем удивление. После обеда он хотел произвести вторую репетицию в тронном зале, чтобы наставить императрицу. Когда он ей сделал знак, чтобы она заняла место рядом с ним под балдахином, она, по незнанию или же из рассчитанной скромности, поднялась по боковым ступенькам, но он сказала ей строгим тоном: «Так не восходят на трон, сударыня, сойдите и поднимитесь снова по средним ступенькам!» Не было ни минуты времени для отправления простых и естественных нужд; с раннего утра и до позднего вечера мы постоянно находились при исполнении обязанностей службы, а так как Москва огромный город и придворные чины жили далеко от Кремля, то никто не имел возможности отлучиться. Что касается меня лично, то я только знаю, что в три последние дня перед коронованием мне оставалось всего несколько часов для ночного отдыха и что постоянные переодевания совершались в коридорах монастыря или в одном из многочисленных углов этих древних царских хором.

4 апреля. Их Императорские Величества присутствуют у обедни в Чудовом монастыре.

5 апреля. День Св. Пасхи и коронования. Около восьми часов утра шествие тронулось. Путь от дворца до собора в Кремле так короток, что для его удлинения шествие обогнуло колокольню Ивана Великого. Император был в мундире и высоких сапогах, императрица в платье, сотканном из серебристой парчи и расшитом серебром, и с открытой головой. При императоре состояли оба великих князя, при императрице государственный канцлер и фельдмаршал граф Салтыков.

Церемония была продолжительна и за ней следовало множество других, которые император и обер-церемониймейстер выдумывали для забавы[186]. По окончании коронования был

сервирован обед под балдахином, во время которого нам было вменено в обязанности делать реверансы на манер дам, как это раньше было принято во Франции, при проходе чрез залу парламента во время судебного заседания. Блюда разносились полковниками, в сопровождении двух кавалергардов, которые брали на караул, когда блюда ставили на стол. После обеда происходила большая раздача милостей; они действительно были необычайные и, можно даже сказать, безмерно велики. Граф Безбородко и князь Куракины получили миллионы[187]. Император был того мнения, что государственные имущества дают больше дохода казне, когда они попадают в частные руки, что было верно, поскольку это касалось прежней казенной администрации. Благодаря этому, почти все земли, принадлежавшие казне, были розданы фаворитам, положив основание земельному богатству гатчинцев. Ленты, бриллианты, чины, все, чем только можно было жаловать, было пожаловано, и в общем, Павел I, в один этот день, подарил гораздо больше, чем было подарено его предшественниками от Петра Великого до Екатерины II[188]. Я один остался не при чем, хотя государь обошелся со мною очень милостиво. Я об этом не стал бы говорить, если бы мне пришла в голову одна довольно удачная острота и одно событие, хотя и незначительное само по себе, но дающее хорошее представление о том времени. Когда, при выходе из дворца, счастливцы стали друг друга поздравлять высочайшими милостями и так называемое Красное Крыльцо было покрыто лицами, обнимающимися и рассказывающими друг другу о выпавшем на их долю счастье, г. Н., обер-гофмаршал[189], бывший одним из наиболее осчастливленных, заметив сверху, что я собираюсь сесть в карету, крикнул мне, в присутствии двух сот посторонних лиц: «Как вы в такой ливень умудрились остаться под зонтиком?» — «Вы оказали бы мне большое удовольствие, если бы обратились с этим вопросом к тому, от кого все зависит, а я ничего не знаю», — ответил я ему.

На другой день, когда я вошел в тронный зал, г-жа Нелидова, бывшая все еще на положении подруги, сказала мне шепотом и таким дружеским тоном, какого я никогда раньше не замечал у нее в обращении со мною, чтобы я в три часа пришел в ее покои, так как государь желает меня видеть наедине. Я пришел в назначенное время, и нам пришлось ждать добрый час. Наконец, явился Кутайсов, камердинер, пользовавшийся особенным доверием государя, и сказал г-же Нелидовой что-то на ухо. Я видел, как она покраснела и пришла в замешательство. Когда он вышел, она сказала мне, запинаясь: «Его Величество велел мне сказать, что он задержан у императрицы и что вы можете уйти». Я

никогда не узнал, ни что мне тогда предстояло, ни почему первоначальное намерение было изменено. Правда, что я и не прилагал никаких стараний, чтобы это узнать.

Пока длились все эти церемонии, общее внимание привлекала своей миловидностью великая княгиня Анна, супруга великого князя Константина[190], уже глубоко несчастная и такая больная, что, не имея возможности отказаться от этих церемоний, она каждый раз чувствовала себя дурно. Я никогда не забуду, как в одном монастыре, где Их Величества присутствовали у обедни, я увидал, что она сразу побледнела, и успел только удержать и отнести ее на одну древнюю могилу, где я был вынужден ее оставить. Этот Двор, слишком занятый величием жизни, чтобы обратить внимание на такое предупреждение о близости смерти, тогда так сильно меня возмутил, что я даже забыл о своих обязанностях.

В это время передавали на ухо о случае, который мог бы казаться невероятным, если бы при этом не присутствовало столько свидетелей. Рассказывали, что великий князь, который не любил своей жены и находился тогда в периоде раздражительности, побуждавшей его к жестоким действиям, придумал несколько дней перед коронацией, рано утром, когда великая княгиня еще спала, нарядить в ее спальню взвод гвардейских барабанщиков, которые, по данному сигналу, стали бить утреннюю зарю. Великая княгиня так испугалась, что чуть было тут же на месте не умерла. Необходимость скрыть это событие от императора принудила ее к сверхъестественному усилию, чтобы появляться на церемониях коронования, и ее здоровье долго ощущало последствия этого случая.

Император, недовольный предстоящим окончанием коронационных торжеств, придумал еще церемонию, настолько нелепую, что я чуть было не просил аудиенции, чтобы ее предупредить. Она состояла в том, чтобы поочередно, одну за другою, снять с их Величеств царские регалии, прежде чем отнести их, в торжественном шествии, в сокровищницу. Мы увидели, как государь и государыня явились, облеченные в коронационные наряды, и взошли на троны. Сановники стали отнимать у них одну за другой царские регалии: короны, скипетры, державу, цепи орденов и мантии. В конце концов, они остались такими обнаженными, что под влиянием чувству, в которых мне теперь трудно разобраться, в глазах у меня выступили слезы.

Весь Двор был страшно утомлен. Для дам во время коронационных торжеств были восстановлены фижмы и все сидения были убраны из кремлевских покоев, — так что под

конец все без исключения, сановники государства, а также остальные кавалеры и дамы еле держались на ногах и опирались об стены, чтобы не упасть. В последний день я не мог удержаться от шутки. Когда в зале, где происходили аудиенции, ожидали выхода Их Величеств, я проскользнул мимо лиц, стоявших вдоль стены, отвешивая им глубокие поклоны и приговаривая шепотом: «Я льщу себя надеждой не быть так скоро удостоенным чести вас увидеть». Если бы при этом Дворе дерзали смеяться, моя выходка вызвала бы, конечно, громкий хохот, особенно когда супруга фельдмаршала, княгиня Репнина, громко заметила: «Вот видите, можно ли после этого полагаться на придворные слухи. Меня уверили, что графу Головкину запрещено говорить остроты в царствование Его Величества».

Обстоятельство, о котором не решались громко говорить в те времена, но которое могло иметь крупные последствия и наводило на размышления — это желание государя, в качестве главы Церкви, служить обедню; но так как он не рисковал сделать столь важное нововведение в самой столице, то решил отслужить первую обедню в Казани, куда он собирался ехать. Были уже приготовлены самые богатые священнослужительские облачения. Павел был уверен сделаться таким образом духовником своей семьи и министров, но Синод вывел его из этого смешного положения, высказав при этом удивительную находчивость. При первом слове императора о его намерении, члены Синода, не обнаруживая ни малейшего удивления, — хотя оно несомненно было велико — заметили ему, что канон православной церкви запрещает совершать св. таинства священнику, который женился во второй раз. А так как Павел об этом не подумал и не посмел или не хотел ничего изменять в законах священства, то ему пришлось отказаться от этого проекта. Он утешился и только к причастию надевал на себя маленький, довольно короткий далматик из бархата малинового цвета, унизанный жемчугом, что вместе с его мундиром, ботфортами, длинной косой, огромной треуголкой и, при всем том, с его невзрачной внешность, делало из него самую комическую фигуру, какую только можно себе представить. Узнать случайно о его проекте и находясь однажды утром в Кремле вдвоем с митрополитом Платоном, я сказал ему:

— Ваше Высокопреосвященство должны быть довольны, что трон занят государем, преисполненным религиозностью.

— Увы! — ответил владыка.

— Как, неужели Ваше Высокопреосвященство не верите в религиозность государя?

— Как мне не верить? Но к сожалению, религиозность у него вместо того, чтобы быть там — он указал на сердце, — тут. — И

он указал на лоб.

Но, не отрицая верности этого замечания, следует все же сказать в похвалу Павлу I, что он проявил большую терпимость в религиозных вопросах.

Два крупных акта ознаменовали эпоху коронования. Первым был установлен закон о престолонаследии. Он был достоин государя, бывшего вместе с тем отцом многочисленного семейства, и оградил империю с этой стороны от всякой неустойчивости. Другим актом — ордена св. Андрея Первозванного, св. Екатерины, св. Михаила и св. Анны были наделены богатыми пенсиями. Оба акта вызвали всеобщий восторг, но увы! — мы впоследствии видим, что первый из них не мог ничего предупредить, а второй остался мертвою буквой за неимением денег.

Императрица не менее, чем ее супруг, наслаждалась торжествами коронования. Туалеты были ее элементом. То, что доводило других дам до изнеможения, не доставляло ей никакого труда. Даже в положении беременности, она сохраняла свой бальный туалет с утра до вечера и между обедом и балом, оставаясь затянутой в корсет, занималась как всегда, в капоте, своей перепиской или вышивала на пяльцах, а иногда даже работала с медальером и резчиком на камне Леберехтом. Ее участь значительно улучшилась с тех пор, как она последовала совету своей матери — расположить к себе хорошим обращением г-жу Нелидову. А так как эта фаворитка не была ни развратная, ни корыстолюбива и, к тому же, была чрезвычайно умна, то доверие к ней государыни, которая могла на нее смотреть, как на свою соперницу, ее тронуло и в то же время расположило государя к своей супруге. Кончина г-жи Бенкендорф успокоила Его Величество на счет ига, которое будто бы ему угрожало, и по-видимому ничто не нарушило бы это спокойствие, если бы не явился проект дать монарху фаворитку в тесном смысле этого слова. Женщина, носившая звучное имя[191], которое Петром I было возведено на престол, но весьма нескромного поведения, бывшая любовница Уварова, одного из флигель-адъютантов и фаворитов государя, вздумала сыграть эту роль. Уваров и турок-камердинер Кутайсов расхвалили ее перед государем, Валуев, обер церемониймейстер, сажал ее постоянно напротив Его Величества и все это делалось настолько открыто, что было скоро замечено всем Двором и стало беспокоить государыню и огорчать честных людей, так как все знающие порядок вещей в этом мире, поняли, что от этого могли бы произойти всевозможные неприятности, которые и без того грозили всем. Последствия показали, насколько их опасения были основательны.

Великий князь наследник, вообразивший при восшествии на престол отца, что перед ним раскроется небо, и проявлявший до нескромности радость по поводу того, что ему не надо более слушаться старухи — я передаю только это выражение! — с первого же года царствования отца убедился, насколько его положение было хуже в сравнении с тем, коим пользовался его отец при тех же условиях. Ему было назначено содержание в 500 000 рублей в год, а великой княгине, его супруге — 150 000 руб., но, кроме квартиры. Он не пользовался ничем другим. Он имел свой собственный придворный штат, свой стол, свою конюшню и за все это должен был сам платить. Он был шефом 2-го гвардейского полка, генерал-инспектором, председателем военного и морского департаментов, высшим начальником государственной полиции и первоприсутствующим в Сенате; все это составляло как будто вполне определенное премьерство, но никто не обращал внимания ни на его мнимый авторитет, ни на его милость. Он не мог никого ни назначать, ни увольнять, не мог подписывать от своего имени без особого разрешения, которое не имел даже права испрашивать. Питомец и жертва гатчинцев, он должен был терпеть от них обращения, не как начальник и не как сын императора, а как воспитанник, которого то бранят, то вовсе не замечают. Обремененный работою, вынужденный во всякую погоду исполнять обязанности командира своего полка, уверенный в своем обеде только тогда, когда ему удавалось обедать у императора; отдыхая в сутки лишь несколько часов от изнеможения, рядом с одной из прекраснейших женщин на свете, доходя часто до отчаяния, но не осмеливаясь жаловаться, не решаясь даже изъявлять свое благоволение к другим, из страха, что это может быть причиной их изгнания — он, наконец, раскрыл глаза и стал укорять самого себя за то, что осуждал великую государыню, трон которой предстояло со временем занять и ему; он понял, что представляет собой лишь чучело, посаженное для торжества других и без пользы для себя. В конце первого года можно было еще помочь этой беде, если бы великий князь воспользовался умом, коим он был одарен от природы, и, соображая хорошо свои действия, проявил бы свойственную ему смелость, сдерживал бы фамильярность фаворитов и лакеев и занялся бы не мелочами военного муштрования, а важнейшими вопросами администрации, что дало бы ему возможность, не нарушая почтительности сына и верности подданного, приобрести значение и заслужить уважение императора, а также симпатию народа — но он не сумел это сделать. Император, заметив это и пользуясь этим, обращался с ним публично грубо до такой

степени, что лишил его возможности предупредить ужасную катастрофу, от которой одно сердце юного великого князя могло предохранить отца.

Как только началось новое царствование — появилась партия, существовавшая в России уже давно и располагавшая большим влиянием, о чем, несмотря на чутье русских в интригах, лишь немногие имели ясное понятие. Эта партия, связанная со Двором многими нитями, что однако мало показывалось там, и в этом вероятно заключается причина, почему ее так мало замечали и никто о ней не говорил. Я назову ее «немецкой партией»[192]; она родилась еще при Петре Великом из желания руководить цивилизацией и состояла в последующие царствования из лиц разных национальностей, разных чинов и разного пола, образовавших молча союз против всех остальных. При Петре I столпами этой партии были: Лефорт, Остерман и несколько адмиралов, позднее Миних, Бирон, великий канцлер Головкин и его сыновья и др. При Екатерине, как это ни странно, во главе ее сначала стояли братья Орловы, а потом генерал Бауер. При воцарении Павла эта партия вошла опять в силу и нижеследующий список ее членов даст лучшее понятие о ней, чем все, что я мог бы сказать; сама императрица, граф Пален, граф Панин, граф Петр Головкин, обер-егермейстер, барон Кампенгаузен, барон Гревенитц, г-жа Ливен и др. В числе этих лиц было не мало таких, которые никогда не видели друг друга и никогда не беседовали между собою; у них не было ни общего плана действий, ни совещаний для обсуждения такового, но они на слово верили друг другу и составляли как бы одну секту. Опасность, грозящая одному, приводила в движение других, а многие даже не подозревали до какой степени они принадлежали к этой партии и вдохновлялись ею. Не знаю, удалось ли мне передать ясно мою мысль о «немецкой партии» в России, но внимательный наблюдатель ее не пропустит и существования ее нельзя отрицать, хотя на это и нет явных доказательств.

По возвращении из Москвы император проявлял больше самоуверенности и, главное, чувствовал себя более повелителем. Каждый день приносил неожиданные милости и опалы, о причинах коих никто не мог догадаться. Между тем причины были столь же просты, сколь неразумны. В предыдущее царствование Павел отмечал у себя все события, не зная из происхождения, а также всех участвовавших в них лицах, с рассуждениями о том, что ему казалось правильным и более подходящим. Эта коллекция справок возросла неимоверно и когда он скучал или когда ему нечего было делать, он запирался у себя и просматривал ее. При этом он сразу вспоминал события

и лица, забытые им давно, что и побуждало его награждать или карать людей за действия, которые сами авторы успели позабыть. То же происходило относительно политики и администрации, но тут эти неожиданные приемы иногда имели такие последствия, что пришлось немного умерить пыл.

1798-й год

Этот год из всего царствования был наименее богат событиями, что объясняется весьма просто: всякого рода ошибки, делаемые императором, еще не достигли своего полного развития. Будучи слишком занят переделкой всего вокруг себя и работая пока в небольших размерах, Павел не испытал еще силу событий, которые не успели противопоставить его намерениям сопротивление, могущее развить все его деспотические принципы и всю необузданность его воли.

Человек, причинивший ему уже много зла и сделавший его еще более подозрительным и произвольным, был генерал Архаров-старший, занимавший раньше должность по полиции[193], для которой он казался рожденным и наводивший впоследствии ужас на Петербург и Москву. Он первый вздумал властвовать над Павлом, указывая ему повсюду на бунтовщиков, так что государю казалось, что он не может без него обойтись; кроме того, он старался удалить от Павла всех тех, кто не был лакеем по должности, или по характеру, и воздвигнуть между государем и его великодушными порывами непреодолимую преграду, унижая его мысль до самых недостойных предосторожностей, не достигавших, к тому же, цели, как показали последствия.

Прелестная столица, где можно было раньше двигаться так же свободно, как в воздухе, где не было ни ворот, ни часовых, ни таможенной стражи, превратилась в обширную тюрьму, куда можно было проникнуть только через калитки, а дворец сделался обиталищем террора, мимо которого, даже в отсутствии монарха, нельзя было проходить иначе, как обнажая голову; красивые и широкие улицы опустели; старые дворяне не допускались иначе к исполнению своих служебных обязанностей, как по предъявлении, в семи различных местах, полицейских пропусков — вот в каком положении очутилась столица. Хотя Архаров скоро впал в немилость, но его принципы легли в основание карьеры его преемников.

Другой человек, пользовавшийся не меньшей милостью, чем он, который, может быть, имел бы возможность успокоить увеличивающуюся раздражительность государя, поощряемую такими мерами и может быть даже попробовал это сделать — был Безбородко, возведенный в княжеское достоинство и назначенный государственным канцлером, который имел счастье принять государя в своем дворце во время коронования и продал ему впоследствии этот дворец. Но он был слишком большой эгоист и

слишком занят государственными делами и разными таинственными развлечениями, а кроме того слишком осторожен — скажу даже слишком ничтожен по своему происхождению, своей осанке и своим манерам — чтобы взяться с успехом за такую задачу. К тому же он был занят продолжением карьеры своему любимому племяннику Кочубею, которого он провел в вице-канцлеры, несмотря на его молодость и на его посредственные способности, — как только ему представился случай облегчить себя от тяжести работы, ставшей невыносимой для его лени, и сложить, без опасений последствий, часть дел на человека, преданность которого стояла вне всяких сомнений.

Был еще человек, который казался подходящим для роли, пленительной по своей красоте, — это был князь Александр Куракин, племянник[194] графа Панина, бывшего гувернера императора. Куракин был близким другом Павла, с самого детства, но он оставался в милости лишь благодаря лести и потому что Павел привык его видеть и что он не возбуждал беспокойства в других. Он любил блистать, не в силу своих заслуг или внушаемого им доверия, а своими брильянтами и своим золотом, и стремился к высоким местам лишь как к удобному случаю, чтобы постоянно выставлять их на показ. Он достиг всего и не сумел воспользоваться ничем, — даже изгнанием в виде антракта, — чтобы побудить своего государя к более достойному образу мыслей. Находя опору в своем брате Алексее, которого мы, в скором времени встречаем генерал-прокурором и Андреевским кавалером, он мнил себя почти что властителем государства, где последний гатчинец пользовался большим доверием, чем он; даже союз, заключенный этими господами с г-жей Нелидовой и императрицей не спас их от общей всем при Павле I судьбы, — немилости.

Оба брата Куракины поддерживали появившегося в то время в Петербурге голландца Роберта Воота с его несчастным проектом уплаты долга русского правительства банкирскому дому Гопе в Амстредаме. Я скажу об этом несколько слов, чтобы показать до чего довело, в царствование Павла I, доверие, оказываемое людям, которых можно было назвать только условно честными.

Роберт Воот представил свой проект, состоящий в учреждении «государственного вспомогательного банка для дворян» для ограждения его от ростовщичества и преследований кредиторов, которых они, будь сказано в скобках, никогда особенно не боялись. Но каким образом оградить дворянство от ростовщичества? План состоял в том, чтобы заплатить, в течение двадцати пяти лет, капитал с процентами, что составляло для несчастного дворянина 14 процентов годовых на занятый

капитал. Каким образом проект Воота ограждал должников от кредиторов? — Тем что он уполномочивал правительство конфисковать заложенные имения, как только происходило замедление в уплате следуемого с должника взноса. Я позволил себе высказать это генерал-прокурору (Куракину) со всею откровенностью, допускаемою старою дружбою, но он не хотел меня слушать. Я говорил об этом также и другим лицам с тем большею убедительностью, что, не имея сам долгов, я мог руководствоваться исключительно своею преданностью общественным интересам. Это произвело много шума. Императрица[195], которая никогда не удостаивала меня своего благоволения и никогда не упускала случая вмешиваться в дела, сказала, рассчитывая на большой успех, генерал-прокурору, во время приема, громко: «Пусть себе невежды говорят; что бы они не говорили, я всегда буду на вашей стороне»[196]. Я мог воздержаться, чтобы не сказать, правда, очень тихим голосом, что мнение императрицы, какое бы оно не внушало уважение, не имеет курса на бирже. Об этом было передано императрице, которая пожаловалась императору. Последний, не выказывая мне большого нерасположения, чем всегда, ограничился, на следующий день, распоряжением о возобновлении указа императрицы Анны Иоанновны, карающего всех тех, кто осмелится злословить по поводу правительственных мероприятий, прокалыванием языка каленым железом. Но какой, спрашивается, могли иметь интерес в этом деле генерал-прокурор и вице-канцлер, люди богатые сами по себе и по милости государя? Вот какой: владение землями, заложенными в новом банке, обеспечивалось на двадцать пять лет; земли же, полученные благодаря щедрости императора, были гораздо менее обеспечены за их владельцами; что подарено, может быть снова отнято, а потому их-то именно и следовало заложить в банке; при отсутствии же долгов, можно было, на занятые деньги, купить новые земли и, таким образом, в течение двадцати пяти лет, утроить свою земельную собственность. Вот почему следовало прокалывать языки тем, кто возражал против этого безнравственного учреждения, усугубившего неурядицу знатных родов!

Из уважения к некоторым семействам я не буду приводить последствий помощи, оказываемой этим банком, хотя они вполне оправдывают мое возмущение, за которое императрица хотела меня наказать.

Это наводит меня на одно обстоятельство, бывшее причиною многих несчастий и событий, начала которых иначе не могут быть выяснены. Императрица по своему характеру не была зла, но

желание иметь влияние заставило ее натворить в это царствование много бед. Будучи сама добродетельной и дорожа верностью своего мужа, она полагала, что лучшее средство привязать его к себе должно состоять в передаче ему, в интимности супружеской жизни, всяких верных и неверных сведений, сопровождаемых ее хорошими и дурными советами, которые ее подозрительный ум жадно подбирал. В эти минуты откровенности все средства были хороши; друзья и враги одинаково приносились в жертву и, теснимая вопросами по поводу разных событий, она не щадила никого. Ее приближенные предупредили меня об этом. Мне рекомендовали обратить внимание на дни, следующие за вечерами, когда императрица прощалась с императором словами: «Дорогой друг, я хотела бы поговорить с Вашим Величеством о многих вещах, если вы позволите». На другой день после такой фразы следовала всегда какая-нибудь немилость, малая или большая. Эта оригинальная фраза определяла комнату, где государь ляжет спать, и императрица бывала так уверена в своем деле, что она в этот день не торопилась заканчивать свою игру.

Я еще сомневался в правдивости этого слуха, когда со мной произошел случай, убедивший меня в его достоверности. Это было в Гатчине. Императрица повелела мне принять участие в игре, и кроме меня еще графу Мусину-Пушкину и Нарышкину; между последними вышло какое-то недоразумение и они просили меня рассудить их, но я отказывался. Императрица присоединилась к ним, чтобы убедить меня. Я умолял ее избавить меня от этого, но она, наконец, приказала мне исполнить их просьбу. Я высказался за Мусина-Пушкина, хотя императрица видимо склонялась на сторону Нарышкина. Последний обиделся и не хотел подчиниться моему решению. Я объяснял ему, что ведь я не домогался решения спора и сделал это по Высочайшему повелению, что я привел мотивы моего мнения и считаю его правильным. На это императрица заметила мне недовольным тоном, что я не имею права противоречить лицу с высшим чином, чем мой собственный. Я почтительно замолчал, потупив взор. Но императрица начала снова насмешливым тоном: «Кому нечего возражать, тому полезно замолчать! Что вы на это можете ответить?» — «Что, я не знал, Ваше Величество, что существует отношение между чином и талантом!» Ужин временно прекратил игру. Император за столом разговаривал только со мною. Когда, после ужина, снова сели за игру, император подошел ко мне и положил мне руку на плечо. Когда же он затем собирался уйти в свои покои, императрица сказала ему свою знаменитую фразу, а на другой день, в восемь часов утра, пришли мне сказать от

имени императора, что Его Величество не терпит в России якобинцев. С тех пор он со мною разговаривал только по делам департамента церемониальных дел.

Императрице пришлось поставить крест на своих гатчинцев. Она присутствовала при их зарождении и видела, как они вырастали. Ее политика внушала ей смотреть на них, как на своих преданных слуг, но та же политика требовала также противодействия всем тем, кто мог иметь влияние на императора. Во избежание обвинения в том, что она всех удаляет от государя, она не пропускала случая, чтобы расхваливать за их нравственность людей весьма посредственных. В числе их находился престарелый граф Строганов[197]. В один прекрасный день он оказался обер-камергером. Но императору скоро надоели его старые парижские анекдоты и его неспособность к этой должности, которая считалась весьма важной. Его опала являлась неминуемой и хотя императрица старалась отразить удар, но ее усилия оказались тщетными. По истечении некоторого времени, однако, император, встретив его где-то, велел ему сказать, что он может опять прийти ко Двору и что он с удовольствием увидит его за своим столом. Как только императрице удалось подойти к нему, она потянула его к окну и сказала ему: «Ради Бога, граф. Будьте как можно осторожнее»… и хотела продолжать, но Строганов, вспомнив что ему стоили ее покровительство и его собственная неосторожная болтливость, прервал ее словами: «Да, да государыня, надо нам обоим быть поосторожнее».

Случайно я, в начале года, присутствовал при сцене, которая, может быть, не поразила бы другого, но мне доставила большое удовольствие. Это было 3-го февраля, в день празднования ордена св. Анны. После обедни, государь, бывший в парадном мундире удалился в свои покои, в ожидании обеда и разрешил принявшим участие в церемонии немного отдохнуть. В комнате, кроме государя, находились только великий князь Александр и я. После небольшого молчания государь сказал своему сыну: «Что бы ни говорил Дюваль, эта корона очень тяжела». Когда великий князь на это ничего не ответил, государь продолжал: «Вот возьми ее и попробуй сам». В этих словах, я уверен, не было никакого умысла, но великий князь, по-видимому, понял это иначе, сильно смутился, пробормотал что-то, кашлянул и не осмелился высказать свое суждение о тяжести короны. Обер-гофмаршал, вошедший в это время, выручил его из неловкого положения.

Самое достопримечательное событие произошло в разгар лета, когда Двор находился в Павловске[198]. Оно обратило на себя особенное внимание лиц, следивших за развитием характера императора. Престарелый адмирал Чичагов[199], которого

политика Екатерины так широко вознаградила за ошибки, допущенные им во время войны со Швецией, имел сына, контр-адмирала[200], человека с талантом и характером. Он почему-то не понравился гатчинцам, которые стали к нему придираться, так что ему не оставалось ничего другого, как испросить свою отставку под предлогом, что ему надо поехать в Англию, чтобы там жениться. Министр отказал ему в этом разрешении, но английский посланник сэр Чарльз Витворт заступился за него. Император прежде всего потребовал, чтобы он снова поступил на службу. Адмирал не отказывался, но поставил условием, чтобы с него не взыскивали за прошлое. Этот вопрос обсуждался в большом кабинете государя. Полчаса спустя, слышно было, как гробовой голос императора все более возвышался; наконец дверь отворилась и адмирал вышел. Он казался спокойным, но сюртук, лента и даже галстук были с него сорваны. Не подлежало сомнению, что он был постыдно избит. В таком виде он, посреди аванзалы, ждал решения своей участи. Флигель-адъютант государя накинул ему на плечи казачью шинель и передал ему приказ отправиться прямо в крепость. Когда он, под сильным караулом, выходил из комнаты, он обернулся к обер-гофмаршалу Нарышкину и сказал с благородным жестом: «Александр Львович, будьте так любезны вынуть из кармана моего сюртука ассигнацию в пятьдесят рублей и мой бумажник; я не думаю, чтобы государь хотел меня лишить этих вещей и так как я не знаю, куда меня ведут, то я, может быть, буду в них нуждаться». Он храбро вытерпел в своей тюрьме несколько недель, несмотря на все старания смирить его, пока, наконец, не почувствовали некоторого стыда, главным образом перед английским королем, и не согласились на его условия[201]. Тогда он, с своей стороны, согласился опять поступить на службу, а так чтобы там жениться, то ему, ради приличия, поручили командование над русской эскадрой, действовавшей тогда совместно с английским флотом. Это дело доставило Чичагову большую известность. В следующее царствование он был назначен морским министром и, как говорят, хорошо исполнял эту должность. Но после заключения мира с турками, он принял командование русскими силами на Березине и это погубило его репутацию и, хуже того, — досада, которую он оттуда вынес, послужила поводом к лишним разговорам с его стороны.

В это же время при Дворе появилось с большим блеском итальянское семейство Литта. Его история была коротка, но его судьба — блестяща. Я начну с более раннего времени, так как прежде чем описывать людей, надо объяснить, откуда они появились и, рассказав об этих деяниях, присовокупить, что из

этого вышло. Покойная императрица Екатерина II, признав необходимым возобновить крайне запущенный галерный флот, обратилась к Мальтийскому гросмейстеру с просьбою рекомендовать ей человека способного им командовать. Выбор пал на кавалера де-Литта, сына маркиза Литта из Милана, кавалера ордена Золотого Руна и одного из самых знатных вельмож этой страны. Не удовольствуясь организацией галерных караванов, исполненной вполне удовлетворительно, кавалер де-Литта занялся вопросами морской службы более чем было принято среди этого монашеского ордена. Скоро после его прибытия возникла война между Швецией и Россией, при чем Литта очутился под начальством принца Нассау-Зигенского и получил чин контр-адмирала и георгиевский крест. Так как стало известно, что во время войны его мнение всегда противоречило мнению его начальника, а принц Нассауский был повсюду бит и намерения его не достигали цели, то это создало кавалеру де-Литта своего рода репутацию отрицания, которая, хотя и не вызывала особенного доверия к нему, но не была также противна здравому смыслу и могла ему пригодиться в будущем. В основании его ломбардского характера было, однако, не мало интриги, а нескромные речи и жалобы на мнимую неблагодарность правительства испортили ему положение при Дворе Екатерины. Он просил отставки, в чем ему было отказано. Но он сумел все-таки добиться полугодового отпуска и воспользовался им, чтобы посетить Вену, Милан и Мальту, где он хвастался, что его огромный рост был одной из главных причин его карьеры в России. Это дошло до Екатерины и окончательно погубило его в глазах императрицы. Он полагал, что его успехам положен предел и начал расточать свое состояние, стараясь вместе с тем обратить на себя внимание, чтобы получить еще ленту ордена Белого Орла, который, в то время был уже очень обесславлен. По окончании отпуска он должен был возвратиться в Россию, хотя ему это сулило мало удовольствия.

В то время он стал заниматься делами ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Польша была уже окончательно разделена и этот Орден, а равно римский Двор должны были отстаивать в России свои важнейшие интересы. Семейство же Литта сообразило, не без основания, что наступил момент отличиться. Один из сыновей, о котором я только что говорил, уже вернулся в Россию, а другой, в качестве нунция папского престола, находился еще в Варшаве, где события застали его врасплох. Их отцу, пользовавшемуся громкой репутацией во всей Италии и обладавшему, благодаря фамильным бракам, огромными связями, было не трудно обеспечить за сыновьями почести и

выгоды будущих сношений с Россией. Я, в то время, был как раз в Риме и папа мне об этом говорил. Я, по долгу совести, не мог скрыть от Его Святейшества, что, по моему мнению, господа Литта меньше всего подходили к успешному выполнению такой задачи, так как, по несчастью или вследствие неловкости с их стороны, они навлекли на себя недовольство Ее Императорского Величества, — один своими речами и претензиями, а другой — своим пристрастным поведением, в котором его обвиняли во время и после Варшавской резни. Я представил папе, что всякий другой прелат был бы приятнее русскому Двору; что же касается дел Мальтийского Ордена, то императрица, желая воспользоваться сношениями с Римом, чтобы восстановить состояние одного достойного человека, была бы польщена, если бы преимущество было дано князю…[202], родственнику гофмаршала и посланнику в Риме. Но влияние г.г. Литта взяло верх над моими представлениями, а это увеличило нерасположение к ним императрицы. Таким образом, архиепископ Фивейский (Литта) и его брат были назначены поверенными в делах в Петербурге, но первый не получил разрешения прибыть туда, а второй, тем временем, уже приехавший в Петербург, не имел возможности проявить там свой характер.

Между тем императрица скончалась, и все изменилось. Господа Литта, помимо большого интереса, который они возбуждали новизною своего появления, — так как папский нунций и Мальтийский посланник были не совсем обыкновенные лица при русском Дворе — имели за собою еще то преимущество, что в Петербурге теперь преобладал принцип благосклонного отношения ко всему тому, что раньше не нравилось, и осуждения всего того, что раньше выдавало удовольствие. Итальянское лукавство и подавленное раньше честолюбие нашли возможность распустить крылья, и мы сейчас увидим до чего они дошли. Кавалер Литта, выведенный в звание командора Мальтийского Ордена, стал проявлять свой характер в качестве полномочного посланника. Нунций прибыл к коронационным торжествам и был принять с отличием. Император уделял большое внимание своим католическим подданным, но еще больше Мальтийскому Ордену. Командор[203] старался поддерживать этот зарождающийся интерес. Он делал вид, что признает положение своего Ордена критическим, и стал работать совместно с императором, как будто обоих что-то соединяло в ущерб третьему. Один предложил подготовить приезд ко Двору торжественного и чрезвычайного посольства, а другой учреждал командорства. Мы увидим, какое значение эти две меры имели впоследствии.

17 января 1798 года последовал указ о князе Потемкине, которого все считали настолько же забытым, насколько он уже давно был покойником. Этим указом предписывалось разрушение памятника воздвигнутого в его честь покойной императрицей в Херсоне, причем в указе разъяснялось, что подданный, управление которого было столь порочным, не мог заслужить подобной чести. Говорят даже, что его останки были брошены в воду[204]. Мнение на счет управления этого временщика было единодушно, но каков бы оно ни было, он, хорошо или плохо, все же основал города, углублял порты, строил верфи, Черноморский флот был великолепен, и это колоссальное творение нельзя было уничтожить местью над несколькими камнями. Император, который первоначально возымел мысль разрушить Таврический дворец, но потом решил сохранить его, хотел только доказать, что это решение происходило не от излишней деликатности или от уважения к предшествующему царствованию, а от экономических соображений.

28 января родился великий князь Михаил. Это было большим происшествием при Дворе, так как он был первый сын *императора* Павла, родившийся в России, и разговорам по этому поводу не было конца. Я хорошо помню, как кто-то спросил, не имеет ли новорожденный, в качестве «сына императора», больше прав на престол, чем остальные три сына, его старшие братья, родившиеся в то время, когда Павел был великим князем, и мнение публики на этот счет расходилось. Тем временем Его Императорское Величество рассудил, что рождение и крещение новорожденного должны сопровождаться такими церемониями, которые указали бы на разницу между детьми, рождающимися у наследника престола и у императора.

Самая неприятная и самая комическая из этих церемоний выпала на мою долю. Она состояла в том, чтобы тотчас же после родов императрицы торжественно довести об этом до сведения дипломатического корпуса. Я особенно напираю на это обстоятельство не потому, что я лично в нем участвовал, а чтобы дать картину тех деспотических приемов, которые входили тогда в систему правления. Полночь миновала, когда я выехал из Зимнего дворца в карете о семи зеркальных стеклах, отправляясь в одну из самых холодных экскурсий, какие только можно себе представить, и которая могла иметь смертельный исход для всякого другого, обладающего менее железным здоровьем, чем я. В это время ночи все парадные подъезды оказались запертыми и, несмотря на важность моей миссии, не было никакой надежды проникнуть ни в один из них без значительной потери времени. Но это была еще меньшая из бед. Надо было, вообще, добиться

открытия ворот, а между тем швейцары при виде придворной ливреи трусили и отвечали чрез слуховые окошечки, что все в доме спят. Приходилось им объявлять, что я приехал по Высочайшему повелению и что мне нужно видеть самого хозяина дома. «Но все спят!» — «Что ж такое, разбудите от моего имени камердинера и скажите ему, что я должен с ним переговорить». — «Но он спит в гардеробной Его Превосходительства». — «Делайте то, что я вам говорю!» Тогда только швейцар отправлялся, чтобы исполнить мое поручение и разбудить камердинера. А там происходил внутренний совет. Будить или не будить Его Превосходительство? А что если его хотят арестовать! Наконец, камердинер одевался и спускался, дрожа от страха, чтобы сказать, что Его Превосходительство спят и что он не может принять на себя ответственности их разбудить. «Я приехал по приказанию императора и требую от вас, чтобы вы сказали Его Превосходительству, что я иду к нему». Дрожащий камердинер удалялся. В этом роде происходили все мои посещения; но в двух случаях посланники безусловно отказались меня принять, извиняясь нездоровьем. Остальные приняли меня или в горделивой позе, или же крайне смущенные, и каждый раз лишь после продолжительного ожидания в приемной. Более счастливыми оказались те, к которым я попал лишь на следующее утро, ибо мое путешествие было очень продолжительным, и я вернулся в Зимний дворец лишь между десятью и одиннадцатью часами утра, чтобы доложить государю об исполнении моего поручения.

Можно себе представить все то, что было бы сказано о моей ночной экспедиции, если бы вообще кто-нибудь осмелился рассуждать. Что же касается меня, то я утешался надеждой, что император, которому я с полною откровенностью доложил о всех встреченных мною затруднениях, по крайней мере выведет из них заключение, о чувствах внушаемых им людям. Я при этом постарался скрыть от него смешные стороны моей поездки: эти иностранцы лакеи, умирающие от страха, и эти полураздетые дипломаты, а также мое скомпрометированное достоинство и ужасный холод, который пришлось перенести мне и другим сопровождавшим меня придворным.

Я возвращаюсь к императрице, для которой время родов на сей раз заключало в себе столько неприятностей. Последствия для ее здоровья были, как и во всех других случаях, когда она рожала, крайне опасны, так как Ее Величество имела несчастную привычку затягиваться во время беременности, чтобы сохранить тонкую талию, в чем она, впрочем, несмотря на свою тучность, вполне успевала. Хотя во время этих родов не случилось ничего

более тревожного, чем в предшествовавших им девяти случаях, но фавориты императора, из коих некоторые, как мы увидим дальше, имели свой вполне определенный план, заставили акушера, выписанного из Геттингена, высказать на этот счет особое мнение. Этот господин, которому последствия его речей были совершенно безразличны, объявил, что ввиду плодовитости императрицы можно опасаться, что она будет продолжать иметь детей и что это, согласно правилам и указаниям науки, неминуемо должно повести к ее смерти[205].

Император принял это известие с ужасом, и потому ли, что он знал о помянутом выше плане, или не знал о нем но он объявил, что жизнь императрицы ему бесконечно дорога и что он считает долгом любви не ставить ее отныне в такое положение[206], тем более что Богу угодно было даровать ему многочисленное потомство, так что государству с этой стороны ничего не оставалось желать. Императрица, как все добродетельные женщины, будучи очень привязана к своим супружеским обязанностям, была очень недовольна этим решением, назвала немецкого профессора невеждой и нахалом, но не могла его изменить. Профессор вернулся восвояси… осыпанный золотом и подарками, и, с этого самого дня, их Величества заняли отдельные опочивальни, что очень не понравилось приверженцам императрицы и немного успокоило тревогу тех, кого она недолюбливала.

Несколько дней спустя, из Венеции приехал Мордвинов[207], бывший там долгое время посланником. Это был ничтожный и к тому же болезненный человек, который так хорошо понимал свое ничтожество, что думал остаться незамеченным и позволил себе, после столь продолжительного путешествия, несколько дней отдыха. Но император, извещенный всегда обо всем полицией, посмотрел на это иначе. Можно было умалить себя сколько угодно, но это никого не освобождало от соревнований в усердии перед государем. Не считая удобным наказать его за то, что он почувствовал усталость, но не желая также терять случая к унижению и огорчению человека — император называл это «поддерживать порядок», — он велел через полицию объявить во всех домах, что правительство будет признательно тому, кто укажет местожительство этого бедняка, который явился на следующий день, но только для того, чтобы снова исчезнуть, — такую прелесть для него имело удаление на покой! Он впрочем и в Венеции жил таким же образом, защищаясь лишь от интриг графа д’Антрэг и г-жи Сент-Юбер, его супруги, и от беспокойства, причиняемого Французским Двором, устроившимся в изгнании, недалеко от Венеции, в Вероне; этот Двор уже при Екатерине

несколько раз жаловался на беспричастность и бездействие Мордвинова, но эти жалобы не имели успеха. Его брат, адмирал Мордвинов[208], был, напротив, человек больших способностей и высокой добродетели и оказал большие услуги государству, управляя черноморскими губерниями; но вместе с тем он доказал также, что в некоторых широтах просвещение и ум оказываются неприменимыми.

Другая история вызвала меньше толков, так как о ней не решались громко говорить, но все же проникла в публику два дня спустя. Герцог Гольштейн-Бек выкинул довольно пикантную штучку. Это был маленький человечек, довольно дурного тона, живший раньше очень скромно в Кенигсберге с женой и с детьми, любивший браться за все, даже за агрономию и писательство. Когда император Павел взошел на престол, герцог состоял на прусской службе генерал-майором. Он был приглашен в Петербург, поехал туда и удостоился великолепного приема, хотя от него до упаду несло табаком и пивом. Его сразу произвели в генерал-лейтенанты, назначили Павловским и Гатчинским комендантом и командиром одного из лучших гвардейских полков. Император почувствовал к нему такое расположение, что не мог более обойтись без этого «принца моей крови». Но этот принц крови требовал прежде всего побольше денег на уплату своих долгов и желал обеспечить за своими детьми пенсию, так как у них не было собственных средств и одна из его дочерей даже была вынуждена выйти замуж за одного силезского генерала, барона Рихтгофена. Видя, что его обнадеживают одними только обещаниями и что ему предстоят одни почести и труды, он испросил себе шестинедельный отпуск, чтобы навестить жену. Но как только он переехал через прусскую границу, он послал Павлу отказ от своих должностей, обращаясь при этом к нему, как к равному. Император был обижен, но не мог ему отомстить.

С тех пор как установился новый порядок супружеской жизни, императрица вопреки ожиданиям стала пользоваться большим влиянием, чем прежде. Император, видимо, желал вознаградить ее за разлуку, признанную необходимой, своим особенным вниманием и знаками своего доверия. Можно было наблюдать, как он обращался к ней за советами или давал ей дипломатические поручения. В наиболее трудном вопросе — по поводу отношений к своему супругу, — императрица руководствовалась советами г-жи Нелидовой. Если их до тех пор соединяла общая политика, то теперь общие интересы сблизили их еще гораздо больше, так как Нелидова сама стала проявлять страстность в своих отношениях к императору. Нельзя было

закрыть глаза на то, что фавориты настойчиво работали в смысле подрыва нравственных принципов государя, чтобы заставить его завести официально фаворитку. Можно было догадываться, кто именно предназначался для этого блестящего позора, но вся эта интрига, весь этот роман — император добивался скорее романа, чем внезапной победы — был еще настолько покрыт мраком, что было бы более достойно положения занимаемого императрицей и ума ее подруги если бы они сумели удержать императора на краю этой пропасти ловкостью своего поведения, продолжая оказывать ему уважение и почтение. Но человеческие страсти похожи на снежные обвалы — они увеличиваются от всего, что находят на своем пути, и усиливаются от встречаемых ими препятствий.

Наконец, 25 июля, гроза разразилась. Около десяти часов император послал за великим князем наследником и приказал ему отправиться к императрице и передать ей строжайший запрет когда-либо вмешиваться в дела. Великий князь сначала отклонил это поручение, старался выставить его неприличие и заступиться за свою мать, но государь, вне себя, крикнул: «Я думал, что я потерял только жену, но теперь я вижу, что у меня также нет сына!» Александр бросился отцу в ноги и заплакал, но и это не могло обезоружить Павла.

Его Величество прошел к императрице, обошелся с ней грубо, и, говорят, что если бы великий князь не подоспел и не защитил бы своим телом мать, то неизвестно, какие последствия могла иметь эта сцена. Несомненно то, что император запер жену на ключ и что она в течение трех часов не могла ни с кем сноситься. Г-жа Нелидова, которая считала себя достаточно сильной, чтобы выдержать эту грозу и настолько влиятельной, чтобы управиться с нею, пошла к рассерженному государю, но вместо того, чтобы его успокоить, она имела неосторожность — довольно странную со стороны особы, воображавшей, что она его так хорошо изучила, — осыпать его упреками. Она указала ему на несправедливость его поведения со столь добродетельной женой и столь достойной императрицей, и стала даже утверждать, что знать и народ обожают императрицу, — что было неверно и опасно высказывать в такой момент; далее она стала предостерегать государя, что на него самого смотрят как на тирана, что он становится посмешищем в глазах тех, кто не умирает от страха и, наконец, назвала его палачом. Удивление императора, который до тех пор слушал ее хладнокровно, превратилось в гнев: «Я знаю, что я создаю одних только неблагодарных, — воскликнул он, — но я вооружусь железным скипетром и вы первая будете им поражены, уходите вон!» Не успела еще г-жа Нелидова выйти из кабинета, как она получила

приказание оставить двор. Кажется, что ее даже официально отправили в ссылку, в замок Лоде в Эстляндии.

Князья Куракины, вице-канцлер и генерал-прокурор, генерал Нелидов, племянник бывшей фаворитки, и др. были уволены в отставку, и, чтобы ничего недоставало к уничижению императрицы, Кутайсов, который из брадобреев сделался егермейстером, тот самый Кутайсов, который был главной причиной всех ее несчастий и которого она не выносила, был, в день ее рождения, пожалован кавалером ордена св. Александра Невского!

Тем временем в Петербург прибыл из Раштадта граф Кобенцль, которому император, во время аудиенции, сказал: «Если у вас есть пакеты для императрицы, вы мне их передадите публично, в тот момент, когда я буду садиться за стол, ибо обстоятельства изменились. Императрица более не участвует в делах. Сообщение было очень странно, и посол очутился в крайне неловком положении. При своем отъезде, он, по приказанию императора, совещался только с императрицей; он должен был ей кое-что сообщить и дать некоторые объяснения, что можно было сделать только устно. Князь Безбородко задрапировался ответственностью своего положения, направляя только внешнюю политику, и предоставил дворец лакеям, которые стали теперь занимать там первое место.

Тогда рассудили, что императрица будет попеременно находиться то в милости, то в немилости и что, сообразно с этим, должности министров и сановников будут переходить из рук в руки. Последствия подтвердили верность этого мнения. В то время мы имели случай наблюдать удивительный пример силы хорошего воспитания: на следующее утро, после описанной выше сцены, император возвращался во дворец с маневра и встретил, при входе, г-жу Нелидову и г-жу Б…, собирающихся отбыть в ссылку. Его Величество надел опять перчатку и пробыл со шляпою в руках до тех пор, пока карета с дамами не тронулась в путь.

Событие, малозначительное само по себе, но приобретшее случайно некоторую пикантность, вызвало накануне еще другую катастрофу. Дьякон, прислуживавший во время обедни, провозглашая многолетие императорскому дому и дойдя до великого князя Константина, назвал его не великий князем и «всемилостивейшим и великим государем». Император, разгневанный, приказал его немедленно прогнать. Правда, что этот бедный священнослужитель мог бы найти более удобный момент для такой крупной оплошности!

Но величайшим событием этого года было дело

Мальтийского ордена. Я не буду много распространяться по этому поводу, так как это дело общеизвестно, и ограничусь только некоторыми подробностями, которые менее известны, но объясняют его лучше чем все что по этому поводу дошло до нас. Я уже сказал, как г. де Литта, который при Екатерине II не имел никакого успеха в своих происках, воспользовался восшествием на престол Павла и его антипатию к прежнему царствованию, служившею основанием всех действий этого государя. Литта обещал императору прибытие торжественного посольства, и хотя оно не состоялось, но зато Литта был снабжен полномочиями, чтобы самому составить такое посольство и придать ему величайшую торжественность. Можно себе представить, какое удовольствие доставило императору и г-ну де Литта все это устраивать по своему. Сам Литта был возведен в посланники и мог подготовить для себя всякого рода жатву. Его мнимая поездка на остров Мальту для того, чтобы устроить все, что было заранее условлено, была непродолжительна, и потребное на то время было использовано для изготовления пышных карет и колясок, которым предстоял лишь небольшой путь в несколько верст и в которые некого было посадить. Наконец, Его Преосвященство скрылся в окрестностях столицы, и мне пришлось его встретить у ворот Петергофа в придворных экипажах. Все вельможи тоже выслали туда свои выезды. Выезд был великолепен, но народ во всем этом ничего не понимал. Один мясник, узнав в лицо посланника, воскликнул: «Этот человек — обманщик. Он хочет уверить государя, что он только что приехал, а он мне, в продолжение двух лет, задолжал шестьсот рублей». Посланник просил императора принять титул протектора Мальтийского ордена. Павел, облекая себя тотчас же властью, которую ему никто не передавал, пожаловал Мальтийские кресты всем тем, кого он награждал вновь созданными командорствами. Посланник, получив на свою долю самое прибыльное из них, кроме того был награжден красною лентою через плечо. Как только хотел, был осыпаем бриллиантами; великолепное орденское одеяние было придумано специально для российского отдела Ордена, в отличие от других отделов, и казалось, что этим дело кончилось; но, в действительности, это только была прелюдия к более необычайным мерам, которые я сейчас приведу, чтобы не терять нити этого странного дела.

Французы в их победоносном шествии, мимоходом, напали также на Мальту и великий магистр Гомпеш сдал им эту крепость, по беспечности или из трусости, ибо, когда один из французских генералов ее осмотрел, он сказал: «Очень счастливо, что мы нашли кого-то, кто нам открыл ворота этой крепости!» Как

только это известие дошло до Петербурга, все интересы Ордена оказались сразу скомпрометированными. Дальше я выскажу то, что думаю о поведении императора в этом деле. Что же касается г-на де Литта, то если бы он ограничился прямым путем, он мог бы заслужить величайшую похвалу и, в то же время, соблюдать свои частные интересы. Милость, которою он пользовался, наделяла его всем могуществом России и он должен был ее употребить на то, чтобы созвать в Германии общую орденскую думу и обсудить на ней публично действия великого магистра. Не могло быть сомнения на счет выбора ему преемника, и г. де Литта, во главе наших войск, уже готовых нестись повсюду, мог отнять у победителя столицу своего Ордена и вернуть христианству свой главный оплот. Для осуществления этой столь простой и благородной мысли ему стоило только поехать в Германию. Но его желания были обращены более в сторону наживы, чем славы. В него влюбилась графиня Скавронская, статс-дама императрицы, располагавшая годовым доходом в двести тысяч рублей; Литта вздумал на ней жениться, и пылкий характер императора, который ухватился за случай, чтобы проявить свой авторитет под новой формой, не дал ему времени изменить свое намерение и придумал что-нибудь лучшее, чем то, что обесчестило его и окончательно погубило Орден. Его брат, пунций, который в то время уже был великим приором российского отдела, с девятью тысячами рублями жалования и всеми почестями, подобающими ему, как посланнику папского престола, выхлопотал необходимое разрешение со стороны духовного начальства. Алчность и эгоизм подавили чувства приличия. Командору было разрешено вступить в брак, не теряя ничего из своих командорств и почестей. Император в восторге от возможности создать еще одно звено, связывающее его с фаворитом, соблаговолил вспомнить, что г-жа Скавронская имела счастье быть в родстве с императорским домом и сказал ей публично в день помолвки: «Я вам очень благодарен, сударыня, что вы взяли на себя расплату за то, что я лично и государство должны г-ну Литта».

В скором времени император стал заниматься исключительно делами Ордена. Собрание российского приорства было превращено в всеобщий российский капитул, с доступом в него всех тех, у кого был мальтийский крест, т. е. всех кавалеров этого ордена в мире. Г. де Литта, торжественно отказавшийся, в силу своего брака, от своих орденских прав, сделался председателем этого собрания и этот сброд людей, в числе коих, кроме кавалеров де ля Гуссэ и де ля Туретт, никто не приносил орденского обета, провозгласил 29 ноября императора Павла I

великим магистром Ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Для этого избрания даже не приступили к голосованию. Высочайшая воля того, кто желал снизойти до сана, принятие которого его унижало, управляла устами присутствующих. Г. де Литта, одновременно с должностью помощника великого магистра, получил годовой оклад в двенадцать тысяч рублей. Но все это необыкновенное событие было бы в глазах императора несовершенным, если бы оно не дало повода к большой церемонии. Поэтому придумали церемонию возведения в сан нового схизматического великого магистра, женатого и самозваного. Она произошла в Белом зале Зимнего Дворца, где все кавалеры российских орденов были расставлены в парадных костюмах. Для этого случая были изготовлены: корона великого магистра, орденское знамя, кинжал веры и большая печать Ордена. Все это было пронесено торжественным шествием. Император сидел на троне. Командор Литта публично покаялся в своих грехах, и великий магистр принял это покаяние со слезами умиления. Фаворитка государя, г-жа Лопухина, и г-жа Литта были пожалованы большими орденскими знаками и дабы они почитались самыми старшими кавалерственными дамами этого Ордена, было постановлено до начала церемонии лишить ордена всех других дам в Европе, которые его имели, а затем снова восстановить их в своих кавалерственных правах. Кутайсов, бывший камердинер, тоже удостоился получить орден, в качестве шталмейстера, великого магистра. Бывший великий магистр Гомпеш и все его приверженцы без объяснений с их стороны были объявлены изменниками и негодяями. Обо всем этом не сочли даже нужным предупредить ни герцога Ангулемского, который тогда находился в Митаве, ни многих других доблестных кавалеров из отделов Франции, Прованса и Оверни, находившихся тогда при армии принца Конде, согласие которых придало бы этой процедуре некоторый вид законности. Отдел Баварии, обратившийся с просьбою дать ему некоторые разъяснения, подвергся оскорблению, и посланник курфюрста по этому поводу был даже выслан из Петербурга. Вообще никогда еще умоисступление не достигало таких размеров и не проявляло столько незаконных и комических сторон. Император, видимо опустившись, попирал законы, приличие и благоразумие.

Вскоре мысль отвоевать столицу Мальтийского ордена заставила позабыть мудрую и мирную политическую систему князя Безбородко, ученика Екатерины II, Стали вооружаться. Не сомневаясь никогда и ни в чем в вопросах, касающихся своей власти, император назначил коменданта и гарнизон в крепости, которая еще находилась в руках грозного неприятеля, уже

известного тем, что он никогда не соглашался возвратить то, что было им завоевано. Наконец, венскому двору дали возможность впутать нас со всеми нашими силами во всеобщую войну.

Столица была наводнена настоящим дождем мальтийских крестов. Мои братья, мой двоюродный брат и я, будучи единственными русскими, имевшими законное право на этот крест, как потомки, по женской линии, Альфонса дю Пюй, брата Раймонда, первого великого магистра, — удостоились специальной церемонии, в которой нас признали кавалерами по рождению Ордена Св. Иоанна. Была образована особая гвардия великого магистра, команда над которой была поручена г-ну де Литта. В момент его назначения, когда он выходил из кабинета государя, а я находился в числе лиц, находившихся по близости дверей кабинета, он мне объяснил, что его новая должность обязывает его никогда не расставаться с государем, и, желая, как всегда, немного похвастаться, он прибавил: «Я был генералом на море, теперь мне приходится быть генералом на суше». — «Берегитесь, милостивый государь, — ответил я ему быстро, — как бы вам в один прекрасный день не пришлось быть генералом на воздухе!» Мои слова оказались для него пророческими. Ненависть и ревность, возбуждаемые им, увеличивались с почестями, которыми его осыпали.

В продолжительных совещаниях, происходивших между ним и государем по делам Ордена, попадались также другие дела, не имевшие с ним ничего общего. Посланники пользовались этим новым путем и министры каждый день все больше убеждались в умалении своего влияния. Гибель г-на де Литта была между ними решена и он выказывал слишком много слабых сторон, чтобы долго противостоять их усилиям. Я не знаю в точности, какими они воспользовались средствами, но они действовали быстро. Сначала он был вычеркнут из списка приглашаемых к высочайшему столу, а затем исключен из списков на придворные балы. Его жена жаловалась, что шпионы следили за ними у всех дверей. Наконец, после того, как все придирки относительно их были исчерпаны, они были высланы в тот самый момент, когда казалось, что главная гроза уже миновала. Нунций, неаполитанский посланник, наконец все принадлежавшие к так называемой итальянской партии, попали в немилость, и так как религиозное всегда любят смешивать с мирским, католическим церквям был дан приказ не признавать более главенства Рима.

По мере того, как я подвигаюсь вперед в истории этого царствования, мне приходится, по поводу каждого события, справляться в моем дневнике — до того у меня каждый раз является чувство, что я все это вижу во сне и что я сочиняю, а

между тем дневник мог бы засвидетельствовать, что я даже не все то пишу, что он мне напоминает. Мальтийская история заставила меня, впрочем, немного забежать вперед в истории России.

Скажем, между прочим, еще, что во всей этой истории могла заключаться великая и красивая мысль, а именно: чтобы государь стал во главе всего дворянства Европы, — в эпоху, когда самые старинные и самые полезные учреждения обрушивались. Но если у Павла I и была когда-либо эта мысль, то достаточно присмотреться к средствам и лицам, которыми он пользовался, чтобы отнять у нее все что в ней могло быть благородного и почетного.

Со времени коронования, император стал обращать внимание на старшую из дочерей московского сенатора Лопухина. Благодаря разным обстоятельствам, ему пришлось с ней встретиться вторично. Он полагал, что для того, чтобы походить на Франциска I, Генриха IV или Людовика XIV, надо было иметь официальную фаворитку, или, точнее выражая его мнение на этот счет, иметь «даму своих мыслей», и Анна Лопухина, хотя она не была ни хороша собой, ни особенно любезна, соединяла, в его глазах, все, что можно было требовать для столь блестящего положения. В статье, посвященной ей ниже, читатель найдет странные подробности этого романа[209]. Здесь я только скажу, что те лица, в интересах которых было развратить своего государя, для того, чтобы удалить его от дел, или чтобы вызвать в свою пользу такие случаи, когда любовь становится казначеем, или же наконец, — чтобы обеспечить безнаказанность их собственному распутству, не переставали интриговать до тех пор, пока им, наконец, не удался их позорный проект, которому молчание старых слуг и многочисленные промахи в поведении императрицы обеспечили полный успех.

Все при Дворе изменило свой облик. Семья императора превратилась лишь в декорацию театра, предназначенного для торжества фаворитки. Министры стали обращать на нее свои взоры, блуждавшие до тех пор, как и мысли государя. Общеизвестный ум отца предмета царских чувств озабочивал их и этот весьма прозорливый ум, поддерживаемый некоторыми административными способностями действительно мог тревожить их честолюбие. На сцене появились вдруг новые лица, между прочим князь Гавриил Гагарин, старый друг Лопухина, бывший раньше возлюбленным г-жи Лопухиной и, может быть, отцом ее дочери; своим умом, которого у него было больше, чем у других, и своею глубокою безнравственностью он много способствовал укреплению новой партии. Все изменилось при Дворе и царедворцы оказались бы совершенно сбитыми с толку,

если бы они, с удивительною ловкостью, не нашли замену недостающей им в первый момент проницательности. Они привыкли к фаворитам и, чтобы иметь у них успех, им приходилось только изощряться в низости, но «фаворитка» для них была совсем новым божеством. К его культу следовало примешивать немного обходительности и волокитства и они сразу в этом успели. Я, кажется, был единственный из придворных, которого не видели у г-жи Лопухиной. Но лучше всех других сумели при новом порядке вещей устроить свою судьбу бывший брадобрей Кутайсов, в то время уже егермейстер и кавалер ордена Св. Анны I степени, наперсник любовных чувств своего господина. Он стремился сделаться министром, несмотря на свое грубое невежество и, если министры ему и не предлагали своих портфелей, они все же ежедневно приходили к нему за советом.

1799-й год

В начале этого года вся империя находилась в распоряжении трех женщин. Они еле знали друг друга, но разделяли между собою высшую власть, не имея возможности заранее вступить в соглашение.

Первая из них была г-жа Гербер, сначала гувернантка, а впоследствии компаньонка Лопухиной, довольно красивая и еще молодая женщина, вышедшая замуж за гувернера, брата фаворитки, и допускаемая в качестве третьего лица к присутствованию при ежедневных посещениях государя. Она сразу поняла выгоду, которую можно было извлечь из этого обстоятельства. Когда княгиня Долгорукова[210] обратилась к ее содействию, чтобы добиться помилования князя Барятинского[211], ее отца, который был сослан, предложив ей за эту услугу бриллиант, она удачно провела это дело. Но вскоре г-жа Гербер, вместе с мужем, была послана в Казань, где последний получил хорошее место при университете[212]. Вторая влиятельная дама была г-жа Шевалье, первая актриса комической оперы и официальная любовница Кутайсова. Безусловное влияние, которое она имела на своего любовника, прибавленное к влиянию, которым последний пользовался у государя, давало ей непосредственное и существенное участие во власти[213]. Эта, впрочем добродушная женщина не злоупотребляла бы своим положением, но ее муж, балаганный танцовщик и неистовый якобинец, которому разрешили надеть на себя костюм Мальтийского ордена, соединял с обычным для таких людей нахальством жадность, редкую даже в их кругах. Граф Шереметев дал ему 20 000 рублей отступного, чтобы он не вмешивался в дирекцию театров.

Третья женщина с влиянием была молодая Гаскоань, дочь престарелого англичанина, доктора Гютри, и жена шотландца, директора Олонецкого железноделательного завода, о котором рассказывали, что он бежал из своего отечества и увез оттуда секрет своего ремесла; в тоже время она была любовницей князя Лопухина, отца фаворитки. Отец ее, шарлатан, всегда начинавший свои речи словами: «Мы ученые и т. д.», открыл новый и довольно остроумный способ надувания публики. Он в разных учреждениях, относившихся к нему с большим вниманием, собирал сведения о бумагах, которые уже были исполнены и подписаны и, замедляя немного их отправление по назначению, отправлялся к заинтересованным в них лицам, предлагая, за соответствующее вознаграждение, повлиять на их

исполнение в течение суток. При полной уверенности в успехе, этот метод обогащения долго поддерживал его и создал ему известную репутацию. По падении их патрона, все эти мелкие людишки погрузились опять в свое ничтожество. Г-жа Гаскоань впрочем была хороша собою и любезна, так что она впоследствии, путешествуя по разным странам, обращала на себя внимание.

Но столько любви, примешанной к делам, не смягчало расположения духа того, кто придавал всему свой авторитет. Администрация и политика сильно испытывала это на себе, ибо какой-нибудь каприз или любовная досада отзывались до противоположного конца Европы и потрясали всю эту огромную империю.

Мальтийское дело приняло трагический оборот для тех, кто больше всего от него ожидал. Я уже сказал, с какой высоты были низвержены г. де Литта и его соучастники. Баварское посольство, во главе которого блистал командор фон Флаксланден, сначала было осыпано милостями, а затем впало в немилость и было выслано. Командор, с присущими ему благородством и достоинством, старался примирить принятые в делах ордена формы с горячностью и деспотическими наклонностями, которые в них вкладывал император. Только этого и недоставало, чтобы подвергнуть его кровным оскорблениям и неприятностям. Депутация от великих приорств Германии и Богемии оказались более счастливыми. Принятые с восторгом, потому что они давали новые поводы к проявлению тщеславия и к церемониям, они после разных неприятностей, были уволены с полным равнодушием. Вся суть этого дела уже была вполне исчерпана. Фельдмаршал Салтыков получил большую прибавку к своему жалованью, в качестве помощника великого магистра. Граф Ростопчин, непримиримый враг иностранцев, поставил на место вице-канцлера ордена кавалера де ла Гуссе, вполне достойного его дружбы по сходству их завистливых характеров. Кроме него получили еще места граф де Мэзоннев и некоторые другие мелкие герои гостиных. Придворные сановники, которым никогда не хватает орденских лент, получили в добавок к прежним, мальтийские ленты и чувствовали себя отныне настоящими джентльменами, которым ничего больше недоставало. Что же касается самой Мальты, то сей виноград пока еще был зелен.

Жажда орденов была все еще так велика, что гроссмейстер не преминул предложить французскому «Двору» (находившемуся тогда в Митаве) обменяться орденскими знаками. Его Величество велел выслать транспорт орденов в Митаву, откуда г. де Коссе вернулся с таким же количеством орденов св. Лазаря. А так как император, любил вмешиваться во все, он велел отнять у

командора фон Флаксландена этот орден, который французский король послал ему как брату человека, долго и верно прослужившего королю, его брату.

Положение дипломатического корпуса с каждым днем становилось все более неловким. Ему не только приходилось ежедневно видеть и слышать необыкновенные вещи, относительно которых у дипломатов не было ни надлежащих инструкций, ни традиционных обычаев, но в конце концов стало неизвестным, к кому следовало обращаться в случаях, требующих разъяснений или устранения злоупотреблений. Государственный канцлер, князь Безбородко, скончался 6-го апреля, и департамент иностранных дел был реорганизован на совершенно новых началах. Граф Ростопчин, весьма неглупый выскочка, но человек мало сведущий и с дурным характером, при том чрезвычайно смелый, председательствовал в этом учреждении в качестве первого министра иностранных дел[214]; при нем, в звании вице-канцлера, состоял граф Панин[215], еще молодой человек, высоко образованный, но совершенно неопытный в делах человеческого сердца, большого света и Двора, так что его ум являлся для него бесполезным и даже опасным. И вот, благодаря лености монарха и министра, ненавидевшего, с одной стороны, иностранцев и боявшегося, с другой стороны, выказать им свою неспособность, пришлось регулировать ход дел следующим образом: император работал только с самим министром, а дипломатический корпус должен был сноситься только с вице-канцлером, который, однако, не имел права доклада государю и мог сообщаться с Его Величеством только чрез посредство своего начальника, министра, который, таким образом, оставался безусловным руководителем переговоров и мог передавать слова государя, как ему благоугодно, а также докладывать Его Величеству только то, что ему нравилось. Можно себе представить, как это путало и затягивало дела в такое время, когда события следовали одно за другим с головокружительною быстротою, и какой от этого в министерстве господствовал недостаток ответственности. Посланники могли бы еще найти исход из этого положения в общественных сношениях, но ни один, ни другой министр не принимали у себя. Лишь в весьма редких случаях удавалось испросить аудиенцию у Ростопчина, а Панина можно было видеть только в приемные часы, и ни один из них не посещал общества. От этого происходила роковая медленность и невыносимый произвол в производстве дел, сцены между обоими министрами, потом увольнение графа Панина и, наконец, падение Ростопчина, благодаря смелости, с которою, в следующем году, неаполитанский посланник, устранив все препятствия, проник к

самому государю и открыл ему глаза на поведение его фаворита[216].

На этом месте рукопись графа Федора внезапно прерывается. Нарочно ли это сделано, или же продолжение ее было уничтожено, когда ящик, заключавший в себе бумаги графа Федора Головкина, был открыт и обыскан в Берне какими-то оставшимися неизвестными лицами… это вопрос. *(Примечание теперешнего владельца бумаг графа Федора).*

Отрывки относящиеся к царствованию Павла I и сообщенные графом Федором г-ну Шатлену

В биографическом очерке, весьма впрочем поверхностном, о графе Федоре, составленном Николаем Шотленом и напечатанном в 1861 г. в «Revue Suisse» Вильямом Реймондом, находится несколько отрывков из воспоминаний Головкина о царствовании Павла I. Эти рассказы, сообщенные им его приятелю Шотлену, относятся, по-видимому, к последним дням его пребывания при Дворе Павла, перед ссылкой. Возможно, что страницы, недостающие в его рукописи, содержали именно эти отрывки.

I.

Однажды, когда у графа*** был большой прием, на котором я тоже присутствовал, — рассказывал мне граф Головкин, — вдруг раскрылись двери и было объявлено о приезде императора. Мне невозможно было увернуться и, что бы ни случилось, я решил остаться. Император меня скоро заметил и устремился на меня с наиболее сосредоточенным выражением гнева, который когда-либо изображался на его лице, и сказал мне, как всегда, с увертками и изворотами:

— Не правда ли, граф, что очень пикантно и неприятно, когда вместо ожидаемого удовольствия, получается отказ, который вы не простили бы человеку, наносящему вам оскорбление вместо милости, о которой вы его просили бы?

Не уразумев вполне, куда он метит и не понимая вообще ничего в этом длинном вступлении, казавшемся мне темным и не находящим также объяснения в моем положении в данный момент, я ответил:

— Конечно, это так, как Ваше Величество изволите сказать, но я не совсем понимаю…

— Я хочу этим сказать, граф, — продолжал он тоном, несколько менее слащаво-гневным, — что если бы я вас попросил сделать мне удовольствие и поужинать со мною, вы наверное бы мне в этом отказали. Я должен уберечься от такой просьбы, а впрочем я знаю, что есть лица более счастливые, чем я, которые обыкновенно имеют счастье пользоваться вашим присутствием, и было бы несправедливо лишать их дольше вашего общества.

При этих словах он слегка наклонил голову в мою сторону, на что я ответил глубоким поклоном. В то же время окружающие нас расступились, чтобы дать мне дорогу, и я этим воспользовался, Бог знает с каким усердием и со всею скоростью дозволяемою придворным этикетом. Я отступил спиною к дверям, отвешивая установленные три поклона. О, каким чистым и приятным показался мне воздух, который я жадно вдыхал в коридорах и на лестнице! Я им наслаждался вдоволь!

II.

Будучи со времени революции непримиримым врагом Франции, граф Федор не мог допустить мысли, чтобы Павел сделался сподвижником Бонапарта, и чтобы самодержец всея России вел переговоры с авантюристом славы — как с равным себе. Он это осуждал тем более, что Павел начал с такого враждебного отношения к революции, какого требовало достоинство его короны. Этот взгляд графа Федора дошел до сведения императора, который был этим в высшей степени возмущен и сказал, что если он его встретит, то велит выбросить в окно. Об этом, в свою очередь, сообщили графу.

После описания сцены, которую он имел с Павлом I, граф Федор продолжает следующими словами: «Вы не можете себе представить, что это значит: чувствовать на вашем лице дыхание человека, который обещался велеть вас выбросить в окно. Павел был человеком, помнящим свои обещание, а между его царедворцами было достаточно людей, которые так меня любили, что охотно привели бы в исполнение волю государя. Когда я вышел из дворца, я чувствовал себя как синица, вырвавшаяся из когтей коршуна».

Часть III
Портреты и воспоминания

I. Фридрих Великий и Российский Двор

Король никогда не упускал случая, чтобы подтрунить над Российским Двором. Он это делал с таким остервенением, как будто он назначил себе задачу воспитать главаря бунтовщиков. Я помню, как он мне однажды вечером[217], — это было во время смотров 1780 г. — насмешливо сказал: «Вы должны обратить внимание на одну вещь, по поводу которой ваша тетя вероятно забыла вас предупредить: ваши императрицы всегда отличаются развитым бюстом; это — как бы принадлежность их царствования, как скипетр, корона и держава. И вот, вам нужно знать, что одинаково опасно заглядывать туда, когда они это не велят, и не заглядывать, когда они желают вам его показать. Помните это всегда и везде и держитесь всегда хорошо».

Король не любил Россию и знал, что мне предстоит служить Екатерине II, которую он тоже недолюбливал. Он смотрел на нее, как на создание своих рук, что было до некоторой степени верно, и, вместе с тем, считал ее страшно неблагодарной, это, по меньшей мере, должно казаться комичным, если принять во внимание макиавелизм его собственной политики. Екатерина, со своей стороны, не забыла, что Фридрих, выдав ее замуж за наследника всероссийского престола, советовал последнему, когда он сделался государем, подвергнуть ее заключению. В результате всего того, что оба говорили мне по этому поводу, — я могу похвастаться, что несмотря на свою молодость, я удостоился быть посвященным в их обоюдные сарказмы, — можно было подумать, что они одинаково боялись и уважали друг друга. От этих взаимных откровений у меня остался в памяти анекдот, показавшийся мне особенно любопытным, потому что обе стороны мне его рассказали: императрица Елисавета имела привычку каждый день кушать паштет из Перигэ[218] и король Фридрих, в продолжение всей семилетней войны, приказал пропускать курьеров, провозивших эти паштеты, причем ни Русский Двор никогда не злоупотреблял этой любезностью, ни Берлинский Двор не выказывал недоверия.

II. Княгиня Дашкова и Двор Фридриха II

В 1769 г. княгиня Дашкова, воображавшая, что она посадила Екатерину II на трон, удалилась недовольная в Англию, а герцогиня Кингстон, которая вызвала там такой громкий скандал, переехала на жительство в Россию[219]. Король, чувствовавший большое расположение к сэру Митчел, английскому посланнику при его Дворе, пригласил его в Потсдам и с великолепно разыгранным гневом крикнул ему навстречу: «Вы обещались быть со мною откровенным и чистосердечным и уверяли меня, что торговый договор между Англией и Россией не будет возобновлен, а у меня есть доказательство противоположного». Посланник стал божиться, что он ничего об этом не знает; король настаивал, и когда Митчел просил дать ему по этому поводу более подробные сведения, сказал: «Да, милостивый государь, торговый договор, и к нему даже прибавили новую отрасль торговли!» — «А какую, Ваше Величество?» — спросил посланник. — «Торговлю сумасшедшими бабами. Я это знаю наверно, так как образцы только что проехали через Берлин!»

Оба громко рассмеялись; их примеру, на другой день, последовала публика, а через две недели вся Европа. Эти дамы пожелали видеть короля и проявили в этом большое упорство, король же насмеялся над ними и пожелал, чтобы это стало общеизвестным.

III. Алексей Орлов [220]

Он, хотя и отличался важной осанкой, но не обладал манерами вельможи. Его высокий рост и широкие плечи, а также грудь, покрытая орденами, выделяли его фигуру среди других, а его лицо было бы красиво, если бы на нем не запечатлелись знаки отчаяния от предсмертного сопротивления Петра III. Алексей Орлов, как и брат его, князь Григорий, не говорили по-французски, но оба любили беседовать по-немецки, а Алексей хвастался также знанием нескольких итальянских слов, подхваченных им в Ливорно. Приезды графа Алексея в Царское Село менее бросались в глаза публике, чем появление его брата, но я очень любил, когда он приезжал — из любопытства я по причине моей наблюдательности. Он являлся только по приглашению и, как жданный гость, окруженный всевозможным почетом. Он никого из нас лично не знал и сквозь придворный лоск, не допускающий никаких резкостей, все же проявлял к нам некоторую заносчивость, как будто он хотел нам сказать: «Я не знаю, кто вы такие». Так как я говорю по-немецки, он со мною беседовал чаще, чем с другими, не желая, вероятно, подавать вида, что он в кругу, где говорили исключительно по-французски, знает только по-русски; а так как я, будучи в милости у императрицы, не знал русского языка, он этим хотел оказать мне некоторое внимание. Противоположность между его пожилой и высокой фигурой и маленькой худенькой внешностью князя Зубова, бывшего тогда фаворитом и имевшего всего двадцать пять лет от роду, была поразительна.

IV. Роджерсон

Первым лейб-медиком при Екатерине II, которая впрочем редко к нему обращалась за советом, был высокий и очень худой шотландец с маленьким багровым лицом и крошечным мешетчатым париком, по имени сэр Самуэль Роджерсон. У него были неловкие манеры, но его поведение отличалось утонченностью. Его должность требующая познаний, и высокая игра в карты открыла ему все ходы. Им пользовались даже для секретных переговоров с Веной и с другими дворами, и политики вообще, после игры, была его преобладающей страстью[221]. Он имел привычку по воскресеньям, во время обедни во дворце, становиться у дверей, где дипломатический корпус ожидал выхода императрицы, чтобы поцеловать у нее руку; это было довольно смешно и не особенно нравилось посланникам. Однажды г. де Сварт, состоявший уже в течение пятидесяти лет поверенным в делах Голландии, маленький, толстый, красный, грубоватый и злобный старичок, воспользовавшись минутным молчанием, сказал громко: «Я заметил, что существует два класса людей, которые знают толк в политике — портные и доктора». Можно себе представить, какой это вызвало хохот… Сэр Самуэль после этого долго не принимал у себя посланников.

Я уже сказал, что он был страстным игроком. Однажды вечером, под конец партии у княгини Мишель-Голицыной, он так сильно повздорил с Маруцци, итальянским авантюристом, услугами которого иногда пользовался Двор, что он не мог удержаться от звука, недопустимого в хорошем обществе. Один он при этом сохранил присутствие духа и, обращаясь к Маруцци, сказал: «Несносный упрямец, вы со своими спорами расстроили всю систему моих внутренностей!» Если к тому прибавить произношение обеих сторон, то можно легко себе представить всю комичность этой сцены.

V. Граф Николай Салтыков [222]

Граф Николай Салтыков никогда ни к чему открыто не стремился, но всегда добивался того, чего ему втайне хотелось. Это был человек небольшого роста, с желтым лицом, очень живыми глазами, вежливыми манерами и притворным подергиванием лицевых мускулов, благодаря чему он мог придавать своему лицу желаемое выражение и подготовлять ответы на щекотливые вопросы, не признавая при этом ни веры, ни правды, кроме как для своих ближних и для самого себя, и обладая позорной алчностью и неизменным лукавством. В этом его всегда и везде поддерживала его жена, урожденная княжна Долгорукова[223], которая в молодости была очень хороша собою и сохранила туалеты своего времени, создав себе привилегию оригинальности и подчинив себе этим весь свет, не исключая самих монархов. Ее можно было видеть лишь после того, как она удостоверилась, что данное лицо ничем не надушилось; но и тогда к ней можно было подойти только на известное расстояние, при чем гадкие карлики по дороге курили, сжигая перья, паклю и разные другие гадости, от которых становилось дурно. В обществе она появлялась лишь изредка, подобно чудотворной раке, которую выносят в важных случаях из алтаря. При Екатерине, обращавшей на нее мало внимания, она почти никогда не показывалась; при Павле, пожаловавшем ей ленту, которую она любила показывать, она стала чаще выезжать. Тогда она принимала более человеческий облик и, когда дело имело значение для интересов ее ближних, она даже была готова разговаривать полдня с флаконом амбры или мускуса. Эта ловкая чета начала свою светскую карьеру с шестьюстами рублями в год — я эту подробность знаю от самого фельдмаршала — и кончила свое поприще, оставив своим детям шестьсот тысяч рублей годового дохода — я слыхал это от самих наследников. Фельдмаршал отличился во время семилетней войны, что главным образом помогло ему выдвинуться. Остального он достиг благодаря своим способностям к интриге и, добравшись до положения военного министра и главного воспитателя великих князей Александра и Константина, он уже не боялся превратностей судьбы. Во времена Екатерины II он был обер-гофмейстером Двора великого князя Павла и сумел так хорошо справиться с этим деликатным положением, что приобрел признательность как одной, так и другой стороны. Ему также следует приписать определение к престарелой императрице князя Зубова, ее последнего фаворита, с помощью которого ему удалось

опрокинуть Потемкина. Его же Павел I, сделавшись великим магистром Мальтийского ордена, назначил себе в помощники, каковая должность была сопряжена с огромным окладом жалованья, который он умудрился сохранить до своей смерти. Кроме того ему, отчасти при моей помощи, удалось пристроить своего двоюродного брата, графа Толстого, к великому князю Александру Павловичу[224], у которого он впоследствии сыграл такую видную роль. Вообще, кроме тех дел, в которых он сам с удивительным искусством умудрялся не принимать участия, ничего не происходило при современном ему Дворе, в чем он так или иначе не был замешан своими интригами. Стоило не мало труда заставить его покинуть квартиру, которую он занимал в Зимнем дворце, стараясь извлечь изо всего пользу, и пришлось заплатить ему не мало денег, чтобы убедить его поселиться в собственном доме, где он потом жил как бедный человек. Он имел трех сыновей, из коих лишь второй, Александр[225], заслуживает быть упомянутым. Это был человек умный и образованный, достигший в молодые годы положения министра иностранных дел[226], но не пользовавшийся большим влиянием. Старший сын ослеп.

По окончании победоносной кампании 1814 г., император Александр I, желая, чтобы все участвовали в его величии и радости, возвел в потомственное княжеское достоинство фельдмаршала Салтыкова, исполнявшего в его отсутствие, до некоторой степени, обязанности вице-императора. Вскоре после этого он умер и, хотя он до конца занимал высокие должности, но его смерть не оставила чувствительного пробела.

VI. Разумовские [227]

Это были украинцы и мы сейчас увидим, из какого сословия они происходили. Один из братьев, Алексей, будучи певчим в императорском хоре, бросился в глаза императрице Елисавете. Этот каприз решил участь семейства Разумовских. Алексей сделался фаворитом и достиг графского достоинства и должности обер-егермейстера. Его младший брат, Кирилла, пас свиней в окрестностях Батурина, и я от него лично узнал нижеследующие подробности.

Свиньи, которых он пас, принадлежали не отцу его, а другому мужику, их родственнику некоему Будлянскому, который был богаче их. Когда Алексей устроился в Петербурге, он подумал о младшем брате и, ради приличия, послал к нему офицера, который должен был его привезти с собою. Но Кирилла, будучи уж взрослым и опасаясь при виде мундира, что его хотят завербовать в солдаты, бросил своих свиней и спрятался на дереве, откуда его пришлось доставать посредством голодовки. По прибытии в столицу, его прежде всего обмыли и одели прилично, а затем передали гувернеру, женевцу, по имени, кажется Саладэн, чтобы он его обучил манерам и грамоте. Этот гувернер часто ходил в церковь и в его отсутствие Кирилла предавался невинным забавам молодости.

В числе подарков, присланных Фридрихом Великим для Российского Двора, находилась, между прочим, прелестная табакерка, украшенная бриллиантами и предназначенная для младшего брата фаворита (т. е. для самого Кириллы). Однажды, когда он остался один, Кирилла вынул эту табакерку из шкафа своего гувернера, где она хранилась, и когда последний вернулся домой, он к своему удивлению увидел, что его ученик выломал из нее щипцами все оправленные алмазы. Можно себе представить, в каком виде оказалась эта драгоценная вещь! Когда впоследствии фельдмаршал Разумовский замечал, что сыновья его чванятся, он им рассказывал какой-нибудь подвиг, в том же роде, из своей молодости, объясняя его своим простым происхождением; и любопытно было наблюдать, как люди, занимавшие высокие посты, в вышитых золотом мундирах, бывали вынуждены смирять свои высокие претензии перед многочисленными очевидцами прошлого.

Кирилла Разумовский был почти саженного роста и великолепно сложен, с чертами лица более приятными, чем красивыми. В его манерах было нечто дикое, а в его осанке — нечто восточное, но в общем он производил величественное и

оригинальное впечатление. Так как его образование началось с восемнадцатилетнего возраста, то оно не испортило ни его здравый рассудок, ни прямоту его характера; и хотя он в общем был малосведущ, но его мнения в Совете нередко брали верх над умом и талантами его товарищей. Обстоятельства создали ему огромное состояние, которое он расходовал с большим великолепием. Его дворцы, его свита, его ливрея, его гостеприимство, — все одно другому соответствовало. С помощью брата он был избран в гетманы украинских казаков, но это звание, воскресавшее еще свежей памяти времена Мазепы не отвечало видам Екатерины II, которая заставила его принять, вместо того, жезл фельдмаршала с большим жалованьем и правом пользоваться Батуринским дворцом, его резиденцией, со всеми принадлежащими к этому владению поместьями. Он удалялся туда, когда продолжительное пребывание в С.-Петербурге ему надоело и вызывало необходимость некоторого сокращения расходов. Под конец своей жизни он переехал в Москву, где жил по-царски.

Разумовский много путешествовал. Когда он приехал в Париж, Шуазель объяснил Людовику XV, что надо чем-нибудь отличить столь знатного иностранца, и король обещал это сделать. Его пригласили в Версаль, чтобы представиться королю с большею торжественностью, чем это было принято в отношении других иностранцев, которых король не удостаивал личного разговора. Но король, спешивший на кабанью охоту, забыл свое обещание, и когда ему назвали фельдмаршала, он ограничился ничего незначащим возгласом: «А!» «Король принимает меня, вероятно, за кабана», — сказал Разумовский немного сконфуженному герцогу Шуазелю. Было решено поправить этот промах самым лестным для фельдмаршала образом, но последний не пожелал больше вернуться к Версальскому двору; между тем в Париже рукоплескали как его ответу королю, так и вообще его поведению в этом случае.

У Кириллы Разумовского было несколько сыновей: 1) граф Алексей, человек заслуженный, который был впоследствии министром народного просвещения; 2) граф Андрей, возведенный после Венского конгресса в княжеское достоинство, блестящий дипломат, но вместе с тем высокомерный и тщеславный чиновник, прослывший любовником великой княгини, первой супруги Павла I, и имевший несомненно связь с королевой Каролиной Неаполитанской; 3) граф Петр, военный и человек незначительный. О нем рассказывают, что когда он, после Шведской войны, где он плохо вел себя, получил ленту Белого Орла, ему заметили, что это может вызвать толки; но он ответил:

«Толки прекратятся, а лента у меня останется!» 4) Граф Лев, бравый солдат, имевший большой успех у женщин; 5) граф Григорий[228], настолько же некрасивый насколько его братья отличались красотою, был известен своими работами по минералогии и несколькими женами, которых он взял в разных странах, где путешествовал; наконец, 6) граф Иван, скончавшийся в молодые годы, обещавший быть, если и не особенно умным, то по крайней мере храбрым и обладавший военными способностями. Из дочерей Кириллы Разумовского одна была замужем за фельдмаршалом Гудовичем и прослыла хорошей, хотя и очень некрасивой женщиной; другая, известная г-жа Загряжская, была так оригинальна, что во всякой другой стране показалась бы смешной; третья, г-жа Васильчикова, изощрялась во всех крайностях волокитства и набожности[229]. Все эти дети родились у Кириллы Разумовского от его супруги, урожденной Нарышкиной, но лишь одна из его дочерей, Елисавета Кирилловна, графиня Апраксина[230], жила при отце и принимала у него за хозяйку дома. Она была очень нехороша собою, набеленная и нарумяненная, и чересчур вульгарна в обращении. Про нее граф Сегюр сказал однажды за большим обедом: «Надо сознаться, что эта женщина умеет распоряжаться мясом».

VII. Характеристика русского дворянина конца восемнадцатого века

Если бы сила человека заключалась в обаянии его манер и если бы общество и государство могли воспользоваться еще чем-нибудь, кроме его ума, его сердца и его рук, русскому дворянину стоило бы только показаться, чтобы оправдать систему Петра I и средства, которыми пользовался этот государь, чтобы ее установить. Я полагаю и думаю, что мне не будут противоречить, что, за исключением французов, никто не может сравниться с ним на светском поприще. Легкий и пикантный разговор, весьма либеральные, с внешней стороны, взгляды, явное отвращение ко всему варварскому, расположение к искусствам, изящность осанки, изысканность в одежде, пышность в привычках, общественные таланты, знание языков, танцев, музыки, театра, самоуверенность, обещающая еще больше, чем видно снаружи, — вот принадлежности знатного русского дворянина и царедворца, того, кто предназначается для посольства, для командования и для совета. Но не заговаривайте с ним об истории, так как он не изучал даже истории своего отечества, а если вы спросите его о времени, предшествовавшем Петру I, которому он считал себя обязанным своими успехами, вы будете удивлены полным отсутствием у него знаний; не спрашивайте его также о географии, ибо кроме дороги из Москвы в Петербург и из Петербурга в Париж, он ничего не знает; о Швейцарии он узнал только из «Новой Элоизы», о Голландии — из того, что там учился Петр Великий, об Италии — из того, что ему постоянно о ней говорят, об Англии — из того, что он оттуда выписывал свои фраки, сапоги, лошадей и такс; не говорите ему ни о классических писателях, если они не были переведены Делилем, ни о математике, ни, всего менее, о политической экономии, администрации, логике или богословии.

Дворянин из провинции тоже не более сведущ и, в большинстве случаев, не знает даже того, что известно первому, но у него зато высокие понятия о своей стране, о своем государстве, о своей религии, о своем дворянстве и о своих крепостных. Он опытен в искусстве извлекать пользу из своих имений и управлять крестьянами, а также во внутренних коммерческих сношениях, в содействии правительству в делах управления с наименьшими затратами и трудами для него и для себя и, так как его благосостояние зависит о хорошей организации общей полиции, то он всесторонне знаком с ее

деятельностью. Он не отличается большою нравственностью, но очень способен. Он не учен, но очень ловок и, когда случай, выбирающий, при деспотическом правлении чаще всего того, кто ни на что не рассчитывал, ставит его на место, он приносит с собою опытность и проницательность, которые другой не приобретает никогда. Он все считает возможным и добивается всего того, что от него требуют, и, хотя он не знаком с общественным мнением, но находит в уважении самого себя достаточную силу, чтобы им руководить.

Я не поручил бы ни одному из этих двух типов дворянства ни своей жены, ни своей дочери, но я мог бы совершить со вторым из них великие дела. Впрочем, ни один из них не виновен ни в том, чего ему недостает, ни в том, что в нем есть лишнего.

Главный недостаток заключается не в национальной личности, которая играет второстепенную роль, а в непостоянстве учреждений и в столь же ужасной, сколь обманчивой системе, основывающей общественное спокойствие на безнравственности и невежестве первого класса граждан, а также в способе воспитания, распространяющего эту систему. Я мог бы на эту тему исписать толстую книгу, полную прекрасных правил, но здесь не место это делать и, к тому же, это ничему не помогло бы. Поэтому я ограничусь замечанием, что там, где государь, тому, кто вышел из толпы благодаря своему воспитанию, уделяет лишь такое уважение, которое напоминает скорее страх, чем доверие, — подданные перестают видеть в воспитании главное средство, чтобы достичь чего-нибудь в жизни, и стараются приобрести лишь тот внешний лоск, под которым так хорошо укладываются тщеславные замыслы. По достижении шестнадцати или восемнадцатилетнего возраста, когда начинается общественное образование юноши, сыновья наших вельмож, по примеру своих родителей, думают только о том, как бы добиться отличий, хотя у них не хватает ни способностей, ни времени, чтобы их заслужить. В этот возраст ветрености и беспечности для них уже не становится расчетом, и ревность, но не к женщинам и не к общественным успехам, а к чинам и к орденам, развращает их сердца и унижает их умы. Ревность эта вызывается не добродетелью, не заслугами и не выгодами достигнутыми рождением и воспитанием, а исключительно милостями Двора и надеждами, которые зарождаются от них. Вельможи, развращенные из рода в род, униженные наследственно, видят в своих детях лишь средства к достижению тщеславных целей и к скоплению богатств, а воспитание, которое они им дают, только рассчитано на то, чтобы ускорить момент, когда ими можно будет воспользоваться в этих целях. Сын, который, под влиянием

внутреннего чувства, данного всем нам Богом вместе с жизнью, остановился бы на своем пути, чтобы пораздумать и поучиться, явился бы, в глазах своих родителей и всех остальных, лишь дураком и безумцев и был бы для них блудным сыном. Оттуда происходит неосторожный и часто постыдный выбор иностранцев-гувернеров, которые в Париже были парикмахерами без практики или скоморохами без успеха и приезжают в Россию, чтобы преподавать здесь бесстыдство и безнравственность.

Не думайте, что я преувеличиваю темные стороны это картины. Я не угрюмый и не разбитый судьбою старик, а пишу эти строки во цвете лет и могу еще в жизни рассчитывать на многое. В то время, когда великая государыня не сочла мой двадцатилетний возраст недостойным своего доверия и указала мне в далеком будущем, в царствование своего внука, то место, на котором я, умудренный ее советами, мог бы работать для возрождения отечества; когда мое честолюбие, очищенное величием этой цели, видело перед собою одно лишь бессмертие таланта и добродетели, — тогда я, сравнивая свои слабые силы с Геркулесовыми работами, которые мне предстояли, часто плакал на берегах ручья из тины, наводняющего Авгиевы конюшни.

VIII. Кобенцль [231]

Это семейство блестящим образом закончило свою карьеру. Двоюродные братья, графы Филипп и Людовик, достигли всего, чего только можно достигнуть в Австрии. Не было ни одного сколько-нибудь важного дела, в котором один или другой не играл бы в свое время роли, а графиня Румбек, родная сестра Людовика, со своей стороны сумела обратить внимание публики в Вене и за границей своими странностями и обществом, которым она себя окружала. Внешность обоих могла их утешить за то, что им не было суждено иметь детей. Граф Филипп был небольшого роста, худощав, с желтым лицом и манерами итальянского ростовщика. Людовик был толст, с рыжими волосами косыми глазами и грязен до того, что то было заметно, даже когда он был одет в парадный костюм; а его жена, урожденная Ля Ровере де Монтеляботте, была, хотя и не глупа, но одна из самых неприятных женщин, которых можно было встретить, и так неопрятна, что она за столом занималась ловлей блох. Тем не менее внешность этих господ, помимо протекции, оказываемой им императрицей Марией Терезией, чувствовавшей большую привязанность к графу Людовику, не мало способствовала блестящей карьере, к которой их предназначали их прирожденные и приобретенные таланты; можно сказать, что они слишком плохо выглядели, чтобы возбуждать в соперниках ревность или беспокоить их честолюбие и это способствовало назначению их в самые блестящие посольства и, наконец, на министерские посты.

Граф Людовик имел особенное пристрастие к светской жизни и к тому же столько находился в движении, что нельзя было понять, когда он работает. Больше всего он любил французскую комедию и, к несчастию для своего положения, требующего достоинства, сам играл в ней в совершенстве, а когда не мог играть, повсюду говорил только о ней. Это ставило его иногда в весьма неловкое положение. Однажды вечером, когда он должен был играть роль «Пандольфа» в комедии «Serva Padrona», он загримировался и переоделся до полной неузнаваемости; но внезапно у него так заболели зубы, что он только успел броситься на кровать, где в таком виде и заснул. Ему попеременно прислуживали два камердинера и один из них, который должен был присутствовать утром при его вставании, не видел, как он накануне лег. Кобенцль, проснувшись на другое утро, позвонил; камердинер входит и, при виде этого ужасного лица, испуганно убегает и кричит во весь голос, что дьявол овладел кроватью Его

Превосходительства. Весь дом в ужасе сбегается и можно себе представить гнев посла и разговоры, которые этот инцидент возбудил в Петербурге. Другой раз, из Вены прибыл важный курьер и Кобенцль приказал его впустить, забыв, что он в этот момент был занять репетицией роли, в костюме жида, с приставною бородою и пластырем на глазу. Курьер отступает на два шага и отказывается передать ему депеши. Хотя ему объясняют, в чем дело, но он упорствует и пришлось послать за Тосканским посланником, бароном Зедделером[232], который лично знал курьера, чтобы убедить его, что перед ним действительно находится посол Ее Императорского и Королевского Апостолического Величества.

Я уже некоторое время был назначен посланником в Неаполь, когда императрица, однажды, в Царском Селе обратилась ко мне за обедом со следующими словами, относившимися косвенно к приглашенному тоже Кобенцлю, которым она почему-то была недовольна: «Постарайтесь там понравиться и действуйте так, чтобы вам тоже там понравилось. Я ставлю в ваше распоряжение все средства и запрещаю вам только одну вещь — играть комедию. Тот, кому поручено быть моим представителем, должен отказаться разыгрывать других лиц». Удар был тяжел, но попал метко. Кобенцля тогда обвиняли, что он играл комедию, в то время, когда у него в кармане было известие о смерти Марии Антуанетты, но я этому никогда не верил. Он был готов унизиться, чтобы иметь успех, но не был способен на такую подлость. Г-жа Румбек, его сестра, которую не любили за ее праздные разговоры и за ее шутки и для которой главной задачей жизни было развлекать своего брата, могла бы много вредить ему, если бы его карьера не сложилась в виде бесповоротной судьбы. Во время его первого посольства в Петербурге ее, к большому огорчению брата, выслали из столицы. Когда он впоследствии был назначен послом в Париж, во время Консульства, он каждый вечер отправлялся к г-же Бонапарт, чтобы составить партию втроем. При этом его нередко заставляли ждать, а иногда отсылали обратно домой, но он в следующий раз возвращался, покорно перенося презрение, которое он вполне заслужил. Правда, что ему зато почти всегда удавались дела, но спрашивается, могут ли такие средства, если от них не зависит благо родины, даже в случае удачи, давать право на славу, и должен ли порядочный человек вообще приносить отечеству такие жертвы?

Кобенцль был расслаблен бессонными ночами и обильною пищею; ибо одна любовь, которую он старался проявить к женщинам, считавшимся в моде, не могла быть причиной его

смерти в пятидесятилетний возраст. Его небольшое состояние, а также более значительные средства его брата Филиппа, вместе с их именем перешли к графу Коронини, дворянину из Штирии и Карниолии, как и сами Кобенцли. Память о родителе графа Людовика уважается бельгийцами, которыми он управлял во времена принца Карла Лотарингского, брата императора Франца.

IX. Князь де Линь [233]

Карл, князь де Линь и князь Священной Римской Империи, был, в то же время, первым грандом Испании, кавалером ордена Золотого Руна, капитаном немецкой гвардии германского императора, фельдмаршалом и пр., что, в связи с его высоким происхождением, огромным, отчасти уже расточенным богатством, большим пронырством и веселостью характера, а также с многочисленными путешествиями и нравственностью, приспособляющегося к случаю, сделало из него то, что обыкновенно называют большим барином, и создало ему знаменитость, которой недоставало лишь таланта и признания. Его молодость прошла между Венским Двором, политика которого состояла в том, чтобы оказывать бельгийцам отличие, и Версальским Двором, где король и принцы его называли фамильярно «Шарло». Иосиф II, пользовавшийся, большею частью, услугами людей посредственных, считая их более податливыми, а также людей приветливых, как более вкрадчивых, вел через его посредство разные переговоры с Россией — не без задней мысли, отказаться, в случае надобности, от его слов; но он назначал его также в армию, где Линь проявлял храбрость и деятельность, не обижаясь тем, что к нему потом подсылали товарищей по командованию или даже подчиняли его высшему начальнику. Князь де Линь был высокого роста и хорошо сложен, с лицом, которое, вероятно, было когда-то очень красиво, но со временем изнежилось. В двадцатилетний возраст он, должно быть, был большим щеголем и фатоват. При первом знакомстве, его манеры казались необыкновенно изящными, но на другой же день он начинал проявлять поразительный цинизм. Он говорил и проделывал такие вещи, которые совершенно не соответствовали ни его имени, ни занимаемым им должностям. Его неряшество, по-видимому, было преднамеренно. В его замке близ Вены[234], его любимом местопребывании, после того, как он потерял Бельэль и владения, расположенные в Нидерландах, царствовал невообразимый беспорядок; когда у него не было особенно важных дел, он вставал только к обеду, и днем, пока он предоставлял свою растрепанную голову искусным рукам своего камердинера или верного мулата, в его спальне можно было видеть осленка или козу. Опрокинутая чернильница, неразборчивые и покрытые помарками рукописи указывали на то, что он писал, при чем его произведения, как прозаические, так и поэтические, были более чем посредственны. Его любимую дочь, Христину, княгиню Клари, «которую он одну из всех своих детей

считал действительно своим ребенком», можно было видеть сидящей в углу, занятой разбором или перепискою его рукописей, что дополняло эту оригинальную картину, а иногда она сидела около него, ела фрукты и журила его за его речи. Его сочинениям не было счета, а между тем г-же Сталь стоило не мало труда извлечь из них два тома, потому что даже те анекдоты, которые могли им придать пикантность, были плохо рассказаны.

Когда Фридрих Великий решил послать в Петербург своего наследника, Венский Двор счел уместным отправить туда князя де Линь с поручением помешать переговорам высокого гостя, который, будучи от природы застенчивым, к тому же уехал из Берлина с недугом, причиняющим ему большие боли, о чем он не посмел сказать своему дяде, королю. Несколько дней спустя, прусский принц посетил Академию наук и вследствие бесконечных речей и осмотра минералов, оружия и зародышей в банках так утомился, что с ним сделался обморок. Князь де Линь немедленно садится в карету и летит во дворец. Екатерина, узнав, что он приехал, просит его зайти к ней и спрашивает его, по какому поводу он так рано явился. «Увы, Ваше Величество! — воскликнул князь, — я последовал за прусским принцем в Академию и, когда увидал, что он лишился чувств[235], поспешил сюда, чтобы доложить об этом Вашему Величеству». Эта острота и много других, в связи с оригинальностью князя, который впрочем лично не особенно понравился в Петербурге, достигли все же цели, намеченной Венским Двором.

Иосиф II не так быстро улавливал смысл острот, как его августейшая соседка в России. Возвратившись из Нидерландов, крайне недовольный своей поездкой, он пожаловался князю де Линь на дурное расположение к нему фламандцев. «Ведь я, в конце концов, желаю только их *блага*[236]», — сказал он. — «Ах, Ваше Величество! — ответил князь де Линь, — поверьте, что они в этом вполне убеждены!» Император не понял этой игры слов, которая три недели спустя облетела всю Европу.

X. Прекрасная фанариотка (г-жа де Витт) [237]

Кто не слыхал, тридцать лет тому назад, об этой прекрасной гречанке? Кто ее не видел, когда она путешествовала по всей Европе? Что касается меня, то я ее видел в 1781 г. в Берлине. Она раньше была рабыней в Серале, пока Боскам, поверенный в делах Польши в Константинополе, не увез ее оттуда; впоследствии он ее уступил человеку неизвестного происхождения, по имени де Витт, который возил ее по всем большим городам[238]. Когда возникла война между Турцией и Россией, она очутилась в главной квартире в Яссах, где она так сумела опутать Потемкина, что его племянницы ее приревновали. Она пребывала там под видом его подруги, желающей его цивилизовать, и вложила в это столько прелести и хитрости, что вполне подчинила себе князя. Его племянницы опасались больше за свое влияние, чем за его сердце, но их беспокойство и маленькие интрижки не могли ее сбить с позиции. Она последовала в 1791 г. за князем в Петербург и получила там, в подарок, прелестный дворец, роскошные экипажи, туалеты, не оставлявшие желать ничего лучшего, и звание графини Священной Римской Империи. Вопреки строгому придворному этикету, князь ее даже лично представил государыне, которая, на следующий же день, одарила ее прелестным бриллиантовым ожерельем. Весь двор лежал у ее ног и низость льстецов дошла до того, что в то время, как Ее Величество принимала в аудиенции дипломатический корпус граф Кобенцль, австрийский посол, прогуливался в кабриолете с г-жей де Витт под самыми окнами императорского дворца. После смерти князя Потемкина, ее нового друга, она удалилась в поместья, которые он ей подарил, и разговоры о ней на некоторое время притихли.

В одном из этих поместий, соседнем с знаменитым владением Тульчиным, с ней познакомился граф Потоцкий. Его сердце, уже так давно свободное от увлечений, воспылало к ней любовью, которая довела его до самых сумасбродных и непристойных действий, причем в числе его соперников оказался его старший сын. У поляков такого рода дела устраиваются быстро; заговорили о разводе и было решено принудить графиню Потоцкую дать свое согласие. Она перестала пользоваться милостью; к тому же ее язык создал ей много врагов, а ее чрезмерные расходы — много кредиторов, так что ни граф Шуазель-Гуффье, ни я оставшиеся ей верными, не могли ей ни в

чем помочь, ни даже дать ей совет. Однажды ее спросили о ходе ее разводного процесса: «Увы! — ответил она, — граф Потоцкий настаивает на том, что он не отец своих детей. Но это прибавляет лишь несправедливость и злословие к роковой печати их законности».

Павел I, который не любил г-жу де Витт, отнесся к ней отрицательно. Несмотря на то, вновь испеченная графиня Потоцкая появилась при Дворе. Но насколько она была хороша собою и очаровательна в греческом костюме, настолько она показалась смешной в придворном туалете и с манерами великосветской дамы. Можно было сказать, что эта комедиантка была восхитительна в роли горничной-любовницы и некрасива, даже противна, в роли Нинетты при Дворе. В то же время, настоящая графиня Потоцкая старалась утешиться или отомстить, распуская разные остроты, которые окончательно отдалили ее от Двора и от столицы.

XI. Граф Шуазель-Гуффье

Граф Шуазель принял двойную фамилию после того, как он женился на последней представительнице рода адмирала Бонниве, известного сподвижника короля Франциска I[239]. Граф был французским послом при Блистательной Порте, когда вспыхнула Революция. Он совершил путешествие по Турции, результатом которого явилось прекрасное и общеизвестное сочинение «Живописная поездка по Греции». В Константинополе он был известен своими интригами против России, но зато, когда возникла война между Турцией и Россией, он приобрел не меньшую известность деятельной защитой русских пленных и даже выстроил для них среди арсенала деревянный госпиталь, где они пользовались прекрасным уходом. Когда на его родине Революция восторжествовала, он еще некоторое время держался в Турции против интриг якобинцев Востока, но, в конце концов, все-таки был вынужден искать приюта у поверенного в делах России, который, не зная взгляда на него своего Двора, обошелся с ним сначала довольно пренебрежительно. Но после того, как из Петербурга было получено на имя бывшего французского посланника весьма любезное приглашение, поверенный в делах понял, слишком поздно, как ему следовало обращаться с графом.

В Петербурге никогда никого не возвещали с большим шумом и не ожидали с большим нетерпением, как его. Я помню, как в Царском Селе императрица, спускаясь, в сопровождении принца Нассауского, по маленькой лестнице колоннады и завидев меня, крикнула мне издали: «Отгадайте, кого мы здесь через две недели увидим!» Шуазель не мог мне прийти в голову, так как я знал о нем лишь из его сочинения, которое я как-то перелистывал. «Граф Шуазель! — продолжала императрица, — мне доносят, что он уже вступил на нашу территорию и может быть здесь скорее, чем мы думаем». Она произнесла эти слова с таким увлечением, что я приписал это литературной известности Шуазеля, соблазнившей, вероятно, фаворита Зубова, а также симпатиям, которые императрица всегда питала к парижским остроумцам. И вот, по истечении месяца, к нам прибыло возвещенное чудо и на первый же взгляд было оценено гораздо ниже своей репутации. При Дворе, а особенно при тогдашнем Петербургском Дворе не долго ломали голову над людьми, и вновь прибывший человек быстро подвергался критике, после чего он, через какие-нибудь сутки или одобрялся, или же безапелляционно осуждался.

Граф Шуазель был небольшого роста, широк в плечах, с приятными жестами и огромными черными бровями, торчащими

на лбу, как конский волос из лопнувшего тюфяка; его маленький нос напоминал клюв попугая; его взгляд казался слишком обдуманным, а лицо было чересчур разгоряченно; его черты выдавали более хитрость, чем ум, а под его размашистыми и простыми манерами скрывалась некоторая неловкость. На груди ни звезды, ни ленты, а лишь маленький крестик св. Людовика в бутоньерке. Всего этого было достаточно для его осуждения и падения с самого порога. Так как Шуазель уже несколько лет тому назад выехал из Франции, то этот главный предмет для разговоров того времени оказался мало интересным в его устах. Он, между прочим, рассказывал, что Отэнский епископ Таллейран, его близкий друг и товарищ детства, не признает долга в четыреста тысяч франков, которые он ему отдал на хранение; это обстоятельство показалось довольно пикантным. Но на следующий день он опять об этом заговорил и это уже показалось пошлым. В обществе Шуазелю столь же мало повезло, как и при Дворе. Смешная страсть к одной великосветской кокетке окончательно лишила его симпатии. Ее Величество, обещавшая ему место президента Академии наук, как только княгиня Дашкова выйдет в отставку, стала увертываться от обещания, отказывая Дашковой в отставке, и ограничилась тем, что велела купить у Шуазеля его серебряный сервиз, представлявший значительную ценность. Наконец, граф Эстергази, поверенный французских принцев, обладавший весьма твердым положением и пользовавшийся, вопреки данным ему инструкциям, своим влиянием для того, чтобы топить тех из французских подданных, которые могли бы его затмить, нашел Шуазеля достойным предметом для своих интриг и окончательно погубил его в глазах императрицы. Вот доказательство тому: однажды вечером, когда я стал утверждать, что нельзя более приятно и поучительно толковать о всем, касающемся искусств, чем это делает Шуазель — что была сущая правда — императрица обошлась со мною довольно круто, посоветовал мне не решать вопросов которых я не понимаю.

Некоторые лица, из чувства ли справедливости, или из расчета, старались, в разное время восстановить его репутацию. Это попробовал между прочим сделать граф Марков, по просьбе своей возлюбленной г-жи Гюс, но несмотря на его влияние у императрицы, все было тщетно, и Шуазель мог попасть ко Двору не иначе, как в толпе остальных царедворцев. Эта опала, по-видимому сильно огорчавшая его, при перемене царствования сама собою поставила его в ряды почетных жертв предшествовавшего режима. Павел I допустил его в свою интимную компанию, назначил его президентом Академии

художеств, поручил ему знаменитую Варшавскую библиотеку и, что лучше всего этого, подарил ему поместье в Самогитии, дающее 50 000 руб. дохода, благодаря чему он стал гораздо богаче, чем он когда-либо был, так как все, что он раньше имел, принадлежало не ему, а его жене. Но легкость, с которой он попадал под влияние первой встречной женщины, оказавшей снисхождение к его безобразной внешности, затем некоторые ростовщические дела, скомпрометировавшие его имя, а больше всего — ненависть новых министров к эмигрантам, низвели его скоро до худшего состояния, чем он находился при смерти Екатерины. О нем еще раз вспомнили на один момент, когда было решено поставить Суворову памятник. Его пригласили, спросили его совета и он мог подумать, что входит опять в милость; но 21 января 1800 г. он был выслан из Петербурга за то, что обедал у графа Кобенцля, австрийского посла, которому тогда было запрещено появляться при Дворе, а, может быть, и за то, что он разговаривал с Дюмурье, относительно которого Павел еще сам не знал, как ему быть.

Так как и я, на следующий день, оказался высланным, то мне пришлось с ним встретиться в маленьком трактире, в двух милях от столицы, где он наравне с многими другими, ожидал прибытия своих экипажей. Нас там было около восьмидесяти изгнанников, все из того же разряда, между прочим престарелый маркиз Ламбер и г-жа Жеребцова, сестра Зубова. Бедный Шуазель с грустью расставался с довольно посредственной женщиной, которую он воображал любить до безумия, и с хорошенькой квартирой холостяка, где он нас нередко угощал маленькими обедами на шесть приборов.

Я уже сказал, что с Шуазелем можно было весьма приятно разговаривать обо всем, что касалось искусства, и, действительно, это было большое удовольствие. Если он вам объяснял какое-нибудь ремесло, он говорил весьма ясно и поучительно. Но помимо этих предметов его разговор был самый обыкновенный. Зато никто в его положении не рисовал так хорошо карандашом. Он, впрочем, только этим и занимался и, ради рисования, забывал о самых важных делах. Что же касается нравственной стороны его характера, то находили, что я совершенно правильно обрисовал его, сказав, что если бы Таллейран был послом при Порте, а Шуазель — епископом Отэнским, то мы первого встретили бы в Петербурге, а второго — в должности министра иностранных дел Конвента, Директории и Бонапарта. Вся разница между ними состояла бы во внешности, росте и таланте.

Впоследствии я встретился с графом Шуазель-Гуффье в Париже, во время Империи, и прожил несколько лет, вращаясь с

ним в одном и том же обществе. Он проводил дни у того же друга молодости, относительно которого он нам в России рассказывал, что был им обижен на четыреста тысяч франков, ухаживал за ним, чтобы добиться места префекта, члена Совета или сенатора, а затем каждый вечер рассказывал мне о нем разные ужасы. Он тогда до смешного был влюблен в княгиню Елену Боффрмон, остроумную даму и подругу г-жи де Жанлис. Мы их называли маленькими учеными, потому что они всегда обо всем рассуждали и толковали. Он занимался этою любовью у себя дома, в присутствии жены и пяти замужних дочерей, которые были этим возмущены. Когда же его жена умерла, он женился на своей обожаемой Елене, тоже незадолго перед тем овдовевшей, которой пришлось испытать, со стороны своих падчериц, довольно плохое обращение.

Когда наступила Реставрация, никто не оказался более роялистом, чем граф Шуазель-Гуффье, за что он был возведен в перы и получил пенсию. Кроме того, он был избран членом французской Академии и окончил свое сочинение «Живописное путешествие по Греции». За неимением средств он не мог достроить свой красивый особняк на авеню Нельи, где все было устроено по образцам Афин и разработано с редким совершенством. После его смерти это хорошенькое владение было превращено в общественное гуляние под названием «Сада Марбеф». Мне было стыдно за парижан, а в особенности за королевских принцев и принцев крови!

XII. Любомирский [240]

Один из важнейших процессов в царствование Екатерины II, как по значению спорного объекта, так и по положению спорящих сторон, был процесс, затеянный князем Любомирским против наследников и памяти князя Потемкина. Я это говорю не потому, что я сам играл роль в этом процессе, а потому что он так хорошо показывает способ ведения в России подобных дел, не исключая самых важных, даже в периоде наиболее справедливого царствования и, в то же время, интереснейших образом рисует характер великой государыни, так что сохранение его подробностей имеет существенное значение для истории. Князь Потемкин, исчерпав на своей родине все, что могла ему дать благосклонная судьба, стал бросать свои алчные взгляды на пограничные страны. Польская корона, Курляндское герцогство, верховная власть над Молдавией и Валахией с титулом короля — вот те призраки, за которыми гналось его чересчур разыгравшееся честолюбие, и так как ему не удалось заставить Екатерину разделить с ним российский престол, то он хотел, по крайней мере, чтобы она устроила ему царство где-нибудь в другом месте.

Дело, о котором я говорю, разыгралось в то время, когда Польша составляла предмет его мечты, и весьма возможно, что было бы умнее и менее безнравственно посадить его туда, чем разделить ее на части. Как бы то ни было, но он, со своей стороны, начал принимать те меры, которые зависели от него. Надо было прежде всего приобрести права польского гражданства, а чтобы добиться этого, надо было владеть землями в королевстве, и это заставило Потемкина купить за шесть миллионов, у князя Любомирского, графство Смилу. После того, как эта сделка состоялась между обоими князьями на словах, Потемкин извлек из нее ту пользу, на которую он рассчитывал, и был провозглашен польским магнатом. Но будучи слишком занят делами империи, он забыл довести сделку до конца и не только не заплатил за нее, но даже не дал обеспечения на значительную сумму, которую он задолжал Любомирскому. Устроившись в своей главной квартире в Яссах, поглощенный тщеславными замыслами и делами, недоступный для кого бы то ни было, кроме своих племянниц и некоторых любимцев, он едва знал о том, что князь Любомирский находится при его армии и что самый законный интерес заставлял его день и ночь сторожить у дверей. С его стороны в отношении к Любомирскому не было ни злой воли, ни замешательства, ни ложного стыда, а была лишь доведенная до крайности и беспримерная беспечность. Если кто-

нибудь посмел бы указать ему на безнравственность разыгрываемой им роли, то одной его гордости было бы достаточно чтобы немедленно заставить его расплатиться с кредитором; но из окружавших его клевретов одни дрожали, как бы не навлечь на себя его недовольство, а другие сочли бы смешным воспользоваться своим влиянием в пользу вельможи, который не сумел сам защитить свои интересы, к тому же еще поляка, который как будто бы попрошайничал, когда он имел право требовать. Любомирский, видя, что ему даже не удастся получить доступа к Потемкину, выписал в армию свою жену, урожденную графиню Ржевускую, безобразную и глупую, но зато женщину, да к тому же еще польку, умеющую пролезть в ушко иголки. Она дала себе много труда и так старалась, что Потемкин ее, наконец, заметил, выслушал и нашел ее требования вполне справедливыми. В виде расплаты, он за два миллиона уступил ей графство Дубровское, а на остальные четыре миллиона обещал ей выдать вполне оформленные векселя.

Это удачное начало ободрило княгиню продолжать дело и довести его до конца. Она устроилась в аванзале своего должника и следовала за ним по пятам, куда бы дела его не привели. Она как будто сделалась членом главной квартиры армии и, нисколько не робея ни перед заносчивостью его племянниц, ни перед язвительными шутками его любимцев, не стесняясь ни недостатком помещения, ни даже иногда недостатком в пище, не отходила ни на шаг от Потемкина. Я не знаю в точности, достигла ли она этим чего-нибудь, но в самый разгар ее стараний князь Потемкин скончался. Когда же Любомирские обратились к его наследникам последние прежде всего желали видеть обязательства покойного князя, а так как последние существовали только в совести, а не на бумаге, наследники отказались платить. К несчастью, этих наследников нельзя было прямо привлечь к суду; это были — графиня Браницкая, супруга великого маршала Польши, статс-дама императрицы и кавалерственная дама ордена св. Екатерины, графиня Скавронская, статс-дама и главный предмет страсти своего покойного дяди; княгиня Голицына, муж которой пользовался большим уважением за свою честность и свои заслуги; г-жи Шепелева и Юсупова[241]; затем граф Самойлов, Андреевский кавалер и генерал-прокурор или министр юстиции и финансов и еще несколько лиц вполне подходящих к ролям главных крикунов. Надо было собрать всех этих лиц, получить от них отказы и затем удостоверить эти отказы, а между тем грозная тень покойного и настоящее или притворное горе императрицы вместе с разными другими обстоятельствами составляли непреодолимую преграду вокруг этих четырех

миллионов.

Князь Любомирский не отличался ни умом, ни влиянием, ни сообразительностью; княгиня же растерялась среди мелких чиновников и не могла стряхнуть с себя пыль передних. Но у них были дети и законное право всегда имеет нечто внушительное, прикрывающее тех, кто может им облечься; кроме того, при Дворе были люди, могущие замолвить слово в их пользу. Им посоветовали за недостатком письменных доказательств обратиться к так называемому суду совести, нечто вроде третейского суда, установленного императрицей под непосредственным надзором правительства, и, к счастью для них, они послушались этого совета.

Мне в то время минуло двадцать два года[242] и я был только камер-юнкером, но был принят в ежедневный и интимный круг императрицы, которую мои шалости очень забавляли. Граф Зубов, премьер-министр и фаворит, тоже как будто не мог обойтись без меня и я, без хвастовства — ибо с тех пор прошло уже столько лет, могу сказать, что ввиду неизвестности моей дальнейшей участи, большая часть всей России и добрая часть Европы заискивали у меня, в доказательство чего дальше приведу любопытные факты. И вот однажды утром во время аудиенции, которые в этой стране зависят более от смелости, чем от занимаемого положения, я из разговоров услышал, что князь Любомирский, согласно правилам суда совести, ищет двух лиц, которые могли бы защищать правоту его дела перед этим судом, но получил уже более двадцати отказов. Это была очень серьезная вещь, так как подобные отказы в этих случаях кладут клеймо на того, кто их получает или же кто их дает, и я был возмущен общею трусостью. «Если бы он обратился ко мне, — сказал я громко, — я не решился бы ему отказать и мне, может быть, удалось бы также найти себе товарища». На следующий день, рано утром, мне доложили о приходе князя. Он пришел в парадном мундире с лентою через плечо — ибо поляки изощряются в вежливости — и, после многих извинений за свою смелость, сделал мне предложение защищать его интересы, предоставляя мне назначить себе товарища по моему усмотрению. Я сразу постиг все последствия, которые мог иметь мой ответ, но я сам искал это осиное гнездо и не в моем характере было трусить. Поэтому я принял на себя роль третейского судьи и объявил, что я выбираю своим товарищем г. Вейдемейера, служившего раньше у его дяди и состоявшего в это время секретарем Совета. «Я не знаю ни законов, ни языка, — сказал я князю, — но голос чести легко прозвучит, а формальностями займется мой коллега». Бедный князь, вне себя

от восторга, чуть не обнял моих колен и повсюду рассказал о своей удаче.

Это произвело, поистине огромное впечатление. Никто не ожидал, что я, в свой юный возраст, решусь впутаться в такое серьезное дело, и многие думали, что я бросаюсь в этот омут из неосторожности, или что граф Зубов толкает меня туда, как блудного сына; мне в тот же самый день пришлось выслушать от разных лиц выражения недовольства. Наследники удивленные и возмущенные, но вынужденные принять решение, назначили, со своей стороны, третейскими судьями: своего родственника, престарелого сенатора Жукова, человека недалекого и прославившегося когда-то своим безнравственным поведением и некоего Ермолова, отличавшегося таким же поведением и по данное время. Председателем суда совести был тогда сенатор Ржевский, но он представлял собой не более как сидящее в кресле чучело или марионетку, в то время как его сыновья находились в зависимости от графа Самойлова, министра юстиции и, как я уже сказал, сонаследника. Мы проверили наши правомочия, и заседание началось.

Всякий другой, кроме меня, ужаснулся бы той пропасти, над которой я добровольно примостился. Императрица, поклоняясь памяти человека, которого она в течение двадцати пяти лет удостаивала своего доверия и своей дружбы, считала себя оскорбленной тем, что я, единственная опора которого состояла в ее милости, посмел открыто выступить против его памяти, и успокоилась лишь при мысли о моем невежестве и о моей неопытности. Граф Зубов, очень довольный тем, что нашелся человек, чтобы вырыть из могилы исполина, которого ему лишь с большим трудом — и не в одном ли только воображении — удалось опрокинуть, но вынужденный тщательно скрывать эти чувства перед императрицей, делал вид, как будто он возмущается мною, считавшимся его близким другом и занявшимся столь неуместным делом. Целый легион завистников, сдерживаемых до того моим влиянием, не имея возможности громко нападать на мои принципы, поднял вопль против моей дерзости и против неосторожности моего поведения. Я скоро заметил, что тот, для которого я великодушно рисковал своим положением, уже начинал опасаться неудачного выбора и что мой товарищ, которого я привлек к этому делу, женатый на камер-юнгфере императрицы, стал руководствоваться чужими советами.

Тем временем жизнь при дворе продолжала быть для меня тем, чем она при данных обстоятельствах всегда бывает: приятным времяпрепровождением в безоблачной атмосфере, где ничего не предвещает грядущих гроз и где бывают только мелкие

неприятности. С внешней стороны ничего не изменилось для меня, после того как прошло первое удивление моему поступку. Императрица, обращавшаяся со мною как всегда, делала вид, что ничего не знает. Граф Зубов, который говорил со мною об этом лишь как о заблуждении благородного сердца и о юношеской шалости, под рукою наставлял окружавших нас лиц, чтобы они меня хвалили за красоту моего поведения и за величие моего характера. Ему было безразлично видеть, как я погибаю, ибо в сердце он меня не любил, и в его расчеты входил только позорить память человека, который долгое время всех подавлял своим презрением. Что касается меня, то я не замечал за собою ни малейшей неуверенности или боязни, и если бы я даже почувствовал нечто подобное. То старание противной стороны подкупить меня вполне успокоило бы меня на этот счет. Все наследники вместе и каждый в отдельности старались расположить меня в свою пользу, а графиня Браницкая, главная из них, несмотря на свою скупость, предложила мне 180 000 руб. с тем, чтобы я отказался от моего посредничества.

Между тем заседания третейского суда продолжали идти своим чередом, хотя дело не двигалось вперед; приводились законы, которые не имели ничего общего с процессом и в которых я тоже ничего не понимал. Я изображал из себя собаку того вертельщика, которая, пробежав десять миль, остается все на одном и том же месте. Ермолов позволил себе однажды утром высказать свое соболезнование по поводу того, что я, будучи так молод и не опытен, решаюсь спорить с ним, день и ночь не расстающимся с законами, ибо этот несчастный состоял членом комиссии о сочинении проекта нового уложения. «Не знаю, — ответил я ему, — может быть, вы и спите на законах, но это довольно безразлично для суда, признающего только законы совести; мне во всяком случае ясно то, что вы хотите меня усыпить, но этого я никогда не допущу».

Противная сторона хотела выиграть время. Я как бы для того, чтобы обеспечить себе порт на случай будущих ураганов, добился назначения на место посланника в Неаполь, и мои противники рассчитывали на какой-нибудь случай, чтобы вынудить меня поскорее уехать, предоставив князя Любомирского и его детей их произволу. Заметив это намерение и желая воспользоваться им против моих врагов, я испросил шестинедельный отпуск, якобы для поездки в Москву и устройства там своих домашних дел. Это неожиданное решение произвело величайшую сенсацию при Дворе и в обществе. Подумали, что я раскаялся и отказываюсь от дальнейшего влияния на этот своеобразный процесс, а поэтому сейчас же дали мне просимый отпуск, и я уехал в Москву.

То, что я предвидел, случилось. Как только я приехал в Москву, я получил официальное извещение о состоявшемся мнимом решении суда; я говорю «мнимом», ибо оно без моего согласия не могло считаться законным. Добродушный Ржевский храбро стал на сторону сильнейших, и князь Любомирский был осужден к потери своих четырех миллионов; казалось, таким образом, что все кончено, наследники торжествуют, и императрица, освободившись от всякого беспокойства по этому поводу, посмотрела на меня, как на ветреного глупца. Но это именно был момент, когда я мог развить всю свою находчивость. Я в тот же день отослал суду обратно его решение, ограничиваясь припиской, что я еще не умер и явлюсь ко дню окончания разрешенного мне Ее Императорским Величеством отпуска. Тем временем я приступил к составлению особого мнения по этому делу. Для его решения достаточно было немного честности. Моя записка состояла из двух столбцов, с одной стороны — из подлинного текста на французском языке, снабженного моею подписью, а с другой — из перевода на русский язык, который я не подписал, опасаясь, что противники, не имея возможности оспорить мое мнение по существу, могли бы придраться к букве. Помня это, я выехал обратно в Петербург.

Час спустя по выходе из коляски, я отправил пакет к председателю с записочкой, в которой было сказано, что так как суд постановил решение без меня, то я считаю себя в праве разъяснить дело без него и что, в виду равнодушного отношения суда к истинному смыслу своей задачи, я предпочитаю передать мое особое мнение, являющееся окончательным, непосредственно в руки его председателя. Двор тогда находился в Царском Селе. Ее Императорское Величество встретила меня с той снисходительной добротой, которую сила так охотно оказывает разоблаченной посредственности; Зубов — с зубоскальством, говорящим много, но не объясняющим ничего; его приближенные — с видом укоризны и недовольства, остальные же царедворцы — как люди довольные тем, что совершена непоправимая ошибка. Но приближался момент катастрофы. На другой день, утром, императрица принимала в аудиенции некоторых лиц, прибывших из С.-Петербурга. Не будучи любопытен в мелочах, я лишь впоследствии узнал подробности. Когда мы собрались к обеду, я видел на лицах графини Браницкой и графа Самойлова выражение торжества и радости, которое меня удивило.

Императрица появилась со всеми признаками плохо подавленного гнева, с красным лицом и хриплым голосом и села за стол, не сказав ни слова лицам, мимо которых она проходила. По праву моей должности. Я сидел напротив нее и заметил, что

она нарочно старалась не глядеть на меня. Я хотел выяснить это обстоятельство и по старой привычке начал разговор, но она промолчала и лишь покраснела. Я стал догадываться о причинах такого поведения, когда ко мне подошел курьер и сказал мне на ухо, что, по окончании обеда, меня ждет в своих покоях фельдмаршал граф Салтыков. Я полагал, что он, как всегда, после Совета вернулся к себе на дачу, и это отклонение от его привычек и приглашение от такого высокопоставленного лица, у которого я вообще не бывал и который, под предлогом, что я отвлек от него графа Зубова, делал вид, что меня ненавидит, — предвещали мне нечто необыкновенное и недоброе. Как только императрица удалилась во внутренние покои, я отправился к фельдмаршалу и застал его в крайнем смущении, вероятно, по причине моей репутации, — как человека очень откровенного.

Он стал извиняться в причиняемом мне беспокойстве, сделал вид, что прочитывает важные письма, которых он в действительности вовсе не читал, поднимал от времени до времени, как это было его привычкой, нижнюю часть своего костюма, постоянно сползавшую, и, наконец, собрав достаточную долю самоуверенности и присутствия духа, сказал мне своим обычным лукавым голосом:

— На меня нашей августейшей государыней возложено относительно вас, дорогой граф. Ужасное поручение!

— И какое именно, Ваше Сиятельство? — спросил я его.

Новые извинения с его стороны, затем уверения в его уважении и дружбе ко мне и выражения искреннего соболезнования по поводу обычной неосторожности молодых людей, губящих себя преувеличением добродетельных чувств, — наконец, все возможное, чтобы привести в отчаяние человека, желающего поскорее узнать свою участь.

— Будьте так любезны, Ваше Сиятельство, объяснить мне подробнее, в чем заключается мое несчастие!

— Итак, знайте, если вы желаете поскорее узнать вашу судьбу! Знайте, что Ее Императорское Величество поручила мне сказать вам, что, будучи даже членом Конвента в Париже или в Варшаве, вы не осмелились бы представить такую назойливую записку, как та, которую вы послали третейскому суду, но что она сумеет вас поставить в должные рамки уважения и долга.

— И это все, Ваше Сиятельство?

— Увы, дорогой граф, это мне, ввиду моей симпатии к вам, уже кажется слишком много!

— Позвольте, Ваше Сиятельство, поблагодарить вас за ту деликатность и вежливость, которые вы соблаговолили вложить в исполнение данного вам поручения! — И я хотел откланяться.

— Оставайтесь, мне приказано также передать ответ, который вам угодно будет.

— У меня на это лишь один ответ, но я думаю, что он теперь неуместен.

— Ничего, вы можете мне довериться.

— Так будьте же столь добры, Ваше Сиятельство, передать императрице, что мое непоколебимое почтение и безграничное поклонение Ее Величеству заставляют меня думать, что она не дала себе труда прочесть мою записку.

— Но, граф, как же так? — воскликнул фельдмаршал.

— Я не могу вам ответить ничего другого, — прибавил я и, пользуясь удивлением старого царедворца, быстро вышел.

Пока посылали за моей каретой, одно преданное мне лицо рассказало мне, что Ржевский в сопровождении Самойлова еще до начала Совета бросились императрице в ноги, прося простить их за их дерзостное обвинение человека, осыпанного ее милостями, в непочтении к ее священной личности, в непослушании высшим законам и т. д. и т. д. По дороге в Петербург я составил черновое письмо, которое я решил написать императрице. Я переписал его дома и отправил его в Царское Село с таким расчетом, чтобы императрица получила его на следующий день при вставании. Это письмо состояло из восьми страниц большого формата и было разделено на две части: 1) мое мнение по делу Любомирского, 2) мое мнение о поведении императрицы во все время ведения процесса. Это письмо было писано чистосердечно, с полным доверием, и содержало такие истины и рассуждения, какие можно позволить себе только с лицами, обладающими высшим рассудком. Я доказывал ей, что она одна обесславляет память покойного князя, выставляя свои сомнения на счет его, что общество относится к нему справедливее, и это ей, не менее чем мне, известно, что князь Потемкин, будучи всегда обременен государственными делами, запускал те дела, которые касались лично его, в том числе и настоящее дело.

Когда я отправил это письмо, я поехал к себе на дачу, чтобы повидаться с женою и друзьями, которых мне в то время редко пришлось видеть, но ничего не сказал им о происшествии. Я полагал, что мое письмо только что получено императрицей, как вдруг ко мне явился курьер фельдмаршал, с просьбою быть на следующий день, в семь часов утра, в его доме у Петергофских ворот. Это было предвкушение моей победы. Столь быстрый ответ и поручение, данное старику министру, которого берегли от всяких утомлений, сделать восемь миль для того, чтобы переговорить со мною, — доказывало, что со мною обращались как с личностью, заслуживающею внимание и пребывающею в

милости. Действительно, когда двери фельдмаршала раскрылись передо мною, я заметил в его словах досаду, которую он старался скрыть, но которая говорила мне больше, чем его слова. Он передал мне ответ, написанный императрицей собственноручно на четырех страницах большого формата. Она входила во все подробности дела, останавливаясь также на впечатлении, которое оно могло произвести, и удостаивала меня даже объяснений в свое оправдание, что заканчивалось следующими знаменитыми словами: «Возможно, что с точки зрения законодательства ваши мысли лучше моих, но мои мысли — закон, и ваши должны им подчиниться; я, впрочем, требую, чтобы вы ими пожертвовали в знак вашей привязанности ко мне, на которую я рассчитываю». Я хотел положить в карман это драгоценное доказательство одобрения и уважения, но фельдмаршал объявил мне, что ему приказано отобрать это письмо и отнести его обратно и что все, что он может мне разрешить, — это прочесть его еще раз, что я и сделал. Я собирался ответить на письмо, но Салтыков сказал, что императрица мне это запрещает и что этим дело для меня вообще кончено. И, действительно, она отняла у суда совести это дело и предоставила себе самой решение.

Вечером я опять явился ко Двору. Ее Величество обошлась со мною, как с лицом, с которым у нее есть секреты, а придворные старались у меня заискивать. Скоро после того я уехал к своему посольскому месту в Неаполь. Но несмотря на мое отсутствие, а затем мое заключение, императрица никогда не произнесла решения по этому делу. При воцарении же Павла I, на письменном столе покойной императрицы нашли мою записку в два столбца, которая чуть было не стоила мне дорого. Император ее прочел и написал внизу под моею подписью: «Быть по сему!» Эти три слова превратили мою записку в императорский указ, послужили руководством для Сената и заставили, наконец, наследников князя Потемкина уступить князю Любомирскому.

XIII. В Берлине (1794 г.)

Я выехал из России, огорченный проектом предстоящего окончательного раздела Польши. Никогда ничего не казалось мне более безнравственным и неполитичным. Но я знал тайные причины этого решения. Екатерина II несколько раз заявляла, что она никому ничего не выделит из государственных имуществ. Между тем князю Зубову, фавориту, и Маркову, исполняющему обязанности министра, надо было сколотить себе состояние, окончательный же раздел соседнего королевства устранял препятствия, и, как всегда бывает в подобных случаях, когда предстоит деление пирога, их враги тоже изъявили молча свое согласие на столь открытое попирание славы их государыни. Но в разговоре, который у меня был с императрицей незадолго до моего отъезда, я заметил, что у нее как будто заранее явилось нечто вроде угрызения совести по поводу несправедливости, предупредить которую у нее не хватило силы; и что она была бы рада тому кто почувствовал бы в себе достаточно ловкости и смелости, чтобы избавить ее от решения против ее собственной воли и против воли ее министров. Берлин в то время был центром переговоров по делам Польши, где тогда происходила война, а также по делам Франции, с которой некоторые Дворы уже замышляли войти в сношение; поэтому казалось весьма естественным, что новичок в моем возрасте, назначенный в малозначительное посольство, остановился здесь, чтобы изучить общую политику и дела того времени. Хаос, в который я был тотчас же посвящен и который я постараюсь изложить в нескольких словах, скоро предоставил мне возможность достичь этой цели; чтобы дать некоторое понятие об этом, достаточно будет объяснить, как тогда велись дела между Пруссией и Россией.

В Берлине обязанности полномочного посланника России исполнял престарелый граф Нессельроде, назначенный туда, как бывший участник интимного кружка Фридриха Великого, и основательно знавший всех старых министров, переживших его, а также все уловки прусской политики. Тогда еще не заметили, что способ ведения политики изменился и что в Европе уже не интересовались кабинетными принципами, основанными на интересах государства, а руководствовались личными интересами министров, что то, что раньше могло стоить головы министру, теперь еле навлекало на него выговор. Так как Нессельроде не имел успеха, то к нему прикомандировали Алопеуса[243], бывшего делопроизводителя канцелярии министерства иностранных дел,

человека причудливой внешности и пылкого характера, но хорошо знакомого со всеми подробностями службы. А так как польские смуты и последовавшая за ними война в связи с слабыми успехами пруссаков и истощением финансов и пр. несколько умерили воинственный пыл короля, то сочли нужным послать в Берлин еще принца Нассау-Зигенского[244], рыцарские манеры, а также придворный лоск и почтительная фамильярность которого достигли больших результатов, чем можно было ожидать. Эти три уполномоченных ненавидели друг друга и наперерыв интриговали один против другого. Я приехал как раз кстати, чтобы собрать их жалобы и выслушать их секреты. Первый из них уже заговаривался, повторяя все одно и то же, и чтобы лучше проявить всю глубину своего ума, считавшегося в России недостаточным для ведения дела, рассказывал первому встречному все то, что он знал. Второй, вспыльчивый от природы и к тому же плохо воспитанный, выдавал себя даже когда молчал; по каким-то странным соображениям, могущим казаться почти преступным он попал под руководство английского посланника. Третий, наконец, своею молчаливостью, к которой он приучил себя с молодости из боязни выдать свое невежество и свою посредственность, а также своими притязаниями, как принц, вести переговоры только с самим королем и с его фаворитами, — бросал на своих товарищей тень, как будто бы они находились в немилости у своего правительства, которому они должны были служить все вместе.

На противной стороне была такая же путаница, препятствовавшая нормальному ходу дел. Граф Финкенштейн, представлявший собой нечто вроде премьер-министра, был не более как красивый призрак старины и сам признавал свое ничтожество, когда его к тому заставляли. Граф Альвенслебен, представительная личность, и граф Гаугвитц, добившийся министерского поста через царедворцев, придавали себе вид, как будто они управляют делами, но от них нельзя было ничего добиться и надо было прежде всего заручиться содействием разных кабинетских секретарей; они же сами оставались до такой степени невидимыми и недоступными, что можно было проживать в Берлине в течение многих лет, не получив материальных доказательств об их существовании. Если даже иногда удавалось их видеть, а также убедить или склонить их в свою пользу, то это мало помогало, ибо в некоторых случаях, которых нельзя было ни предвидеть, ни подготовить, успех переговоров зависел от генерала Бишофсвердера, генерал-адъютанта короля, который, как главный жрец Иллюминатов[245], тогда исключительно располагал волею и властью своего

государя.

Когда на прусской стороне заметили, что русские друг перед другом стараются овладеть мною, меня приняли за влиятельную личность и стали с обеих сторон заискивать. Принц Нассауский, который в Петербурге был одним из моих самых важных приверженцев и которому я рекомендовал, в качестве секретаря, одного эльзасца — Апштетта, бывшего раньше приказчиком в модном магазине и сыгравшего впоследствии, при Александре I, столь видную роль в дипломатии, что даже навлек на себя личную ненависть Бонапарта — этот самый принц Нассауский счел как будто своим долгом предупредить короля и генерала Бишофсвердера, что императрица осыпает меня своими милостями, что она состоит со мною в переписке и что моя миссия в Неаполь есть не что иное, как предлог, чтобы присмотреться ко многим вещам и доложить ей впоследствии лично о них. Это имело ожидаемое воздействие, и с того момента меня стали отличать всякими способами, чтобы привлечь меня на свою сторону.

Так как король пребывал тогда в Потсдаме, я еще не имел случая быть ему представленным. Он проживал в маленьком дворце Гейлигензе, куда кроме его фаворитов, фавориток и внебрачных детей не допускали никого, не исключая самих членов королевской семьи. В обществе полагали, что воспоминание о неудачах, испытанных в Польше, неприятное впечатление, произведенное ими на армию и на всю нацию, а также боязнь оппозиции на случай, если бы он вздумал продолжать войну с удвоенной энергией, — надолго удержит его в своем убежище. Но вдруг принц Нассауский уведомил меня письмом, что Его Величество желает меня видеть и приглашает меня с женой провести с ним послезавтрашний день в Гейлегензе, где нас встретит г-жа Бишофсвердер, и что придворные экипажи нас будут ожидать у Потсдамской заставы. Так как было вполне ясно, что такая милость, которой никто не удостаивался, выпала на мою долю помимо моей просьбы, я счел долгом предупредить об этом графа Финкенштейна, и старик был мне весьма благодарен за эту внимательность. Все, что только можно было придумать, чтобы придать этому небывалому отличию приятность, было тут пущено в ход. Общество состояло из семи лиц: короля, пажей и генерала Бишофсвердера, принца Нассауского, графа Люзи, бывшего посланника Фридриха Великого в Англии, моей жены и меня. Мы позавтракали на русский манер, потом ловили рыбу на озере; после великолепного по своей роскоши обеда, состоялась иллюминация в оранжереи, затем первыми артистами был дан концерт и празднество

закончилось ужином. В виде особенной любезности было удовлетворено любопытство моей жены и нас повели во внутренние апартаменты, где мы были поражены и тронуты, увидев над письменным столом портрет бедного маленького Людовика XVII. Наконец, после полуночи мы откланялись Его Величеству.

После обеда король повел меня в сторону и откровенно признался мне в тайне такой милости к нам. Он сказал мне без обиняков, что зная две вещи: особенное доверие, которым я пользуюсь у императрицы, и привязанность, которую я, в силу моего воспитания, сохранил к Пруссии, он рассчитывает на меня, чтобы устранить некоторые затруднения, возникшие и разрастающиеся вследствие запутанности интересов, а главное вследствие разногласий среди уполномоченных; что он ничего больше не желает, как угодить Ее Императорскому Величеству, но не может сделать больше, чем позволяют его средства; и что, в остальном генералу Бишофсвердеру приказано дать мне все необходимые объяснения. Я ему на это ответил, что отнюдь не уполномочен к вмешательству в столь важные переговоры, но что глубокая благодарность, внушенная мне доверием Его Величества, даст мне, может быть, хорошую мысль к удовлетворительному разъяснению интересов обоих Дворов. Затем, как только король присоединился к дамам, ген. Бишофсвердер и принц Нассауский сразу овладели мною и повторили мне более подробно то, что я слышал из уст короля. Они долго пережевывали все, что мне, по их мнению, надо было знать и о чем я должен был писать в Россию; но я приехал в Берлин вовсе не для того, чтобы служить орудием для чужих проектов, а для того, чтобы соблюсти свои собственные интересы, и настоящий случай был слишком удобен, чтобы не воспользоваться им. Поэтому я стал отговариваться теми же мотивами, какие я выставлял королю, — т. е. невозможностью вмешаться без специального на то приказания в такие дела, в которых и без того участвовало слишком много посредников, при чем я повторил обещание, данное королю, заняться этими делами лишь из чувства преданности к обоим Дворам. В то же время я решил как можно больше затянуть сообщение тех мыслей, которые я хотел провести, желая придать им таким образом больше веса.

Само собой разумеется, что все это время не упускали случая чтобы поддержать во мне благоприятное расположение. Я приведу лишь один пример, потому что он крайне поразил публику, которая не могла догадаться о его причинах, и что все дипломатические агенты сообщили об этом своим Дворам, не

исключая гг. Нессельроде и Алопеуса, заметно охладевших ко мне со времени Потсдамского праздника. В то время самой модной оперой была «Волшебная флейта» Моцарта. Ее много раз повторяли, но я приехал в Берлин слишком поздно, чтобы ею насладиться. В разговоре с директором театра бароном фон Рекке я скромно промолвился, нельзя ли нам доставить удовольствие послушать эту оперу. Он ответил мне несколько надменно, что это невозможно, так как стоило бы слишком дорого, и что после этого всякий иностранец счел бы себя в праве просить о такой милости. Не знаю, как об этом узнал король, но два дня спустя г. фон Рекке получил из Потсдама предписание поставить эту оперу в течение недели, а королеве была передана просьба короля присутствовать на этом спектакле и пригласить нас в королевскую ложу. Это наделало много шума. Королева сказала мне смеясь, что ее, кажется, хотят заставить сыграть политическую роль, и что она поэтому не решается меня спрашивать.

Но время шло и польский вопрос все больше запутывался, а я несмотря на нетерпение принца Нассауского, у которого уже появились новые проекты, все не испрашивал ни аудиенции у короля, ни свидания с Бишофсвердером. Любопытство их дошло до того, что они, вероятно, в надежде что-нибудь узнать, не придумали ничего лучшего, как уговорить короля приехать в Берлин, хотя они еще за два дня до этого объявили, что он так скоро не расстанется со своим уединением. После того первого шага, пришлось сделать остальные и на другой же день мы обедали с королем в самой близкой интимности.

Этим моментом я воспользовался для объяснений и, в присутствии Бишофсвердера и принца Нассауского, обратился к королю со следующею речью:

— Пруссия и Россия уже давно ведут с Польшей безуспешную войну. Французская революция еще усугубила политические хлопоты всякого рода, вызываемые этим вечно, снова разгорающимся очагом. Надо, стало быть, его потушить навсегда. Но что же остается делать? Разделить в последний раз это несчастное королевство? Но что может быть ужаснее с нравственной точки зрения, как видеть трех монархов, считающих необходимым приступить к этому разделу и рассуждающих в то же время о бескорыстии и честности в ведении дел! Что может быть неосторожнее, как сближать границы трех держав, которым и без того представляется достаточно поводов к ссоре! Это только изменило бы сущность опасности, постоянно грозящей им. Но вот довольно простая мысль, которая могла бы всем помочь: следует разделить Польшу,

ничего не отнимая от нее, а именно, выкроить из ее провинций три великих герцогства: Польское, передав наследственное управление его семейству Понятовских, небогатому, не особенно знатному, не имеющему связей и лишенному средств к заключению опасных союзов; Литовское, посадив в нем Бирона, обнадеженных протекцией императрицы, ввиду того, что возобновляющиеся постоянно со Швецией войны не дают возможности сохранить за ними Курляндию со своими портами; и Волынское, которое можно бы передать одному из второстепенных германских принцев. При этом следует поставить условие, что эти три трона никогда не могут быть соединены ни посредством брачных союзов, ни путем наследства, и что они еще того менее могут перейти под господство одной из трех пограничных великих держав, основавших их и гарантировавших им навсегда неприкосновенность».

Я замолчал и встретил в глазах всех присутствовавших полнейшее одобрение. Но генерал, желая быть верным слугою и, в то же время, ловким дипломатом, сказал мне, как будто с некоторою досадою:

— Ваше Превосходительство слишком легко располагаете Курляндией в пользу вашей государыни.

— А король, — ответил я ему, — слишком сведущ в вопросах приличия и политики, чтобы допустить сомнения или делать затруднения в вопросе, разрешающемся само собою, и я настолько рассчитываю на мудрость и справедливость Его Величества, чтобы высказать вам, в его же присутствии, что при тех условиях, в которых находится теперь Европа, императрица возьмет Курляндию, когда ей будет угодно и оставит ее за собою. А впрочем, я ведь говорю от своего имени. Его Величеству угодно было узнать мой частный взгляд и я имел честь изложит его с полною откровенностью. Вот и все.

Король, почувствовавший облегчение, как государь и как честный человек, осыпал меня похвалами и выражениями благодарности и закончил беседу, сказав, что я через несколько дней узнаю его мнение. Принц Нассауский был в восторге, чувствуя себя уже на волынском троне, и эта мысль, которую я и теперь, спустя тридцать лет, нахожу красивой и полезной, может быть восторжествовала бы в Петербурге, если бы я мог и посмел довести ее немедленно, помимо министров, до сведения императрицы; надо полагать, что моя мысль не встретила бы препятствий и со стороны Австрии, так как я через два месяца нашел к ней полное сочувствие у австрийского кабинета. Но я застал в Вене графа, впоследствии князя, Разумовского, российского посла, который сообщил об этом русскому

министерству, ибо желая скрыть до какой степени он находился в зависимости от барона Тугута и сэра Эдена, английского посла, он всеми средствами старался услужить своему министерству. Победы фельдмаршала Суворова, увенчавшиеся взятием Варшавы, изменили манеру и тон Екатерины в отношении Фридриха-Вильгельма. Меня же обвинили в том, что могло составить мою славу и мое счастье, и посольство в Неаполе, которое дало мне возможность сделать первые шаги на дипломатическом поприще, скоро послужило предлогом, чтобы погубить человека, казавшегося министрам, может быть, слишком сильным для подчинения его себе.

Я выехал из Берлина, ежедневно осыпаемый милостями короля.

XIV. В Вене (1794 г.)

Мне кажется, что я навсегда сохраню воспоминание об удивлении, в которое меня привел Венский Двор. Занимая в Европе первенствующее место, находясь во главе целого сонма государей и бывший так долго вершителем войны и мира всего света, этот Двор уже издали внушал мне двоякого рода уважение: одно, основанное на большом и законном могуществе и другое, происходящее от древности владения. Но каково было мое удивление, когда я, после нескончаемых пригородов, въехал в этот маленький город с узкими улицами и увидел это убогое и закоптелое жилище — дворец императора и стольких эрцгерцогов! То же самое я почувствовал, когда я очутился перед этим монархом[246], который, хотя ему было уже двадцать семь лет, при каждом движении проявлял юношеское смущение, выдававшее его небрежное воспитание; и, несмотря на то, что он обладал здравым смыслом и образованием, всегда подчинялся мнению других. А затем, этот пустынный Двор с бароном Тугута, в качестве первого министра, манеры и поведение которого указывали на неудовлетворенное честолюбие; с графом Коллоредо, бывшим гувернером императора, продолжавшим быть его руководителем, но более способным управлять духовной семинарией, чем государством или даже маленьким Двором. Наконец, этот безалаберный образ жизни, эти маленькие публичные аудиенции по утрам, обеды вдвоем с честолюбивой императрицей, которой недоставало величия; эти комнатные фейерверки, зажигаемые каждый вечер на свечке горничными, чтобы развеселить Их Величества, и эти горшочки с капустой, разводимой на балконах дворца. А бедный старик, барон фон Свитен, лишившийся своей квартиры, где он проживал в продолжение трех царствований, потому что он из своих окон мог наблюдать все это… воспоминание об этом я сохраню навсегда!

И какая там была публика, в этой столице! Принцы, князья, графы, бывшие раньше самостоятельными царьками, богатыми и гордыми, и проводящие теперь свою жизнь с публичными женщинами, лакеями и лошадьми; красивые и жизнерадостные женщины, вынужденные предаваться пошлой любви и вульгарным удовольствиям; посредственные спектакли; скучные ассамблеи, посещаемые разными субъектами из всевозможных стран; полное отсутствие ученых и остроумных людей, которые могли бы разнообразить длинные и плохо приготовленные званые обеды… Я повторяю в сотый раз, я никогда не забуду это, и если бы не общественные гулянья, несколько интересных полек и князь де

Линь, которые меня удерживали в Вене, я на другой же день после официальных приемов уехал бы оттуда.

XV. Д’Аварэ

Людовик XVIII долгое время, особенно пока он жил в Вероне, удостаивал графа д’Аварэ, капитана гвардии, своим полным доверием. Д’Аварэ сумел умно распорядиться переменой лошадей, когда этот принц бежал из Франции, и Людовик, довольный тем, что у него есть предлог, чтобы оправдать милость, которая не имела других оснований, не переставал повторять, что он ему обязан своею жизнью. Он позволил ему по этому поводу поместить герб Франции посреди своего собственного герба (семейства Безьяд) и прибавил к нему, вместо девиза, число дня, когда они оба вместе перебрались через французскую границу. Я позволил себе спросить, что мог бы еще сделать король Людовик XVI для маркиза де Беллье, если бы поездка в Варенн увенчалась успехом? Но ослепление Людовика XVIII в этом отношении могло только сравниться с назойливостью этого маленького человечка, который часто обращался с ним так, что ставил присутствующих в неловкое положение и с чрезвычайной самоуверенностью вмешивался во все, влияя нередко роковым образом на дела.

Однажды, когда это меньше всего можно было ожидать, в Верону прибыл, проехав с большою опасностью для жизни через всю Францию, доверенный адъютант генерала Шаретта, начальника Вандеи. Он привез новости и предложения величайшей верности и мудрые проекты, тогда как предположения Веронского Совета не отличались мудростью. Как только этот храбрец был введен в кабинет короля, в противоположную дверь вошел д’Аварэ и, не стесняясь нисколько, бросился в кресло.

— Ваше Величество, кто же этот господин? — спросил пораженный вандеец.

— Это, — сказал король, крайне сконфуженный назойливостью своего любимца и вопросом возмущенного воина, — это граф д’Аварэ, который спас мне жизнь и доставил меня обратно во Францию.

— Странно, Ваше Величество, — продолжал вандеец, — что мы никогда не слыхали о нем. Человек столь достойный вашей милости должен бы присоединиться к генералу Шаретту!

Разговор принял неловкий оборот и, в довершение общего смущения, фаворит, желая положить конец этой сцене, вынул часы и сказал как будто бы короля вовсе там не было:

— Уже шесть часов, я вас сопровожу в оперу.

— Вот уже шесть лет, как хорошие французы не ходят в

оперу, — воскликнул вандеец, окинул маленького человека взглядом презрения, и вышел из кабинета, не дождавшись приказаний короля, а затем выехал из Вероны, не испросив на то его разрешения. А графу д'Андтрэг и мне он сказал:

— Предупредите короля, что если он когда-либо приведет к нам в Вандею таких п…, мы начнем с того, что повесим их.

Так как в мои инструкции между прочим входило быть в распоряжении французских принцев, насколько я сочту удобным для их интересов и для принципов Русского Двора, то я во время моего пребывания в Италии вел постоянно переписку с королем и с его советниками. Д'Аварэ примешивал к этому свою прозу и, чтобы судить о его остроумии, достаточно напомнить, как он мне однажды прислал пространную записку, в которой предлагал убедить неаполитанского короля продать все свои охотничьи выезды и пожертвовать вырученную от них сумму, а также ассигнованные на их содержание деньги, своим родственникам, французским принцам, для осуществления их планов. Это было тоже, что предложит Фердинанду пожертвовать своею жизнью!

Здоровье д'Аварэ, и так уж плохое, ухудшилось от пребывания в Митаве и заставило его переходить из одного климата в другой, до самого острова Мадеры, где он и умер. Король, чтобы подтвердить мнение, которое он всегда старался высказывать о его заслугах, хотя он его уже давно не переносил, возвел его отца в герцоги, назначив гардеробмейстером с огромным окладом и, что еще хуже, с утверждением упомянутого выше герба. Д'Аварэ происходил от семейства Безьядьи, не принадлежал к знати, но отец графа д'Аварэ, впоследствии герцог, женился на урожденной принцессе Нассауской, сестре княгини Монбаррэ и знаменитой графини Куолэн и, таким образом, получил доступ ко Двору.

Король был слишком умен, чтобы стараться убедить меня в мнимых заслугах и услугах графа д'Аварэ. Но не зная, насколько все мои сведения о нем были точны, он вздумал посвятить меня в якобы действительную причину его привязанности к нему, а именно, во время их пребывания в Кобленце, король увлекся графиней Бальби[247], а его почтенный и достойный друг д'Аварэ, видя до какой степени доходит его страсть, открыл ему глаза на эту опасную женщину и спас, таким образом, его репутацию, в смысле как его нравственности, так и его личной безопасности.

Я рассказал эту историю герцогу Вогюйону и графу Сэн-При, и оба были того мнения, что Его Величество хотел меня, как иностранца, провести. Впоследствии, на примере г-жи дю Кэйля[248], можно было видеть, что король вообще любил, когда его подозревали в каком-нибудь увлечении к прекрасному полу.

Но, как известно, он от рождения был совершенно лишен нежных чувств, и ничто не могло их в нем развить.

XVI. Королева Каролина [249]

У королевы Каролины были характерные черты лица австрийского царствующего дома, но гораздо менее приятные, чем у ее сестер, герцогини Тешенской и у французской королевы. Она обладала грациозной талией, ослепительной белою шеей, такими же руками и манерами, вполне достойными ее высокого положения; она хорошо говорила на многих языках, но была слишком словоохотлива. Что же касается ее качеств, то я, желая говорить только одну правду, не могу их особенно хвалить. Она была щедра, но только ради тщеславия, и ее благотворительность, о которой участвовавшие в ней говорили с большим увлечением, происходила больше от желания привлечь к себе приверженцев и создать глашатаев ее славы, чем от чего-либо другого. Во всех ее благотворительных делах я никогда не мог усмотреть ничего, кроме расчета и хвастовства, и доказательством этого может служить то, что она осыпала своими благодеяниями одних только интриганов мужского и женского пола.

У нее было много ума, но он до того подчинялся ее страстям и даже впечатлениям момента, что помогал ей лишь в совершении самых непростительных ошибок. Я полагаю, что никогда еще не было особы, говорившей и действовавшей с большею поспешностью, чем эта королева, и какого бы вы ни были мнения о результатах ее деятельности, вы не могли бы видеть без удивления, сколько дел она в течение дня успевала сделать, при чем все эти дела касались разных интриг и требовали подробных разъяснений и подробной обработки.

Легко можно себе представить, что, обладая таким характером, Неаполитанская королева старалась окружить себя интригами и людьми, готовыми приспособиться к самым безрассудным мыслям. В первое время моего пребывания в Неаполе, она часто присылала ко мне одного из самых бессовестных среди этих людей, кавалера де Брессак[250], который будто бы был изгнан из Франции с клеймом палача на плече. Другой господин, в этом же роде, услугами которого Ее Величество пользовалась очень часто, был некто Мариалезе, солдат из гарнизона Палермо, который, в тот момент, когда его хотели казнить, не знаю за что, заявил, что он обладает чудесною, но секретною способностью и что он откроет ее лишь тогда, когда его помилуют. И действительно, я сомневаюсь, чтобы человечество когда-либо произвело на свет человека с такими дьявольскими способностями. Достаточно было ему показать

одну или две строки любого почерка и дать ему некоторое время для его подробного исследования, и он потом мог написать этим же самым почерком все, что угодно, в виде копии или под диктовку. Кавалер Азара, которого королева хотела погубить в глазах Испанского Двора, получил из Мадрида, где он пользовался неограниченным доверием, восемь длинных писем, наполненных мерзостями и преступными вещами, и эти письма так хорошо были подделаны под его руку, что ему временами самому казалось, что он их написал. Он сохранил эти письма и, чтобы меня предостеречь, показал их мне. Если это ужасное средство впоследствии было тоже применено ко мне[251], как ко многим другим, которым оно стоило чести и жизни, я, должно быть, не был так счастлив, как кавалер Азара, или, может быть, мой Двор посовестился раскрыть такую тайну!

Королева имела большое и весьма естественное желание выдать замуж своих старших дочерей, очень некрасивых и противных, особенно вторую, которая впоследствии была великой герцогиней Тосканской и представляла собой, по внешности, настоящего урода.

Для старшей дочери, принцессы Марии Терезии, она наметила жениха в лице наследника Пармского престола, но герцог Пармский и слышать не хотел об этом браке. Тогда она завела разговор о герцоге Аостском, и Сардинский король прислал маркиза Брэма для ведения брачных переговоров. Благодаря характеру его поручения, он получил доступ к малым приемам. Однажды, он пришел с письмом своего короля и не застал никого в аванзале, кроме будущей невесты своего принца.

— Ваше Королевское Высочество, не могу ли я иметь честь увидеть королеву? — спросил он ее.

— Я полагаю, что да, — ответила она, — но вам придется подождать.

— Я, конечно, подожду, — сказал он.

— Да, но я должна вас предупредить, что вам, может быть, придется ждать очень долго, — продолжала она, — я посмотрела в замочную скважину и видела, что королева занята с г… а эти вещи происходят у нее всегда очень долго.

Посланник, крайне смущенный этим сообщением, удаляется и, обдумав хорошенько все обстоятельства, не передавая письма короля, посылает ему курьера с докладом о том, что он только что слышал. Курьер скоро возвратился с приказанием, во что бы ни стало прервать переговоры. Бедная принцесса казалась пропащей, но судьба распорядилась иначе и посадила ее впоследствии на первый трон Европы[252], куда она перенесла от своей матери одно лишь желание управлять, а также

необыкновенную плодовитость — но вне всяких подозрений на счет ее поведения.

Когда обе старшие дочери королевы вышли замуж, они сделались ее злейшими врагами и нисколько не скрывали этого. Проезжая через Вену, по пути в Неаполь, я был представлен старшей дочери королевы Каролины, тогда уже императрицы; после официальной аудиенции она отозвала меня в сторону и спросила:

— Вы уже знаете мою мать?

— Не имею чести, — ответил я.

— Ну, вы ее узнаете! — рассмеялась она во все горло и вышла.

Затем, когда я проезжал через Флоренцию, я пошел осматривать дворец Питти и заметил, что все портреты и бюсты Неаполитанской королевы были собраны в одном коридоре, ведущем к… уборным, устроенным на английский лад в первом этаже. Королева об этом знала и потребовала однажды от меня, чтобы я признался, что я их там видел. Она мне сказала: «Эти бедные люди более глупы, чем скверны».

Регент Швеции, герцог Зюдерманландский, впоследствии король Карл XIII, поссорился с Неаполитанской королевой, по поводу протекции, которую она оказала барону Армфельту, шведскому посланнику в Италии, замешанному в заговоре против этого принца, который сделал попытку арестовать его в самом Неаполе. Вследствие этого, Шведский Двор объявил Неаполитанскому войну, что было довольно неосторожно, ввиду коммерческих сношений Швеции с Востоком. Но так как, в действительности, воюющие стороны не могли достичь друг друга, они прибегали к содействию самых низких памфлетистов. Королева, опасаясь публикации нового пасквиля, готовившегося против нее и ее любимца Актона, шведским поверенным в делах в Риме Пиранези, поделилась со мною своими страхами. Я убеждал ее ответить на это коварное оскорбление презрением, но она, отклонив этот мудрый совет, умоляла меня спасти ее от нового срама, мысль о котором ей не давала спать. Я обещал об этом подумать. На другой день она снова стала приставать ко мне с тем же. Тогда я ей сказал, что имею лишь один способ ей помочь, но что он ею будет неприемлем, и что я не решаюсь его предложить. Она все-таки пожелала узнать этот способ. Я ей назвал кавалера Азара, который один располагал в Риме достаточным авторитетом, чтобы запретить и конфисковать этот пасквиль, что же касается меня, то я был настолько уверен в нем, что наверно рассчитывал получить от него согласие на мероприятие, отвечающее желаниям Ее Величества. Королева

сначала не хотела ничего слышать об этом, но опасность была так велика, что она, в конце концов, согласилась на все. А так как при этом Дворе надо было всегда соблюдать побольше осторожности, то я поставил услугу, которую от меня ждали, в зависимости от одного условия, а именно, чтобы мне было разрешено написать требуемое для этого письмо в кабинете королевы и чтобы она сама распорядилась отправлением его по адресу. Она прочла письмо, ее секретарь его запечатал и отправил.

Несколько дней спустя, из Рима прибыла огромная посылка. Это была рукопись и все издание пасквиля. Письмо сопровождавшее посылку, было открыто в присутствии королевы, у которой явилось жалкое любопытство его прочесть Азари, между прочим, писал мне: «Я прошу Вас настоящему доказательству моего расположения к Вам придать особенное значение, так как для того, чтобы пощадить корону на челе столь недостойном ее носить, потребовалось именно Ваше посредничество. Поверьте моему честному слову, что от этого пасквиля не осталось ни одного листка, ни в рукописи, ни печатного. Но в то же время, позвольте Вам посоветовать не расточать Ваших услуг для лиц, неспособных дать им надлежащую оценку». И действительно, когда королева захотела меня погубить, она в числе причин, выставленных ею в жалобе против меня, упомянула также и о том, что, будучи аккредитован при ее Дворе, я в то же время поддерживал с ее смертельными врагами столь близкие сношения, что они готовы были приносить для меня величайшие жертвы.

XVII. Фердинанд I

Фердинанд IV, превратившийся, после целого ряда революций, в Фердинанда I, был высокого, почти саженного роста, и, при благообразной фигуре, довольно некрасив лицом. Испанский Двор, вынужденный уступить Королевство Обеих Сицилий одному из младших принцев королевской семьи, вместе с тем поручил князю Сан-Никандро и Бернардо-Тануччи позаботиться о том, чтобы сделать молодого короля неспособным самостоятельно управлять; и, действительно, ко времени своей женитьбы, он едва мог подписать свою фамилию и вся энергия его характера истрачивалась на преодоление трудностей охоты и рыболовства. Но его душа оставалась благородной, а его ум сохранил столько здравого смысла, что королеве, его супруге, нередко приходилось жалеть о том, особенно, когда она, чтобы удалить его от влияния старых министров, принялась по своему за его воспитание. Он был очень любознателен и, если с одной стороны легко было отвлечь его от своих обязанностей приманкой удовольствий, то с другой стороны, он умел прекрасно исполнять эти обязанности, занявшись ими серьезно. Он тогда снимал свой сюртук, заворачивал рукава своей рубашки выше локтей, и, взявшись за перо, кончал в одной утро все залежавшиеся дела, при чем те, которые ему, в эти редкие дни усиленной работы, казались в чем-нибудь виновными, угощались здоровыми пинками. Самой королеве иногда приходилось испытывать такое запоздалое наказание за действия, противные справедливости и общественному благу.

Если бы Фердинанд получил воспитание, соответствующее его положению и достойное его душевной красоты, из него вышел бы один из потомков Генриха IV, наиболее напоминающих последнего.

— Я не более как дурак, — сказал он великому герцогу Тосканскому, — и не умею, как ты, во всякое время сочинять законы; но я прошу тебя обратить внимание на одно обстоятельство, а именно, что еще ни один неаполитанец не просил твоей защиты, тогда как меня постоянно окружают тосканцы!

Нельзя было не любить его и, если бы не интриги королевы, то ни один монарх никогда не пользовался бы такою популярностью. У него была та легкость обращения и то добродушие, которые доставили Генриху IV такую любовь и обеспечивали ему, в моменты слабости, полное снисхождение. Учредив в Санта-Лючии шелковые мануфактуры под

руководством кардинала Руффо, он устраивал там празднества для крестьянок и забавлялся их фамильярностями. Однажды они позволили себе даже обыскать карманы короля и отобрать золотые монеты, которые в них оказались. Но так как Фердинанд был расчетлив и не любил подобных шуток, то он в следующий раз, на случай возобновления атаки, наполнил свои карманы медными марками. Крестьянки не преминули снова наброситься на него, но он над ними посмеялся. Что же из этого вышло? Не зная значения этих марок, они поспешили отправиться в Неаполь и потребовать от купцов размена их на золотые монеты. Когда же им ответили, что это фальшивые монеты, они настаивали на их полноценности, говоря, что они их получили от короля, и обозвали купцов обманщиками. Так как их было много и они подняли крик, перешедший в общую сумятицу, купцы испугались и разменяли их марки на золото. Но после этого они пошли к королю и требовали возмещения своих убытков. Это нетрудно было сделать, и купцам заплатили за марки то, что они на них израсходовали. По этому поводу король нам сказал: «Во всем этом единственный виновник я сам; впредь я буду осторожнее!»

Неудивительно, что в стране, где царствует безнравственность, у короля тоже являются странные понятия о семейной добродетели и о приличиях[253]. Так, он нисколько не бывал удивлен, когда днем посторонние лица попадали туда, где он, ночью, был неограниченным властелином. Он об этом ничего не высказывал королеве, но когда ему представляли нового фаворита, что обыкновенно делалось во время партии на бильярде, он, один момент, осматривал его с головы до ног, потом обращался к нему с какою-нибудь ничего не значащей фразой, называя его, в шутку, королевским высочеством и, после этого, уже не обращал на него никакого внимания и даже не разговаривал с ним. Такой философский взгляд на брачные отношения не разделялся королевой и пример короля не имел на нее никакого действия. С увеличением числа собственных грехов, росла ее ревность. Это происходило от того, что король на эти вещи смотрел с точки зрения собственного удовольствия, тогда как королева соображалась только с их влиянием на дела. Король полагал, что необыкновенная забота его супруги о государственных делах должна быть вознаграждена безграничной свободой и что в виду столь крупных заслуг с ее стороны, не следует быть слишком строгим. Королеве, напротив, казалось, то если она никого не допускает к управлению государством и, ради блага страны и ее монарха, берет на себя все это бремя, то она имеет право на исключительную любовь и верность короля[254].

XVIII. Гамильтон

Сэр Вильям Гамильтон был уже в течение тридцати одного года английским посланником в Неаполе, когда я туда приехал в том же звании. Он в Европе, и даже у себя дома считался ученым, хотя он вовсе не был особенно сведущ. Его вкус или вернее страсть к охоте дали ему, в продолжение многих лет, преимущественное положение, с которым политическая система. Неаполитанского Двора не шла в разрезе. Неаполитанцы всегда обращают свои взоры на восходящую звезду и так как между ними попадаются весьма ученые люди, при чем наука не исключает низости характера, они со всех сторон старались присылать сэру Гамильтону открытия и исследования, для которых эта столь богатая явлениями природы страна представляла много случаев и посредством которых провинциальное тщеславие старалось обратить на себя внимание Двора. Секретарь посольства, бедный голландец, не имел других занятий, как переводить на английский язык все эти записки, и когда их накопилось изрядное количество, посланнику пришло в голову послать их сэру Джосефу Бэнксу, президенту Королевского общества в Лондоне. Последний, из благодарности, публиковал их под именем сэра Гамильтона. Успех этого первого тома вызвал появление второго и, если я не ошибаюсь, третьего, под названием «Campi Phlegrei» (Флегрейндские поля) и мнимый автор с тех пор казался достойным всех академических кресел. Это имело большое значение для репутации человека, не могущего претендовать на какие-либо заслуги, но вместе с тем Гамильтон принадлежал к разряду людей, ставящих выше славы другого рода успех, которым он никогда не брезговала именно — деньги.

Жена г. Тануччи, бывшего гувернера короля, ставшего его главным министром, облюбовала как-то старинные эмалированные часы, принадлежавшие сэру Вильяму и казавшиеся диковинкой в этой стране, где подобные вещи редки. Он преподнес ей эти часы, но она отказалась их принять. Обе стороны настаивали на своем. Наконец, он ей сказал:

— Возьмите эти часы и дайте мне, взамен их, те старые вазы, покрытые пылью, которые стоят в первой комнате канцелярии министерства на шкапах.

Это были не более и не менее как старинные этрурские вазы, открытые в предшествующее царствование, которые Карл VII, отправляясь в Испанию, приказал выслать в Мадрид. Когда добродушный Тануччи узнал об этой сделке, он страшно

рассердился, назвал свою жену негодяйкой за то, что она приняла столь драгоценный подарок, вознося до небес деликатность английского посланника, довольствующегося старыми горшками, годными только в лом; в тот же вечер он велел перенести эти вазы во дворец посланника. Королевское общество в Лондоне поспешило приобрести у Гамильтона эту великолепную коллекцию ваз и заплатила ему за них большую сумму. Счастливый посредник рассказывал мне эту историю двадцать раз, как доказательство глубокого невежества неаполитанцев, даже наиболее известных своими талантами, и его собственного умения, некрасивую сторону которого он скрывал под именем патриотизма.

Он первым браком был женат на дочери лорда Кэскарта, женщине высокого ума. Его вторая жена так различалась от первой своим происхождением, нравами и средствами, и сыграла столь различные и публичные роли, что она заслуживает специального упоминания.

Она в молодости была проституткой в Лондоне, называлась Гарт и попала в Италию благодаря молодому Гревиллю, племяннику сэра Гамильтона. Когда влюбленным, вследствие разразившегося над молодым человеком негодования его семьи, нечего было есть, девушка, в расцвете молодости и красоты, стала служить в Римской академии моделью художникам, получая полчервонца за каждую позировку и, таким образом, поддерживала хозяйство. Тем временем дядя не переставал писать племяннику грозные письма, на которые последний всегда отвечал, что достаточно взглянуть на предмет его страсти, чтобы простить ему. Наконец, у дяди любопытство преодолело гнев, он приехал в Рим и увидел эту диковину. Скоро между ними состоялся торг. Дядя заплатил все долги племянника, который возвратился в Англию, а девица последовала за дядей в Неаполь и осталась там под его покровительством. Какая-то почтенная старушка, под видом матери или тети, руководила ее воспитанием, сама нуждаясь в нем не менее молодой девушки. Мисс Гарт выучилась итальянскому языку и музыке. Ее покровитель заставил ее повторять академические позы, которые впоследствии доставили ей знаменитость. Сначала на эти представления допускались только интимные друзья, но успех этих поз подзадорил страсть дяди, и желание навсегда обладать этой девушкой заставило его на ней жениться.

Неаполитанская королева подняла скандал, и английский посланник попал временно в немилость, на которую он, впрочем, не обратил внимания. Время, столь благоприятствующее некоторым вещам, сгладило первые впечатления, и скоро стали

говорить только о красоте и талантах леди Гамильтон. Она была представлена ко Двору. Актон сделал из нее орудие для своих интриг, королева подружилась с ней, а низость общества возвела ее чуть ли не в первые министры. Но прелестная англичанка не опьянела от этих успехов и продолжала заниматься академическими позировками[255]. Она в своих позах довольствовалась белой туникой и вуалью, на которую ниспадали ее прелестные распущенные волосы, увенчанные цветами. С удивительным совершенством она воспроизводила все душевные волнения и из всевозможных передаваемых ею оттенков страстей исключала одну лишь любовь. Ее старик-муж всегда при этом присутствовал, объяснял ее позы и рукоплескал ей, представляя собой, рядом с этим прелестным созданием самую смешную и отвратительную карикатуру. Когда я его знал, он был разбит параличом, глух, скуп, развратен и скучен. Один английский вельможа сказал мне про него: «Король воображает, что он содержит здесь поверенного, а народ видит в нем только торгаша старыми вазами». Когда для него представлялась необходимость произвести какой-нибудь расход, он уезжал из Неаполя и взваливал расход на своих коллег. Так, он в 1795 г. оставил у меня на шее адмирала Тотгема и офицеров флота, состоявшего из тридцати линейных кораблей, которые превратили мой дом в трактир. Когда французы появились перед Неаполем, королева послала за сэром Гамильтоном, чтобы с ним посоветоваться. Но он нашелся только сказать Их Величествам: «Мои вазы находятся в безопасности, а все остальное я предоставляю неприятелю». Ему никогда не простили этого ответа, но влияние его жены хватило на обоих.

Эта женщина кончила свое поприще тем, что сделалась любовницей адмирала Нельсона, была предметом самых грубых карикатур и стала опекуншей единственной дочери этого морского Дон Кихота. Она пополнела до безобразия и умерла в 1815 г., от удара, в Канне, в Нормандии.

XIX. В Пернове

Пернов был так мало известен при Дворе, что, когда граф Пален[256], генерал-губернатор Курляндии, которому было поручено арестовать меня при возвращении из Неаполя, объявил мне приказ о моем заключении в этой крепости, я еле припоминал ее название.

— Что такое Пернов? — спросил я его.

— Это, — ответил он, смеясь, — маленький городок, который по внешности, по зданиям, по окружающим его горам, по роскоши, по видам, по обществу, по удовольствиям, а также приблизительно по своим средствам очень напоминает Неаполь. Он расположен в глубине небольшого залива, образуемого двумя выдающимися мысами, с островом посреди них. Словом, вы сами увидите, что императрица не желает, чтобы вы забыли места вашего посольства.

Но затем он принял серьезный вид и передал мне приказ о моем аресте. Он был составлен в очень сильных выражениях и так странно мотивирован, что можно было легко усмотреть недостаточность приведенных мотивов для оправдания подобного беспримерного у нас обращения с человеком в моем положении, тем более, что против меня даже не было возбуждено судебного дела.

Меня, давшего столь явные доказательства моей привязанности к дому Бурбонов и навлекшего на себя ненависть неаполитанской королевы лишь за то, что я хотел ее спасти от гибели, — меня обвиняли в приверженности якобинским принципам, недостойным моего происхождения и несовместимым с уважением ко всему законному, которое императрица требовала от своих министров. Приводимые мотивы возбуждали во мне чувство жалости, а их выводы вызвали мое глубочайшее возмущение. Екатерина казалась мне унижавшей себя тем, что она жертвовала людям такого пошиба, как гг. Зубовы и Марковы, — меня, наиболее преданного из ее подданных и наиболее бескорыстного из ее слуг! Тем не менее я ограничился ответом:

— Хорошо, милостивый государь, прикажите меня везти в Пернов.

— Я исполнил свой долг, как генерал-губернатор, — ответил граф Пален, — а теперь настал момент, чтобы показать графу Головкину хорошую память, которую я сохранил о его прежних любезностях ко мне. Прочтите и держите это в секрете.

С этими словами он мне передал частное письмо

императрицы, составленное приблизительно в следующих выражениях:

«Постарайтесь напугать этого сумасброда Головкина. Это случайно экзальтированная голова, которую некоторые строгости скоро охладят. Сообщите генералу Келхену, перновскому коменданту, что это пленник, окруженный моею милостью, и что я требую, чтобы ему оказывали величайшее уважение. Надо постараться его веселить и развлекать. Если в числе проживающих по соседству дворян найдутся такие, которые охотятся и бывают в обществе, то надо им дать понять, что вы ожидаете от них самое вежливое обращение с Головкиным. Но главное, он не должен знать, что я им интересуюсь. Это человек, которого я не хочу лишиться, и нескольких месяцев будет достаточно, чтобы сделать его таким, каким он должен быть».

Императрица меня плохо знала. Если бы она отнеслась ко мне справедливо, как я это заслужил, я пожертвовал бы ей, без задних мыслей, моим недовольством министрами; но подвергнуться, им в угоду, такой громкой и беспримерной у нас опале, способной лишить меня уважения всей Европы, — это должно было меня только восстановить против какого бы то ни было обращения, со мною. Я поблагодарил графа Палена за оказанное мне доверие и воспользовался этим случаем, чтобы подтвердить ему свою первую мысль, состоявшую в том, что я никогда ничего не предприму для того, чтобы снова войти в милость. Он хотел меня удержать к обеду, но я предпочел немедленно тронуться в путь.

В Риге у меня никто не был, кроме коменданта, генерала Бенкендорфа[257], и все его просьбы, чтобы я принял еще визиты, были мною отклонены; у меня было только одно желание — поскорее доехать до Пернова. Дорога туда из Риги была продолжительна, тяжела и пустынна. С каждым шагом местность становилась печальнее. Провизия состояла из плохого черного хлеба, скверно выкопченной лососины и отвратительного пива. Один казак, которому была поручена доставка приказов, опередил меня, так что я был принят в Пернове с величайшим почетом и мне стоило большого труда отвязаться от коменданта и местного бургомистра. Зная, что императрица велела представить ей самые подробные отчеты обо мне и что я ее этим очень огорчу, я держал себя как человек, с которым обращаются с величайшей суровостью. Я делал вид, что не могу просить ни бумаги, ни перьев, ни книг, что я не имею права ни гулять, ни бывать в обществе, но в то же время не обнаруживал ни горя, ни досады. Когда меня хотели заставить говорить, я отвечал, что не могу принять других мер, кроме просьбы о предании меня суду, но что,

так как последний мог бы кончиться только моим оправданием, то я предпочитаю пожертвовать собою Ее Императорскому Величеству и никогда не расстанусь с Перновым. Мне пришлось вспоминать известную остроту канцлера де л'Опиталь: «Если бы меня обвинили в том, что я спрятал в своем кармане собор Нотр-Дам, я начал бы с того, что бежал бы». Я велел купить полотна и стал заниматься шитьем, как будто для того, чтобы не возбуждать подозрения каким-нибудь другим более серьезным занятием; словом, я старался самыми изысканными способами вывести из терпения государыню, отнюдь не позволяя себе ничего противного почтительному и верноподданническому отношению к ней; я действовал так с полною уверенностью в успехе, ибо хорошо знал, характер императрицы. И действительно — она не выдержала.

В конце второго месяца в Пернове, как будто случайно, приехал г. Колычев[258], хотя было совершенно неправдоподобно, чтобы случай мог занести туда такую личность как он, камергера Ее Величества и, благодаря своему необыкновенному таланту к скрипке — интимного друга Зубова. Он зашел ко мне, проявил большой интерес ко мне, хотел меня уверить в том, что министр был недоволен и даже оскорблен моею ссылкою и сделал императрице представление о том, что она относится с неслыханною в ее царствование строгостью к человеку, который считался одним из ее наиболее интимных приближенных, на что Ее Величество, ответила: «Честолюбие Головкина от этого не страдает; он знает, что я ему одному из всех моих подданных сделала честь такого обращения».

Он хотел уговорить меня, чтобы я написал и просил о том, что он, как царедворец, называл моим помилованием; он обещался доставить мое письмо и ручался за успех; но он потерпел у меня полнейшую неудачу, и его поездка имела лишь то последствие, что я стал предметом неприятного разговора императрицы с ее фаворитом.

Два месяца спустя ко мне приехал, тоже как будто бы случайно, более ловкий господин, постоянно усердствовавший в щепетильных делах и привычный к интригам, хотя он, прожив более шестидесяти лет, не заметил, что еще никто не был обманут его кажущимся добродушием, это был граф Карл Иванович фон дер Остен-Сакен[259], бывший гувернер великого князя Константина Павловича, а перед этим гувернером его отца. Он жил в провинции и приехал в Пернов, якобы для того, чтобы купить по соседству имение; и это вполне объяснило бы его появление на этих пустынных берегах, если бы потребность поделиться со мною высоким доверием, которого он удостоился,

не заставила его в первую же четверть часа разболтать мне все. Он застал меня столь героически спокойным и стоически, покорным судьбе, что проболтав, против своей привычки два дня без всякого успеха, он уехал в сердцах, почти не скрывая от меня, что, по его мнению, с таким упрямым преступником, как я, обращаются слишком хорошо.

Моя жена[260], которую я оставил в Берлине у моего отца, так как я не знал, какую участь мне готовят гг. Зубовы и Марковы, и не желал, чтобы она от этого страдала, присоединилась ко мне; от этого мое положение значительно смягчилось бы, если бы она обладала немного философией. Но Пернов и мелкота моего образа жизни показались ей ужасными. Напрасно я, ради нее решился изменить свои привычки: я с ней гулял, читал и решился даже повести, или, вернее, по случаю грязи, перенести ее до одного сарая, где ярмарочные актеры давали представления; но ее здоровье ухудшилось, ее настроение портилось, она не захотела ехать в Москву к своей семье, а ее горничная из Парижа, мало подготовленная к пленениям и ссылкам, своими истерическими припадками окончательно превратила наше жилье, напоминающее немного каземат, в возмутившуюся Фиваиду.

Эти ежедневные домашние муки заставили меня постепенно спускаться с высоты, на которой я держался до того. В один прекрасный день я пришел к заключению, что мое поведение заключало в себе неуместную неблагодарность; что после стольких доказательств доверия, которыми императрица осыпала мою молодость, она должна была почувствовать себя оскорбленной, не находя в моем сердце доверия к себе; что зная, благодаря нескромности, может быть заранее предусмотренной, графа Палена о добрых чувствах, которые она питала ко мне, я действовал предосудительно и даже смешно, не стараясь извлечь из этого пользу, как для себя лично, так и для того, чтобы доказать бессилие моих врагов. Но все же было не безопасно переменить, по истечении семи месяцев, тактику и надо было поступить так, чтобы не уронить своего достоинства. Поэтому я сознавал необходимость, или восторжествовать со славою, или же в случае неудачи, — потерпеть ее в секрет.

Я, наконец, принял решение, которое покажется довольно странным и может быть объяснено лишь тою связью, если я смею так выразиться, которая существовала раньше между императрицей и мною. Результат этой попытки казался мне совершенно безопасным: моя жена привезла из Италии кожи для выделки вееров; перновский врач выписал из Риги художника, и я приступил к этой необычайной проделке. Веер был разделен на

три картины: на первой — молодой человек, одетый по античному, гуляя в ясный солнечный день по большой дороге, приближался к виднеющемуся вдали храму, посвященному Екатерине, на что указывали сплетенные буквы на фронтоне храма. На второй картине тот же молодой человек, дошел до храма, и жрица, которой художник, по удачной случайности и без всякого намерения, придал черты императрицы, подавала ему руку, чтобы ввести его во храм. На горизонте показывались некоторые тучи. На третьей картине — фурии, среди ужасной грозы, гнали молодого человека из храма. Он, в стране бежал, но буря, поднимая полы его плаща, раскрывала маленький якорь, скромный символ надежды, который он держит под рукой. Когда веер был готов, я прибавил к картинам несколько объяснительных стихов, без подписи, и поручил доверенному лицу отправить его из соседнего города по почте, в посылке, адресованной, как принято, в собственные руки Ее Императорского Величества.

О, божественная мудрость, как ты издеваешься над нашими проектами! Я был сам собою доволен, так как я в один прием исполнил две задачи: уступил голову совести, внушившему мне эту попытку сближения, и сделал это, не отказываясь от благородного положения, которое я занял в самый момент получения мною в Митаве моего приговора. Какое бы впечатление ни произвела моя попытка, — я мог быть спокоен. Я часто, по приказанию Екатерины, рисовал и сочинял плохие стихи и то, что содержала в себе эта посылка, без подписи, достаточно ясно указывало на ее отправителя; мое доверие было бесконечно, мое средство остроумно, прошлое и настоящее говорили в мою пользу, а будущность зависела от императрицы. Для того чтобы узнать результат моей попытки, требовалось не менее недели, и я дал себе слово до истечения этого срока как можно меньше об этом думать и добиться также от жены и от Жюстины, у которой возродились самые розовые надежды, обуздать свое блестящее воображение и всегдашнее красноречие.

На третий день после отправки посылки, в два часа утра, я услышал неистовый стук в мою дверь; от имени коменданта требовали открыть ее, и я едва успел накинуть на себя халат, как сам комендант очутился передо мною, бледный, с искривленным лицом и беспорядочным видом:

— Не знаю, покажется ли вам новость, которую я должен вам сообщить, хорошей или плохой, — сказал он мне, — но для меня все кончено; наша великая императрица скончалась!

— Для меня тоже все кончено! — воскликнул я и побежал в комнату, в которой я устроил себе нечто в роде кабинета, где и заперся; и лишь под вечер второго дня просьбам моей жены

удалось меня оттуда извлечь. Теперь, когда я думаю об этом хладнокровно, я в этом нахожу лучшую похвалу той, которая меня велела заключить в этом месте. Великая государыня скончалась 6/17 ноября. До 10-го мы ждали подробностей этого происшествия, как вдруг прибыл курьер и привез мне приказ отправиться ко Двору. Пришлось немедленно выехать; погода была ужасная и мне предстояло ехать по проселочным дорогам; волки несколько раз нападали на несчастных кляч, которые меня везли.

Я приехал в Петербург весь разбитый и нашел, что там уже все переменилось до неузнаваемости. Моя посылка была первой вещью, попавшей в руки нового императора, и когда он ее открыл, веер оказался первым предметом, представившимся глазам этого государя, который всегда так пристрастно бранил царство женщин! Я всеми средствами старался вернуть себе веер, но при Дворе притворялись, что не могут его найти, а впоследствии сказали мне, что он был брошен в огонь. Добродушный генерал Кельхен вскоре потерял место перновского коменданта, а мне пришлось пожалеть, что я не остался его пленником.

XX. Императрица Елисавета Алексеевна [261] (Супруга Императора Александра I)

Помолвка

Хотя эта принцесса еще не достигла возмужалости для брака, свадьба была назначена на октябрь месяц, об остальном же не беспокоились. Тотчас же приступили к урокам Закона Божия и русского языка, а также к всевозможным приготовлениям. Начали, между прочим, приспособлять часть Зимнего дворца, образующую угол, обращенный с одной стороны к набережной реки Невы, а с другой — к Адмиралтейству. В этих покоях поставили зеркала и повесили драгоценнейшие обои. Опочивальня представляла из себя образец изящества и роскоши. Обои были из лионской белой материи с каймой, вышитой большими розами; колонны алькова, двери и обшивки стен были из розового стекла, оправленного в позолоченную бронзу, и под ними просвечивали белые барельефы из резного камня, простирающиеся как будто бы в пространство за пределы комнаты. Кроме Ее Величества, Зубова, генерала Турчанинова, кабинет-секретаря и меня никто не был допущен к обозрению этих волшебств до самой свадьбы.

Церемония перехода в православную веру принцессы и помолвка произошли 20 и 21 мая 1793 г. Принцесса, посреди дворцовой церкви, громко произнесла символ веры. Она была хороша собою, как ангел, одета в розовое платье, вышитое большими белыми розами, с белой юбкой, вышитой таким же образом розовыми цветами; ни одного бриллианта в распущенных русых волосах. Это была Психея! Великий князь, которому переделали его детскую прическу, был одет в костюм из серебряной парчи, вышитый серебром. Принцесса была наречена именем Елисаветы, в память императрицы, избравшей Екатерину, и провозглашена великою княгинею, ибо с этого всегда начинаются брачные церемонии русских великих князей, которые могут жениться лишь после того, как их невесты во всем сравнялись с ними. Это было поистине великолепное зрелище — когда великая государыня поднялась на эстраду, в сопровождении прелестной молодой четы, чтобы посвятить ее Богу и народу, я был тронут до слез. Как только вновь нареченная великая княгиня перешла в свои покои, Ее Величество прислала ей великолепные

подарки, состоящие из драгоценностей. В числе их выделялось ожерелье, состоявшее из семи солитеров, взятых из знаменитых эполет Потемкина, возвращенных, вместе с другими принадлежавшими ему драгоценностями, казне. Новая великая княгиня так утомилась от длинной церемонии, что у нее едва хватило сил, чтобы подняться с кровати, на которую она бросилась, и принять эти подарки. Впрочем, бриллианты и ожерелья ее вообще не особенно интересовали.

Свадьба

Возмужалость принцессы все заставляла себя ждать, природа не поддавалась нетерпению императрицы и, казалось, потешалась над приготовлениями всякого рода, которые старались по возможности ускорить. Одно лишь занятие бесчисленными мелочами будущей свадьбы могло еще развлечь императрицу, воображавшую, что жених и невеста в восторге друг от друга. Ее разговоры по этому поводу были для меня мучением, ибо я не хотел ни ее разочаровывать, ни выводить ее из заблуждения, а мое хладнокровие казалось ей то недостатком привязанности с моей стороны, то порочностью моего характера. Истина же заключалась в том, что эти два ребенка не могли подойти друг к другу. Великий князь, будучи только на год старше своей невесты, еще не обладал выработанностью ума и характера; его манерам, кроме тех случаев, когда это требовалось представительством, не доставало грации и достоинства, хотя он был очень красив и образован. Принцесса, к ее несчастью, была воспитана при Дворе, где достоинство манер обосновывалось только душевными качествами, а ее ум, под влиянием нежным забот высокопросвещенной матери, опередил ее возраст, и, к тому же, развиваясь, подвергся воздействию французской эмиграции, благодаря чему он приобрел гибкость и хороший вкус, составляющий прелесть домашней жизни. Поэтому великий князь, питая к ней уважение, был немного обижен ее превосходством, тогда как его невеста, которая не могла его ни в чем упрекнуть, испытывала некоторую неловкость при мысли о предстоящей связи с ребенком.

Наконец наступил давно желанный срок для брачного союза, и императрица поспешила им воспользоваться, но так неосторожно, что, как оказалось впоследствии, это разрушило ее лучшие надежды. Великого князя поручили на несколько часов г-же Торсуковой, жене одного из его дядек, и племяннице г-жи Перекусихиной, камерфрау Ее Величества, а затем, 9-го октября

(по новому стилю) 1793 г. была отпразднована свадьба. Я должен сознаться, что это было большим облегчением для меня. Нет ничего неприятнее и тягостнее, как обязанность придавать большое значение делам, которые этого не заслуживают, изощряя свое честолюбие без определенной цели, а также начал замечать всякие мелочи в широких рамках событий и терять свое время на пустяки, которые для нас унизительны. Когда я теперь об этом думал, мне кажется, что в том возрасте, в котором я тогда находился, я к лучшему и не был пригоден и должен был почитать себя счастливым, что я, так или иначе, участвовал в интимных делах Двора; но тогда я смотрел на это иначе, мне ничего не казалось недоступным, и я считал возможным рассчитывать на все. Скоро после этой свадьбы я был назначен посланником в Неаполь и потерял из виду этот молодой Двор, так что мог о нем судить только по рассказам других, чего я однако в таких вопросах не допускаю. Но все же то, что, во время моего отсутствия там произошло, требует, хотя бы вкратце передачи того, что мне рассказали.

До сих пор думали, будто бы императрица, отчаиваясь дождаться детей от великого князя Александра Павловича, поручила князю Зубову, с которым она в то время уже не поддерживала связи, кроме деловой и основанной на доверии помочь этой беде; что благо государства подсказывало ей эту странную мысль и что г-жа Шувалова содействовала этому проекту, в силу которого счастливый фаворит позволил себе проявить к молодой великой княгине особое усердие, глубоко оскорбившее ее, а также и других членов императорской фамилии[262]. Я не знаю, сколько во всем этом истины, и вообще не верю в эту историю, в виду неправдоподобности, чтобы Екатерина на сей раз пренебрегла осторожностью, которую она соблюдала во всех своих действиях, к тому же еще в таком случае, когда это вовсе не требовалось обстоятельствами и когда из многих способов, ведущих к цели, именно этот способ, как одинаково гнусный и смешной, не мог быть ее избран. Но я знаю, что когда я вернулся в Россию, их Императорские Высочества ненавидели как г-жу Шувалову так и князя Зубова, и что император Павел I выражался на счет первой очень пренебрежительно. При Дворе это впрочем не имеет особенного значения. Мне вообще кажется, что императрица должна была достаточно знать характер великой княгини, не вступающей никогда в пререкания или споры и делающей только то, что она хотела, чтобы не пробовать такой неслыханной вещи, особенно после того, как ей приходилось терпеть неудачу даже в самых мелких вещах.

Я приведу, для характеристики великой княгини, лишь одну черту: она не переносила румян, а императрица, как она говорила шутя г-же Шуваловой, не терпела, чтобы молодая женщина появлялась в обществе «с историей ее болезни на лице». После бесчисленных увещаний по этому поводу, Ее Величество, полагая, что у г-жи Шуваловой не достает на это энергии, поручила фельдмаршалу графу Салтыкову объяснить ее волю великой княгине. Он велел ей доложить, что желает ее видеть по делам туалета и по поручению императрицы. Так как великая княгиня отгадывала, в чем дело, она заставила его ждать до тех пор, пока она не приготовилась к выходу. Выйдя к нему навстречу со свечой в руках, она сказала: «Посмотрите-ка хорошенько на меня, милостивый государь, и скажите, как вы меня находите, говорите без комплиментов?» — «Вы очень хорошо выглядите», — ответил Салтыков. — «Слушайте, — обратилась она к сопровождавшим ее придворным дамам, — фельдмаршал мною доволен; значит, мне нечего к этому прибавлять». И, оставив его в недоумении, она удалилась так быстро, что он не мог ее догнать. Императрица сначала немного удивилась, а потом посмеялась над жалобами фельдмаршала и, видя, что он возмущается легкостью, с которою она относится к этому вопросу, сказала: «Она права, ведь она такая хорошенькая, пусть ей не говорят больше об этом».

Следующее царствование доставило великой княгине, как и всем другим очень неприятные моменты. Император Павел I, под предлогом, что она ему напоминает его первую жену, питал к ней более чем отеческие чувства и в минуты досады на сына высказывал ему слишком ясно, что он не достоин столь совершенной жены. Но это как раз было время, когда молодая чета жила в наибольшем согласии. Принуждение, скука, чувство какой-то опасности, грозящей их положению, — сближали два сердца, вынужденных относиться ко всем с подозрением. По поводу женитьбы Шведского короля который, вместо того, чтобы жениться на сестре великого князя, женился на сестре великой княгини, последняя вынесла весьма неприятные сцены от императрицы Марии Федоровны, ее свекрови, старавшейся доказать императору. Что она уже давно подготовляла это дело и что, только благодаря ей, принцесса Фридерика Баденская взяла верх над великою княжною Александрой Павловной. Как будто не было достаточно других политических и религиозных препятствий, чтобы устранить подобные подозрения!

Шведский король, будучи убежден в выгодности интимного союза с Россией, но не сумевший сделаться шурином великого князя наследника через его сестру, сделался им через его свояченицу, баденскую принцессу. Ничего не могло быть проще, и

эта гроза прошла сама собою. Более серьезными были последовавшие скоро после этого между императором и великим князем сцены, сделавшие положение великой княгини весьма трудными и даже невыносимым. Граф Головин, гофмейстер Двора великого князя и близкий друг графа Ростопчина, любимого министра Павла, вздумал сделать карьеру, объявив себя врагом великого князя, которому он должен был служить. Тогда начались самые гнусные интриги. Начали рыться во внутренней жизни малого Двора, чтобы отыскать в ней что-нибудь предосудительное или смешное в глазах большого Двора. Дошли наконец до такого нахальства, что стали утверждать, будто бы великая княгиня позволяет за собою ухаживать князю Адаму Чарторижскому, адъютанту и близкому другу великого князя[263]; что последний ничего против этого не имеет и даже покровительствует их любви; когда же она, наконец, родила великую княжну Марию, которую, несмотря на то, что ее родители имели совсем белокурые волосы, природа наделила очень темными волосами, — сплетни стали невыносимыми, тем более что их распространение было очень верным средством нравиться при Дворе. Великий князь в этом случае проявил удивительное и крайне неуместное равнодушие. Что же касается великой княгини, то она сосредоточилась на своих обязанностях супруги и матери и утешилась по поводу несправедливости Двора, неспособного ее оценить.

Раз, что эта система преследования была заведена, враги Их Высочеств могли остальное предоставить беспокойному характеру императора, который не пощадил ни своего авторитета, ни чести своего дома. Он вменил своей невестке в обязанность каждый день осведомляться у г-жи Лопухиной, его фаворитки, о том какой на этот день полагается туалет; но великая княгиня не послушалась этого приказания, за что у ее дверей поставили часового.

Г-жа Шувалова и князь Чарторижский, который получил посольство в Турине, были удалены от Двора; княгине Шаховской, компаньонке и подруге великой княгини, грозила та же участь, и невозмутимое хладнокровие, которое она противопоставляла таким оскорблениям, а также слезы великого князя едва смягчили разгневанного государя. Хорошо осведомленные лица уверяли меня, — ибо я сам держался как можно дальше от всего этого, — что государь, находясь под влиянием лакеев, которых он произвел в министры, и отказавшись публично от нравственной чистоты, отличавшей до тех пор его жизнь, ничего не имел против беспорядков в своем семействе, которые могли бы оправдать его поведение или, по

крайней мере, прикрыть его собственное распутство; что это же соображение заставило его смотреть сквозь пальцы на поведение великого князя Константина Павловича, предоставив его произволу великую княгиню, его супругу, и, наконец, даже заподозрить добродетель императрицы, которая, в этом отношении, была самая строгая и безупречная женщина в мире.

Начала императрицы

Лейб-медик Роджерсон рассказал мне, что когда он однажды, после катастрофы, вошел в кабинет молодого государя, он нашел его с супругой, сидящими вместе в углу, лицом к лицу, крепко обнявшимися и так горько плачущими, что они не заметили его входа. Императрице, которую Бог наделил умом и характером, недостававших ее мужу, следовало овладеть его наклонностями и его доверием, так как он сам, обладая честною душою, был испуган своим собственным величием, а она его слишком хорошо изучила, чтобы не знать, что он часто нуждается в руководстве. Но она упустила этот момент, как и все последующие, и по расчету ли, или по причине беспечности, обрекла себя на полное бездействие, в чем ее просвещенный и правдивый ум, а также ее чуткое сердце впоследствии, наверно, раскаивались. Маркграфиня, ее мать, которая, вскоре после ее восшествия на престол, приехала к ней в гости, и для которой она — будь сказано между прочим, — не сумела или не захотела добиться приличного приема, сделала ей по этому поводу весьма серьезные представления. Она указала ей на то, что религия, привязанность к мужу, личная безопасность, одним словом — все, обязывает ее приобрести доверие, дружбу и уважение императора, но все ее доводы, советы и просьбы были тщетны. Императрица Елисавета Алексеевна, видя что ее свекровь занята обеспечением себе влияния и приверженцев, подумала, что если она будет домогаться той же цели, то это создаст соперничество интриг и интересов, которое претило ее принципам. Ей казалось, что, так как она не родила наследника престола, то, в случае если бы она пережила императора, она в момент его смерти не должна облечь себя незаконною властью, которую всякий член императорского дома мог бы оспорить; а между тем она боялась, что ей в таком случае, пожалуй, не захочется уступить. Вот те благородные, но неверные принципы, которые довели ее до уединения и до самого прискорбного бездействия. Император, со своей стороны, предполагавший в ней сначала высшие порывы и чувствовавший себя этим даже несколько униженным, теперь стал смотреть на

нее, как на самую обыкновенную женщину, на которую муж может не обращать внимания и которая не заслуживает быть предметом особенных забот для государя.

Двор, заметив, что о ней мало заботятся, постарался тоже пренебречь ею, а нация, привыкшая к деятельным и интригантным государыням, скоро убедилась в том, что эта государыня даже не даст ей возможности оправдать честолюбие, направленное к тому, чтобы управлять ею. Если бы она последовала хота бы примеру вдовствующей императрицы и сохранила бы внешнюю торжественность, к которой нация привыкла и которая производит на нее больше впечатления, чем добродетель и таланты! Но она предпочла следовать в этом отношении примеру государя, открыто подтрунившего над обычаями своих родителей, которые его многочисленные фавориты называли «готическими» или «немецкими». Ее можно было видеть быстрыми шагами проходящею по набережным и по улицам столицы и появляющейся на гуляньях в обыкновенной коляске четверней, или даже пешком, в сопровождении лишь одной дамы и одного лакея. Однажды утром, в Летнем Саду, молодой армейский офицер, прибывший из провинции и не имевший счастья знать императрицу в лицо, пристал к ней с дерзкою фамильярностью, а когда ему сказали, кого он имеет перед собой, он не поверил и удвоил свою дерзость. Пришлось, кажется, вызвать дворцовый караул. Императрица и публика были одинаково возмущены этим происшествием. Ее Величество была удивлена и оскорблена, но император нашел это очень смешным и, несмотря на такой внушительный урок, в обычаях Двора ничего не было изменено.

Характер императрицы

Она более талантлива, чем умна, и вследствие этого ей за исключением особенно важных и необычайных случаев, не хочется утруждать себя рассуждениями о своем поведении, а так как недостаток опытности и хороших советов мешают ей узнать то, чего требует ее положение, то она не может судить о нем трезво и продолжает следовать по тому неверному пути, который она избрала. У нее много такта и проницательности и она лучше знает человеческое сердце, чем можно бы думать, но недостаток честолюбия или неверный расчет делают эти качества излишними. Она образована и продолжает учиться с удивительной легкостью. Она лучше всех русских женщин знает язык, религию, историю и обычаи России. В обществе она

проявляет грацию, умеренность, умение выражаться, но нежелание отличиться придает ей нередко беззаботный вид, который ей не к лицу. Она осторожна, потому что она вообще скрытна, холодна, потому что ей все надоедает и, имея полную возможность достичь всяких успехов, она пренебрегает ими до такой степени, что это вредит ее сердцу и ее уму. Одним словом, она ведет себя как жертва политики, для которой жизнь и смерть одинаково милы. И может ли быть иначе? Ей недостает славы общественной и счастья частной жизни. Ее дети умерли, ее муж ею не занимается, со своим семейством она навсегда разлучена. При Дворе ее не видно, нация не чувствует к ней привязанности, все интересы жизни для нее перестали существовать. Но, как я уже сказал выше, за этим прелестным лицом, без выражения и без цвета, скрываются таланты, которые когда-нибудь, при удобном случае, могут сразу проявиться. Тогда можно будет увидать в ней женщину высшего разряда, чем она, вероятно, сама была бы не менее удивлена, нежели другие.

Острота Императрицы (тогда еще великой княгини)

Когда Елисавета Алексеевна однажды увидела обер-церемониймейстера Валуева[264], личность весьма комичную и сделавшую при Дворе карьеру только благодаря умению устраивать похороны и погребальные процессии, она сказала императору Павлу: «Кто из нас, по вашему мнению, должен раньше умереть, чтобы он мог получить голубую ленту?» Так как ее разговоры всегда отличались большою сдержанностью, то подобные слова, произнесенные во время такого деспотического царствования, показались особенно знаменательными.

XXI. Нессельроде

Это старинная фамилия владетельных графов Священной Римской Империи из Юлизской области[265], где она по наследству занимала высокую должность. Один из младших членов этого семейства, обладавший небольшими средствами, приехал в Россию и, пользуясь неизвестно чьей протекцией, занимал последовательно место посланника в Лиссабоне и в Берлине; он был также, короткое время, фаворитом Павла I[266], но так как он любил отпускать очень колкие остроты, то его милость продолжалась не долго. Его выслали в Германию за то, что он начал разговор словами: «Я буду иметь честь рассказать одну вещь, о которой ни Ваше Императорское Величество, ни ваши министры ничего не знают». Ему запретили выдумывать и распространять новости и он удалился во Франкфурт, где он скончался в очень преклонном возрасте. Когда он, еще раньше, проезжал через этот город в Лиссабон, он, уже в пожилые годы, женился на девице Гонтар, происходившей из буржуазно-коммерческой фамилии, особе весьма приятной и умной[267]. От этого брака между стариком и женщиной средних лет родился сын, который всю свою жизнь имел вид зародыша, выскочившего из банки со спиртом[268].

Его карьера весьма замечательна. Он мне был представлен его отцом в 1794 г., когда я проезжал в Италию через Берлин. Он его там обучал, как мог, и одевал его в гардемаринскую форму, так как у этого маленького человека была наклонность более к плаванию, чем к маршировке, и не было других шансов устроиться в России, как именно во флоте. Потом я его потерял из виду, до воцарения императора Павла, который, чувствуя особенно пристрастие к немцам, сделал маленького Нессельроде своим адъютантом и, нарядив его в огромную шляпу и в чересчур широкий костюм, посадил его на большую лошадь. Это была уморительная картина. Смерть императора, который его страшно мучил, спасла ему, может быть, жизнь. Но что ему теперь оставалось делать? Я, будучи сам тогда в немилости, взял на себя устроить его судьбу, не думая, правду сказать, что он пойдет так далеко. Я посоветовал ему поступить на дипломатическую службу, на которую заслуги его отца давали ему, до некоторой степени, право, и повел его к графу Панину, министру иностранных дел и моему открытому врагу. Сюрприз Его Превосходительства, когда ему доложили обо мне, был велик, но я уж приготовил вступление: «Мы не любим друг друга, но это не должно нам препятствовать делать добро. Я привел к вам

способного молодого человека, без карьеры и без протекции. Возьмите на себя его будущность. Он не думает домогаться тщеславных отличий, но желал бы их заслужить. Подумайте, что вы, в вашем положении, можете для него сделать, и что ваше сердце вам укажет», и с этими словами я их оставил вдвоем[269]. Последствием этого оригинального свидания была изумительная карьера Нессельроде. Его послали на службу к искусным и строгим дипломатам: к старику Алопеусу в Берлине и к графу Штакельбергу в Гаагу. Затем обстоятельства и служебные перемены вызвали перевод его в Париж на место секретаря посольства при князе Александре Куракине, этом благороднейшем и лучшем из людей, но ничтожнейшем из послов, где Нессельроде оказался весьма полезным и выдвинулся своим умом. Бонапарт, желавший иметь Куракина послом именно потому, что он был глуп, стал коситься на его секретаря, мешавшего ему делать глупости. Многочисленные войны и трактаты того времени еще больше выдвинули этого маленького человека, и император Александр I, любивший окружать себя людьми, которые не имели связей и хорошо знали канцелярскую сноровку, назначил его, к общему удивлению, статс-секретарем иностранных дел. Тогда он женился на дочери Гурьева[270], всемогущего министра финансов, и все эти обстоятельства, взятые вместе, покрыли его в скором времени орденскими лентами и потоками золота. Добравшись до высшей ступени, он выказал недостатки, благодаря которым он, главным образом, и остался на своем месте, а именно застенчивость в обращении с государем и некоторую неуверенность в переговорах, которая его погубила бы, если б Александр I не любил подавать вида, что он все делает сам. В 1831 г. Нессельроде был назначен министром иностранных дел. О его застенчивости я могу привести поразительный пример.

Когда Бонапарт возвратился в Париж в 1815 г., весь дипломатический корпус оттуда удалился, и мне пришлось, благодаря именно моему ничтожеству, оказать Европе, государю и министрам, которые еще были собраны в Вене, бесценную услугу тем, что я остался в Париже и выехал оттуда лишь после того, как я собрал все политические и военные сведения, которые могли их просветить на счет возвращения самозванца. Я так хорошо выполнил эту задачу, что на двадцать второй день уехал в Базель, вполне выяснив все что им нужно было знать, и увозя к тому же с собою кабинет секретаря короля, которого хотели расстрелять, и одного беглеца-драгуна, которого меня просили спасти. Из Базеля я отправил в Вену весьма обстоятельную записку, советуя, прежде всего, не терять ни минуты времени и

напасть на врага со всеми свободными силами. Князь Меттерних и граф Мерси лишь впоследствии рассказали, что моя депеша прибыла в одиннадцать часов вечера, что тотчас же был собран конгресс и что в два часа ночи курьеры повезли лорду Веллингтону и генералу Блюхеру приказы немедленно тронуться в путь. Я не рассчитывал получить благодарность, а еще менее награду со стороны государя, недовольного тем, что он мне, в глазах всей Европы, был так многим обязан, ибо услуга оказалась весьма важной и все другие монархи ждали только его почина, чтобы выказать мне свою благодарность. Я надеялся, по крайней мере, что Нессельроде, на которого я смотрел, как на свою креатуру, и который тогда исполнял обязанности министра иностранных дел, найдет нужным подтвердить мне получение моей депеши; но с тех пор прошло шесть лет и я все еще напрасно жду этого подтверждения. Он знал, что государь не захочет мне выказать свое удовольствие, и с того момента считал своим долгом пренебречь даже внешними формами вежливости, принятыми в кругу воспитанных людей. Надо, впрочем, заметить, что Александр I решил, чтобы армии не двигались вперед, пока его войска не подоспеют; что по прочтении моей депеши, надо было отказаться от этих соображений и что он не мог простить одному из своих подданных почина к сражению при Ватерлоо. Человек с характером, несмотря на то, почувствовал бы долг, который обстоятельства на него возлагают, и не постеснялся бы высказать свое мнение как честный человек, и как министр, но у этого маленького человечка не было столько характера, а душа его уходила в пятки, как только он являлся перед государем.

Его отец грешил противоположною крайностью. Он всегда говорил все, что ему хотелось, смотря по настроению, в котором он находился, а так как он с комическою внешностью соединял тонкую иронию, то его зубоскальство и колкости оставляли иногда глубокие следы. Павел I, которому императрица всегда надоедала просьбами, касавшимися Вюртембергского дома, приказал старику Нессельроде устроить дела принца Людовика, своего тестя, который состоял на прусской службе и задолжал на всех концах Берлина. Когда Нессельроде собрал все счета принца, он поспешил прибавить в депеше свой собственный счет. Его первая депеша по этому поводу начиналась следующей статьей: «За пирожное и конфеты — 2000 червонцев». Можно себе представить смех императора и министра, а также гнев императрицы; и было действительно неприлично увековечить в счетах, представляемых правительству, такого рода расходы, которые позволял себе принц, генерал и человек в сорокалетнем возрасте! Императрица ему этого никогда не простила. Так как

этот злой старик в своей молодости служил во Франции, долго жил в Париже, а потом несколько лет вращался в обществе Фридриха Великого и остроумных людей, окружавших короля, то он умел направлять свои колкости так верно, что трудно было от них уклониться. Он меня очень любил, и я уверен, что он со мною посмеялся бы от всего сердца над блестящим, но запутанным положением своего сына, но последний родился, когда он был уже настолько стар, что не мог долго радоваться его успехам.

Г-жа Нессельроде, его невестка[271], была высокого роста и полна, что придавало ее мужу вид как будто он выпал из ее кармана. Она была умна, поворотлива и хорошо умела обращаться с императором Александром I, придавая себе важную осанку, которая была бы не к лицу худенькой внешности ее мужа, смахивающего на карикатуру, между большой женой, высоким ростом государя и громадным счастьем, выпавшим на его долю.

Я чуть было не забыл одну остроту старика Нессельроде. В своих разговорах с Павлом I он бывал очень нескромен; его в этом открыто обвиняли и делали вид, что от него бегут. «Меня обвиняют, — сказал он однажды громко, — в том, что я повторяю Его Императорскому Величеству все, что слышу, но я могу поклясться, что в этой стране я никогда ничего не слышал, что заслуживало бы повторения».

XXII Барон д’Анштетт [272]

Принц Нассау-Зигенский, будучи послан императрицей к графу Артуа, который тогда находился в Нимвегене, просил меня рекомендовать ему надежного секретаря. Я вспомнил молодого эльзасца, состоявшего первым приказчиком и бывшего на содержании у старой француженки-интриганки, превратившейся, после разных приключений, в содержательницу модного магазина, которая просила меня как-нибудь его строить. Принц, не колеблясь, принял его и нашел в нем массу талантов. Но их отношения отличались от других подобных же: обыкновенно начальник составляет черновые, а секретарь переписывает их дословно; в этом же случае напротив, принц диктовал, секретарь исправлял импровизированную редакцию, и тогда уж принц, с большим трудом, переписывал черновой, который он часто даже не умел прочесть. Секретарь, взятый из-за прилавка и казавшийся мне не более, как толстым немцем, почти еще мальчиком, сделался г. д’Арштетт, уполномоченным посланником императора Александра I в самых важных случаях[273], кавалером ордена св. Анны 1-й степени, наконец, во всех отношениях «особой», которого Бонапарт смертельно ненавидел и требовал его выдачи, как своего подданного. У него был лишь тот недостаток, что он любил выпивать, и это однажды обнаружилось при довольно необыкновенных обстоятельствах. Будучи пьян и присутствуя на церемонии передачи императору Александру I лордом Абердином ордена Подвязки, он позволил себе, в момент благочестивого молчания, сказать громко: «Какая… комедия!» Император, который в душе, может быть, был того же мнения, ограничил свой гнев тем, что велел поместить в приказе, чтобы с тайным советником д’Анштетт не долго говорили о делах после обеда. Тогда любили выскочек. Вельможа за подобную выходку потерял бы свое место.

XXIII. Фридрих-Вильгельм III (король прусский)

Король хорошо сложен; его лицо без выражения. Вначале он бывает застенчив; разговор у него простой и смышленый; последовательный, когда он касается простых или серьезных вещей, и отрывистый, смущенный, когда становится остроумным и веселым; с внешней стороны король как будто враг почестей и низкопоклонничества, но в душе — крайне взыскателен; стремится к добру, но ленив до крайности и придерживается определенной системы, из боязни работы. Вместо характера, который он воображает иметь, в действительности же не имеет, у него много упрямства, заменяющего ему необходимость размышлять. Он все делает только для того, чтобы избавиться от министров и угодить королеве; никогда ничего не читает, не пишет и не рисует; ходит в церковь только в высокоторжественные дни; в театре всегда засыпает, танцует только ради этикета, к искусствам и наукам относится безучастно; ездит верхом только для упражнения; любит женщин только в силу своего темперамента, свою жену — в силу привычки, своих детей — инстинктивно, а королевскую власть — потому что она дает ему возможность делать то, что он хочет.

XXIV. Королева Луиза Прусская (1804 г.)

Вошедши на престол, королева Луиза наложила на двор и на общество печать своих строгих принципов добродетели, своего пристрастия к празднествам и удовольствиям, а также некоторой ветрености, к которой ведет недостаток серьезных данных; и действительно, в Берлине тогда можно было видеть самые неприличные вещи, совершаемые под покровом благопристойности. Дикость короля и ничтожество королевы ограждали их от соблазнов умственной жизни, а их семейная жизнь была слишком печальна и монотонна, чтобы молодая женщина, как королева Луиза, желавшая блистать и задавать тон, могла ею удовольствоваться. Она сначала пожелала собрать вокруг себя общество, но как только король встречал у своей жены кого-нибудь, кроме обер-гофмейстерши, дежурной камер-фрейлины, вечного камергера и своего личного адъютанта, его недовольство становилось очевидным и постепенно росло. Он позволял вести себя в церковь и в театр, но как только он садился в кресло, немедленно засыпал, так что бедная королева видела только одно средство к достижению цели, а именно, устранив все препятствия, взять на себя представительство; ее красота, изящество и желание нравиться и блистать дали ей, в короткое время, несмотря на отсутствие разговорчивости, полную возможность это сделать. Тогда стали думать только о балах и балетах и со всех сторон в Берлин стали стекаться иностранцы, принося с собою свое любопытство и свои деньги. Король, при всей своей любви и предупредительности к жене, имел однако иногда приступы личного достоинства, вполне неожиданные для окружающих и весьма забавные для посторонних, допускавшихся, как я, к секретным совещаниям о праздниках. По этому поводу я могу привести два примера: когда ставили балет «Свадьба Филиппа Испанского и Марии Английской», он не разрешил королеве нарядиться в коронные бриллианты. «Эти вещи существуют не для комедии», говорил он. Его никак нельзя было разубедить и даже горькие слезы королевы не тронули его. Таким образом, у нее для торжественной роли королевы Марии, имелись лишь ее собственные бриллианты, довольно незначительные, а также те, которые ей могли на этот случай уступить принцы крови и придворные дамы. Герцогу Кембриджскому пришлось понизить до уровня прусского короля свои понятия о пышности Филиппа II, который не мог предугадать существования такого короля.

По случаю же балета «Свадьба Александра и Статиры», в

котором мы, к величайшему скандалу города, страны и Европы, танцевали на публичной сцене, в присутствии двадцати пяти тысяч человек, вышло еще во время репетиции, что новобрачные, уже утомленные от их предшествующего выступления в танцах, должны были еще выстоять целый час, пока мимо них проследовали и протанцевали депутации от покоренных народов. Это было само по себе невыносимо и к тому же противоречило достоинству завоевателя Индии и его супруги. Предлагали поставить им трон, кресла, положить подушки, но король оставался при своей дилемме: «Если вы хотите изобразить танцовщицу, то надо начать с испытания своих сил». Так как все средства убеждения потерпели неудачу, то королева трогательно просила меня вступиться за нее, и я принял на себя деликатное поручение смягчить столь упрямого в мелочах монарха.

Я воспользовался репетицией в старом замке и уединенной прогулкой короля в одной из смежных зал, чтобы испытать на нем свое красноречие и свою логику. Король выслушал меня милостиво.

— Я до сих пор считал все мотивы, выставляемые королевою, фантастическими, но вы меня убедили, что справедливость требует уступить, — сказал он мне.

— И Ваше Величество позволите мне приказать от Вашего имени принести красные бархатные подушки, обшитые золотою бахромою, которые можно будет взять из кладовой, где хранятся коронные принадлежности? — спросил я.

— Хорошо! — ответил он.

И я побежал ликующий, чтобы отдать соответствующие приказания.

Статира была в восторге, а Александр Великий — принц Генрих, меньший брат короля, — сделал мне честь расцеловать меня от всей души. Настал, наконец, великий день и великое «на соло» королевы, которое впоследствии было надлежащим образом раскритиковано; настала брачная церемония; подошли индийские народы. Королева хочет сесть, — а подушек нет; все удивленно смотрят друг на друга; посылают одного статиста за другим, а подушек нет, как нет. Королева чуть не упала в обморок от усталости и досады. Как только мы в процессии вышли из театра и спустились в танцевальный зал, я пошел осведомиться о причинах этого упущения. Король, как мне передали, сказал обер-гофмаршалу:

— Не надо подушек, вы скажете, что о них позабыли. Если же королева почувствует себя слишком усталой, то она сама будет в этом виновата.

Но этим не ограничивались огорчения, причиняемые этой

очаровательной женщине мелочностью ее мужа. В обществе светских дам уважение считается иногда дешевым товаром. В ту же зиму произошли два случая до того незначительные сами по себе, что мне было бы совестно о них упоминать, если бы те, которые привыкли к придворной жизни, не знали, какое влияние имеют на нее, нередко, самые ничтожные мелочи, более обрисовывающие характеры людей, чем крупные события.

Когда королева объявила, что к карнавалу (1804 г.) на ней будет платье такой замечательной красоты, что его нельзя ни с чем сравнить, все присутствовавшие при этом дамы стали изощрять свои умы и опустошать свои кошельки не для того, чтобы соперничать с королевой, а чтобы достойным образом показаться рядом с Ее Величеством. Моя жена, к сожалению, взяла полет выше. Не желая сделать меня участником если и не оскорбления величества, то все же оскорбления разума, она, потихоньку от меня, купила кашемировую шаль такой ценности, что сама королева и принцессы не сочли возможным позволить себе эту фантазию. Эту шаль она разрезала на полосы, которые укрепила на платье из белого крепа. Когда настал день бала, коим предполагалось открытие карнавала, моя жена прибыла туда с таким расчетом, чтобы застать уже там королеву и уловить как раз момент высшего торжества ее туалета; издали платье жены выдавалось только своею скромностью, но когда она подошла ближе и на ней увидели знаменитую шаль, послышался общий шепот, и горизонт покрылся густыми тучами, которые хотя и не разразились грозой, но зато остались навсегда нависшими над головой моей жены. Напрасно она, немного спустя, устроила для королевы французский спектакль, удовольствие весьма редкое и высоко ценимое в этой стране, каковое празднество меня чуть было не разорило, так как Лихтенауский театр в следующую ночь сгорел; это обстоятельство тоже не способствовало прояснению горизонта.

Бонапарт, который в это время уж начал распределять милости между коронованными особами, послал в Берлин к праздникам два кружевных платья, одно для королевы, а другое для супруги доверенного секретаря короля. Такого рода равенства, уже довольно оскорбительное само по себе, могло быть сглажено большою разницею в цене обоих платьев. Действительно, одно было во всех отношениях лучше другого. Но к вящей досаде королевы генералу Бурнонвиллю было поручено передать королеве менее красивое платье. Один момент колебались, следует ли принять и носить это платье, но немецкие дворы в то время уже находились на покатой и скользкой плоскости презрительного к ним отношения.

XXV. Меттерних

Я познакомился с графом Клементием Меттернихом — так он тогда назывался — в Дрездене, в начале этого столетия. Он был сыном весьма посредственного человека, может быть, как раз благодаря этому достигшего высшего положения в стране, которая вовсе не была его родиной[274]; его мать, напротив, была очень умная и ловкая женщина. Он тогда лишь недавно кончил университет, но был уже чрезвычайным посланником императора Австрийского при Саксонском Дворе. Будучи хорошо сложен, он умел также хорошо одеваться. Его лицо, с белокурыми волосами, было очень бледно, а его рассеянный вид считался у женщин признаком романтизма, тогда как мужчины его находили смышленым. Несколько русских и польских дам, бросившихся ему на шею, увлекли его по пути романа, вместо истории, на который казалось, его предназначала его карьера. Его манеры были величавы и вполне подходили к высоким должностям, а непоколебимая сдержанность указывала на его призвание к дипломатии. Впрочем, некоторые признаки чванства, появившиеся вслед за первыми любовными приключениями умаляли хорошее мнение, внушаемое им вначале. Можно было подумать, что он больше всего будет домогаться репутации человека, пользующегося успехом у дам. Не будь его жены, внучки князя Каунитца, женщины достойной по уму своего знаменитого деда и не столько красивой и любезной, сколько рассудительной, на которой он женился ради приличия и с которой жил на условиях снисходительности к себе, — он, в погоне за столь призрачной славой, упустил бы из виду свое истинное назначение. Его жена, из дружбы к нему, указывала ему на неудобства его поведения, что она не решилась бы сделать из любви. Это была единственная слабая сторона, подмеченная мною в то время у него, и он, несмотря на занятия, отвлекавшие его от подобных мыслей, долго и тщетно против этого боролся.

Во всем остальном он с ранней молодости проявлял прилежание и мудрость, вполне владея как своими чувствами, так и своею внешностью. Холодный и сдержанный в разговоре, несмотря на лежащее в основании его характера тщеславие, он умел управлять своими взглядами, жестами и выражениями — вопреки некоторой раздражительности. Он легко и быстро работал с желанием усовершенствоваться и был более расположен к наукам и к искусствам, чем к литературе. Будучи с внешней стороны одинаково невосприимчивым к похвалам и к критике, он в душе был к ним очень чувствителен. Одним словом

— это был настоящий дипломат, благодаря счастливой наружности, гибкой натуре и тщательному воспитанию.

Я легко к нему привязался. Откровенность и живость в моем обращении слишком отличались от его холодности и сдержанности, чтобы не обратить его внимания, а так как нас пленяет то, что нас поражает, не досаждая нам, то мы скоро сблизились. Он чувствовал, что у меня ум живее и что я обладаю более пылким воображением, но в то же время сознавал, что у него больше мудрости и рассудительности, чем у меня, благодаря чему он был менее сдержан со мною, чем можно было ожидать вначале в виду его положения и его характера. Однажды он зашел ко мне, чтобы сказать мне, что ему хотят поручить посольство в Пруссии и что его мать очень желает, чтобы он его принял, но что он чувствует себя не достаточно способным, чтобы взять на себя это поручение. Берлинское место считалось очень скользким, и, хотя оба Двора тогда были связаны общею опасностью, грозящею им со стороны Франции, требовался все-таки более чем обыкновенный талант, чтобы поддержать столь новые для обоих Дворов отношения. Так как я основательно знал и страну, и человека, о котором шла речь, то советовал ему принять. Он последовал моему совету, и его назначение не заставило себя ждать. Он тотчас же отправился на новое место служения, и так как я мог встретиться с ним лишь через несколько месяцев, то дал ему теперь же необходимые для начала инструкции[275], — не в смысле политики, ибо он по этой части знал больше меня и я побоялся бы дать ему в этом отношении советы, которые могли противоречить намерениям моего правительства, а для характеристики тех лиц, с которыми ему пришлось бы иметь дело с первых же дней. Он остался доволен этими инструкциями и помимо той страсти, от которой он еще далеко не исправился, т. е. ухаживания за женщинами, которые были в моде, он вел себя в Берлине как образцовый дипломат; в упомянутой же страсти он дошел до того, что даже королева Луиза заподозрила его в том, что он относился к ней недостаточно почтительно. Его дом в Берлине считался весьма приятным и должен был иметь эту репутацию в стране, где не было подобного дома, всегда открытого для приезжих иностранцев.

Наша дружба укрепилась вследствие одинаковых привычек. Но Европа приближалась к событиям, которые должны были потрясти ее в основании и на столь продолжительное время. Я скоро после этого вернулся в Россию и встретился с Меттернихом лишь в 1807 году, в Париже, где он тогда был послом. Он принял меня по-дружески, чему я очень обрадовался. Он, правда, прибавил к этому некоторое величие, но я ему это легко простил,

ибо понял, что он хотел показаться мне во всей своей славе.

Я знал его раньше, когда он, на менее важном посту, чувствовал себя немного неловко; теперь же он не боялся большого плавания, и я остался им менее доволен. Но наше положение в обществе резко изменилось, и это зависело от общественных успехов, имеющих во Франции решающее значение. Я имел огромный успех в обществе, потому что я, благодаря моим манерам, моей речи и даже благодаря моим недостаткам, чувствовал себя коренным французом, и что мое политическое ничтожество лишало любезности, коими меня осыпали, всякой остроты. Попав с самого начала в высшее общество, я имел там вид оранжерейного растения, разведенного в лучшие дни старого режима. Мне не платили, с тем, чтобы я принимал черное за белое, или чтобы я бранил сегодня то, что я хвалил вчера; я громко возвышал свой голос там, где никто не решался высказывать свое мнение и слово оставалось за мною по той простой причине, что никто не смел его выговорить. Меттерних не мог видеть никого, кроме Двора и правительства, и должен был дружиться с приверженцами нового порядка вещей, когда же ему случайно приходилось бывать в других кругах, его там боялись, и он их боялся. Он был хорошо сложен, хорошо одет, довольно любезен, но все это носило немецкий отпечаток. Он ведь был послом и мог собирать сведения только за деньги и иметь успех только ценою угождения, тогда как я, не представляя из себя ничего и пользуясь даже репутацией быть слегка в опале у своего Двора, мог войти в интимные сношения со всеми партиями и без всяких с моей стороны расходов, все видеть и все знать.

В положении моего старого друга ничего не могло быть более выгодным и полезным, как наша близкая дружба; но по причине ли самолюбия, или по своей недоверчивости — он предпочел запереться в величии своего посольства и окружить себя таинственностью. Он делал вид, что уже знает то, чего он не мог опровергнуть; и то, что он считал возможным еще скрывать от меня, он высокомерно оспаривал. Впрочем, мы не могли согласиться с ним на счет принципов поведения. Система раболепства и двуличности, которую европейские дипломаты приняли в отношении Бонапарта, казалась мне столь же унизительной, сколь бесполезной. Этот завоеватель, который, говоря откровенно, был обязан своим величием мелкоте своих современников, мог легко быть приведен в смущение откровенностью и уважать твердость характера: это надо было знать и этим пользоваться. Но этого как раз никто из лиц, приставленных к нему, не знал и этим не руководствовался. Меттерних правильно говорил, что каждый посол,

аккредитованный при Бонапарте, само собою становился премьер-министром Двора, представляемого им, и что он должен был иметь соответствующие полномочия. Но это была лишь посылка, из которой следовало сделать весьма важный вывод, не приходивший в голову ни ему, ни другим, а именно, что этот полномочный премьер-министр никогда не должен отступать от принципов, которые он провозгласил, и не должен стараться усыпить пошлыми фразами и истрепанной лестью наиболее внимательного из всех монархов. Сколько раз я ни умолял князя Куракина, русского посла, разъяснить своему Двору, что первый из государей, который скажет «нет», без дальнейших разговоров, на какое-нибудь предложение тюильрийского кабинета, заставит Бонапарта отступить! Но страх обуял весь свет. Монархи, первые министры, послы лишились как будто зрения, слуха и, что главное, храбрости. Имя Бонапарта имело на кабинеты и на войска такое же действие, как имя Ибудакали в опере «Багдадский Калиф».

Я стоял за Меттернихом во время знаменитой сцены, происшедшей в Сен-Клу в 1808 г., и я не был им доволен, хотя он тогда говорил очень хорошо; но надо было говорить громче или заставить молчать Бонапарта, который громким и отчетливым голосом изрыгал потоки ругательств по адресу австрийского императора, но было ясно, что они относились ко всей Европе. Посол отвечал правильно, но по привычке, или из чувства почтения, так тихо, что на два шага нельзя было его расслышать. А поэтому публика видела в этой, единственной в своем роде, сцене только деспота, который бранит своего раба, затруднявшего сказать что-либо в свое оправдание. Как только эта сцена кончилась, шпионы, увешанные орденами, стали шпырять по всему собранию, чтобы собрать мнения присутствующих. Один из них, наиболее настойчивый, зная мою откровенность, подошел ко мне и стал, под предлогом участия к Меттерниху, высказывать свое сожаление по поводу ужасного положения, в котором он очутился во время этой сцены. Большое число лиц, окружавших нас, не помешало мне ответить, что г. Меттерних вел себя очень нехорошо, что ему за это досталось по заслугам и что, несмотря на почтение, которое я питаю к монархам, я бы не дал себя таким образом в обиду. «А что же вы бы сделали?» — спросил он. — «Я заставил бы императора вдуматься в свое достоинство и обратился бы к нему так громко, чтобы меня можно было слышать на самом конце галереи, со следующими словами: «Ваше Величество, так как мой августейший государь не уполномочил меня говорить о подобных вещах при свидетелях, то Ваше Величество признаете правильным, если я Вам на это не отвечу».

Мои слова тотчас же были переданы по назначению. Все думали, что Бонапарт велит мне передать выражение своего неудовольствия, но он, подумав немного, сказал холодно: «Это был бы правильный ответ, но люди, которые умеют так отвечать, теперь не у дел». Впоследствии будет видно, какое воспоминание он сохранил об этом инциденте.

Вскоре после этого вспыхнула война и, надо сознаться, что подобные сцены вызываются тогда, когда существует намерение порвать сношения. Долго Меттерниху пришлось просить о выдаче паспортов, до тех пор, пока, наконец, явился жандармский офицер, которому было поручено проводить его до австрийских передовых постов, уже весьма отдаленных от границ Франции. Тогда его жена и дети остались на моем попечении. Несмотря на кажущуюся опасность, сопряженную с такою привязанностью, выставленною на показ, я посвятил себя всецело семейству моего друга, так как всегда был убежден, что прямой путь — единственный, по которому можно идти с некоторою безопасностью. В течение многих месяцев, поневоле проведенных графиней Меттерних в Париже, она видела у себя только меня и еще одно лицо, которое она удостоила своего особого внимания.

Фуше сказал мне однажды:

— Не боитесь ли вы лишиться того хорошего мнения, которое император имеет о вас? Возможно, что Его Величество выскажет вам по этому поводу свое мнение, чтобы указать иностранцам те пределы, которых они должны придерживаться в таких случаях, как настоящий! — «Я считаю это так же возможным, как и вы, милостивый государь, — ответил я ему, — но император, я надеюсь, уверен, что я этим воспользуюсь, чтобы указать иностранцам пределы того, что можно в подобных случаях ответить». Сцена, которою мне грозил министр, не имела места, и Бонапарт обошелся со мною весьма вежливо, как он это всегда делал и раньше.

За это время мы имели случай убедиться в том, какое неудобство представляют для политического деятеля любовные интриги. Однажды утром графиня Меттерних получила от герцогини Абрантес (г-жи Жюно) записку с настоятельною просьбою немедленно зайти к ней. Графиня тотчас же отправилась к герцогине, но каков был ее ужас, когда она очутилась лицом к лицу с герцогом, крайне разгневанным, который, заперев за ней дверь на замок, воскликнул: «Мы оба обмануты! Я только что перехватил письма вашего мужа к моей жене и пригласил вас, чтобы вы были свидетельницей удовлетворения, которое я намерен вам дать. Наше дело общее, и наша месть тоже должна быть общею». Можно себе представить

положение маленькой, худощавой и вовсе не красноречивой особы, тяжко оскорбленной в своих чувствах, в присутствии взбешенного человека, без принципов и без воспитания, который кричал на весь квартал. Она все же нашла средство его успокоить, добилась его позволения переговорить сначала с его женой, опасавшейся за свою жизнь, и, наконец, убежала домой. Ей после этого следовало пойти прямо в Тюильрийский дворец, рассказать всю эту историю императору и потребовать от него удовлетворения за поступок Жюно, а также защиты для его жены, но графиня Меттерних посмотрела на это иначе, и, испугавшись скандала, начала вести переговоры с Жюно, свела дружбу со своей соперницей и в результате устроила дело так хорошо, что когда Бонапарт опять с ней встретился, он ее обнял и сказал ей: «Вы добрая маленькая бабенка, сумевшая избавить меня от большой неприятности с этим дураком Жюно».

Я должен признаться, что этот комплимент не утешил бы меня после такого оскорбления, которое усугубилось обстоятельствами, сделавшими его для супруги посла особенно чувствительным.

Когда был заключен мир, Меттерних вел переговоры по поводу женитьбы Бонапарта на старшей из эрцгерцогинь, чем предполагалось на сей раз запечатлеть мир. Я тогда перестал посещать Тюильрийский дворец и стал лишь изредка встречаться с Меттернихом. Не могло быть интимности сношений там, где было столь большое разногласие в принципах, и каждое из моих слов, каждый из моих взглядов, по необходимости, заключали бы в себе упрек или эпиграмму; а что касается благодарности за мои заботы о его семействе, то мне нельзя было рассчитывать на нее после того, как Бонапарт так вскружил голову графине Меттерних, что она ожидала от него величайших благ, и что мое поведение, во время ее пленения, казалось почти что дерзостью перед героем, которому она поклонялась. События следовали одно за другим с невероятною быстротою, Меттерних скоро стал премьер-министром и превратился для меня в газетную знаменитость, интересующую меня только потому, что я должен был признать в нем качества и таланты, которые я мог скорее оценить, чем кто-либо другой, хотя его узкая и лживая политика меня тем более раздражала, что вызываемые ею соображения большею частью относились ко мне[276].

XXVI. Императрица Мария-Луиза

Императрица Мария-Луиза была довольно большого роста, хорошо сложена, блондинка, но не такая белая и розовая, как во время ее приезда во Францию; она одевалась изящно и проявляла такую легкость и грациозность движений, которые были бы более к лицу хорошенькой женщине, чем великой государыне. Она ни чуть не сожалела ни о троне, ни о муже, которых потеряла, и испытанное ею горе не оставило следов в ее чувствах. Она не хотела верить тому, что ее когда-либо могли заподозрить в желании встретиться снова с Бонапартом, или вернуться во Францию, и манера, с которою она говорила о своем сыне, подтверждала мысль, пришедшую мне в голову с самого дня его рождения, — что она вовсе не была его матерью. Когда я ей передал о тех опасениях, которые можно было иметь по поводу этого ребенка, она дала мне замечательный ответ:

— Поведение Венского Двора относительно его легко определить: он никогда не должен быть так богат, чтобы сделаться опасным, ни так беден, чтобы вызвать сострадание.

— Посвятив его церкви?.. — заметил я.

Она прервала меня:

— Да, надо будет его к тому готовить, но без принуждения.

Я был так доволен ее мнением, что просил у нее разрешения сообщить об этом французскому королю, что она и разрешила мне:

— Это очень добрый человек, которого я только могу хвалить и которому я искренне желаю счастья, — сказала она.

Свое положение в Париже Мария-Луиза описала мне, как не особенно приятное: разоренная страна, истощенные финансы, отсутствие общества и средств, коими можно бы его заменить. «Все что я желаю и очень прошу — это, чтобы меня не оставили в этом одиночестве и позволили бы мне, от поры до времени, съездить в Вену, чтобы убедиться, что у меня еще есть родители». При этом слеза заблестела в ее глазах. Эта принцесса была рождена для тихого домашнего счастья. Легкий и ровный характер, вкус к простым удовольствиям, способности к музыке и к ручной работе, любовь к телесным упражнениям, к лошадям, к танцам и к гулянью — все эти качества составляют счастье в обыкновенной сфере: но она узнала величие и роскошь и ее сферу не следовало суживать от недостатка средств к ее пополнению и украшению[277].

XXVII. Нарбонн

Граф Людовик Нарбонн-Лара родился в 1750 или 1751 г. от принцессы Аделаиды[278]. Неизвестно в точности, кто был виновником этого кровосмешения, Людовик XV или дофин, но не подлежит сомнению, что это был один из них. На этом основании говорили, что поведение Нарбонна во время революции является тем более непростительным, что никто в такой степени не принадлежал к семейству Бурбонов, как он. Как только беременность его матери стала известной, из Пармы пригласили некую г-жу Нарбонн, очень честолюбивую даму, которая губила свой талант к интригам в кабинетах инфантины. Она приехала в положении беременности, была назначена статс-дамой к принцессе и родила, когда это оказалось нужным. Ее возвели в герцогини, что более подходило к ее имени, весьма почтенному, чем к роли, которую она согласилась сыграть. Ее муж и в роли герцога сохранил более благородные чувства, — оставался вдали от Двора и перед смертью лишил своего мнимого сына наследства. Из этого сына вышел красивый, умный и любезный в своих манерах и в разговоре молодой человек, так что принцесса Аделаида с трудом сохраняла секрет, который она постоянно нарушала своими заботами о нем. Она назначила его кавалером своего Двора, и вся Франция была свидетельницей его чрезмерных и нескромных расходов. Достаточно сказать, что каждый раз, когда он давал ужин у г-жи Конта, артистки французской комедии и его любовницы, он посылал в Версаль к принцессе Аделаиде за ее посудой.

Революция сняла маску с этого героя салонов. Он сделался военным министром короля, которого ограбил до чиста и которого он, более чем кто-либо другой, должен был защищать до последней капли крови. Против воли добродушного короля он был назначен на это место, где он стал преступным, и первый надел на себя фригийский колпак. Спустя несколько недель он, по неспособности, должен был оставить это место, но что его окончательно лишило уважения порядочных людей, было письмо, которое он заставил написать принцесс, чтобы добиться от президента национального собрания разрешения выехать из Франции. Письмо это кончалось словами: «Мы имеем честь, господин президент, быть с почтением Вашими всепокорнейшими служительницами Аделаида и Виктория французские». Графа Луи — так его называли по причине успеха, которым он пользовался у дам, — женили на дочери и наследнице первого президента Нормандинского парламента[279] Монталона. Г-жа Нарбонн

последовала за принцессами в Италию, вместе со своей мнимой свекровью, герцогиней, а граф Луи стал путаться в любовных интригах эмиграции, то в Англии, то в Швейцарии.

Я должен рассказать здесь анекдот, хотя мало интересный сам по себе, но довольно пикантный благодаря замешанным в нем личностям. Революция разбросала на поверхности земли мужей, любовников, друзей. Г-жа Сталь, вынужденная искать убежища в своем замке Коппе, вспомнила прелестные минуты, которые она провела в Париже с графом Луи. Он тогда был в Лондоне. Г-жа Сталь послала ему необходимые на дорогу деньги, умоляя его, во имя любви и дружбы, скорее приехать к ней. Получив это нежное приказание он стал думать только о том, как бы скорее преодолеть препятствия, отделявшие его от берегов Женевского озера. Но тем временем в Коппе появляется швед такой замечательной красоты. Что было бы бесполезно и смешно оказать ему сопротивление[280]. Г-жа Сталь, потому ли, что она думала, что у нее довольно времени для начала нового романа, или же потому, что она не рассчитывала на такое усердие Нарбонна, отдалась победителю без сопротивления; но как только она начала изучать силу любви над сердцем Севера, она получила из Женевы записку от руки графа Луи. Какое ужасное замешательство! Как она противопоставит друг другу двух столь ревнивых соперников, из коих каждый не сомневается в неразделенности своей любви? Но ее ум пришел на выручку ее сердцу. Она потребовала от Нарбонна, чтобы он ждал ее приезда в Женеве.

Три дня прошли со шведом в разных приготовлениях, в сообщениях мнимых секретов и клятв в том, что не будут добиваться объяснений или жертв. Наконец, она все предусмотрела, все сообразила, и приемные в Коппе сделались свидетельницами первой встречи между гордым шведом и пылким французом.

День проходит вполне удачно: соперники очень холодны друг к другу, но заученная вежливость все покрывает, и дочь знаменитого Неккера ложится спать в восторге от такого успеха. Но когда, на другой день утром, в час не особенно ранний, все собрались к завтраку, двух интересных иностранцев не оказалось, за ними посылают, чтобы просить их к столу, но их нигде нет. Их ищут по всему саду, но не находят; начинают удивляться, в скоро и беспокоиться. Г-жа Сталь сохраняет все еще остаток хладнокровия; все принимаются искать и делать предположения, но все остается тщетным. Наконец, один из обитателей города заявляет, что он рано утром, около четырех часов, видел двух мужчин, которых можно было легко распознать по его описанию,

и что они шли молча как будто по направлению к Швейцарии. Какой удар молнии и проблеск снега для г-жи Сталь! Она уже видит как течет кровь ее друзей и как одним ударом судьба лишит ее обоих! Ее отчаяние не знает пределов, ей нечего больше скрывать, она сама хочет умереть. Первому встречному она признается в своих чувствах. Доверенные люди рассылаются по всем дорогам. Местный врач получает приказание держаться наготове, на всякий случай. Красноречивые и нравоучительные увещания Неккера не имеют никакого действия на его умирающую дочь. Две трети дня проходят таким образом, как вдруг является Куэндэ, секретарь почтенного отца, и рассказывает, что он видел причалившую к берегу лодку, из которой вышли два господина, нагруженные рыбой. Действительно, Нарбонн, отправляясь спать, наткнулся на шведа, который приготовлял лесы: «Вы любите удить рыбу?» — спросил он его. — «Да, люблю». — «И часто это делаете?» — «Я собираюсь сделать это нынче, рано утром». — «Вы мне позволите сопровождать вас, — ибо я это тоже страстно люблю?» — «С величайшим удовольствием». И они отправились на рыбную ловлю, которая оказалась весьма удачной; но сильный ветер долго препятствовал их возвращению. После этого, в замке Коннэ два дня не решались глядеть друг на друга.

Когда эмигранты стали возвращаться, и Нарбонн в числе их вернулся во Францию; и так как у него не оказалось никакого имущества, он был очень рад занять две маленькие комнаты у виконтессы Лаваль, в самом дальнем углу предместья Сент-Оноре, в Париже.

Он немного рассчитывал на свое давнишнее знакомство с бывшим Отэнским епископом. Но Талейран, министр при Директории и при Консульстве, а затем первый сановник Империи и князь Беневентский, не считал удобным выдвигать, при Бонапарте графа Луи. Изящные манеры, образование, скорее блестящее, чем основательное. И чрезвычайная ветреность характера казались ему слишком неподходящими для почвы, где разводились положительные таланты и дурные манеры, как главные условия карьеры. Нарбонн горько жаловался на Талейрана и этим восстановил против себя того, от которого он все ожидал, а так как все его честолюбие ограничивалось желанием получить подпрефектуру или какое-нибудь другое скромное местечко, как средство к существованию, то Талейран отговаривался тем, что он не может согласиться на такое уничижение своего старого друга или содействовать ему в этом.

Но когда испанские дела бросили некоторую тень на звезду князя Беневентского, граф Луи стал громче трубить о своем

недовольстве и сблизился с врагами своего приятеля. Вдруг, в то время, как император воевал в Австрии, распространилось известие, встреченное величайшим изумлением, что Нарбонн призван в армию, в чине дивизионного генерала, а позднее узнали, что он назначен комендантом крепости Рааб.

Незначительное обстоятельство предрешило тогда его судьбу. Когда ему понадобилось представить императору рапорт, он вместо того, чтобы передать его из рук в руки, как делали другие, положил его в шляпу и в таком виде поднес его удивленному императору.

Монарху, жадному к почестям, сказали, что так было принято подавать рапорты королям, и с тех пор карьера Нарбонна не встречала более препятствий.

Вскоре после того Нарбонн был назначен полномочным посланником в Баварию; но он скучал в Мюнхене и просил меня выхлопотать ему посольство в Вене. Это было довольно легко сделать, ввиду доверия, которым я пользовался у австрийского кабинета, и предупредительности, которую я встретил бы со стороны Тюйлерийского двора, но мне казалось, что для этого еще не настал удобный момент, и я со дня на день откладывал разговор об этом с князем Шварценбергом, который только что приехал в Париж, в качестве австрийского посла; а тем временем ему предложили г. Отто, против которого он не возражал, так как он не имел приказания вмешиваться в это назначение. Но вот из Мюнхена прибыл Нарбонн, украшенный лентой св. Губерта, и с вполне определенным планом расположить в свою пользу общество и Двор. Мнимая откровенность в связи с ловкою лестью обеспечили ему благосклонность Бонапарта. «Ваша мать только что приехала?» — спросил он его однажды. — «Да, Ваше Величество». — «Говорят, что она меня не любит!» — «Я не могу скрыть от Вашего Величества, что она еще больше Вами восхищается, чем Вас любит».

Другой раз, когда Талейран не без иронии рассказывал императору, который плохо знал французский язык, что английский король правильно говорит на четырех языках, Нарбонн заметил: «На четырех языках! А я не знаю в Германии ни одного наемного лакея, который не знал бы по крайне мере шести языков». А затем еще, когда император однажды сердито сказал, что он не понимает, почему венский Двор отказывается выслать князей Ламбеска и Вадемон, Нарбонн воскликнул: «Ах, Ваше Величество, подарите их венскому Двору, маленькие подарки поддерживают дружбу!» Можно бы привести еще много подобных случаев, но я полагаю, что и приведенных достаточно, чтобы выяснить образ действий, принятый престарелым версальским

царедворцем.

У Наполеона вдруг явилась симпатия к представителям старого режима, это очень огорчало его товарищей по счастью. Он хотел назначить Нарбонна почетным кавалером новой императрицы, но герцогиня Монтебелло, не желавшая иметь при себе такого кавалера, который мог найти нужным указать ей каждый реверанс, и находившая, что граф Богарнэ, над которым она много трунила, более способен к подчинению, которого она требовала от всех окружающих, — заставила Его Величество отказаться от этой кандидатуры. Зато он был назначен флигель-адъютантом при императоре, должность, на которой он играл роль старой куклы, предназначенной поддерживать почти забытые традиции. Ему тогда уже было около шестидесяти лет; двадцать пять лет он не садился на лошадь и всякому другому подобное положение показалось бы унизительным, но он так хорошо поддерживал свою роль, что, во время несчастного бегства из России в 1812 г., он один сохранил человеческий облик и достаточно бодрости духа, чтобы доказать императору, до какой степени он сам и все остальные впадали в ошибки. Тогда он, наконец, достиг желанной цели, получив посольство в Вене. Его друзья — а у него их было много — высказали при этом необыкновенную радость, но ни они, ни он сам тогда не знали, куда это назначение его поведет.

Посольство было непродолжительно. Европейские дела запутались. Австрия вернулась к приличной и отвечающей ее безопасности политике, от которой ей никогда не следовало отказываться. Нарбонн, совместно с герцогом Вюченским, был назначен уполномоченным на Пражском конгрессе, кончившемся тем, что был организован общий крестовый поход 1813 года. Вернувшись в главную квартиру в Дрезден, он застал там Наполеона в тот момент, когда победа его покинула. Военная казна, состоящая из двадцати пяти миллионов, была помещена в Торгау, и император, рассчитывая вполне справедливо на честность Нарбонна в вопросах, касающихся денег, и на его постоянство, когда затрагивалась честь, назначил его комендантом этой крепости, приобретшей впоследствии двойной интерес. Он удержался в ней и после того, как французы были вытеснены из Германии, но вскоре умер от какой-то болезни, похожей на чуму, которая там свирепствовала. Его преемник, не желая увеличить тревогу и без того тревожного времени, объявил, что он умер вследствие падения с лошади, и его друзья, оплакивая его кончину, должны были себя поздравить с тем, что он не дожил до сдачи крепости и не испытал презрения, неминуемого для человека, как он, забывшего до такой степени

приличия и уважение, которые должны были ему внушить его происхождение и благорасположение его законных государей.

XXVIII. Русская колония во Флоренции (1816–1817 гг.)

I. Предисловие

Недостаток справедливости, испытанный мною в России со стороны Двора и нации, заставил меня уже много лет отказаться от службы в этой стране, климат которой оказался бы, впрочем, достаточным, чтобы меня оттуда изгнать. Повсюду в других странах меня хорошо принимали, в особенности монархи. Сам не зная почему, я пользовался некоторым личным почетом, совершенно достаточным, чтобы удовлетворить мое самолюбие и который, как я заметил с тех пор, достигается легко, когда к удачным мыслям присоединяются приветливые манеры; то, что у себя дома возбуждает беспокойство, составляет успех вне дома. Но сколько я ни старался держаться вдали от сцены, к которой я принадлежал, — я не был вознагражден спокойствием духа за эту жертву, если мое удаление, вообще можно было назвать жертвой. Мой Двор находил, что я слишком счастлив, или что с моей стороны слишком смело обходиться без его милостей и чувствовать себя выше его благосклонности. Министры иностранных дворов и состоящие при них послы, в особенности представители России, стали беспокоиться при виде тех милостей, которых я там удостаивался, и, чтобы узнать причину этого явления и присмотреться к его результату, заставляли меня разделять все удобства, испытываемые теми, которые призваны играть блестящую роль, — в то время как я, не имея основания и, прежде всего, не располагая достаточными средствами, чтобы играть такую роль, не желал ничего другого, как только просвещаться и веселиться.

Утомленный глупою судьбою, выпавшею на мою долю, я решил пуститься, очертя голову, в тот лабиринт, в котором исчезают столько людей, более достойных, чем я, и который, под пленительным названием Парижа, предоставляет праздным людям столько средств развлечения. Но и там Бонапарт скоро меня откопал и приблизил к себе, желая впутать меня в свои политические сплетни. Моя откровенность и молчаливое прямодушие его обезоруживали, и я был единственным представителем противной ему партии, т. е. партии хорошего общества, которому он прощал некоторые общественные успехи. Он потерял трон, который при некоторой умеренности и меньшем самообольщении легко мог сохранить своему отдаленнейшему

потомству. Бурбоны снова взошли на этот трон. Это было торжество для моих принципов и для моего сердца. Но их так плохо посадили на престол и они вели себя на нем до того вопреки своим собственным интересам и счастью Франции, что то, что должно было составить мир и счастье моей жизни, сделалось ее мучением. Поэтому я, наконец, решил удалиться в страну, где я не рисковал найти ни двора, ни дипломатов, ни интриганов, т. е. уехать в Швейцарию.

Но Лозанна, где я хотел поселиться, в виду некоторых родственных и дружеских связей, оказалась для меня чересчур маленьким городом. Много неуместных претензий на знатность происхождения и на богатство, отсталость в вопросах просвещения, казавшаяся непоправимой, мелочность взглядов, возведенная в принципы, революционное правительство, вечно жалующееся на него землевладельцы не умели ни перенести, ни свергнуть, — все эти мелкие волнения вселили в меня страх за мое новое положение. Я чувствовал, как мой ум сокращается до размеров сферы, в которую я сам его запер, и что от нравственной апатии мое здоровье пошатнулось, так что бегство показалось мне единственным исходом.

Желая в одно и то же время переменить местожительство и развлечься, выздороветь и остаться наедине, я отправился прямо во Флоренцию. Через этот город я проезжал еще в 1795 г., когда на меня было возложено Неаполитанское посольство. Красота страны, добродушие ее жителей, умеренность климата, простота придворной жизни и незначительные политические связи двора — делали для меня из этого города местопребывание, совершенно свободное от неприятностей и являющееся этапом по дороге, по которой неизбежно должны следовать все путешественники. Вместе с тем Флоренция обещала мне целый ряд наблюдений, безразличных для чувств, но весьма интересных для ума и для изучения людей.

По приезде во Флоренцию я пожелал видеть одну только графиню д'Альбани[281], вдову претендента, которая там поселилась. Я имел честь познакомиться с ней еще в Париже, куда Бонапарт ее сослал, чтобы угодить своей сестре Элизе, которая сделавшись великой герцогиней Тосканской, считала себя оскорбленной уважением, коим графиня пользовалась во Флоренции Я предполагал в ней все те качества, которые могут меня привязать, и скоро увидел, что не ошибся. Она меня приняла как человека, которого встречают в пустыне, ибо она любила и великолепно умела беседовать, а добродушные флорентийцы не отличались по части разговоров. Она просила меня смотреть на ее салон, как на свой собственный, и наметить

себе в нем место, которое не могло бы быть занято никем другим. С первого же дня там мимо меня стали проходить типы из всей Европы; мне это понравилось, и я объявил, что, так как законом для меня были только мое здоровье и мой каприз, то я только там желаю видеть Двор и публику. Это показалось очень странным до тех пор, пока со мною не познакомились ближе; когда же меня вдоль разглядели, то нашли, что я довольно вежлив, а так как одобрение общества зависит отчасти от странностей и противоречий и можно всего добиться, когда ни к чему не стремишься, я скоро стал предметом ухаживания со стороны разных лиц, которые при обыкновенных условиях едва ли бы даже заметили меня. Великий герцог, к которому я не пошел на поклонение, имел любезность открыть мне доступ в свои частные сады и в свою библиотеку — одну из прелестнейших, когда-либо существовавших как по количеству, так и по выбору сочинений. Министры, которые знали, что я ими пренебрегаю лишь из антипатии к новым лицам, к визитам и к торжественным обедам, старались меня соблазнить маленькими интимными обедами и, чтобы не встречать отказа, являлись ко мне лично с приглашениями.

Наконец, все те двери, в которые я не хотел стучаться, открылись сами собою и приглашения поступали так запросто и без претензий, что я незаметно втянулся повсюду, где я не замечал стремления сделать из знакомства со мною вопрос этикета.

II. Письма графа Федора, писанные им из Италии своей двоюродной сестре г-же Местраль д'Аррюфон

В дороге

Лозанна, 10 сентября 1816 г.

…Вчера я еще лежал в постели, как вдруг раздался шум, и какое-то явление, какой-то призрак меня душит в своих объятиях, приговаривая: «Едем вместе в Италию». То был знаменитый адмирал Чичагов, тот самый, которого обвиняли, что он Бонапарту дал прорваться у Березины. Это доставило мне пятичасовой разговор, замечательный по своим подробностям и доказавший мне, что такое история — эта первая из наук цивилизованных людей! Я не согласился ехать с ним вместе. Храбрый адмирал, пожалуй, принял бы меня за флот или за армию, а я люблю быть господином самому себе; но я назначил ему свидание в Милане, а он мне посоветовал провести зиму во

Флоренции или в Пизе. Это немного надосадит Северу, ибо у Чичагова есть язык, а у меня — перо, но мне это безразлично.

Милан, 21 сентября

…Если история о разбойниках дошла бы до Вас, Вы могли бы считать меня в числе ограбленных. Шайка разбойников устроилась на Симплоне, но в пятницу до моего отъезда пятерых из этих господ привели в Бриг, а других пятерых в Дом д'Оссоля. В понедельник, в десять часов утра, было совершено нападение на три экипажа, в расстоянии получаса от Сесто Календе; но грабители — три обитателя Ароны, — убедившись в том, что в экипажах ехали только женщины и дети, ограничились тем, что ограбили их. После этого они перешли через Тессин, ниже города, и весело отправились к себе домой ужинать. Но нескромный свидетель их заметил и побежал в Сесто, чтобы предупредить о них кого следует, и им отрезали путь. Леди Баресфорд, выехавшая из Милана три дня тому назад, тоже подверглась нападению…

Пиаченца, 26 сентября 1861 г.

…Кажется, что все шайки Италии собрались в Пьемонте. Повсюду вас предупреждают трогаться в путь лишь после «Ave Maria», самый момент разбоев, и останавливаться на ночь до «Angelus»[282]. Сегодня утром в пять часов нас у ворот Милана собралось девять экипажей и нас все-таки еще не хотели пропустить. По дороге мы встретили жандармов, патрули и задержанных. Случайно один из жандармов шел вместе со мною на протяжении четырех миль, и меня забавляло видеть, как он присматривался к людям с подозрительными физиономиями. Всеми этими неприятностями мы обязаны англичанам, ибо разбойники метят на них. Трое из нападавших на леди Бересфорд должны были сегодня предстать перед судом и затем быть повешенными.

В пути, 20 сентября

…Сколько бедняков в Апеннинах! Это возбуждает ужас и жалость. Они встречаются по сорока и по пятидесяти, с дикими воплями. Два дня тому назад у дверей того проезжего дома, где я ночевал, было найдено два человека умерших с голоду. Урожай в этом году был богатейший, но церковную область разоряют эти ужасные монополии. Вообще, в Италии все народы жалуются на своих монархов. При моей точке зрения я нахожусь иногда в неловком положении, когда мне приходится слышать, что они говорят: когда же я начинаю оправдывать князей, мне на это

отвечают: «Пусть будет так, но все эти бедствия действительно существуют и в них, стало быть, виноваты министры, которых надо прогнать!»

Я только удивляюсь, как все население не переходит в клан разбойников; между тем от Болоньи до Флоренции не слыхать про нападения. Все разбои сосредотачиваются в Ломбардии, где нынче мудрено проехать без какого-нибудь приключения.

III. Флоренция (1816–1817)

Флоренция, 10 ноября 1816

Сегодня мне минуло пятьдесят лет, и я хочу с вами, мой дорогой друг, вторично пережить жизнь; это принесет счастье всему остальному. Какая погода! Какая страна! Какой красивый город! Какие хорошие люди! Какое мирное правительство! Какая свобода! Как я хорошо сделал, что приехал сюда, в эту переднюю рая, когда мне нельзя было дольше остаться с Вами! Но надо рассказ мой упорядочить. Как только я немного пообчистился, здешние русские и дипломатический корпус стали осыпать меня любезностями. Никто не выждал моего визита. «Приходите обедать, приходите погулять, приходите в нашу ложу!» В театре меня представили первому министру и другим; мои карты разослали без моего ведома. Наконец, я еще сам не успел очнуться от приезда, как уже был вполне устроен. Эйнары[283], цвет здешнего общества, не отстали от других. Французский посланник[284] навестил меня спустя несколько часов после моего приезда, когда я только что встал с постели, и сказал мне, «что он просит дать ему возможность исполнить то, что он считает своим долгом». Наконец, у меня оставались на свете только две заботы: не быть вынужденным представиться ко Двору, что было противно моей лене и моим финансам, и подыскать себе подходящую квартиру. Мне в обоих случаях необыкновенно повезло: вопрос о представлении уладился сам собою, не оставляя тени сомнения на счет моего благоговения к Их Императорским и Королевским Высочествам, а квартирный вопрос кончился тем, что мне удалось раздобыть одну из самых хорошеньких квартир в городе, а именно во дворце Аччиаджоли, между Троицким и Старым мостами, первый этаж с парадною лестницей для меня одного. Огромный зал в два света со стенами из белого порфира с золотыми украшениями, мраморными скульптурами и большим балконом; уютная гостиная с большой террасой над рекой Арно; спальня в стороне от всякого шума, уборная, хорошая комната для Юлиана — все это изящно обставлено и — вместе с конюшней — за семнадцать цехинов[285],

или восемь с половиною луидоров в месяц, причем за три месяца уплачено вперед. Содержатель французского ресторана посылает мне карту в двенадцать часов, а избранные мною блюда — в четыре часа, так что я могу свободно располагать моим вкусом и моим кошельком.

Российский посланник генерал Хитрово, обер-камергер Нарышкин[286] и моя племянница[287], супруга обер-гофмарла[288], заняли у меня не менее одного дня в неделю, согласно моему выбору, и еще другой день по их выбору, а Луккезини[289], которого я, ради его красноречия, был очень рад застать во Флоренции, и посланники захватили у меня другие свободные дни. И так это выходит — как в Париже, и я буду обедать дома лишь изредка, по своему особому желанию или капризу.

За мною уже обеспечено кресло у графини д'Альбани; оно стоит отдельно от других, против маленького столика, рядом с ее креслом. Она меня приняла со словами: «Какое мы сделали хорошее приобретение!» А затем следовали общие воспоминания…

Остановимся теперь на некоторых подробностях, касающихся лиц и событий. Русский посланник[290] умен и приятен в обращении, но он большею частью бывает болен, а страшный беспорядок в его личных делах налагает на него отпечаток меланхолии и грусти, которых он не может скрыть. Его образ жизни лишен здравого смысла. По вторникам и субботам у него бывает весь город, и вечера заканчиваются балом или спектаклем. По поводу каждого придворного события он устраивает праздник, из коих последний ему стоил тысячу червонцев. При таком образе жизни он задолжал Шнейдеру за свою квартиру и во все время своего пребывания во Флоренции берет в долг картины, гравюры, разные камни и пр. Его жена скорее некрасива, чем красива, но она романически настроена, не мажется, в моде, хорошо играет трагедию и горюет о своем первом муже, покойном графе Тизенгаузене[291], этой немецкой дылде, а также о своем славном старике-отце Кутузове. Она не может на меня глядеть, потому что мои изящные манеры напоминают ей этого героя, о котором она не перестает думать и гордиться, что она его дочь. Словом, все в этом открытом доме преувеличено, хотя и вполне прилично. У них есть дочь от первого брака — ей пятнадцать лет — она хорошо сложена, весела, желает нравиться и является самым лучшим украшением гостиной. Любительские спектакли, которые меня здесь преследуют, — своеобразны; дают хорошую или плохую пьесу, в которой играют княгиня Суворова, графиня Тизингаузен, г. Фонтенэ от французской миссии и несколько

других, еще похуже. Их окружает все одна и та же рамка: толстый князь Шаховской[292], помощник директора французского театра в Петербурге, садится за стол, как будто для того чтобы образовать труппу. Г-жа Хитрово поочередно должна изображать то г-жу Жорж, то г-жу Дюшэнуа[293], и после впечатления, которое она производит своим талантом, публике приходится не меньше удивляться переменам ее костюмов для каждой сцены, а также силе ее легких…

Другого рода спектакль, где присутствую в ложе, дается здесь в доме обер-камергера Нарышкина, которого, по случаю его роскошного образа жизни и его огромных расходов, величают здесь князем и светлостью. У него большой дворец близ Перголы, маленький дворец на Арно и для отдыха чудная дача близ Фиезолы. Управляющим у него состоит какой-то немецкий барон, секретарями служат три кавалера с орденами в петлицах; одному художнику, состоящему на жалованьи, поручено наблюдать специально за покупками; его супругу сопровождают две дамы; наконец, большая свита ливрейной прислуги и лошадей, о которых нигде не имеют понятия. Мне все это показали в городе и на даче, и я хочу с Вами поделиться моими впечатлениями.

Первый обед был дан специально для меня, но нас было в гостиной тринадцать человек. В четыре часа было доложено, что обед подан, и меня поместили между хозяином и хозяйкой. Княгиня Суворова, дочь Нарышкина[294], была единственная дама, которая могла сесть с нами без особого приглашения. Пять минут спустя, когда подали суп, сам Нарышкин провозгласил имена тех из присутствующих, которые удостоились сесть за наш стол, остальным же пришлось обедать за другим столом. Подавали три различных обеда, по-русски, по-французски и по-итальянски, с неимоверным изобилием напитков, цветов и фруктов. В то время как мы сидели за столом, нам были представлены художники; они целовали руку у хозяина и подносили ему свои произведения, а за это свертки, по 30 цехинов каждый, переходили из рук казначея в их руки.

Но не то еще нам пришлось видеть на даче, несколько дней спустя. Нас пригласили к трем часам: г-ж Луниных[295], моих соседок, адмирала Чичагова, нескольких итальянцев и меня. На террасе, вблизи гостиной, были размещены сорок музыкантов, игра которых привлекла всех окрестных жителей, бросивших свои сельские работы, чтобы послушать музыку. Но все это казалось мне лишь живописным украшением дивного местоположения и прелестного дня. Когда мы садились за стол, был соблюден тот же этикет, как в городе, и за вторым столом пришлось сидеть лицам, которые вполне могли рассчитывать на место за нашим

столом. Сервировка изобиловала деликатесами и редкостями всех стран. Наконец, когда встали из-за стола, нас пригласили на большую террасу, где все было приготовлено к нашему восхищению — вы думаете, красотами прелестнейшей в мире природы? — отнюдь нет! — чтобы мы восхищались фокусами знаменитого фигляра! Наступала ночь и этот молодец хотел нам как раз показать свои лучшие номера, как было доложено о начале фейерверка, и сколько он ни протестовал, на него не обратили внимания и перешли на другую террасу, где уже собралась масса зрителей, целые монастыри и деревни. Когда фейерверк кончился, Нарышкина три раза поклонилась своим гостям и все отправились в экипажах на Перголу. Я был так пресыщен удовольствиями, что не имел никакого желания слушать новую музыку, сочиненную на «Севильского Цирюльника», это мастерское произведение Паизьелло[296].

Но вернемся к этой квинт-эссенции России, к этому Востоку, перевезенному в шести берлинах на Запад — к семейству Луниных. Барышня со мною немного кокетничает, но в общем это люди довольно благородные, довольно богатые и довольно воспитанные. Так как сам г. Лунин слишком глуп, чтобы добиться какой-нибудь славы, то они прилагают все старания, чтобы раскритиковать какую-нибудь знаменитость или чью-нибудь репутацию. Обе дамы до того безобразны что могут обратить в бегство кого угодно, но у дочери, может быть, один из лучших голосов Европы, а мать до того окружает себя цветами и алебастровыми вазами, что вместе с ними тоже представляет нечто в роде волшебной сказки.

Вчера мы присутствовали на прелестнейшем концерте: Инфантина, знаменитый Маргелли, графиня Аппони и г-жа Эйнар, которая, несмотря на свою ограниченность, вела себя прекрасно. Вы увидите из письма к Вашей матушке, какую роль она и ее муж здесь играют. Общество было избранное и опять-таки преобладали русские. Здесь еще ожидают Кочубеев, Паниных, и др. Я со своим умеренным характером удовольствовался бы теми, которых я застал здесь. Когда я хочу отдохнуть от всех этих величий, я удаляюсь к Толстым. Они устроились на окраинах Флоренции, под самыми пушками цитадели, в глубине роскошного сада, откуда, видны все окрестности. Их домом управляет Веле, мой бывший дворецкий. Графиня живет там со своим сыном. У них можно найти простой и вкусный стол, разумную беседу, и я могу там обедать каждый день. Графиня все еще очень хороша собою, а ее сын, в возрасте тринадцати лет, красив, как картинка[297]. Как будто для контраста, они держат у себя очень безобразную, но забавную

обезьяну.

…Но вот приехала герцогиня Нарбонн и прислала за мною.

Флоренция, 6-го ноября 1816 г.

…От графини Аппони я пошел к г-же Нарышкиной[298]. Она как раз писала и жаловалась на перья. Что перья! Я вынужден писать без пюпитра — ибо нельзя все тащить с собою — и никогда не привыкну к этому. Пока я восторгаюсь их фазанами, является камердинер, ставит на стол большой четырехугольный сверток и уходит. Я срываю оберточную бумагу и нахожу под ней прехорошенькую английскую шкатулку, которая раскрывается и преобразовывается в пюпитр со всеми необходимыми отделениями для письменных принадлежностей! На этой красивой подставке я имею честь Вам теперь писать, сударыня. На другой день я рассказываю об этом подарке Луниным, у которых как раз была в гостях наша посланница. «А что вы охотнее всего выпросили бы у г-жи Нарышкиной, если бы знали вперед о ее страсти делать подарки, — спросила она меня. — Ведь у нее столько вещей, которые можно дарить!» — «Ах! Я попросил бы у нее старую шаль, чтобы сделать себе из нее теплый жилет на зиму, а также Португальскую воду, ибо во Флоренции нельзя раздобыть сносных духов», — ответил я. После этого я, как всегда, отправляюсь домой, чтобы переодеться к обеду. И что же я вижу? Прелестную шаль, распростертую на белье, и большой флакон Португальской воды парижского произведения на столе. Я одеваюсь и являюсь к этим дамам с грозным выговором. Я предупреждаю их, что потребую скоро луны и солнца. После разных шуток я говорю г-же Хитрово, что нельзя подвергаться такому риску, что я мог бы захотеть ее маленькую печатку, которую она так любит, и поймать ее на этом. Затем я иду обедать к графине Толстой. Я сажусь и чувствую, что меня что-то давит в кармане; я его ощупываю и что же оказывается? — в кармане — печатка! На сей раз я решил молчать и даже не говорить об этом моей племяннице, так как дело принимало ужасающие размеры. С тех пор они забавляют тем, что стараются меня ловить, осведомляясь о моем вкусе насчет той или другой вещи. Вы, конечно, поймете, что я все нахожу отвратительным, мерзким и что это вызывает бесконечный хохот. Генерал Хитрово хотел препроводить ко мне прелестно оправленную луну, которую я еще раньше облюбовал, но я ему заметил, что я назойливость прощаю только дамам, а от него требую больше уважения к себе.

Флоренция, 13 ноября 1816 г.

…У нас теперь гостят князь и княгиня Гагарины, очень милые люди, но которые здесь только проездом. Он, до некоторой степени, знаменитость[299]. Красавица Нарышкина в него влюбилась, и любовь их была настолько неосторожна, что ей посоветовали отправиться в путешествие, а статс-секретарь получил отставку. Благодаря этому, он помирился со своей женой[300], с которой ради этой страсти расходился, и они теперь казались совершенно счастливыми… Княгиня Гагарина близкая подруга моей племянницы Толстой[301], и их связывает католицизм. Они находились во главе светских дам, отступивших от православной церкви, и их неосторожный пыл был причиною изгнания из России иезуитов. Здесь, где они свободны поклоняться Римскому Богу, они соблюдают чрезвычайную сдержанность, а в Петербурге они мечтали о мученичестве, как итальянки мечтают о любовнике. Муж графини теперь умирает в Карлсбаде и должно быть уже умер, что нас заставляет не пускать ее к нему. Ее здоровье не перенесло бы путешествия зимою, и она все равно опоздала бы или оказалась бы излишней. При нем, впрочем, неотлучно находится его дочь, княгиня Любомирская, с мужем, так что в уходе нет недостатка…

Что касается России, то я должен Вам рассказать забавную вещь. Никто не знает так мало толку в еде и никто так плохо не кушает, как Лунины, мои соседки. Они на это жертвуют четвертую часть своих доходов, но ничего в этом не понимают и, в конце концов, умрут от расстройства желудка, какое получается в кухмистерских. И вот я однажды стал им рассказывать, как посланник, у которого один из лучших поваров Европы, угостил меня паштетом из фазанов с трюфелями — такими вкусными, что когда я шесть дней спустя опять у него обедал, я настоятельно просил дать мне хотя бы остатки этого паштета. От этого рассказа в моих соседок потекли слюнки. Они устроили совет и пригласили к себе этого знаменитого повара, стараясь его всеми мерами задобрить и, наконец, заказали ему такой же точно паштет, как я описал. Вчера Гагарины и я были по этому случаю приглашены к обеду. Он был великолепен. Но знаете ли Вы сколько он стоит? 168 паоли[302]! Я это рассказал Хитрово, который заметил: «Эти сумасшедшие бабы не знают, что мой повар величайший вор на свете, и что когда моя жена заказала прошлый вторник четыре тарелки сладких пирожных, он ей подал за них сверхсметный счет в 200 паоли»[303] — Вы совершенно правы, называя подобное расточительство ужасным. Когда этот генерал, которого я, впрочем, люблю от всего сердца, был здесь еще без жены и обедал вдвоем со своим секретарем, ежемесячный расход на стол, не считая вин и десерта, был определен в 500

червонцев (400 луидоров); заметьте при этом, что жизнь здесь вообще дешево стоит; Луккезини мне еще вчера сказали, что если бы не опасение вызвать напрасную болтовню, они каждый день звали бы к себе обедать не менее десяти человек.

Флоренция, 16 ноября 1816 г.

Умер Виртембергский король[304]. Смерть одного тирана, какая это будет радость для многих!

Но помните, что настанет время, когда о нем будут жалеть. Это был единственный благонадежный оплот против либеральных идей, которые погубят Германию. Теперь глава оппозиции сделался монархом. Увидим, что из этого выйдет для страны! Ваш брат[305] будет сначала очень доволен, но скоро положение покажется ему нестерпимым. Пока что, Растопчин шныряет там, чтобы примириться с помощью сестры[306], с братом, но он обманется в своих надеждах, ибо сестра потеряла всякое влияние. Мне дали прочесть этот великий секрет в письме, полученном с Севера и писанном официальным лицом.

Флоренция 24 ноября 1816 г.

…Со мною случилась довольно странная вещь, и Вас, может быть, заинтересует узнать об этом некоторые подробности. Это касается письма посланника, с которым я вел переписку, в то время, когда он был на Вашем сейме[307]. Оказывается, что Бернодотт пожаловался по поводу моего сочинения, и меня просят пощадить в будущем союзников того, кому я обязан величайшим благоговением. Мне не запрещают писать, нет; мне даже кажется, что хотят немного польстить моему писательскому самолюбию, как доказывает следующая фраза: «Желательно, чтобы им, окруженное таким почетом, как Ваше, не было замешано в официальных жалобах, столь правильно мотивированных». А вот мой буквальный ответ; он так короток, что я решаюсь его здесь привести: «Не пользуясь известностью, ни как писатель, ни как государственный деятель, я мог бы удивиться, что мне приписывают сочинение: «Рассуждения и пр.», которое даже не носит моего имени. Но если энергичная защита дела религия, нравственности и законных монархов составляет тот признак, по которому думают узнать меня, то я не имею основания на это жаловаться. Я сожалею, что причинил беспокойство шведскому Двору, но если он так хорошо осведомлен, то как же он не знает, как давно и насколько я удалился от всего, что называют службой и влиянием, и что не мне, по-видимому, будет поручено защищать интересы племянника Е. и. Величества, моего августейшего государя. Если

же на этот счет еще существовало бы сомнение, то я просил бы Ваше Превосходительство его рассеять.

«Моя жизнь так ничтожна, так безобидна, что я в этом отношении уверен в протекции того, кто может оказать таковую…»

Русская колония увеличилась с приездом графа Кочубея[308], бывшего министра внутренних и иностранных дел, с женою, детьми, свитой, в общем, с девятью дорожными постелями. Затруднение разместить их всех и разговоры на этот счет были бесконечны. Он потерял пятерых детей, но столько же у него еще осталось. У нас, кроме того, гостят гг. Гурьевы[309], отец и сын, возвращающиеся из Неаполя и чувствующие себя настолько превосходными, по части знаний, над всеми другими дворянчиками, что в их присутствии нельзя даже говорить о дне и ночи.

Над всем этим можно бы смеяться, но что заставляет плакать от грусти, это сплетни между госпожами Хитрово, Луниными, матерью и дочкою, и княгиней Суворовой. Это превосходит все что Вы могли бы себе представить, и пьеса из девятнадцати действий была бы недостаточна, чтобы изобразить все это. Болтовня о мужчинах всех наций, должные утверждения, дерзости всякого рода — все это могло бы меня заставить бежать до самой Сицилии, если бы я узнал об этом другим путем, а не через г-жу д'Альбани, которая всегда все знает.

Флоренция, 13 января 1817 г.

…Сегодня Новый год по русскому стилю, и я, дорогой друг, хочу воспользоваться этим праздником для того, чтоб повторить те пожелания, которые я для Вас возобновляю каждый день. По поводу этого праздника я Вам расскажу наивный анекдот. На Рождестве графиня Апраксина почувствовала себя дурно: она легла в темной комнате при открытых дверях. И вот какой разговор она услышала между двумя русскими из ее свиты: «Вот что мне кружит голову — почему у нас Рождество на двенадцать дней позднее, чем у итальянцев!» — «Как ты глуп, что путешествуя так много, ставишь такие вопросы! Тебе следовало бы понять, что когда Господь родился в Палестине, курьеру, привезшему известие об этом папе в Рим, потребовалось потом двенадцать суток, чтобы доехать до Москвы и доложить о том царю! Обе церкви празднуют не день рождения, а день прибытия курьера, привезшего весть об этом». — «А, теперь я понимаю, и нет ничего проще». Эта история вызвала много смеха, но надо согласиться, что разные объяснения, которые нам дают по этому поводу историки, немногим лучше.

Флоренция, 25 марта 1817 г.

Госпожи Лунины, мои соседки, выехали в Рим после бесконечных неприятностей с прислугою — самою отвратительною, какую можно себе представить.

Горничная, непозволительная рожа, которой вдруг пришло в голову лечить свой ревматизм в России, берет тридцать луидоров, чтобы поехать туда морем, но возвращается через несколько дней, объявив, что она решила ехать сухим путем; другая горничная, собирающаяся рожать, утверждает, что она не может перенести дилижанса; немецкий камердинер, следуя примеру этих горничных, требует денег, чтобы совершить путешествие одному, и доводит дело до того, что вызывает этих беззащитных дам в суд. Наше посольство, под влиянием либеральных идей, принимает сторону прислуги и доводит дам до отчаяния. В конце концов, пришлось мне заняться этим делом. Дамы не явились, прислуге было отказано в иске и ей пришлось обратиться к милости своих господ. Дамы уехали довольные мною, находя, что я широко расплатился за их обеды.

Как только эта история кончилась, в один прекрасный день, рано утром, ко мне является генерал Хитрово, в страшно расстроенном виде, и приносит мне толстый пакет с придворною печатью. Я подумал, что он получил приказ посадить меня в лодку и потопить меня, до того его лицо было мрачно и до того я привык к большим катастрофам. Когда же я распечатал пакет и не нашел в нем ничего трагического, я полюбопытствовал узнать, откуда у него явилось это мелодраматическое выражение, и он сознался, что в том отчаянном положении, в котором находятся его дела, и в тот момент, когда он ожидал помощи, ставшей для него необходимой, он получил ошеломляющее известие о потере своего места; что это место совсем упраздняется, и что ему отказывают в какой-либо помощи; и, наконец, что немилость эта, по-видимому, решена бесповоротно, так как ему предлагают маленькую пенсию, но с условием, чтобы он остался жить в Тоскане. Я был удручен, так как я его сердечно люблю, и он для меня всегда был очень мил. Надо было проявить хладнокровие и осторожность, ибо вопрос шел о чести и о свободе. Мы решили соблюдать строжайшую тайну и тотчас же отправить секретаря в Рим, чтобы просить Италинского, которому было поручено на будущее время исполнять также обязанности поверенного в делах при тосканском Дворе, не предъявлять своих верительных грамот до тех пор, пока ему не дадут знать отсюда. Тем временем я собрал всех кредиторов у одного из здешних адвокатов, чтобы выяснить их претензии и доказать нашу добросовестность. Далее

было решено, что г-жа Хитрово поедет в Петербург, чтобы отыскать какие-нибудь средства и предотвратить полное разорение; что хозяйство будет распущено и все будет продано; что необходимо нанять маленькую квартиру и выведать настроение Двора, дабы, в решительный момент, когда придется сделать роковое сообщение, публика могла говорить только о несчастии, постигшем посланника. Все удалось как нельзя лучше, и когда третьего дня было произнесено решительное слово, Двор и общество высказали еще больше участия, чем мог ожидать этот бедняга[310]. Для меня это было большое утешение…

Я чувствую себя теперь очень хорошо, но мое лечение было бы еще успешнее, если бы не приезд графа Маркова, который прибыл из Неаполя ко мне, как приезжают на свидание с невестой. Он стар, в опале, и я напоминаю ему хорошие времена. Указывая на нас обоих, он всем повторяет: «Вы видите двух старых служак бессмертной Екатерины». По утрам он приходил болтать, по вечерам — играл в карты, и его удавалось выпроводить не ранее как в два или в три часа утра. Наконец, он уехал в Париж, чтобы заготовить там приданное для своей дочери, довольно приятной, но болезненной барышни и чтобы сделать удовольствие г-же Гюс, своей старой любовнице. Счастливый путь![311]

Но я чувствую, что Вы с нетерпением ждали, чтобы я Вам сказал, что было в пакете, присланном мне от Двора. Но не сердитесь, если это будет длинная история. Надо Вам знать, что пробыв несколько недель во Флоренции, я не мог равнодушно смотреть на обоих внуков великого Суворова, предоставленных на улицах и в конюшнях самим себе и нуждающихся нередко во всем необходимом, благодаря тому, что их мать думала только о любовных приключениях и собиралась родит в третий раз, уже после смерти мужа. Дети были такие милые, особенно старший сын[312], что такое поведение матери должно было вызвать возмущение, и что их дед и бабушка Нарышкины мне ради этого опротивели; наконец, я принял довольно странное решение, будучи как всегда, убежден, что хороший, сам по себе, поступок и прямой путь всегда ведут к цели того, кто не дает себя сбить с толку. Я поэтому решился написать государю и просить его, чтобы он доверил мне этих двух детей с небольшой долей пенсии, которая была им назначена, после того как их сумасшедший отец, растратив огромное состояние их деда, имел несчастие утонуть в Рымнике. Я до отсылки письма не говорил об этом никому, из опасения, что мне могли бы помешать, и хорошо сделал, ибо все подняли по этому поводу крик. Нарышкины, которых я предупредил в исполнении самой священной связанности, были

вне себя от бешенства; генерал Хитрово, бывший фаворит, говорит, что император терпеть не может людей, которые, как я, в известных случаях разыгрывают из себя Сюлли; княгиня-мать пришла ко мне, упрекая меня со слезами на глазах в непоследовательности моего поведения, — но я не отвечал ни на что и выжидал, чтобы над этими детьми свершилось Божье милосердие.

Наконец, этот роковой для Хитрово курьер привез толстый пакет на мое имя. Император повелела благодарить меня за выказанную мною столь почетную для меня и для внуков италийского героя заботливость. А граф Каподистрия, со своей стороны, присовокупил, что он счастлив быть органом высочайшей воли в таком случае, когда он обстоятельствами призван быть ее выразителем, и благодарить меня за то, что я ему доставил этот случай. Министерство получило приказание руководствоваться моими указаниями относительно расходов, которых потребует переезд и устройство двух молодых князей. Не правда ли, как все это мило? Я сейчас же написал в Гофвиль[313] и уже наметил одного добродушного немецкого барона, чтобы проводить туда в мае месяце моих мальчиков. Я исторгну их, таким образом, из невежественной среды и спасу от угрожающей им нравственной и физической опасности; их счастье вознаградить меня за мою смелость. Мать привела мне своих сыновей, заливаясь слезами и прося меня повергнуть к стонам императора ее вечную благодарность. Старший, которому 12 лет, очень мил со мною. Я с ним беседую и гуляю и обращаюсь с ним немного на немецкий манер, в ожидании ответа от г-на Фелленберга[314]. Длинное письмо Каподистрия комично со стороны человека, который не сумел обойтись со мною единственный раз, когда он мог это сделать.

Мне пишут из России что моя тетя продает 4000 крестьян для того, чтобы заплатить долги своего сына[315].

Флоренция, 21 апреля 1817 г.

Генерал Хитрово переносит свое несчастье очень мужественно. Он не ожидал такого исхода, а все надеялся на помощь от государя, который всегда был его другом. Так как он сам был прост в обращении и без претензий, то его любили в обществе, и так как он расстроил свои дела, чтобы увеселять других, то к нему относятся с величайшим сочувствием. Он все продает и рассчитывается со своими кредиторами; свое хозяйство он упразднил и нанял маленькую квартиру.

Флоренция, 18 апреля 1817 г.

Этому письму пришлось долго вылежаться. Дела этого бедного Хитрово поглощают меня всецело. Все эти русские не только расстроили свои дела, но вообще не имеют самых элементарных понятий о порядке и, когда катастрофа разражается, у них нет ни счетов, ни квитанций, и чтобы как-нибудь выйти из затруднений, они готовы подписать все, что им подсунут. Так как я очень интересуюсь Хитрово и нахожу, что с ним обращаются ужасно, а он противопоставляет всему этому бодрость и хладнокровие, я принял на себя — не выводить его из этого лабиринта, но, по крайней мере, подготовить те нити, по которым он мог бы из него выйти. Он находится теперь между двумя сортами людей: купцами, которые его надували, и аферистами, желающими воспользоваться случаем, чтобы сделать то же самое. Его жена — сумасшедшая, и ничто не может ее остановить в ее расточительстве. Она еще сама не знает откуда взять деньги, чтобы поехать в Россию для спасения семьи и чтобы на это время обеспечить жизнь своего мужа и своей дочери, а между тем она занимает в театре две ложи и зажигает вечером в своем будуаре по десяти свечей, не говоря обо всем остальном. Как только она уедет, я надеюсь поставить все на приличную ногу, а пока я ее тороплю, как будто я боюсь заразиться от нее чумою…

Флоренция, 21 апреля 1817 г.

…Я получил доказательство памяти обо мне, доставившее мне большое удовольствие; а именно от добродушного неаполитанского короля, не принимавшего никакого участия в преследованиях, жертвою которых я сделался со стороны покойной королевы. Он поручил Нарышкину выразить мне свое благоволение и много обо мне расспрашивал… Я думаю, что Юрий должен втайне радоваться приключениям лорда Амгерста в Китае. Статьи газет по этому поводу являются для него как бы оправдательными документами, на публикацию которых он получил разрешение[316].

Флоренция, 23 апреля 1817 г.

…Я получил из Петербурга очень странное известие. Вы знаете, как мой брат[317] расстроил свои дела, как он навлек на себя немилость за то, что взял отпуск, как он запутался в этом ужасном водочном процессе, стоившем состояния стольким лицам. 7-го марта вечером он сидел со своей женой, оплакивая свои потерянные поместья, которые были назначены в продажу с публичных торгов на другой день, как вдруг отворяется дверь, и

курьер приносит ему, от имени государя необходимую для его спасения сумму. Это — заем, но бессрочный и беспроцентный. Вот — чудо, с какой стороны ни смотреть на это происшествие, и милость весьма солидная. Обер-камергер Нарышкин, профессор в придворных делах, объяснил мне это чудо.

Дело в том, что приближается день свадьбы[318] и что некому на ней предводительствовать; самое подходящее лицо для этого — мой брат, но полагают не без основания, что он обижен за то, что его не назначили по смерти Толстого обер-гофмаршалом, и вот хотят его поставить в такое положение, чтобы он не мог отказаться от обязанностей, в которых он достиг совершенства. А после свадьбы его назначат на эту высокую должность, принадлежащую ему по старшинству! Да благословит Господь государя и его слуг! Что касается меня, то я предпочитаю быть главным надзирателем дворцов и садов г-на д'Аррюфана!..

Флоренция, 12-го

Я когда-то был в дружбе с супругой президента парламента в Бордо, которая начинала все свои разговоры словами: «Я вам заявляю!», что заставляло герцога Лаваля спрашивать меня, до какой степени заявлений я дошел с моей президентшей. Я должен Вам сегодня заявить, мой друг, что я не могу дольше переносить тоски по родине!

Не потому, что мне здесь не нравится — напротив. Местность прелестна. Г-жа д'Альбани по-прежнему относится ко мне благосклонно, общество — снисходительно, великий герцог — милостиво; англичане по-прежнему смешны, но все это без Вас и не в Вашей стране, а потому я не могу больше перенести ничего другого. К тому же, у меня на шее огромное хозяйство Нарышкиных. Они должны были уехать еще восемь дней тому назад но Каффила, вторая калмычка г-жи Нарышкиной, захворала расстройством желудка, и на этом основании отменили заказ сорока лошадей и развязали тысячу узлов, и я всему этому не предвижу конца!

То, что Вы мне пишете по поводу князей Суворовых — совершенно верно, но если бы хорошие дела делались иным путем, чем в силу долга, они вовсе не делались бы. Эти мальчики, носители великого имени, обладают самыми лучшими данными, но имеют перед собою только то богатство, которое им самим удастся составить, казались почти что предоставленными на большой дороге самим себе; стало быть, их надо было оттуда взять, но никто об этом не думал; надо было напомнить о них императору, но никто не посмел это сделать; надо было им заменить отца и я нашелся, чтобы исполнить этот долг. Всякий

сделал бы то же самое, и я не нуждаюсь в их благодарности. Это дело останется между Небом и мною.

Но я сделал еще худшую вещь, чем та, в которой Вы меня упрекаете. Я отнял у матери ее дочь и передал ее бабушке, чтобы она увезла ее в Россию. Я не мог перенести мысли, что эта молодая девушка четырнадцати лет догадается о предстоящих родах своей матери, и благодаря моему красноречию и моей находчивости все произойдет без свидетелей, без скандала, и если только большой караван снимется отсюда 20-го числа, то Нарышкины тоже ничего не будут знать об этом.

К тому же приблизительно времени я собираюсь отправить моих питомцев, в сопровождении этого добродушного голландца, который в пути будет считаться их отцом. Я не желаю, чтобы эти маленькие люди сдались в каком-нибудь итальянском городе предметом поклонения, которое их громкое имя могло бы вызвать, и хочу, чтобы они вышли из моих рук такими же простыми и милыми и прибыли в Гофвиль без спеси и дури. Не могу Вам сказать — ибо я справедлив — до какой степени я в этом деле доволен императором Александром. Он меня отлично понял, и это преклонение всемогущества перед здравым смыслом делает ему честь. Г. Фелленберг, директор Гофвильского заведения, был тоже в высшей степени корректен. Я не скрыл от него небольших средств этих детей и своего сожаления по поводу того, что я не могу предоставить им всех преимуществ блестящего воспитания, которое дается его пансионом. Он мне на это ответил, что предоставить им все преимущества и что условия будут вполне зависеть от меня. Таким образом, в силу полномочия, данного мне с обеих сторон, я мог решить это дело по своему усмотрению, и оно мне вполне удалось. Я буду уж очень стар, когда эти дети сумеют оценить все значение оказываемого им благодеяния, но я умру с сознанием, что я не был совсем бесполезен и более счастливым, чем если бы этот случай не отдал их в мои руки.

Моя переписка с Каподистрия одна из самых оригинальных, какие можно себе представить. Он меня осыпает любезностями по приказанию свыше, а также за свой собственный счет, а я все остаюсь при своей прежней манере. В своем сегодняшнем письме я ему пишу: «Сколько Вы ни старайтесь, Вы не заставите меня полюбить либеральное просвещение и либеральные мысли. Эти слова только талисманы, с которыми считают все дозволенным». А затем я еще присовокупляю, по поводу его любезностей: «Я сожалею, что Вы не подумали меня навестить, когда были в последний раз в Швейцарии; но Вы этого не хотели, а я никому не навязываюсь. Вы меня скоро оценили и узнали бы, что я стою

гораздо меньше и в то же время гораздо больше, чем моя репутация; тогда Вы лучше поняли бы свободу, которую я позволяю себе в общении с Вами и которую вы, вероятно, прощаете мне только в силу Вашего ума».

Я полагаю, что Вы уже прочли рукописи с острова Св. Елены[319]. Мы получили их здесь из Лондона с курьером. Нет ничего более интересного и, по моему мнению, более подлинного. Если это не писано Бонапартом, то и «Кандид» не писан Вольтером. Усомниться в этом может только тот, кто его не изучал и никогда с ним не говорил. Это именно его беспорядочные и вместе с тем исполинские мысли, его громкие слова, его ужасные признания, его привычные смелость и независимость; его ловкость щадить некоторых лиц и некоторые мнения; это маленькое сочинение, кажущееся результатом скучного досуга, полно намерений и проектов. Я очень доволен, что прочел его, ибо весьма приятно видеть, как подобный человек сам себя изобличает и говорит то же самое, что говорю я, хотя мое мнение оспаривают; впрочем, я не понимаю, с какой стати извлекли на свет Божий это произведение тьмы и что могло заставить английского министра позволить или приказать публиковать его. Это сочинение запрещено во Франции, но Вы увидите, что оно вовсе не там может быть опасным.

У меня в настоящее время имеется на лицо доказательство злосчастной звезды, преследующей меня; это некто Шевалье О'Ара[320], скучнейший из людей, который ко мне пристает, что он, впрочем, делал уже два раза, в Петербурге и Теплитце. Он так многоречив в своих рассказах, что когда он входит в комнату, надо отказаться от всяких других проектов на этот день. Он так отклоняется от предмета разговора, что, по удачному сравнению Нарышкина, напоминает механизм тех бочек, которые предназначены орошать улицы на возможно большем пространстве; он сделался таким пугалом для всех своих знакомых, и последние так жестоко к нему относятся, что у меня не хватает смелости уклоняться от его разговоров. Г-жа д'Альбани сказала мне раз: «Вы увидите, что он вас попросит привести его ко мне». — «Никогда, — ответил я, — он слишком церемонный, пожелает быть вам представленным самим посланником». — «Все равно, в данном случае он предпочтет вас!» И действительно, он не замедлил обратиться ко мне по этому поводу. Но она дорого заплатит за свое предчувствие. Он ей расскажет всю историю Стюартов и все жертвы, которые им принесло семейство о'Ара и будет настаивать на том, чтобы она прослезилась из-за участи Претендента и кардинала Иорка, о которых он упоминает не

иначе, как опуская свои большие глаза. Может быть, что в конце концов это начнет меня забавлять…

Флоренция, 31 мая 1817 г.

Знаете ли Вы, что я получаю теперь известия из Парижа только от Вас? Я так отстал от большей части моих друзей, а те, от которых я не отстал бы, так давно умерли, что, глядя на мою переписку, можно подумать, что я никогда не бывал в этой стране. У меня там остались только связи с государственной полицией. Меня предупреждают о вещах, относительно которых думают, что я их буду хвалить и желают знать мое мнение о всех мерах, предпринимаемых посланниками короля за границею, для безопасности правительства. Мне, например, не отказали в удовольствии известить меня, что Савари[321], будет пойман и заключен в Триесте, что действительно произошло так, как мне было обещано; что будут преследовать Сантини[322] и возьмут его за горло и т. д. А я, со своей стороны, хлопочу о том, чтобы отправить в Америку эту негодяйку Реньо, связанную по рукам, по ногам и по зубам[323].

Флоренция, 23 июня 1817 г.

…Каподистрия тяжко болен и просит уволить его в отставку, или разрешить ему отправиться в путешествие. Это удобный случай сказать: «врач лечи себя сам», ибо он в течение пяти лет изучал медицину в Падуе и в Пизе и удостоился, вместе с некоторыми другими лицами родом из Флоренции, степени доктора медицины. Его здесь все знают и все сходятся во мнении, что это умный человек, при том сведущий и обладающий добрым сердцем; но он никогда не был дворянином, даже на своей родине, где легко быть им. Это, конечно, не имеет значения, раз он полезный и честный человек, но зачем же тогда претендовать на такую ничтожную вещь, как графский титул, на который он не имеет права? Но как все христиане, он будет иметь свой роман и захочет украсить им историю.

Флоренция, 28 июня 1817 г.

Со мною только что произошла такая необходимая вещь, что если бы Вы, вместо того чтобы прочесть ее в этом письме, нашли ее в Библии, Вы не усомнились бы в наличности чуда. Но для начала мне нужно вернуться к прошлому. Уже два года мне в России не удается довести до конца ни одного дела и вот почему. Когда меня отозвали из Неаполя, моя опала показалась всем столь неожиданной. Что г. Бержье, мой банкир, и г. Виоццоли, австрийский генеральный консул, сочли нужным, в наших общих

интересах, наложить арест на мои вещи. После годичного заключения, покончив с ними расчеты, я добился отмены этого ареста и не думал больше об этом. Спустя двадцать лет, желая окончательно распорядиться своим имуществом, я не мог этого сделать по той причине, что я в свое время не заявил правительству о снятии ареста. Но где отыскать составленный о том документ? Находился ли он в одном из сундуков, сгоревших во время пожара Москвы, или же в одном из старых ящиков, оставленных в Берлине и припрятанных неизвестно где г-жей Брюж? Г. Берже любезно согласился возобновить этот документ, но г. Виоццоли обанкротился и исчез неизвестно куда. Все поиски оказались тщетными, и я считал его мертвым или скрывшимся, отчаивался когда либо иметь возможность распорядиться своим имуществом. Подумайте, какое это для меня было несносное стеснение!

И вот я полчаса тому назад собрался Вам писать, как мне вдруг докладывают о приходе главного директора государственных имуществ Ломбардского Королевства. Так как ради князя Меттерниха вся австрийская монархия за мною ухаживает, и я уже имел случай воспользоваться любезностями местной администрации, я счел долгом его принять. Его впустила. Никогда дорогой друг, я не испытывал подобной столь неожиданной радости! Это был г. Виоццоли! Он был так удивлен моим радостным приемом, что даже смутился: «Знайте, милостивый государь, что ангел, сидящий верхом на голубовато-золотистом облаке, показался бы мне теперь менее прекрасным и достойным любви, чем Вы!» И я стал его целовать, так что он, вероятно, подумал, что я сошел с ума, пока я, наконец, не объяснил ему причину моей пылкой любви. Завтра он мне принесет надлежащий документ, и мои седые волосы, наконец, освободятся из-под этой опеки. Согласитесь, что это одна из тех милостей Провидения, которые превосходят всякие человеческие ожидания. И подумал, что мне стоило только поехать в Милан, где находился этот господин, и остановиться у него в замке, где он проживает, чтобы освободиться от томления, в котором я находился восемь месяцев! А я думал, что он уже на том свете и просил Господа оказать мне благодеяние и отыскать хотя бы его книги, чтобы найти этот документ, который я не знал, где искать. Я до сих пор не могу прийти в себя и не знаю, откуда я почерпнул силу, чтобы Вам рассказать это происшествие.

Флоренция, 18 июля 1817 г.

…Я хотел вознаградить барышню Лунину за то, что она распространила слух о моем красноречии[324]. Несмотря на

стотысячный годовой доход, составляющий ее приданое в день ее свадьбы, ей еще не удалось выйти замуж. Двадцать три раза ей делали предложени, но ни разу ее отец (сумасшедший), ее мать (дура) и она сама не могли прийти к соглашению; недавно еще отказали князю Кампасса, испанскому гранду и красавцу мужчине. Поэтому я взял ее под свое специальное покровительство. Заметив. Что она влюблена в одного молодого человека[325], который, не обладая ничем кроме красивой внешности и крупного таланта к пению, не решался представиться Луниным, я просил г-жу д'Альбани сделать от его имени предложение; оно было принято, и все кончилось благополучно. Сегодня я, в качестве доверенного жениха, установил все условия, и через три недели будет отпразднована свадьба, кажется, на водах в Лукке.

От этого неожиданного счастья бедная девушка так охрипла, что я дрожу при мысли, что она вчера вечером могла иметь меньше успеха, чем обыкновенно. «Ах! В какое ужасное осиное гнездо вы меня толкнули», — сказала вчера вечером г-жа д'Альбани, — «до чего эти люди глупы. Как вы это можете перенести при вашем не особенно терпеливом характере! У меня закружилась голова и я, наконец, сама не знала, что говорю». Я не стану утверждать, что моя голова тоже не закружится сегодня утром, ибо отец в одно и то же время расточителен и скуп, нескромен и лжив, низок и противен; но я запасся храбростью, а мое общественное положение тоже окажется не вредным при переговорах с ним, ибо для того, чтобы повлиять на действительного статского советника Лунина требуется только поставить его лицом к лицу с величием и властью. Он мне вчера сказал: «Дорогой граф, устройте так, чтобы князь у меня пообедал, и я готов на все что вы хотите». Что Вы на это скажете, дорогая кузина, разве он не благороден?

Флоренция, 24 июля 1817 г.

Сегодня утром я имел большую радость. Я писал Вам о браке, готовящемся между Луниной и Риччи. Отец невесты требовал непременно, чтобы его зять был титулован, а жених принадлежал к одной из тех старинных аристократических фамилий, которые никогда не желали иметь титула. Но я решил устроить это дело, и только что получаю известие, что великий герцог Тасканский был настолько добр, что возвел жениха в графское достоинство. Его Императорское и Королевское Высочество выказал при этом такую милость и быстроту, которые меня глубоко тронули. Я пользуюсь отъездом Меттерниха, чтобы сообщить через него это счастливое известие в Лукку, так что г. Лунин узнает об этом

завтра утром при вставании с постели.

Флоренция, 26 июля 1817 г.

…Принцесса Уэльская[326] более сумасбродна, чем когда-либо; она не дает покоя папе и кардиналу Консальви, чтобы они пожаловали Бергами Мальтийский крест. В памятной записке, которую она представила по этому поводу, она ссылается на довольно оригинальные примеры: на Риччио, любимца Марии Стюарт, и на князя Мира[327]. Нельзя было найти, ни среди живых, ни среди мертвых никого менее подходящего!

Мне сообщили некоторые любопытные подробности о ее связи с Бергами. Она просила генерала Пино рекомендовать ей хорошего курьера. Он прислал ей этого человека, присовокупив, что несмотря на его ум и храбрость, он считает своим долгом предупредить ее, что этот человек два раза судился и что во второй раз он его с трудом спас от виселицы. Это, однако, не послужило препятствием, и четыре небольших путешествия порешили его счастье. При первом он был только курьером; при втором он сидел рядом с кучером; при третьем — в карете и был допущен к столу; а при четвертом он уже очутился в постели[328] — и к тому же публично. Он любил играть на сцене, и на даче, где принцесса имеет свое пребывание, был сооружен театр и была составлена труппа, в которой приняла участие сама Ее Королевское Высочество. Весь Милан и Комо получили приглашения на это представление и там можно было видеть то, чего никогда никто раньше не видал, а именно: каждый раз, когда являлась принцесса, в сопровождении Бергами, им неистово рукоплескали, а всех остальных освистывали с остервенением. Это было до того смешно, что в следующие разы никто из знати не счел возможным прийти, и пришлось удовольствоваться зрителями из простого народа.

Луккские воды, 6 августа 1817 г.

…Хотите, чтобы я Вам рассказал анекдот, который меня очень развеселил? Вы, конечно, слыхали про принципы курфюрста Гессенского, который смотрит на все двадцать пять лет Революции как на вещь не существующую. Он восстановил все то, что ему раньше принадлежало в смысле прав и имуществ и предоставил всякому делать то же самое. При этом он нисколько не горячится, а действует с точным спокойствием и твердою решительностью. К одному генерал-лейтенанту, который достиг этого чина не при нем, он любезно обратился со словами: «Здравствуйте, господин капитан!» Больше всего досады ему причинила отмена кос в войсках, и он приказал, чтобы в течение

трех месяцев каждый опять заплел себе косу, длиною не менее трех футов. Так как это невозможно было исполнить, то прибегали к двум способам, чтобы не ослушаться его приказания: одни привязывали искусственную косу к отросшим за это время собственным волосам, а другие прикрепляли косу к своим шляпам. Когда недавно стояла очень жаркая погода, все старались прохладиться, и занимавшие караул во Дворце сняли свои шляпы. Вдруг их предупреждают о приближении курфюрста; каждый хватает первую попавшуюся шляпу и все становятся в ряд, но в замешательстве фланговый, у которого уже была коса, взял шляпу, на которой была прикреплена другая коса, так что у него оказались две косы. Курфюрст это скоро заметил. Распустив караул он подзывает к себе флангового и, вынимая из своего кармана лундор, говорит ему со слезами на глазах: «Я знаю, что ты всегда мне был предан, я очень доволен твоею верною службою, но постарайся все таки не преступать моих приказаний!» Это как будто сочиненная, ради потехи, сказка, но я могу Вас уверить, что это взято из официального рапорта и совершенно достоверно. Согласитесь, что это новый род помешательства, который мог появиться только у немецкого князька, или у батальонного адъютанта…

Луккские воды, 9 августа 1817 г.

…У нас здесь гостит этот маленький Бартольди[329], прусский генеральный консул при всех итальянских Дворах, что вынуждает его быть в вечном движении, которое он любит, как свой элемент. Он все видит и все знает, ко всему прислуживается и старается быть полезным; словом, по моему мнению он несносен, но люди с положением щадят его на всякий случай… Это еврей из Берлина, который, будучи в Риме, крестился, но, ради оригинальности, насмеялся над Св. Коллегией и сделался реформатором. Об этом обращении зашла речь в большом обществе «Что это за обращение: — сказал один старик кардинал — господин Бартольди только переменил комнату в обиталище дьявола», — сказал один старик кардинал. — Вы, конечно, будете очень возмущены подобным изречением, моя дорогая кузина, но потом вы над этим посмеетесь, ибо в устах кардинала эти слова звучат очень красиво!

Флоренция, 2 сентября 1817 г.

…Я не знаю, что делает мой брат. Его обошли при назначении на место обер-гофмаршала к великому скандалу всей России… Ваши сведения о свадьбе Луниных совершенно неверны. Господин Риччи, благодаря мне, уже граф и камергер

Австрийского императора и ему это ничего не стоило. Я жду его сегодня из Рима с надлежащими разрешениями церковных властей. Генерал Хитрово исчислил мне сегодня все, что я сделал для русских за время моего пребывания здесь, и я сам этому удивился.

Празднество в Ливорно[330]

Следующий день был кануном нашего отъезда из Ливорно и мы решили, что после посещения г-жи д'Альбани, я вечером у графини Аппони встречусь с Меттернихом. Все были в восторге, что предстоит момент отдыха, и великий герцог не мог воздержаться, чтобы не сказать, потирая себе руки: «Наконец-то завтра все будет сказано и сделано и не придется так скоро увидеть друг друга».

От г-жи Аппони я узнал, что Его Императорское Величество действительно на другой день уедет, но что другие Дворы еще останутся один день и что я, таким образом, побуду еще сутки на берегу Средиземного моря. Мы мирно разговаривали вдвоем, как вдруг докладывают о приходе человека, имеющего мне что-то передать от имени Бразильской принцессы. «А! это верно шутка нашего дорогого князя, — сказал я, — вы позволите его впустить, графиня?» В комнату входит господин, одетый в черный костюм со шпагой, имеющий вид камерфурьера и обращается ко мне со словами: «Ее Императорское и Королевское Высочество не хочет покинуть Европу, не познакомившись раньше с таким известным своими достоинствами лицом, как Ваше Сиятельство, и просит вас пожаловать завтра в десять часов утра на палубу корабли Жуан VI», куда маркиз Мариальва будет иметь честь вас проводить».

— «Но знаете ли вы, с кем вы говорите?» — спросил я удивленно. — «С Его Сиятельством графом Головкиным, бывшим российским посланником в Неаполе». — «В таком случае, милостивый государь, я прошу вас повергнуть к стопам Ее Императорского и Королевского Высочества мой ответ, что я не премину явиться завтра в десять часов». Я не мог удержать от хохота, но графиня Аппони не смеялась. Меттерних казался ей слишком сдержанным и дипломатичным, чтобы впутать имя эрцгерцогини в такую шутку. Тем временем подошел ее муж, и мы просили его разрешить наше недоумение. Он присоединился к своей жене.

Мы еще спорили об этом, как доложили о приходе камердинера эрцгерцогини Марии Луизы[331]: «Ее Императорское Величество, узнав, что Ваше Сиятельство завтра пожалует на палубу судна португальской эскадры, и желая разделить с

Бразильской принцессой удовольствие вашего знакомства, сами желают вас проводить туда и будут ждать Ваше Сиятельство в своих покоях ровно в девять часов утра». — «Но знаете ли вы, с кем вы говорите? — повторил я ему свой вопрос и получил тот же ответ. Дело принимало трагический оборот. Я как-то неловко сделал большой реверанс и просил доложить Ее Величеству, что я повинуюсь ее приказанию, а затем опустился в кресло. «А что!» — поддразнивала меня графиня Аппони. «Ну что же!» — заметил граф, поглядывая на меня с любопытством, ибо он с трудом привыкал видеть меня на почве, которую он считал своею, находя, что он делает мне много чести, что вообще замечает меня; а тут я оказался стоящим так высоко над ним и над всеми другими! Я ничего не отвечал и углубился в мысль об этом досадном приключении, все еще надеясь каким-нибудь способом отделаться от него, как в комнату вошел князь Меттерних.

К счастью, он пришел один, ибо между нами произошла очень бурная сцена. Я жаловался на то, что он злоупотребляет относительно меня своим положением и обстоятельствами, и настаивал на том, то я никому не дал права распоряжаться моей свободой, даже самому государю; я напомнил ему также, что у меня с собою нет другой одежды, кроме той, что на мне. «Эрцгерцогиням все это известно, но они все-таки желают вас видеть, чтобы с вами познакомиться и побеседовать». — «Я не принадлежу к таким людям, с которыми можно себе позволить играть комедию, — продолжал я протестовать. — Если я бываю любезен, то для своих друзей, а не для принцесс, которых я, конечно бы обо мне, если бы они знали что делать со своим временем». — «Говорите, что хотите, — ответил Меттерних, — но я полагал, что имею право отвечать за вас, как за своего друга, и вы, надеюсь, не поставите меня в неловкое положение, ибо такой отказ не переносят даже от родного брата!» И он вместе с Аппони, который разыгрывал возмущенного, стал мне восхвалять чрезвычайное значение лестного отличия, выпавшего на мою долю. Они старались выставить беспримерную милость, заключающуюся именно в том, что меня приводило в бешенство. Наконец, я схватил свою шляпу и выбежал.

Но утро мудренее вечера, и за ночь я передумал. Бессонница дала мне время сообразить, что мне придется видеть много интересного и это я все увижу лучше чем кто-либо другой; а что если при этом выйдут неловкости, то они отразятся на самом Меттернихе или на эрцгерцогинях; поэтому я решил, что самое умное — предоставить этому делу свой ход. Я приказал моему камердинеру почистить мой жалкий костюм, состоявший из фрака, серой шляпы и легких нанковых панталон, и ровно в

девять часов явился во дворец Ее Императорского Величества, прося доложить обо мне обер-гофмейстеру императрицы графу Нейппергу. Эрцгерцогиня тотчас же вышла сама в сопровождении князя Меттерниха, приветствовала меня несколькими лестными словами, и мы сквозь громадную толпу народа поехали в порт. Там нас ждала большая гондола, белая с бронзовыми украшениями, с возвышающимся посреди шатром из малиновой камки, над которым развивался большой тосканский флаг, с матросами, одетыми в ярко-красный цвет с золотыми галунами. Ее Императорское Высочество. Вошла в гондолу с графиней Каприани, ее статс-дамой, графом Нейппергом, князем Меттернихом и мною.

Когда мы вышли из порта, море оказалось очень бурным. Ее Величество побледнели, и это мне тоже дало возможность обнаружить, что я чувствую себя скверно. Мне всегда казалось, что самая страшная смерть — утонуть, и такое волнение, как то, которое нам тогда пришлось испытать, было для меня несносным. В один момент, когда ветер еще усилился, Мария Луиза мне сказала: «Старайтесь рассеяться, а главное не смотрите на море. Делайте как я, восхищайтесь прекрасно навакшенными сапогами князя».

«Ваше Величество, мои глаза заняты только одним предметом, и стихия, на которой мы находимся, даже не доходит до моего сознания. Если бы нам грозила хотя бы малейшая опасность я знал бы чем заняться, помимо сапог». Мои слова произвели хорошее впечатление. Она не даром была во Франции и отлично знала, что оттенок волокитства не мешает почтительности.

Нам пришлось проплыть три мили, пока мы добрались до эскадры; ветер не только был очень силен, но дул нам навстречу, так что переезд был продолжителен и труден. Причаливание к «Жуану VI» оказалось по истине ужасным. Гондола-то находилась на воздухе, а корабль погружался в пропасть; то эта пропасть разверзалась перед нею, и корабль уходил туда вместе с нею. Когда мы собирались броситься к трапу, нас удерживали матросы; и когда мы в следующий момент хотели выжидать более благоприятного случая, нас заставляли выходить, одним словом, я не могу себе представить и не припомню всех этих переходов с одного судна на другое, которое мне пришлось пережить в этот день. Бразильская принцесса встретила императрицу на верхней площадке трапа. Я заметил, что мое присутствие сильно отвлекает Двор от установленного церемониала. Испанцы и португальцы еще не приучились терпеть, чтобы к их принцам относились с неуважением. Но князь Меттерних, который,

благодаря своему положению, привык не стесняться ничем, взял меня за руку и представил меня принцессе перед фронтом гвардии, которая в это время била поход и производила, вместе с музыкой поставленной на корме, ужаснейший шум. Он привел дикаря и это для него было своего рода торжество; но португальский обер-гофмейстер, который хорошо знал свое дело, сказал очень громко: «Я надеюсь, что князь Меттерних сделает мне честь сказать мне, кто этот иностранец, которого он представляет Ее Императорскому и Королевскому Высочеству». Князь, нисколько не смущаясь, ответил так же громко: «Это русский вельможа, мой попутчик, мой гость, и я желал чтобы Ее Императорское и Королевское Высочество с ним познакомилась, прежде чем расстаться с Европой». Когда же принцессы отошли, он меня представил ему, извиняясь несколькими словами в виде объяснения.

Этот обер-гофмейстер — граф Кастель-Мельор, внук того, который употребил, в качестве фаворита, во зло сумасшествие короля Альфонса; это очень важный барин, которого в своих поместьях застал ордер из Рио-де-Жанейро сопровождать эрцгерцогиню в Бразилию, что заставило его немедленно сесть на корабль вместе с женою, произведенною в статс-дамы принцессы, довольно хорошенькою, но вечно заплаканною, пятью маленькими вечно больными детьми и прислугою, состоящею из сорока человек. Обер-шталмейстер, маркиз Пенафьель, высокий мужчина с довольно красивым лицом, что редко встречается среди вельмож его страны, получил приказание показать мне каюты принцессы, куда, строго говоря, ни один иностранец не имеет доступа; но на море — много вольностей, а мое ничтожество имело свои преимущества. Я никогда не видел ничего более изящного. У входа, вместо дверей, опускалась тяжелая бархатная портьера малинового цвета с вышитыми на ней португальскими гербами. Гостиная была из индийской кисеи, вышитой золотом на голубом фоне; вдоль стен стояли диваны, покрытые такою же материей. Направо, над клавикордами, висел портрет Бразильского принца в натуральную величину, представляющий его в виде очень красивого, но плохо нарисованного мужчины; налево была размещена избранная библиотека, которую Мариальва выписал из Парижа. С той же стороны была дверь, ведущая в спальню, обитую кисеей, вышитой серебром на розовом фоне. Кровать, стоящая посреди комнаты, напоминала большую золотую колыбель; в тихую погоду она покоилась на бронзовых ногах, а в бурную — подвешивалась на золотых канатах: она была покрыта драгоценнейшими кружевами, какие только существуют. Золотой туалет

превосходнейшей работы украшал глубину этой каюты. Другая каюта, по ту сторону гостиной, служила гардеробом, и мне ее показали только издали. По всю сторону гостиной находилась столовая, освещаемая сверху и очень красиво разукрашенная арабесками.

Когда я на вас насмотрелся и всем восхитился, обер-шталмейстер подвел меня к Ее Императорскому и Королевскому Высочеству, чтобы я мог поблагодарить ее за ту исключительную милость, которой я удостоился. Она с императрицей сидела на палубе, на возвышенности — в роде эстрады — вокруг которой разместились придворные. На эту эстраду надо было мне при всех подняться. Так как корабль сильно покачивало, что придавало неуверенность моему шагу и придавало моему костюму еще больше оригинальности, я воспользовался общим поражением, чтобы сказать принцессе, как только я очутился на последней ступеньке, что мне пришла в голову одна мысль, которая, в связи с приказанием, полученным мною от Ее Высочества, успокоила меня насчет неблагопристойности, в ее присутствии, моего костюма и моей серой шляпы. «А что именно?» — спросила она. «португальцы подумают, что я назначен сопровождать Вас в Бразилию и привезти туда одно из ваших благодеяний — ветряные мельницы». Это всем показалось очень весело и в то же время очень почтительно, а адмирал так расхохотался, что все лица его земляков прояснились. Принцессы, которым только и хотелось поболтать, были очень довольны, и так как я видел, что разговор затянулся на долго и что мне не придется сесть, я просил разрешения опереться о мачту, около которой возвышалась эстрада. Я уверен, что я издали походил на Иосифа, истолковывающего фараону его сны.

По этому поводу я скажу пару слов о внешности эрцгерцогини. Императрица Мария Луиза довольно высокого роста, хорошо сложена, блондинка, но цвет ее лица не такой белый, как после ее приезда во Францию; она изящно одета, обладает приятными и грациозными манерами и представляет из себя скорее хорошенькую женщину, чем великую государыню. Ее сестра[332] — гораздо меньшего роста, полнее, с более короткой шеей и очень светлыми волосами, но прелестным цветом лица; она говорит обдуманно, движения ее исполнены достоинства и более соответствуют представлению о женщине, которой суждено занять трон. Трудно себе представить те крайности этикета, которым она должна подвергать себя, вследствие ее брака с бразильским принцем, тогда как она у императора, своего отца, привыкла к патриархальным и буржуазным манерам! Она может обедать только с равными себе и ей прислуживают не иначе, как

на коленях!

В тот день императрица обедала на корабле. Духовник и доктор стояли напротив принцесс, а за их креслами размещались лица, имевшие ход ко Двору. В некотором расстоянии от них стоял граф Кастель-Мельор, имея перед собой маленький столик, на который ставили блюда. Он накладывал их на тарелки и затем подавал их принцессам, опускаясь перед ними на одно колено. Накануне вышло недоразумение; граф Нейпперг отказался от коленопреклонения, как несогласного с австрийским и пармским придворным этикетом, и португальский обер-гофмейстер вследствие этого передал одному из лакеев тарелку, предназначенную для императрицы, что уже было совсем неприлично. Князь Меттерних посоветовал обратиться за разъяснением этих вопросов ко мне, придавая моему мнению решающее значение. Я испросил на это приказание императрицы и признал Нейпперга неправым на том основании, что сущность высокой придворной должности заключается в том, чтобы предупредить всякое умаление достоинства государя; а так как Нейпперг продолжал упорствовать я решил, что граф Кастель-Мельор будет прислуживать, на манер своей страны, только своей принцессе, и что последняя каждый раз сама будет передавать императрице, как особе коронованной, первую тарелку, которую ей подадут и оставить себе вторую. Этим моим решением много восхищались, но португальский обер-гофмейстер счел вдруг нужным проявить свое усердие и объявил, что он сам будет прислуживать, как Ее Величеству, так и Ее Императорскому Высочеству, что мне показалось хорошим уроком для пармского обер-гофмейстера.

По окончании обеда, бразильская принцесса рассказала мне по этому поводу весьма любопытные вещи. Накануне вечером ей вдруг сильно захотелось пить. Графин с водою находился в ее гостиной, но она не смела до него дотронуться, а кроме обер-гофмейстера никто не имел права подать ей воду. В это время обер-гофмейстер, сильно измученный, как раз заснул, и принцесса не хотела нарушать его сна, что ее заставило переносить в течение трех часов мучения жажды. В тот же день она, желая быть любезной, стала разговаривать с придворными дамами, которых прислали к ней навстречу, но обер-гофмейстер подошел к ней и сказал: «Ваше Императорское и Королевское Высочество можете лишь один раз в день говорить с г-жей Кастель-Мельор, вашей статс-дамой, а к другим можете обращаться только во время аудиенции или по какому-нибудь делу. Это вызвало объяснение, при чем оказалось, что для того, чтобы воспользоваться обществом графинь Кюнбург, Лодрон и

Зарентгейм, которые из чувства привязанности сопровождали принцессу в Бразилию, им надо предоставить вход наравне с камеристками или камер-фрау. Мне почудилось, что я переживаю времена Фердинанда и Изабеллы. Какая разница между почестями, по установленному самим королем регламенту, и милостями, которые принцесса в праве оказать только низшим чинам, а между тем она не может изменить этого этикета, и для того, чтобы оказать милость дамам высшего ранга, ей приходится приравнять их к прислуге, имеющей право входа только благодаря гардеробу. Это хотя и противоречит здравому смыслу, но, надо полагать, входит в искусство царствовать.

Столь неудобное величие все же имеет тоже свои хорошие стороны. На другой день после посадки на корабль обер-гофмейстер испросил у принцессы специальную аудиенцию и, опустившись на одно колено, передал ей один ключ со словами: «Король, мой повелитель, приказал мне передать этот ключ Вашему Императорскому и Королевскому Высочеству. Если бы вам случайно понравилась какая-нибудь вещь, не предусмотренная заботами ваших верных подданных, вы найдете в ларце, под туалетом, то, что даст вам возможность удовлетворить ваши желания». Приложенный к ключу реестр, который она показала Меттерниху, пояснил ей, что в этом ларце находились двести тысяч луидоров, что составляет около пяти миллионов франков. Я вспомнил, что обратил внимание на этот ларец, весь покрытый стальными обручами.

Императрица, старавшаяся, видимо, оказать мне, из любезности к моему знаменитому другу, свое внимание, сказала вдруг в присутствии принцессы и всего Двора: «Хватило ли бы у вас смелости проводить мою сестру в Америку?»

«Ах, Ваше Величество!» — «Отвечайте прямо!» — «Я никогда не позволил бы себе любить ее настолько!»

Тем временем принцессы удалились с Меттернихом во внутренние покои, чтобы проститься с ним, так как он собирался ехать, и я воспользовался этим моментом, чтобы осмотреть корабль и сравнить его с судами других наций; но тут меня ждало большое разочарование. Так как вспыхнувшие в Бразилии смуты вызвали необходимость послать туда войска на тех транспортных судах, которые первоначально были предназначены для поездки принцессы, то пришлось собрать на «Жуане VI» и на «Сен-Себастьяне», на котором за принцессой следовал австрийский посол, граф Эльтц со своею свитою, все то, что было необходимо для столь продолжительного путешествия. Первый из этих кораблей был разделен на три части. Корма была разукрашена таким образом, чтобы ласкать чувства высочайшей

путешественницы; она была вся покрыта прелестнейшими цветами; множество певчих птиц были спрятаны в зелени; курение благовонными эссенциями Старого и Нового Света наполняло воздух благоуханием. Зато остальные две трети корабля представляли собой живой образ Ноева ковчега и содержались до крайности грязно, распространяя отвратительный запах. Там было слышно мычание коров, хрюканье свиней и блеяние овец, а восемь тысяч кур и четыре тысячи голубей одновременно кудахтали и ворковали о потере своей свободы. Я никогда в жизни не видал и не нюхал ничего подобного, и если с одной стороны корма «Жуана VI» осталась в моей памяти как чудный сон, то нос этого корабля запечатлелся в ней как ужасающая помойная яма.

Наконец, в два часа мы распростились с этим храмом и этою конюшнею.

XXIX. Две характеристики (Екатерина II, Павел I)

Головкин приехал в Петербург в такое время, когда царствование Екатерины II находилось в полном своем блеске; но, несмотря на обаяние, которое она производила на всех приближавшихся к ней, воспоминание о предшествовавшем царствовании было еще слишком живо, и граф Федор выслушивал из уст современников императрицы Елисаветы любопытные подробности о ней. Известно, что она придавала громадное значение своей красоте, по истине замечательной; поэтому и ее туалет, по словам Головкина, играл в ее жизни самую главную роль. Она прилагала одинаковое старание как для того, чтобы нравиться офицерам и ослеплять простых солдат, так и для того, чтобы очаровывать князей и вельмож, русских или иностранных, составлявших ее двор. Она оставалась благодарна войскам за их поведение при восшествии ее на престол, но вместе с тем чувствовала с того времени такой ужас к революциям и переворотам, что помня, что последний из них произошел ночью, никогда, даже зимою, не ложилась спать раньше рассвета.

Головкин особенно останавливается на ее привычках к изящному и на своеобразном деспотизме, с которым она подчиняла им своих первых вельмож и придворных дам.

Описав правильные черты лица, величественный рост и изящную осанку, изысканные и обдуманные позы государыни, Головкин рассказывает, что все великолепие и внимание Елисаветы Петровны сосредоточивались на своей личности, и история ее изящества заключает в себе что-то сказочное. Во время ее туалета перед нею выставляли весь ее гардероб, и она переставала примерять платья лишь тогда, когда ей казалось, что она осуществляет собою идеал красоты. Граф Иван Чернышев рассказывал Головкину, что, добившись ее согласия приехать к нему в загородный дом крестить его первого ребенка, он в утро дня, назначенного для крестин, получил уведомление, что императрица велела пустить себе кровь, и что он не будет иметь чести видеть ее у себя. Тем не менее, после полудня верховой паж галопом прискакал сообщить ему, что она сейчас приедет. Действительно, несколько мгновений спустя, Елисавета Петровна появилась в открытом экипаже. Она лежала на матрацах и подушках из черного атласа, одетая в газ и с рукою на пышной перевязи из красно-серого газа. Она не пожелала сойти, оставалась очень долго, не покидая избранной ею живописной

позы, и уехала лишь вполне уверенная в восхищении всех собравшихся.

Под влиянием постоянной заботы об осуществлении жившего в ней идеала красоты, Елисавета Петровна нисколько не заботилась об удобствах других и требовала слепого повиновения всем своим малейшим желаниям в особенности, в области мелких подробностей домашней жизни, так как в области политики она охотно поддавалась чужому влиянию и, по словам Головкина, больше задумывалась над выбором туалета, чем над заключением союза или согласием подписать доклад министра.

Придворные балы и спектакли по преимуществу давали ей возможность одевать ее чудные туалеты, задуманные с редким искусством; но, когда, случайно, сочетание не удавалось так, как она желала этого, она совсем не выходила из своих апартаментов.

«Начало придворных балов и спектаклей раз навсегда было назначено на шесть часов вечера, — говорит Головкин; никто не смел не прибыть на них, но часто императрица появлялась на них лишь в одиннадцать, а часто в одиннадцать гофмаршал возвещал, что она не выйдет, и что можно разъезжаться».

Если верить Головкину, императрица была враждебным врагом каждой красивой женщины, и в особенности красавицы из придворных быстро становились предметом ее нерасположения. В особенности это испытала на себе жена обер-егермейстера Нарышкина, урожденная Балк. У нее были чудные волосы — и она получила приказание обрезать их. Она была сложена, точно изваяние, и придворное платье только оттеняло совершенство ее бюста — и она получила приказание носить это платье без фижм. Тогда-то ей пришла в голову мысль заказать в Англии фижмы с пружинами. Она приезжала ко двору точно божество, затмевая всех своею тальею, своим нарядом и видом. В то же мгновение, когда появлялась императрица, пружины падали, и платье и талья теряли свою прелесть; но как только императрица удалялась, пружины снова оказывали свое действие.

Понятно, что беспрерывное разнообразие туалетов императрицы требовало значительного количества всевозможных платьев и принадлежностей к ним, но никто не подозревал, до какой цифры доходило оно. Головкин определяет его следующим образом:

«Императорский гардероб после смерти императрицы Елисаветы, — говорит он, — достигал таких необычных размеров, что его хватало вплоть до царствования Александра I, т. е. в течение полустолетия, не только на все придворные карусели, кадрили, балеты и спектакли, но и на убранство целых церквей, облачения для священников и на украшение алтарей, как в

городе, так и во дворцах».

В смысле пристрастия к нарядам и модам Екатерина II представляла полную противоположность Елисавете Петровне. При этом она и в области моды хотела оставаться прежде всего русскою.

«С самого своего восшествия на престол, — говорит Головкин, — она пожелала воспользоваться любовью, которую проявляли Орловы к народным обычаям, любовью, которая скорее являлась у них следствием незнания ими иностранных обычаев, чем следствием определенного решения вернуться к старинным костюмам. Они, а также несколько других придворных, появились в этих длинных одеяниях, так хорошо обрисовывающих стан молоды людей и придающих столь величественный вид старикам. Редчайшие меха лишь усиливали великолепие чудных материй, а звезды и орденские ленты казались на них еще более достойными зависти; но Чернышевы, Шуваловы, и Строгановы, выдвинутые Елисаветой, обнаружили столь живое огорчение, так кричали о святотатстве, что пришлось отказаться от этого».

Дамы не добились того же успеха относительно удовлетворения их требований: императрица сама подавала пример простоты и полной независимости от капризов моды. Она стала носить открытое и широкое платье с двойными рукавами, сохранившееся под названием русского. Женщины ее возраста последовали этой созданной ею моде, а для молодых, умиравших от тоски, что они должны одеваться не так, как в Париже, ее несколько видоизменили. Но так как быть допущенною на малые балы в Эрмитаже считалось большою милостью, а на них можно было являться лишь в таких платьях, то молодые женщины были вынуждены хвалить этот костюм и носить его.

Влияние Екатерины в области светской жизни сказалось не на одних туалетах.

«Едва она вступила на престол, как в тоне и манерах произошел полный переворот. Трудно было бы объяснить, каким образом женщина, перенесенная столь юною из прусского гарнизонного городка в среду двора, наполовину немецкого, приобрела безукоризненные вкусы, которыми вполне естественно восторгали в ней и которые обнаруживали скорее личность, воспитанную в лучшем парижском обществе, чем самодержицу всея России».

По словам Головкина это следует приписать близкому знакомству Екатерины в ее юности с графом Понятовским, «самым безукоризненным человеком в Европе по своим хорошим манерам и по хорошему тону своей вежливости и своих речей. Тогда она желала быть только женщиной и достойною его, и

любовь в связи с гибкостью юного возраста совершила чудо». Действие подобного примера на русское общество было волшебно, и, начиная с 1765 года, в Петербурге можно было наблюдать лишь парижские и московские манеры.

«Юность усвоила первые, старики вернулись ко вторым, и карикатуры на русских, скрещенных с немцами, сразу исчезли».

Но даже такой легкомысленный предмет для наблюдений, как дамские моды, дает возможность Головкину подметить в Екатерине одну черту, составлявшую существенную особенность ее характера — любовь ко всему русскому и высокое мнение обо всем русском, благодаря чему она, быть может, и стала столь популярной «матушкой Екатериной», «матушкой-государыней».

Явная любовь Екатерины к старинным костюмам и обычаям вовсе не была простой причудой с ее стороны; в ее уме, по справедливому наблюдению Головкина, жил план «снова обнародить народ» («renationaliser la nation») и поднять русских в их собственных глазах.

Она увидала, что порядок вещей, противоположный тому, который был установлен Петром I, являлся единственным лекарством против развивавшихся болезней, порожденных его преобразованиями.

«Когда после Кайнарджийского мира всевозможные успехи окутали ее атмосферою славы, когда она увидала, что в глазах ее народа на каждом из ее начинаний лежит печать удачи, она позволила проникнуть в свою тайну, и тогда все поняли, что она хотела царствовать над русскими, над великим народом, а не над какими-то выродками».

Питая отвращение к крайним средствам, предпочитая обольщение приказаниям, она, казалось, по отношению к себе допускала только одно самолюбие — то, которое ей приписывали ее подданные. Слова «Россия», «русские» она произносила с каким то почтительным самодовольством, и когда случалось, что ее хвалили за что-нибудь, она отвечала с серьезным видом: «Это исходит не от меня, а обусловлено великими судьбами России». Всегда и во всем она старалась скромно стушеваться перед этими магическими для русского сердца словами, пытаясь вселить во всех твердое убеждение, что Россию ждет блестящее будущее: льстя народному самолюбию, она будила в русских самосознание и, вместе с тем завоевывала свою популярность.

Сама с восторгом отзываясь о русских, Екатерина придавала огромное значение тому, чтобы и другие так же говорили о них. Поэтому легко себе представить замешательство интимного кружка императрицы, когда однажды обер-штальмейстер Нарышкин, вообще позволявший себе некоторые вольности языка,

вдруг обратился к ней со следующим замечанием, сказанным с самым невинным, почти детским видом:

«Государыня, в течение моего детства и юности о русских говорили, как о самом последнем из народов; их называли медведями и даже свиньями; за последнее же время, и совершенно справедливо, их ставят выше всех известных народов. И вот я желал бы, чтобы ваше величество соблаговолили сказать мне, когда же, по вашему мнению, мы стояли наравне с ними?»

Все, слышавшие это, покраснели, а императрица, никогда прежде не испытывавшая замешательства, вместо всякого ответа переменила предмет разговора.

Из воспоминаний Головкина об императрице Екатерине интересен эпизод, относящийся к пребыванию ее в Царском Селе, куда он часто сопровождал государыню, и прекрасно рисующий личность великой самодержицы.

«Это было в 1792 году, в июле месяце, — пишет Головкин, — я занимался рисованием под колоннадою греческих бань в Царском Селе. Туда же пришла императрица, прочитывая толстую пачку депеш. Мы были одни; она читала, я рисовал, и лишь шелест листвы нарушал безмолвие этого чудного уголка. Вдруг я взглянул на нее, быть может, с удивлением. Она тотчас же встала, подошла ко мне и, без дальнейших околичностей, стала громко читать донесение об одном из генералов. Вследствие своей самонадеянности, неповиновения он нагромоздил ошибку на ошибке, спрашивали ее инструкций и относительно его и произведенной им путаницы в делах.

Точно побуждаемая потребностью оправдаться в своих собственных глазах она с живостью сказала мне, что никогда не придавала значения этому человеку, но что ему покровительствовал князь Потемкин и несколько раз заставлял других рассказывать ей чудеса о нем. Я молчал. Она стала ходить взад и вперед; затем, через несколько минут, она снова вернулась ко мне и проговорила с глубоким вздохом.

«О, если бы небо вместо юбок дало мне хорошие лосины, подобные вещи не случались бы! Я бы поручилась отвечать за все. Управляют при помощи глаз, руки, а у женщин — одни глаза».

Рассказывая о графе Мамонове, заносчивом и думавшем, что ему все позволено, Головкин передает о следующей в высшей степени неуместной шутке, которую тот позволил себе по отношению к одной из самых приближенных придворных дам, очень некрасивой, но за свой важный вид получившей от императрицы прозвище «королевы». Она служила для интимного кружка Екатерины мишенью для всевозможных шуток, развлекавших государыню, и вот Мамонов условился с Сегюром

застать ее во время ее туалета. Поставленные ими шпионы оказались настолько проворными, что, когда Мамонов с Сегюром вошли к ней в комнату, она меняла белье. Вышел большой скандал, и, хотя Екатерина много смеялась по этому поводу вместе с Мамоновым, но хотела сделать вид, что ничего не знает о произошедшем.

Однако, замечает Головкин, по рассеянности, или же из желания позабавиться, она вдруг заметила пострадавшей:

— У вас очень рассерженный вид. На кого вы сердитесь?..

Не получив никакого ответа, она воскликнула:

— Как? Вы даже не соблаговоляете отвечать мне?

— Я удивлена, государыня, — возразила та, — что вы спрашиваете меня об этом. Я думала, что, когда ваше императорское величество оказали мне честь там приблизив меня к своей особе, вы тем самым предохранили меня от возможности каких бы то ни было нахальных выходок против меня.

Следствием этого ответа, смутившего императрицу, было то, что оба виновника неуместной шутки получили приказание пойти извиниться.

Для характеристики личности Екатерины не лишен значения рассказ о неудавшейся попытке обер-гофмаршала Барятинского уничтожить обычай, стоивший громадных денег и заключавшийся в том, что к столу каждого придворного подавали к нему в комнату до шестидесяти бутылок вина. Екатерина терпеливо выслушала князя, а затем сказала ему:

— Я попрошу вас, милостивый государь, никогда не предлагать мне грошовой экономии. Это было бы прекрасно где-нибудь в другом месте, а у меня это было бы неприлично.

Благодаря этому обычаю, один из придворных, состоявший при великом князе Павле Петровиче, составил себе в течение тридцати лет лучший погреб в империи.

Но не допуская мысли, чтобы малейшее ограничение расходов Двора отзывалось на других, она охотно принимала реформы, касавшиеся ее лично, и, как бы она ни мечтала о приобретении каких-либо произведений искусства, когда у нее не было денег, она не поддавалась искушению.

— Исчезни, сатана, или дай мне рублей! — говорила она комическим и вместе с тем огорченным тоном тому, кто соблазнял ее покупкой.

Насколько было сильно обаяние, которое императрица оказывала на приближенных к ней лиц, лучше всего доказывает следующий случай с князем де Линь во время ее крымского путешествия, отчасти носящий на себе отпечаток средневекового романтизма. Она обещала ему подарить храм Дианы,

прославленный некогда жертвоприношением Ифигении, и от которого сохранилась до того времени лишь одна одиноко стоявшая колонна. Когда императорская флотилия приблизилась к Партеннице, Екатерина, стоя на палубе возле князя де Линь, медленно протянула руку и, точно не замечая, что галера продолжала двигаться, проговорила:

— Князь де Линь, я даю вам эти земли на левом берегу Днепра.

Князь поцеловал руку императрице и, бросившись вплавь в мундире и с оружием, быстро достиг берега, вырезал кинжалом имя императрицы на утесе Ифигении и тем же образом вернулся обратно. По словам Головкина, Екатерина была в восхищении от этого рыцарского поступка, думая, что она является единственной героиней его, и только позднее князь сознался ей, что на другой стороне утеса он вырезал имя дамы, занимавшей в то время все его мысли.

Де Линь, расположение к которому Екатерины особенно усилилось после крымского путешествия, часто позволял себе противоречить императрице, что, впрочем, по-видимому, нравилось ей.

Однажды разговор шел о храбрости, и Екатерина заметила вдруг:

— Если бы я была мужчиной, я была бы убита, не достигнув капитанского чина.

Князь де Линь с живостью возразил ей:

— Я нисколько не верю этому, государыня, так как я нахожусь еще в живых.

Императрица не поняла сразу и на мгновение замолкла, а затем принялась смеяться над уроком скромности, преподанным ей князем, отказавшимся поверить, чтобы она была храбрее его. Иногда Екатерина выбирала его посредником между собою и Мамоновым и была в восхищении, когда он доказывал ей, что она не права.

Де Линь страстно любил сады, и императрица часто советовалась с ним относительно украшения Царского Села. Он редко сходился с нею во мнениях, так как, по его словам, «она имела все вкусы, не имея вкуса». Между прочим он много смеялся над речкой, прорытой по ее приказанию. Однажды в этой речке утонул рабочий, и, как только Екатерина увидела князя, она тотчас же сообщила ему эту новость.

— Как, государыня, рабочий утонул в речке вашего величества?

— Да, князь. Что вы скажете на это?

— Какой льстец! — воскликнул остроумный де Линь.

Из воспоминаний Головкина о крымском путешествии императрицы Екатерины следует отметить, при какой своеобразной обстановке произошла встреча императрицы с австрийским императором Иосифом — это было их первое свидание после долголетней разлуки, последовавшей за их близким знакомством.

Когда императорская флотилия приближалась к Херсону, в котором Екатерина должна была встретиться с Иосифом, она узнала, что он сухим путем отправился к ней навстречу. Она тотчас же сошла на берег и в свою очередь поспешила навстречу к нему.

«Мы бежали так хорошо, — рассказывала она, — что встретились среди поля, нос к носу. Первые слова, сказанные им мне, были следующие: «Политики ловко попались: никто не видел нашей встречи». Он был со своим послом Кобенцелем, а я с князем де Линь и графиней Браницкой».

Затем Екатерина вместе с императором Иосифом сели в карету и отправились в Кайдак: император, думая, что будет обедать у императрицы, а она — рассчитывала на обед Потемкина. Между тем, Потемкин, не ожидавший их приезда, отправился на сооружение какого-то нового города, не заказав себе обеда, и хотя и вернулся как раз во время, чтобы встретить августейших гостей, но достаточно поздно, чтобы предложить им обед. Тогда «великолепный князь Тавриды» немедленно сам отправился на кухню вместе с принцем Нассауским и графом Браницким, и они принялись, кто как умел, приготовлять кушанья. Обед, конечно, вышел прескверный.

— Но несмотря на это, — говорила Екатерина, — ели, смеялись и были довольны.

Возвращаясь из Крыма, императрица, как известно, останавливалась в Москве; однажды она спросила де Линь, как он находит этот город.

— Мне представляется, — отвечал князь, — что я вижу четыреста или пятьсот домов вельмож, которые они перекатили сюда на колесиках вместе со своими деревнями, чтобы соединиться здесь и жить целым обществом.

Пребывание Екатерины в Москве дает повод Головкину высказать много интересного об архиепископе Платоне. Платон был в полной немилости у императрицы и должен был опасаться ее приезда; он даже знал из тайных донесений, что Екатерина решила заключить его в Троицко-Сергиевскую лавру. Однако, по словам Головкина, он нисколько не тревожился этим, зная, что, если Двор не расположен к нему, пока находится в Петербурге, все тучи рассеиваются, как только он прибывает в Москву; он

производил на Дворе то же обаятельное впечатление, под которое подпадали все, приближавшиеся к нему.

Два дня спустя после приезда Екатерины праздновался его юбилей; приказ об отправлении Платона на покой должен был быть отдан тотчас после обедни, но Екатерина, решив так, не приняла во внимание красноречия Платона и произнесенной им потрясающей проповеди. Растроганная и взволнованная, она приказала сказать незаметно священнику, готовившемуся произнести ектенью, назвать в ней Платона митрополитом. Таким образом, вместе изгнания, он достиг вершины церковной иерархии. Князь де Линь наравне с другими поддался чарующему обаянию Платона.

«Если бы вы узнали его, — писал он маркизе де Куаньи, — вы бы до сумасшествия полюбили его. Вчера, выходя из его сада, княгиня Голицына испросила его благословения; он сорвал розу, благословил ее и с безукоризненным изяществом предложил ее княгине».

«Платон, — пишет Головкин, — как и большинство русских монахов, был самого скромного происхождения; обладая большим умом, которому сильное честолюбие не позволяло заржаветь, он был назначен законоучителем Павла I, еще в бытность его великим князем; ему же было поручено ознакомить первую жену великого князя с языком и религией страны, и при Дворе он приобрел привычку, а, может быть, и наклонность к интригам. Он был приветлив и добр с простым народом, обожавшим его, высокомерен и суров с вельможами, которых заставлял ухаживать за собою, и постоянно более или менее неудобен для своего государя. Его враги называли его шарлатаном алтаря и кальвинистом в глубине души, но он никогда не служил без того, чтобы не растрогать до слез, никогда не произносил проповеди, части которой не приводились бы потом, как цитаты. После этого в тиши своего кабинета он читал Вольтера, Гельвеция, Руссо, и говорил о них с полным знанием предмета».

По восшествии своем на престоле, император Павел Петрович стал раздавать духовенству ордена и послал Платону ленту св. Андрея Первозванного, но тот отказался от нее, сославшись на то, что подобные новшества противны церковным уставам.

— Кавалер ордена, — сказал он, — должен взяться за меч, если его начальник прикажет ему это, а рука священника, взявшегося за оружие, — проклята.

Рассерженный этим отказом, Павел Петрович объявил, что будет помазан на царство петербургским митрополитом, а московский — Платон будет только присутствовать при этом в

своем же кафедральном соборе. Однако, приехав в Москву для коронации, он забыл запретить Платону встретить его в Петровском дворце, а митрополит, почти умирающий, велел свести себя туда.

«Накануне он приобщался, — говорит Головкин, — и я сам отправился достать ему стакан воды, думая, что приближается его последний час. Я помог ему подняться на ротонду. Император, войдя, нахмурил брови при виде его и, если бы только было возможно, запретил бы ему приветствовать себя. Платон начал свою речь почти угасшим голосом; он имел вид мученика первобытной церкви, стоящего перед римским префектом, но затем, одушевляясь постепенно, наговорил таких прекрасных вещей, что для того, чтобы лучше слышать его, круг слушателей мало-помалу сплотился вокруг него. Император поражен, митрополит замечает это, его голос крепнет, красноречие увлекает его; взволнованный император ловит себя на слезе, императрица дает полную волю своим слезам, все собрание растрогано. Тогда-то он громовым голосом призывает благословение на нового императора и производит такое поразительное впечатление, что их величества бросаются к его рукам, точно для того, чтобы не упустить его. Никогда я не видел более трогательной сцены».

Головкин передает, что, когда Павел Петрович, еще в бытность свою великим князем, после кончины своей первой жены, обнаруживал такое неутешное горе, что даже опасались за его рассудок и его жизнь, принц Генрих Прусский, находившийся тогда в Петербурге, придумал, как средство спасти цесаревича от его печали, обвинить покойную великую княгиню в недостаточной верности супружескому долгу; для этой цели были пущены в дело не только подложные письма, но и Платон, бывший духовником Натальи Алексеевны, ввиду благости цели — спасти цесаревича от его горя, согласился подтвердить распущенную клевету, сказав великому князю, что узнал об этом из собственного признания усопшей, сделанного ею на предсмертной исповеди.

XXX. А. В. Суворов

Кажется, что все уже рассказано о Суворове (1821 г.)… Но, между тем, существуют о его личности некоторые мелкие подробности, которые доступны только людям, бывшим при дворе, и могут быть объяснены лишь теми, кто знаком был с государственными делами. Эти подробности придадут новые оттенки уже ясным, вполне определившимся чертам нашего полководца.

О благородстве происхождения Суворова были не особенно высокого мнения; но он украсил свое имя такими великими деяниями, что этот пункт совершенно неважен, тем более, что его отец был генералом и притом весьма заслуженным, которому доверено было поручение в Константинополе при очень важных обстоятельства. Суворов, от природы человек тщеславный, прекрасно умел оценивать людей, с которыми ему приходилось иметь дело. С того времени, как он начал думать, что достиг некоторой известности, и что за ним наблюдают, он, чтобы привязать к себе солдат, проявлял грубость в своих нравах и в действиях, а также крайне преувеличенное благочестие. Качества эти были вполне достаточны для того, чтобы закрепить за ним преданность солдат; вместе с тем, он сделал для себя безвредными своих соперников, которые видели в нем по его действиям человека, близкого к сумасшествию, и, не считая его поэтому опасным для себя, предоставляли ему идти его дорогой.

Зато он и достиг успеха, пользуясь всеми обстоятельствами, в которых не нашелся бы всякий другой, и дошел до высших степеней путями, которые казались достойными сумасшедшего дома. Средства Суворова для достижения цели были в одно и то же время так ничтожны и так необыкновенны, что я приведу лишь несколько случаев из его жизни, которые, для ознакомления с его личностью, стоят всех длинных повествований о его походах.

Во время первой польской конфедерации, после того, как поляков заставили признать своим королем Понятовского, ему было поручено уничтожить ее с незначительными военными силами, находившимися у него. Он скоро заметил, что препятствием для достижения этой цели являлось также и хорошо организованное конфедератами шпионство, так что каждый его шаг, который он намеревался сделать, был ими всегда предупрежден. Воспользоваться этим открытием было бы делом обыкновенного таланта, а при превосходстве сил у конфедерации даже уничтожение шпионства привело бы только к слабым или не вполне верным результатам. А вот что придумал Суворов. Он

велел объявить в дневном приказе, что двинется на неприятеля при первом крике петуха. Конфедераты, по обыкновению хорошо обо всем осведомленные, со своей стороны сделали что нужно, чтобы все было готово для встречи его к полночи; между тем, как только наступили сумерки, Суворов пустился бегать по лагерю, крича, как умел, петухом. Солдаты уже знали его странности, и в несколько минут каждый был на своем месте; неприятель был застигнут врасплох, и меньше чем в час конфедерация прекратила свое существование.

Суворов никогда не имел при себе ни экипажа, ни кровати, ни даже лошади. Когда на нем были его сапоги, он считал себя раздетым; миска солдатских щей заменяла ему обед; когда ему было жарко, он ходил по лагерю в одной сорочке; если он позволял себе несколько развлечься с первой попавшейся маркитанкой, он потом бежал к ближайшему ручью, крича солдатам: «я согрешил, я согрешил!». Подобное поведение сделало Суворова любимцем солдат; но ему было мало этого: он хотел усыпить своих соперников и поразить придворных и потому вел себя также странно даже при дворе; во время пребывания в Петербурге: он пользовался чудным помещением во дворце, но обедал в нем в 10 часов утра, при чем ел копченую рыбу, кислую капусту, соленые огурцы и кашу; ложась спать снимал сапог только с одной ноги и шпоры с другой; забавлялся тем, что разрывал простыни из тонкого голландского полотна и дорогие китайские одеяла. Я видел однажды как государыня Мария Федоровна предложила ему тарелку с первыми плодами; он поблагодарил императрицу и велел отнести всю тарелку в свою комнату, вместо того, чтобы взять один персик или абрикос. Этот человек, который являлся ко двору, для того только, чтобы быть увенчанным лаврами или чтобы получить приказание пожать новые, этот человек входил в покои государя и великих князей не иначе, как с земным поклоном, и дело доходило чуть не до насилия, чтобы заставить его переменить положение, которое люди обыкновенно принимают в храме. Всякий понимает, какую противоположность составлял этот образ действий с гордым видом графа Румянцева или с рассчитанной небрежностью князя Потемкина! Его военные рапорты состояли всегда из смеси выражений самых подобострастных или носивших отпечаток религиозности, но всегда чрезвычайно кратких; иногда он придавал им стихотворную форму. О своем участии в делах он предоставлял докладывать другим, ограничиваясь сам только сообщением о происшедшем деле. В один из его походов, в войне против турок в 1770 году, большую важность представляло занятие крепости Туртукая. Овладев ею, он в своем донесении

ограничился следующим двустишием:

«Слава Богу, слава вам.
Туртукай взят, и я там».

Долговременное служение Суворова в низших офицерских чинах дало ему время обогатить себя разнообразными сведениями. Он был глубоко образован, но в беседе делал часто вид, что спрашивает по невежеству: он отлично знал много языков, но, постоянно притворяясь по крайнему недоверию к людям, прикидывался, будто говорит только на родном языке.

Наконец, желание Суворова внушить недоверие к нормальному состоянию его умственных способностей было так велико, что он никогда не возобновлял разговора с лицом, которое не отвечало ему сразу или не отвечало хотя на один заданный вопрос, хотя бы оно заведомо неспособно было на него ответить. Например, на вопрос: «Где Калькутта?» — следовало отвечать: «На Миссисипи!», и тогда он находил вас восхитительным и крепко обнимал вас от всего сердца.

Когда венский двор просил Павла I назначить Суворова для командования войсками в Италии, государь сделал вид, что он удивляется, что желают этого назначения, потому что Суворов не ходил на парады, как он, и не придавал ни малейшего значения прусским экзерциям. Государь открыто смеялся над Суворовым, хотя был очень польщен, что у него просили о его назначении. Но когда у Суворова дело коснулось подготовительных работ с австрийским послом графом Кобенцелем и с генералами, принцем Ауэрспергом и Дитрихштейном, он выказал такое знание местности, на которой ему предстояло действовать, а также такое понимание военных операций французов, что оставалось только восхищаться и молчать: Суворов знал гораздо больше тех, которые имели смелость собираться учить такого человека, как он.

Так как я вменил себе в обязанность не обходить в моих воспоминаниях, которые я оставляю после себя, ничего того, что я видел и слышал, то я закончу эту статью двумя фактами, которые могут вполне обрисовать, портрет Суворова. В 1792 г. он приехал в Царское Село, где находился тогда двор, и нашел там князя Потемкина, которому угрожала немилость государыни. Положение Екатерины между этими двумя личностями было довольно щекотливо, так как она уже решилась не выдвигать ни того, ни другого. Однажды в воскресенье она прислала за мной за час до своего туалета и дала мне поручение к фельдмаршалу очень длинное и важное, говоря, что она не хотела затруднять

старика (очень молодого), заставляя его подниматься к ней (труд, который он исполнил бы с удовольствием).

Я велел доложить о себе фельдмаршалу от имени ее величества; после бесчисленных с его стороны знаков почтения, которые меня совсем уничтожали, он сообщил мне такие точные и ясные подробности дела, Что я пришел в восхищение. По всей вероятности, он заметил это, потому что в то время, когда он провожал меня, несмотря на мои просьбы избавить меня от этой муки, до последней передней, — увидев там г. Ребиндера, обер-шталмейстера, он громко спросил его: «Кто этот господин, который уходит? — я его не знаю». Нужно заметить, что мы ежедневно обедали у государыни в числе шести или восьми человек, и что герой-царедворец хорошо знал всех приглашенных с первого дня. Но то, что я собираюсь передать, более замечательно.

Как-то заговорили о ложных репутациях, которые создаются людьми. Суворов сделал глупое лицо, — сначала промолчал, а потом с казал вдруг: «Очень трудно исполнять свой долг; меня считали за варвара, при штурме Праги, убито было 7000 человек. Европа говорит, что я чудовище; я сам читал это в печати, но я хотел бы поговорить об этом с людьми и узнал от них: не лучше ли кончить войну гибелью 7000 человек, чем тянуть дело и погубить 100 тысяч? Столько людей, которые гораздо умнее меня; очень бы желал, чтобы кто-нибудь потрудился объяснить мне это!».

Он имел от своей жены, княгини Прозоровской, толстой и глупой женщины, которую его победы покрыли бриллиантами и знаками отличия, когда все обыкновенные награды были исчерпаны, хотя они постоянно жили врозь, двух детей: дочь, вышедшую замуж за графа Николая Зубова, впоследствии обер-шталтмейстера, добрую и добродетельную маленькую особу, которую он очень любил, и сына…

Этот сын, очень красивый пошел затем довольно быстро в гору, но утонул в пьяном виде, переправляясь через какую-то реку в Турции. Он поступил хорошо, сделав это, потому что благодаря игре и разным сумасбродствам, потерял все земли и бриллианты, которые получил его славный отец. Он оставил в большой нужде, от брака со старшей дочерью обер-шталмейстера Александра Нарышкина, двух дочерей и двух сыновей, которых я видел брошенных на произвол судьбы, в 1816 году, во Флоренции.

Император Александр пожаловал им 25 000 рублей пенсия до совершеннолетия младшего. Я просил его величество поручить мне двух сыновей и распоряжение пенсией, потому что мне казалось ужасным видеть внуков Суворова, остающихся без

образования и без хлеба, на берегах Арно. Я отдал их в знаменитый институт Гасвиля. Они до сих пор находятся там. Я сомневаюсь, чтобы из них вышли выдающиеся люди, но, по крайней мере, их нравственность и слава их имени, кажется мне, находится в безопасности.

XXXI. Шевалье Д'Азара

Шевалье д'Азара, бывший так долго испанским министром в Риме и умерший посланником в Париже, был, по его словам, сицилианец незнатного происхождения. Это был человек среднего роста, носивший отпечаток благородства, с сильным характером, замечательного ума и обладавший познаниями преимущественно по древней литературе и искусствам. Каждое утро, без исключения, перечитывал он Горация. У него было слишком много такта и вкуса, чтобы его цитировать, особенно по-латыни, но можно было заметить, что поэтический дух, которым отличалась его беседа, был воспитан в этой высокой школе. Он был друг и покровитель Менга. Артисты и писатели, если только были сколько-нибудь того достойны, находили в нем мецената.

Сначала он был известен по своему управлению Римом, которое разделял с ним кардинал Берни, французский поверенный в делах. Дружба их, основанная на короткости их ежедневных сношений, всегда была искренна. Кардинал обладал кротостью и мягкостью в той же степени, как шевалье — силой и высокомерием; один успевал там, где другой терпел неудачу. Г. де Берни дополнял г. д'Азара в ловкости, а последний придавал энергию первому. Что ускользало от первого, легко давалось второму. По смерти кардинала, Азара остался один господином Рима. Привычка, более чем религия, составляла основу папского могущества, и, со времени французской революции и после превратностей судьбы, испытанных австрийским императорским домом, Испания одна, можно сказать, поддерживала величие папского престола. Преждевременно утомленный человеческими слабостями и политическими ошибками, испанский министр обратился к филантропической системе, которая отнимала у него часть энергии.

Он не вдруг увидал, до какой степени уклонился от своих собственных принципов и от законов своего положения и, гордый воспоминаниями о власти, которой владел он в продолжение полувека, полагал, что достаточно было его «Quos ego» для удаления всякой опасности. Он полагал также, что, заняв Толентинское ущелье, через которое Бонапарт готовился перейти, он своим красноречием и логикой заставит вернуться вспять человека, для которого не было преград в продолжение многих лет. Азара вдался в обман, наравне с Францией и всем миром, и честь его пострадала также наравне с честью других; по крайней мере извинением ему служили его прошлые успехи и хорошие намерения. В расчет человеческого самолюбия входит

преувеличение значения проступков тех, которые казались наименее способными их сделать, потому-то так много людей, стоявших несравненно ниже Азара по своим талантам и характеру, старались наложить темные пятна на поведение, а впоследствии и на память шевалье Азара. Вследствие этого именно я вменил себе в обязанность воздать должное памяти Азара, хотя и не разделял его мнений, отдать справедливость этому благородному и открытому характеру, который никогда не сбивался с пути чести, и осмелился стать выше своего положения и данных ему инструкций, когда ему грозила опасность удалиться от него. Сейчас увидят, что я говорю о нем со знанием дела. Буду стараться оправдать испанского министра, основываясь на некоторых фактах его долгой политической карьеры. Этот мало интересный в данное время предмет прольет несколько света на другие, которые в том нуждаются, и всегда будут возбуждать интерес.

Климент XIV так мало рассчитывал быть папой, что в самый день возведения его в это достоинство, видя Азара у решетки конклава, поцеловал у него руку с просьбой оказать ему покровительство у будущего первосвятителя. Это был бедный монах, очень застенчивый, по привычке искавший себе покровителей. Ученые не могли понять, почему г. Каррачиоли и другие писатели хотели его выставить в истории за гениального человека. Когда испанский министр пришел с поздравлением, то сказал ему: «Обращаюсь с первой просьбой к вашему святейшеству». — «Могу ли отказать в чем-нибудь своему благодетелю?» — «Просьба моя заключается в том, чтобы вам хорошенько обмывали ноги, потому что этому не придают особого значения». Я откровенно расспрашивал министра относительно смерти Климента XIV. Вот его ответ: «Что бы там ни говорили писатели и романисты, знайте, что жизнь этого бедного человека никогда ничем другим не была отравлена, как только страхом перед ядом. Это положительно трус, умерший от страха». Предчувствия, беспрерывная боязнь его, были так сильны, что, вручая кардиналу Берни папскую грамоту об уничтожении иезуитов, он сказал ему: «Вы этого хотели: это мой смертный приговор», и с этой минуты впал в агонию. Г. кардинал Берни рассказывал противное, (я это слышал, между прочим, от герцогов де Ноайль и де Лаваль), он приписывал смерть отраве.

Никто при папском дворе не возбуждал так досады г. Азара, как Пий VI. Во-первых, вследствие возведения его в папское достоинство, из-за которого Азара едва не лишился места, потому что мадридский двор не хотел одно время признавать нового папу. Поведение Броти считало скандалезным: он рано достиг

кардинальского пурпура, и вовсе не каноническими путями, но судьба явно покровительствовала счастливцу. Испанский двор получил о том известие об избрании с отвращением. Карл III горько плакал и думал отменить баллотировку. Азара нуждался во всех своих умственных способностях и в действительной бодрости духа, чтобы воспрепятствовать этому большому скандалу и, быть может, церковной схиме, тем более опасной для религии, что враги его, уже явно озлобленные, не пропустили бы такого благоприятного случая осмеять своего властителя. Но новый папа заставил его дорого поплатиться за такую большую услугу. Он был до того упрям и груб, что каждый день бывали новые неприятности. Испанский министр назначил ему в государственные секретари Буонкомпаньо, умного и знатного человека, младшего брата князя Пиомбино, с которым у него ежедневно бывали неприятности более, или менее важные. Однажды у них дело дошло до того, что св. отец ударил кардинала, который, в свою очередь, взяв его святейшество за ворот, порядком поколотил его. Г. Азара, тотчас же предуведомленный об этой сцене, отправил слишком горячего кардинала в Болонью, а сам отправился потом в Ватикан, где ожидал его папа, с живейшим нетерпением. Как только папа завидел его издали, так закричал: «Расскажу вам неслыханный случай». — «Все знаю, св. отец, и мнение мое бесповоротно». — «О! Негодяй представил вам это дело по-своему». — «Я ему верю: он слишком знатного рода, чтобы снизойти до лжи». — «Я желаю, чтоб вы меня выслушали». — «Хорошо». Рассказ был очень длинен, а св. рассказчик — очень вспыльчив, по обыкновению. — «Ну, что вы о том думаете теперь?» — «Думаю, что кардинал держал себя по-княжески, а папа — не лучше лакея».

Тон г. Азара со св. коллегией (собором кардиналов) был тон визиря с рабами. Азара сам находил его смешным, неприличным, но считал необходимым, и оставлял его не иначе, как с людьми действительно достойными, что производило тогда большой эффект, как вообще нечто редкое, выдающееся. Он меня так сильно полюбил, что бывало, когда я замечал перед обедом, что я находил общество слишком многочисленным, или недостаточно избранным, то приказывал приносить два прибора в гостиную, где мы обедали вдвоем, и посылал принцессу Сантакрос в столовую для приема гостей. Помню факт, который особенно поразил меня, хотя сам по себе был ничтожен. Доложили о кардинале, приверженце Австрии. — «Его надо принять. Вот уже десять раз со вчерашнего дня, как он просит допустить его до меня». Кардинал входит, говорит несколько слов на ухо шевалье,

которого легкий пароксизм подагры удерживает на кушетке. — «Жалею, что подумал, будто ваше в-ство приехали только поблагодарить меня за посланные книги; но ничего не потеряно. Я пошлю за римским губернатором, намою ему порядком голову, и дело уладится». Кардинал удалился. Послали за губернатором; с ним обошлись, как с последним из людей, и, полтора часа спустя, кардинал вернулся благодарить за быстро оказанную справедливость. Дело шло об убийстве его повара. Мне необходимо было привести несколько подобных анекдотов, чтобы сделать более правдоподобным тот, который сейчас расскажу; он послужит ответом всем, хотевшим выдать г. Азара за якобинца и изменника делу Бурбонов.

Это было в 1794 г. Маленький король Людовик XVII только что умер в руках негодяев, которым поручили его особу. Азара, как и я, был в личных отношениях и вел правильную переписку с *Monsieur* (братом Людовика XVIII), поселившимся в Вероне и признанным регентом меньшинством дворов. Легко было предвидеть, что принц примет титул короля, но державы и все наши дозволят ли смуты? Могли ли бы мы взять на себя ответственность за инициативу! Могли ли мы, не считая личного чувства, дать пример низости? — «Друг мой, сказал мне Азара, не знаю, что сделает мой двор, но знаю хорошо, что он должен сделать, и я придам величия новому королю». Мне, молодому русскому посланнику было не так легко, как старому министру, уверенному в своем кредите, разрешить такое деликатное дело, но я всегда полагал, что главное нужно быть благородным, и мы первые во всей Европе, признали вдвоем Людовика XVIII. Когда я принес свою ноту шевалье, для отправления вместе с его, он мне сказал: «Это не все: надо заставить папу сделать то же, и как у вас нет никакой официальной роли, вы можете начать атаку. Если получиться успех, то это будет важный шаг, который может увлечь за собой общественное мнение. Если же нам не удастся, то, по крайней мене, мы поступим, как люди благонамеренные. После полудня отправился я в Ватикан. Кардинал Зелада, государственный секретарь, был предупрежден заранее и впустил меня к папе. Его святейшество принял меня, по обыкновению, очень хорошо; но я застал его таким боязливым, нерешительным, и к тому же столь естественно упорным относительно всего, что не выходило из его святейшего мозга, что мне надо было отказаться от славы внушить ему идею, как бы ни была она прилична и серьезна по последствиям, которые могла повести за собою. Г. Азара не потерял бодрости духа, и на следующее же утро сам принялся за атаку. Последовали просьбы и отказы, возражения и упорство, угрозы и упрямство. Наконец обоюдная

вспышка. Министр вышел из себя и, в присутствии служащих прелатов, наполнявших приемную, закричал папе: — «Ваше в-ство, вы были и будете всегда глупцом!» Св. отец, привыкший, в продолжении 30 лет к внутреннему раздору, затаил новую обиду, но затем еще более упорствовал в желании не признавать старшего сына церкви. Впоследствии, когда Испания, переменив систему, завела сношения с национальным конвентом, Азара написал королю Людовику XVIII: «Говорят, что двор мой ведет переговоры с Францией. Не знаю, будет ли продолжаться пенсия вашему в-ству (36 тысяч пиастров), но умоляю ничего не предпринимать по этому поводу. Всем, что я имею, я обязан покойному королю Карлу III, моему доброму государю. Я получил состояние свое от Бурбонов, и оно должно перейти к Бурбонам. Глава их дома не должен стесняться принять доказательства признательности человека, который служит им уже 40 лет.» В то время как Азара это писал, он уже содержал на свой счет в Риме французских принцесс и их свиту.

Самая неприятная миссия, которую должен был выполнить г. Азара в продолжение своей долгой дипломатической карьеры. Возложена была на него королем Карлом III, который относился к Азара с особенным уважением. Следовало поехать в Неаполь с письмами, в которых заключались усиленные просьбы к королю Фердинанду заточить королеву в монастырь или тотчас же отправить ее в Вену. Но слабость сына разрушила справедливость отца. Оба двора помирились только со смертью последнего, и гнев королевы не имел ни границ, ни конца. Министр, более спокойный, забавлялся тем, что приводил в отчаяние принцессу, которую, к тому же, публично обвинял, будто она хотела его отравить. Одна из самых удачных его мыслей лучшего всего осуществилась, когда он велел поставить в испанском дворце, в Риме, большую картину, на которой изображен был король обеих Сицилий, на коленях принимавший свои владения, как дар отеческой любви.

Приехав впоследствии в Рим, королева, с самой границы, даже форейторам говорила об Азара, называя его не иначе, как плутом, испанским негодяем. Когда карета остановилась перед дворцом Фарнезе, королева тогда только вышла, когда римский губернатор уверил ее честным словом, что Азара выбыл из города, чего он не мог не сделать, вследствие убедительных просьб папы. Тем не менее в случаях, повторявшихся ежедневно все чаще и чаще, когда следовало отделить частные интересы от общих, министр придерживался образа действий, достойного общественного деятеля и честного человека. Приведу пример достаточно сильный, который не оставит ни малейшего сомнения

относительно его лояльности и откровенности. Регент Швеции, герцог Зюдерманландский, впоследствии Карл XIII, поссорился с неаполитанской королевой, вследствие оказанной ею протекции барону Армфельд, шведскому министру в Италии, замешанному в заговоре против этого принца, который напрасно старался овладеть им в Неаполе. Последовало объявление войны, довольно неосторожное со стороны Швеции, в виду ее сношений с востоком, но так как обе воюющие стороны не могли сразиться оружием, то с обеих сторон прибегнули к перу самых адских составителей пасквилей. Королева, боясь нового памфлета, который выпустит на ее счет г. Актон, синьор Пиранети, шведский агент в Риме, поверила мне свои новые опасения. Я хотел убедить ее отнестись к памфлетам с полным презрением, но, вместо того, чтобы принять такой мудрый совет, она умоляла меня спасти ее от нового оскорбления, мысль о котором преследовала ее даже во сне. Я обещал подумать о том. На следующий день новые настоятельные просьбы. Тогда я высказал ей, что у меня только одно средство повиноваться ей, средство, которое однако не удобно ни предложить, ни принять. Королева пожелала знать какое. Средство заключалось в том, чтобы обратиться к шевалье. Азара, который, будучи распорядителем в Риме, один мог запретить, или перехватить пасквиль. Что касается меня, я так полагался на принципы этого министра, что вполне был уверен в возможности получить от него начальническое распоряжение, необходимое для успокоения ее в-ства. Сперва она и слышать не хотела; не опасность казалась ей неминуемой, и она согласилась на все. Однако, ввиду того, что при этом дворе осторожность была далеко не лишняя, я поставил условие ожидаемой от меня услуги. Я должен был написать письмо в кабинете королевы, предоставив ей заботу его отправить. Она прочитала его, секретарь ее запечатал письмо, и оно было отправлено. Несколько дней спустя прибыль из Рима на мое имя огромный тюк. Это было все издание и манускрипт пасквиля. Письмо, сопровождавшее его, было вскрыто только у королевы, которая не устояла противу желания его прочесть. Азара уведомлял меня между прочим: — «Советую вам обратить особенное внимание на доказательство уважения, которое с удовольствием даю вам. Достаточно было одного вашего вмешательства, чтобы заставить уважать королевскую корону на той, которая столь недостойна носить ее. Клянусь вам всем для меня священным, что нет более ни одного листка памфлета ни в манускрипте, ни в печати; но в то же время примите совет не так легкомысленно оказывать услугу людям, неспособным ее оценить». Действительно, когда королева захотела меня погубить,

она поставила в число причин недовольства мной, что, будучи аккредитован при ее особе, я поддерживал такие близкие сношения с ее смертельными врагами, что с обеих сторон принесены были большие жертвы. Я полагаю, что впоследствии г. Азара снедало большое горе, но без угрызения совести, при воспоминании о неудаче его переговоров в Толентино. Он жил, как и следовало честному человеку, привыкшему к успеху, но жил очень дурно, и следовало простить его врагам, также, как и всем не знавшим его, за дурное суждение о нем. Его манера держать себя во Франции была в зависимости от его привычек. Однажды, когда Бонапарт сделал вид, будто не видит его и повернулся к нему спиною, Азара сказал громко своим соседям: «Император думает рассердить меня: он видно не знает, что я нисколько не ценю его внимания». — Бонапарт покраснел, и минуту спустя, обернувшись, притворился удивленным. — «А! Вы здесь, г. посланник, а я вас искал…» и обошелся с ним как нельзя любезнее. Возвратившись как-то из дворца Бонапарта, он сел на кушетку и испустил дух. Ему было тогда за 70 лет.

Разговор его был содержателен, остер, игрив, откровенен, и Иосиф II, наслаждаясь им в Риме, имел к нему полное доверие, основанное на уважении к его личным достоинствам. Когда предмет разговора увлекал Азара, у него являлось вдохновение, которое всегда удивляло и часто увлекало все собрание. Когда речь зашла за столом о памфлетах, осыпавших нас, кто-то нескромно заметил, что, по их мнению, 4/10 наследников престола были незаконнорожденные. — «Что за беда?» — живо воскликнул Азара: «Говорят, что Астурийский принц сын г. Далокастро, но опять скажу, какое кому до того дело! Его воспитывают и готовят быть королем. Испанцы знают, что у них должен быть король. Тот ли, другой ли, только бы он знал дело и сделал их счастливыми. Вот главное. Одни изменники и дураки откажутся ему повиноваться. Я готов это прокричать на мадридских улицах, совершенно так, как говорю здесь».

XXXII. Граф Ангальт [333]

Ангальт, гр. Фридрих, принимал деятельное участие в войнах Фридриха Великого, который считал его первоклассным тактиком и которого он уступил саксонскому двору, как человека, в преданности которого он был твердо уверен. Он приехал в Россию и был принять придворными, как бог Марс. Он получил почти одновременно чин генерал-поручика армии и звание генерал-адъютанта Ее Величества и Андреевскую ленту.

Честь быть родственником, хотя довольно отдаленным, Императрицы Екатерины[334] и репутация, которую он приобрел, делали совершенно естественным такие знаки милости.

Между тем, будучи совершенно незнаком с русскими нравами, Ангальт желал сделаться популярным еще не научившись русскому языку, и стал смешным еще раньше, чем приобрел уважение. Его длительные разговоры и тяжеловесная любезность, мало свойственная русским, давали гвардейским офицерам, которых он во время своего дежурства при дворе приводил в отчаяние частыми обходами по прусскому образцу и наставлениями, повод выдумывать на его сет смешные анекдоты. Потемкин, который вообще покровительствовал иностранцам, за исключением военных, потому что его собственные военные заслуги были ничтожны, подшучивал над ним до крайности, и даже Государыня, всегда поддерживавшая его, смеялась от души, когда позволяли себе рассказывать при ней об Ангальте. Большое легкомыслие, а также необыкновенное самомнение Ангальта совершенно унизили этого достойного человека, которого смешная важность, тяжеловесная беседа и немецкий акцент и без того лишали всякого уважения. Когда открылась война со Швецией, граф Ангальт упорно отказывался служить под начальством кого-либо. Он хотел получить сан главнокомандующего, который он, может быть, и заслуживал. Несмотря на полученный отказ, Ангальт не переставал просить об этом назначении, и так как директор сухопутного кадетского корпуса, граф де Бальмен отправлялся в действующую армию, то и воспользовались этим случаем, чтобы назначить Ангальта на его место. Однажды, когда Ангальт был дежурным при Императрице, он отправился осматривать корпус и потерял свою трость, бывшую принадлежностью генерал-адъютантского звания и знаком власти почти неограниченной в дворцовом обиходе. Все поиски были тщетны; но спустя некоторое время, трость эту принес лодочник, перевозивший графа через Неву и нашедший ее в своей лодке. Это событие произвело при дворе больше шума,

чем измена отечеству.

Добродушный генерал был очень доволен возможностью царствовать в своем заведении будущих героев, но выказал даже в этом случае такую мелочность и педантичность, что истинные свойства его ума и сердца оставались незаметными для людей, мало его знавших. В обществе появились его речи к ученикам, похожие скорее на проповеди, чем на разговоры начальства с учениками; появились отчеты о числе дверей и окон и даже в училище «говорящая стена» или собрание изречений, которые он писал на стенах корпусного сада. Должность президента экономического общества в Петербурге, а также участие в занятиях различных академий, сделали его общество совершенно невыносимым для тех, кто придает более значения внешности, чем внутреннему достоинству человека. А так как такие люди составляют, к несчастью, девять десятых всего общества, то этот честный человек, со здравым умом и неутомимым трудолюбием, сделался посмешищем для высшего общества и бичом для своих подчиненных. Слова: «Смешен, как граф Ангальт» стали поговоркой.

Действительно, он иногда с самым скромным видом говорил двусмысленные вещи. Граф Иван Салтыков, получив командование армией в Лифляндии, часто повторял без всякого повода: «Я порядком поколочу пруссаков». Однажды, когда он произнес это оригинальное изречение, граф Ангальт закричал ему в присутствии двора: «Ах, генерал, другие великие люди выражались не так: принц Евгений сказал о французских генералах: «если это Вилльруа, то я его побью, если Вандом, то мы поборемся, если Катина, то я сам буду разбит».

Другой раз, когда он разговаривал после обедни с г. Эстергази об Императрице, обер-шенк Нарышкин прервал их разговор шуткой: «Знаете ли, что я начал свою карьеру лейтенантом корабля?» — «Ах, сударь, из-за этого не стоило прерывать нас. Вы сделали, как все: вы начали с воды, а кончили грязью».

После французской революции, французские дворяне искали себе места в России, но то, что было легко до казни короля, сделалось затруднительным после этого события. Один 17-летний молодой человек, ученик военной школы, виконт де Ламот-Барасе написал из Альтоны трогательное письмо графу Ангальту, в котором называл его благодетелем молодежи и с восхищением вспоминал о «говорящей стене». Задетый за слабую струнку, граф собрал всех кадет, прочитал им, рыдая, письмо и не успокоился до тех пор, пока не был послан приказ о принятии де Ламота на первый же пароход отправлявшийся из Гамбурга к берегам Невы.

Граф Ангальт умер на своем посту в 1794 году все таким же смешным, но уважаемым человеком.

XXXIII. Принц Нассау-Зиген [335]

Принц Нассау-Зиген был одним из известнейших авантюристов эпохи, предшествовавшей французской революции, во время которой он продолжал играть ту же роль с большим для себя успехом.

Незаконный сын человека, который должен был публично признать себя отцом его, принц священной римской империи, как говорили в то время, милостью парижского парламента и Императрицы Всероссийской, Нассау-Зиген впервые появился при Версальском дворе, отличаясь прекрасной рыцарской наружностью, редкой осторожностью в интригах и замечательною молчаливостью. Это сначала придавало ему вид скромного и рассудительного человека и в продолжение долгого времени скрывало его глубокое невежество. Я говорю «глубокое», потому что он не умел ни писать, ни считать, не знал, где находятся местности, в которых он сам не был и почти не умел читать писанное.

Осада Гибралтара была началом военной его деятельности, но он при этом наделал массу ошибок, хотя за ним осталась репутация храброго и мужественного человека. Со времени Американской войны он находился постоянно под ружейными выстрелами, а промежутки между ними были наполнены смелыми искательствами, результаты которых были всегда для него выгодны — я говорю о наградах и пенсиях. Поэтому он всегда пользовался положением очень богатого человека, не владея ни пядью земли. Он был в одно и то время генерал-лейтенантом во Франции и Испании и вице-адмиралом в России.

Везде милость, которой он пользовался, и доверие, которое казалось, ему оказывали, возбуждали к нему зависть, но везде его холодная осанка и благородный вид мешали открыто нападать на него. Он получал большое жалованье и подарки, но проживал все и, держа дом на широкую ногу, бывал часто накануне полного банкротства. Я был очень дружен с ним, потому что это был настолько же честный, насколько и ограниченный человек; я позволю себе сказать, что я часто пользовался его услугами, так как он был очень отзывчив. Хотя он был несчастен в своих предприятиях, тем не менее он пользовался в России почетным и блестящим положением, потому что Екатерина II его поддерживала, вопреки мнению всех своих приближенных.

Он был начальником Черноморского и Балтийского флотов, вел очень важные переговоры, получил голубую ленту и большой крест ордена Св. Георгия, но кончил так же плохо и в России, как

в других странах. После отъезда из России принц Нассау-Зиген поселился в Венеции во дворце Loredan, название которого соблазнило его больше, чем сама местность. Он устроил здесь нечто в роде убежища для эмигрантов, где каждый платил или служил, смотря по своим средствам. Я сам пробыл у него там 2 месяца, когда, возвращаясь из Неаполя в Россию, я хотел выждать время, чтобы узнать причины своего отозвания.

Бедные принимались здесь без всякого затруднения и ничего не платили. Принцесса Нассауская отлично их принимала; но пора поговорить о ней.

Она была полькой по фамилии Горска[336], разведенная с князем Сангушко, и как мне кажется, еще с одним; она была прекрасна и была в восхищении, что имела возможность соединить свою судьбу с судьбою короля авантюристов. Она была образована, благоразумна, сговорчива или дерзка, смотря по настроению или обстоятельствам, но была большой лгуньей. По возвращении ее в день Пасхи из церкви св. Марка, мы ради шутки спросили ее, о чем проповедовали в церкви. «Об астрономии». Можно себе представить наше удивление! — «Как, об астрономии? В день Пасхи?» — «Да, об астрономии». И вот она импровизирует целую прекрасную речь. «Ужасно так лгать после причастия, значительно сказал ей епископ de Lombez[337], но нужно предположить, что проповедь, сказанная вами, вероятно, лучше той, которую вы выслушали». Но ее ничто не приводило в смущение. Во время шведской войны, стоившей стольких слез России, после печальной битвы при Свекзунде, во время которой погибло 12 тысяч человек, казна, знамена, все галеры и я не знаю сколько фрегатов, когда муж ее вел себя, как герой, она легкомысленно говорила: «Я не знаю, о чем кричат и шумят эти русские скоты, …во всем этом я вижу только славу принца Нассауского».

Во время своего пребывания в Петербурге, она страстно хотела быть статс-дамой и сильно домогалась этого отличия. Екатерина, соблюдавшая приличия, находила, что эта милость, как бы она ни была высока в России, была ниже женщины, муж которой был членом владетельного дома; она пыталась дать ей понять это, но безуспешно. Желая быть любезной к принцессе, Императрица искала средство удовлетворить ее, не нарушая обычаев, и решила послать ей свой портрет во весь рост — весьма редкое отличие — и драгоценности, стоившие не менее тех бриллиантов, которые окружали маленький портрет, носимый на груди статс-дамами. Но принцесса страшно разгневалась, говоря, что с ней обращаются, как со старым послом или с женщиной, приехавшей клянчить. Екатерина в своем безграничном

великодушии и желая успокоить ее, на другой день во время парада, подошла к принцессе и спросила ее: «Вы уже выбросили мой портрет через окно?» — «Нет еще», — был ответ. Можно себе представить, какое впечатление произвела эта дерзость на двор, преклонявшийся пред Государыней. Я не знаю, посоветовали ли принцессе Нассауской или ей приказал ее муж, которого она боялась, только через несколько дней она уехала в Польшу.

Иногда у нее были довольно смешные выходки. Она встретилась в Спа с Густавом III. Король этот, зная, что женщины не могут его любить, стал высказывать ей необузданную страсть. Однажды, когда он бросился к ее ногам, говоря, что умрет, если она не отдастся ему, она сказала: «Как, ваше величество, вы можете думать, что я вас не люблю! Между тем вы имеете самое убедительное доказательство — я вас не люблю так, чтобы вам отдаться».

Во время своего пребывания в Венеции, принц Нассауский, утомленный праздностью, захотел снова попытать счастья на службе в Испании. В Барселоне его заставили долго ждать разрешения отправиться в Мадрид, но когда он его получил, никто там не хотел его принимал. После многих хлопот ему приказали быть в манеже в то время, когда известный князь мира (Годой) будет кататься верхом. Он поспешил быть там; фаворит его не заметил; королева холодно спросила его, видал ли он когда-нибудь более прекрасного кавалера. Несчастный принц клялся, что он никогда не мог даже представить себе что-нибудь более совершенное. Все-таки на другой день он получил приказание оставить Испанию.

Между тем, принцесса Нассауская только что получила в наследство от своего брата Готского земли в Польше. Ее пылкое воображение подсказывало ей такие способы употребления состояния, которые она сама лишь была способна осуществить. Нарушили контракт с владельцем дворца Loredan, эмигранты разбрелись кто куда, остановились в Вене, чтобы разведать почву, но она показалась им неблагодарной, и тогда отправились в поместья их высочества. Первым делом принцессы в этих поместьях было отнять у крестьян земли, которыми они пользовались и на них насадить, но я боюсь, что меня заподозрят в подражании рассказам принцессы. Тем не менее, нужно упомянуть об этом, так как это известно: она употребила все земли под посев лаванды, семена которой с большими издержками были выписаны из Франции. Собирались захватить в свои руки всю торговлю лавандовой водой на всем севере и востоке. Балтийское и Черное моря должны были покрыться судами, нагруженными благовонными товарами, и миллионы

должны были стекаться со всех сторон…

В самый разгар этого прекрасного дела принцесса внезапно умерла, а принц, поехавший в Париж узнать, не назначит ли его старый товарищ по хитростям, Талейран, имперским маршалом, вернулся обратно, успевши только быть свидетелем на свадьбе бывшего Отенского епископа с одной содержанкой[338].

Он стал понемногу сходить с ума, и дело дошло до того, что этот столь важный человек, с виду такой рассудительный, сохранивший рыцарские манеры, умер в старинном придворном женском платье, в фижмах, в лентах, спускавшихся с его седой головы, и с шлейфом, поддерживаемым двумя пажами в парадной ливрее. От этого незаконнорожденного существа остались тоже только незаконнорожденные дети, из которых одна вышла замуж за *д'Аррагона,* сделанного пэром в то время, когда Деказ вздумал унизить во Франции палату пэров. Sic transit gloria mundi!

Я расскажу еще один случай из жизни принца, потому что он мне кажется замечательным.

Принц Нассауский, отправленный Императрицей к графу д'Артуа, находившемуся в Вероне, просил меня рекомендовать ему доверенного секретаря. Я вспомнил об одном молодом эльзасце — первом приказчике и любовнике одной француженки-интриганки, превратившейся после многих приключений в продавщицу мод и просившей меня пристроить его куда-нибудь.

Принц принял его без колебаний и нашел в нем много талантов; но их отношения сложились совсем не так, как у прочих людей. Обыкновенно, посол пишет черновую, которую затем переписывает секретарь начисто; здесь же посол диктовал, секретарь исправлял слова посла, и тогда уже принц с трудом переписывал черновую, которую он часто не умел читать… Этот секретарь, вытащенный из-за прилавка, казавшийся мне сперва только большим немецким мальчиком, стал господином д'Анстет[339], полномочным министром Императора Александра в самых важных случаях, имевшим красную ленту, одним словом, особой, которую Бонапарт ненавидел до смерти и объявил своим подданным. Его порок — пьянство высказался однажды довольно странно.

Присутствуя на церемонии, во время которой лорд Абердин принимал Императора Александра — кавалера ордена Подвязки[340], и будучи пьян, он стал говорить громко во время богослужебной тишины: «Какой фарс!» Император, который быть может разделял его мнение, ограничился приказом, чтобы впредь не совещались о делах с его частным секретарем д'Анстетом после обеда.

Тогда любили выскочек; настоящий барин затерялся между

ними.

Анекдоты

Императрица Мария Терезия очень строго относилась к самой себе и не менее строго следила за эрцгерцогинями, своими дочерьми. Она была очень скандализована тем, что принц Людовик Виртембергский, очень красивый и любезный мужчина, но младший член дома, который в ее глазах занимал второстепенное место, осмелился поднять свои взоры к принцессе Христине, впоследствии герцогини Саксен-Тешенской. Узнав, что он, во время представления в театре, позволил себя даже опустить записку в открытый ридикюль Ее Высочества, она в своем возмущении послала за обер-гофмейстером графом Ульфельдом.

— Знаете ли вы, что произошло между Христиной и Людовиком Виртембергским?

— Нет, Ваше Величество.

— Вы не поверите такой дерзости с его стороны.

— Неужели Ее Королевское Высочество?..

— А что вы думаете?

— Забеременела?

Пощечина отрезала дальнейшие слова, и эта государыня, всегда сдержанная и преисполненная достоинства, прогнала его из своей комнаты. Этот эпизод мне рассказала королева Неаполитанская, дочь Марии Терезии.

* * *

Главные чиновники австрийского министерства не всегда выбирались из числа наиболее образованных. В начале 1800 г. Триестскому губернатору было предписано отправить корвет. Вслед за тем губернатор донес, что корвет готов к отплытию, но что сирокко[341] этому препятствует. На это последовало подтверждение приказа немедленно отправить корвет. Второе донесение губернатора — «сирокко проявляет такое упорство, что нет возможности исполнить приказание». Тогда в Триест был отправлен приказ, без всякого замедления и на законном основании предать сирокко суду, как бунтовщика, а поставленное по всей строгости военных законов решение суда представить на утверждение Его Императорского Величества.

В то же время в Триесте было получено запрещение вывоза хлебных злаков, тем более разорительное, что наступать ноябрь месяц, т. е. время, когда обыкновенно приступают к исполнению

совершенных раньше сделок. На посланное по этому поводу местною экспортною фирмою Гагенауер настоятельное и вместе с тем трогательное представление на счет грозящей от такой меры опасности, Венская канцелярия, в конце длинного и дурацки мотивированного отказа, прибавила следующую замечательную фразу: «что, впрочем, отмена запрещения все равно ничему не поможет, так как приближается время, когда покрывающий Адриатическое море лед препятствует всякому судоходству». Как этот анекдот, так и следующий я слышал от человека достойного доверия и служившего в то время в Триестских канцеляриях.

* * *

Когда князь Талейран возвратился из Польши, где Бонапарт заставил его некоторое время управлять страной, герцогиня Люин пожелала иметь понятие о характере поляков. «Это люди, у которых всегда наготове плошки и которые довольны, когда им позволяют их зажигать каждый вечер, в чью бы ни было честь». Это на первый взгляд столь поверхностное определение заключает в себе глубокий смысл.

* * *

Маршал Бриссак, столь известный своими рыцарскими добродетелями, а также старинным покроем своего костюма и оригинальностью своих изречений, провожая однажды графиню Потоцкую[342] до кареты, сказал ей следующее: «Сударыня, Ваша красота напоминает Клеопатру и сделала из меня Марка-Антония»[343].

* * *

Та же графиня Потоцкая, урожденная графиня Минзех, часто бывала у польского короля, который прощал ей многое за ее остроты. Однажды, когда он хотел ей сказать какую-то очень пикантную фразу, желая, вместе с тем, смягчить ее колкость, он начал ее словами: «Моя кузина…» — «Ваше Величество удостаивает меня слишком большой чести, но между царем Давидом и семейством Минзех никогда не было родства», — прервала графиня короля. Чтобы понять дерзость этого замечания, надо знать, что Понятовским многие приписывали

еврейское происхождение. Другой раз, когда она, во время великого поста, вместе с дипломатическим корпусом обедала у этого бедного короля, она воспользовалась моментом всеобщего молчания, чтобы сказать своим певучим голосом: «Мне кажется, что я нахожусь в Риме, в великую пятницу». — «Отчего?» — спросил король. — «Оттого, что я как будто вижу перед собою послом великих держав и поклонение гробу Господню».

* * *

Престарелая графиня Панина, мать первых представителей этого имени, приобретшего благодаря им известность — воспитателя и министра Павла I и его брата, генерала — всегда говорила, что она знает только одну молитву: «Господи! Отними все у всех и дай все моим сыновьям!»

* * *

В то время, когда мелодрама «Сорока-воровка» имела большой успех, много говорили о г-же Сталь и о ее пылких речах, повторяемых во всех гостиных. «Это сорока-бунтовщица», — сказал про нее граф Растопчин, слишком знаменитый Московский генерал-губернатор.

* * *

Ньютону было предписано его врачом Мидом совершать ежедневно в течение двух часов прогулки верхом. Однажды утром он проезжал мимо человека, сторожившего коров. Пастух посоветовал ему не затягивать слишком долго свою прогулку, так как его могла бы захватить непогода. Между тем погода стояла прекрасная. Ньютон посмотрел на небо и, не заметив на нем ни одной тучки, подумал, что этот человек не в своем уме, и продолжал свой путь. Полчаса спустя небо вдруг покрылось тучами и разразился ливень. Всякий другой постарался бы где-нибудь укрыться, но Ньютон пустил лошадь в галоп, чтобы разыскать пастуха. Он застал его прижавшимся к дереву и просил его сказать по какому признаку он мог предсказать такую дурную погоду. «Ах барин, да это совсем не трудно. Каждый раз, когда предстоит перемена погоды к худшему, мои коровы не перестают тереться задом о дерево». Ньютон, немного изумленный, вернулся

домой и сказал Миду: «Стоит ли в течение пятидесяти лет заниматься изучением неба, чтобы в конце концов найти настоящий барометр в таком месте!»

* * *

Маркиз Веран, прибывший в Петербург слишком поздно, чтобы представиться в аудиенции еще до великолепного празднества, устраиваемого в Петергофе, получил разрешение присутствовать на нем инкогнито; представление же императрице было назначено на следующий день. Но после того, как он увидал эти сады, эти фонтаны, этот иллюминованный флот, эту игру государыни в макао, где ставили только одни бриллианты, словом, все величие и могущество, окружающие эту волшебницу, он во время аудиенции потерял нить своей речи. «Король, мой государь, поручил мне…» — начал он в третий раз. «Я знаю, — подхватила императрица, — он поручил вам сказать, что он преисполнен дружбою ко мне, и я вам на это скажу, милостивый государь, что я очень рада, что он именно вам дал это поручение», — и этим все было сказано.

* * *

Граф Водрёль, эмигрант, лишившись всего, женился в Англии на своей племяннице, дочери маркиза Водрёль. Она была очень хорошенькая, очень пылкого нрава и чрезвычайно нравилась герцогу Бурбонскому. Как у большинства женщин, выходящих замуж, у нее был сын, который стал таким красавцем, что все им восхищались, а мать любила его до безумия. Однажды, когда она его держала за рук и заметила, что одна дама с восхищением на него глядела, она ей сказала: «Сознайтесь, что он красив!» — «Ах, сударыня, — ответила та, — ведь это лилии и розы!»[344].

* * *

На коронации Александра I можно было видеть представителей всех государств и соучастников всех революций. Французская полиция в Вене перехватила письмо г-жи де Ноасевиль, эмигрантки, оставшейся в России, к графу О'Доннелль, камергеру Австрийского императора. В этом письме между прочим находилась очень смелая фраза, достойная Тацита,

которую Тюлерийский кабинет пустил в обращение: «Я видел, как этот молодой государь шел в собор, предшествуемый убийцами своего деда, окруженный убийцами своего отца и сопровождаемый, по всей вероятности, своими собственными убийцами».

* * *

Граф Эстергази, уполномоченный французских принцев в России, представлял собой не что иное, как корыстолюбивого царедворца. Он выписал туда свою жену и детей. Старший сын Валентин[345] был специально выучен попрошайничать, и милость, которой он удостоился, провожать императрицу во время ее прогулок, очень способствовала осуществлению этой части его воспитания. Однажды, когда он находился в непосредственной близости Ее Величества, он громко и… Все придворные опустили глаза, а императрица сказала спокойно: «Вот его первый экспромт!»

* * *

Ермолов[346], — единственный фаворит Екатерины, который не был удален за дурное поведение, отличался зато такою непозволительною глупостью, что не было никакой возможности терпеть его в таком привилегированном положении. Граф Чернышев, морской министр и большой интриган, взявший этого молодого человека под свое покровительство, очень не любил, когда о нем дурно говорили. По этому поводу он имел крупное объяснение с кем-то, кто, желая его успокоить, сказал: «Вы по справедливости все-таки должны признать, что Ермолов не изобрел пороха». — «Нет, он его не изобрел, — ответил Чернышев, — но нельзя же его обвинять и в том, что он утерял секрет этого изобретения».

* * *

Г-жа Сталь, которая не могла привыкнуть к мысли, что ей запрещен въезд в Париж, казавшийся ей единственной достойной для нее сценой, обратилась к своему старому приятелю и сообщнику по революции, Люсьену Бонапарту, чтобы снять с нее этот запрет. Это было нелегко, и они решили на первых порах

ограничиться разрешением явиться ко Двору в Милане. Когда они этого добились, было решено, что Любсьен проводит г-жу Сталь ко Двору, что они останутся вместе и что Наполеон подойдет к ним. Г-жа Сталь провела два дня и две ночи, — я эти подробности знаю от нее самой, — чтобы приготовить ответы на все возможные случаи. Наконец, пробил час приема, и она стала таким образом, чтобы обратить на себя взоры короля Италии. К несчастью она, как всегда, была довольно смешно одета и то, что следует скрыть, выступало у нее еще больше, чем всегда.

Наполеон выходит, замечает ее и медленно направляется к ней, осматривает ее долго с ног до головы, как будто для того, чтобы привести ее в смущение и, делая вид, что он вдруг заметил ее прелести, спросил ее: «Вы, вероятно, сами кормите своих детей?» — пораженная, как она мне сама рассказывала, непристойностью такого вопроса, обращенного к ней в присутствии всего итальянского общества, она отыскивала подходящий ответ; но Наполеон, отходя от нее, очень громко сказал своему брату: «Вы видите, она даже не хочет мне ответить, ни да, ни нет».

В этом состоял весь результат этой столь желанной поездки. Г-жа Сталь очутилась от Парижа дальше, чем когда-либо[347].

* * *

Королева Английская ценила ум и удачные возражения маркиза Караччоли, неаполитанского посланника, и часто с ним разговаривала. Однажды она осведомилась о его образе жизни и о его развлечениях: «Наверно, вы занимаетесь также любовными делами?» — «Простите, Ваше Величество, — ответил маркиз, — я любовью не занимаюсь, а покупаю ее в готовом виде![348]»

* * *

Последний Майнцский курфюрст имел подругу сердца, графиню Куденгов, урожденную Гатцфельд, с которой он проживал на прелестной даче, недалеко от Майнца, названной им «Ля Фаворита». В самый разгар эмиграции г-жа Надальяк, впоследствии герцогиня д'Экар, в числе многих других представилась курфюрсту, который, чтобы иметь тему для разговора, спросил ее, видела ли она «Фавориту». Г-жа Надальяк поняла «фаворитку» и ответила: «К сожалению, нет, Ваше Высочество, я имела честь заехать к ней, но не была принята».

После этого можно себе представить замешательство курфюрста-епископа и всего этого церковного Двора.

* * *

Придворные дамы дореволюционного времени рассказывали мне про Революцию по своему. Талейран, присутствовавший при этом, нетерпеливо прервал их: «Мы все содействовали падению трона, и разница между нами состоит лишь в том, что когда вы увидали его развалины, вы спрятались под ними, а я счел более удобным сесть на них сверху».

* * *

Когда после разводного процесса короля и королевы[349] Английских, зашел вопрос о короновании, архиепископ Кентрберийский сталь изучал роль, которую ему при этом пришлось играть. Он был поражен, когда дошел до одного антифона, взятого из Моисея и начинающегося словами: «Его рога возвысятся до солнца». Он обратился за советом к канцлеру, но последний был не менее смущен и решил испросить по этому поводу приказания короля. Георгий IV улыбнулся, но, сделав над собой усилие, сказал: «В наш век переделали столько вещей, что придется переделать и эту», — архиепископ припрятал рога[350] в свой карман.

* * *

При французском Дворе был старый офицер королевской охоты по фамилии Лансматт, который, благодаря долголетней службе, пользовался большими вольностями. Людовик XV как-то пожелал узнать его возраст, а Лансматт не хотел этого сказать. Наконец, королю надоели все эти тщетные попытки и он, зная, что Лансматт происходит из Санской епархии приказал епископу просмотреть метрические книги прихода, где он родился, и донести ему о результатах. Когда был получен ответ, король восторжествовал и не преминул выказать это Лансматту. «Должно быть у вас много лишнего времени, — ответил ему старик, — чтобы заниматься такими пустяками!»

* * *

Неккер, насадив как следует революцию во Франции, вернулся к себе в Швейцарию, чтобы отдохнуть в своем замке Коппе. Он встретил там применение тех принципов, которые он так старался распространять. Вооруженные крестьяне явились к нему на дом, как к другим дворянам и сожгли во дворе его документы и бумаги. На другой день кто-то пришел к нему, чтобы засвидетельствовать ему свое сочувствие по поводу этого разгрома, и спросил его, как эти разъяренные люди с ним обошлись? «Не слишком плохо, если вообще можно допустить этот способ обхождения», — ответил Неккере.

* * *

Около 1818 г. на мировой сцене появляются евреи, братья Ротшильды, которые, благодаря своим деньгам, входили в сношения с правительствами. Один из них был возведен в бароны императором Австрийским, а другой в маркизы королем Неаполитанским и все это без крещения. Не знаю, кто именно из них поселился в Париже, где он нанял большой дворец и стал устраивать празднества. Его тщеславие возрастало с низкопоклонничеством публики, и он, вздумав пригласить даму из общества, которая могла бы принимать у него на дому, не мог найти ничего лучшего, как обратиться к герцогине д'Экар, жене обер-гофмейстера короля, которая жила в Тюльерийском дворце и принимала там от имени Его Величества иностранных принцев и посланников. «Что вам вздумалось, почтеннейший господин Ротшильд, — ответила она ему, — ведь я стара и некрасива и только обезображу ваши блестящие залы», — «О, не беспокойтесь на этот счет, — воскликнул Ротшильд, — там будут дамы еще постарше и некрасивее вас!»

* * *

На острове Бурбон проживал один крупный негоциант, по фамилии Мервэн, очень хороший человек знатный благодаря своему состоянию, но не обладающий умом, соответствующим его положению. Увидев на книгах латинские слова: «Ex libris», он спросил, что это значит и, узнав, что это обозначает принадлежность книги, он велел на своих ружьях и пистолетах изобразить «Ex libris — Мервэн». В это время на остров Бурбон прибыл граф Малярси[351], и Мервэну было поручено его приветствовать и принять, а так как бедняга был очень застенчив,

то было заранее обусловлено, что на голову графа опустится корона, и что в этот момент Мервэн выступит, чтобы изложить в краткой речи насколько граф заслужил эту корону. К несчастью, блок, с которого должна была опуститься корона, испортился, и она упала, а веревка запуталась вокруг шеи графа Малярси. Оратор, смущенный еще больше, чем всегда, все же выступил вперед, сделал красивый реверанс и произнес: «Ваше Сиятельство, вы ее вполне заслужили!»

* * *

Когда Бонапарт вздумал сделаться императором, ему понадобился Двор, и он его создал. Это было нетрудно сделать, но что оказалось труднее — это придать новому Двору этикет и манеры. Ему пришло в голову спросить по этому поводу совета у княгини Шимэ, бывшей статс-дамы королевы Марии Антуанеты, которая жила в Париже в совершенном уединении. Посланному к ней Дюрону, она ответила коротко и благородно: «Скажите вашему господину, что я помню одни только милости королевы». Тогда пришлось обратиться к бывшей камерфрау королеву, г-же Кампан. Последняя, которой хотелось обратить внимание императора на себя и на своих племянниц (супругу маршала Ней и графиню Брон) ответила очень осторожно: «Место, которое я занимала при королеве, не давало мне возможности видеть близко Двор и судить о нем; единственная вещь, которая меня поражала, было спокойствие, соблюдаемое придворными дамами. Они никогда не говорили громко и мало жестикулировали». Эти слова произвели такое впечатление, что во время коронования новоиспеченные принцессы и их придворные дамы не решались отделить своих локтей от талии и еле шевелили губами, когда им приходилось отвечать на вопросы.

* * *

Кведлинбургская игуменья, принцесса Альбертина Шведская, сестра королей Густава III и Карла XIII, так мало стеснялась в своих любовных похождениях, что без всякого зазрения совести приезжала в свое аббатство, чтобы разрешиться там от бремени. Так как оба короля не имели потомства, а герцог Остроготский, третий брат, и слышать не хотел о женитьбе, то они решили воспользоваться необычайною плодовитостью сестры. По решению фамильного совета, когда оказалось, что игуменья опять

была беременна, герцогиню Сюдерманландскую, невесту короля, уговорили притвориться беременной и для этого обложить себе живот подушками. Затем о ее беременности было торжественно объявлено, и через четыре с половиною месяцев начались публичные молебствия по этому поводу. Под предлогом, что в королевском замке надо произвести ремонт, игуменья была помещена рядом с герцогиней, и когда для одной настала пора, в ее кровать положили другую, в то время как в аванзале собралась в ожидании родов вся шведская знать. Но Господь смешал эту неправедную затею. Игуменья родила маленького негра, самого черного и подлинного, какого только можно родить. Густав чуть не умер от злости и никогда не простил своей сестре этого срама, а герцогиню заставили пролежать известное время в кровати и не выходить из комнаты. Но это так надоело тем, кому было поручено за нею ухаживать, что они не сохранили тайны. Этот анекдот заслуживает веры, так как я его несколько раз слышал от императрицы Екатерины II[352].

* * *

Я забыл фамилию того, кто сказал про Талейрана: «Он продал всех тех, кто его купил». Эта острота достойна Тацита!

* * *

Генерал граф Ферзен[353], тот который взял в плен Костюшко[354], после продолжительной военной карьеры против своей воли был назначен директором сухопутного кадетского корпуса. Он беспрекословно повиновался. Но спустя некоторое время ему посадили на шею в качестве главного начальника великого князя Константина. Тогда он рассердился и подал в отставку, выставив причиной что не умеет ни командовать детьми, ни слушаться их. Его преклонные лета спасли его от строгостей Павла I, и он умер в провинции. Это был бравый солдат, человек во всех отношениях достойный, несмотря на некоторые особенности своего характера.

* * *

В Петербурге долго подвизались два брата, бароны фон ден Остен-Сакен. Один из них был саксонским посланником в

России[355], другой — вторым гувернером великого князя Александра Павловича, потом русским посланником в Дании, снова вторым гувернером великого князя Константина и, в награду за прекрасное воспитание, которое он ему дал, был возведен в графское достоинство[356]. Оба брата отличались общепризнанной глупостью. Но один из них был серьезен и молчалив, а другой очень подвижен и болтлив и так жестикулировал, что, как сказал про него лорд Мальмсбери, он представляет собой глупость его брата, приведенную в действие.

* * *

Первый раз, когда я встретился с кардиналом Буска, шевалье д'Азара, представляя меня, произнес: «Я вас представляю высокопреосвященнейшему Буска, который верит в Бога только тогда, когда у него расстройство желудка».

* * *

Княгиня Дашкова[357] до некоторой степени обворожила двух главных участников конспирации, Орлова и Панина, воспитателя великого князя Павла Петровича, и поэтому одна считала себя в праве быть посвященной во все дела и принимать участие в распределении милостей. Существует прелестная и мало известная острота, которая, хотя и не соответствует величию истории, но не должна затеряться. Эту остроту князь Орлов сказал Екатерине, потерявшей терпение от постоянного попрошайничества своей статс-дамы: «Берегитесь этой дамы; она ненасытна и никогда не перестанет вас беспокоить. В один прекрасный день она у вас выпросит корону, и вы ее, пожалуй, отдадите; она потребует моей жизни, и я, пожалуй, буду готов принести себя в жертву ей; но она может потребовать от меня еще что-нибудь, и это я уже не буду в силах ей дать!»

* * *

Когда дети княгини Дашковой оказались достаточно обученными знаниям и манерам, она предприняла с ними путешествие по главным столичным городам Европы. В Париже им пришлось испытать первый урок, не принесший им однако, пользы. Княгиня находилась в Пале-Рояле, где подкупленные

историки ее прославляли, но она хотела показать, что любопытство парижан ей надоедает и, заметив в толпе одного высокого кавалера ордена св. Людовика, который смотрел на нее в лорнет, сказала: «Милостивый государь, вы достаточно любовались мною?»[358] — «Я вовсе не любуюсь вами, милостивая государыня, а только смотрю на вас». Все рассмеялись, и ротозеи сделались до того назойливыми, что княгине пришлось обратиться к помощи гвардейского караула, чтобы скорее выбраться вон и сесть на первого встречного извозчика.

* * *

Княгиня Дашкова не расставалась с лентою св. Екатерины, которая ей, однако, вовсе не была пожалована, а присвоена ею по собственному усмотрению. В день переворота, когда императрица в Казанском соборе сняла эту ленту, чтобы надеть на себя цепь ордена св. Андрея Первозванного, она, не видя по близости никого из придворных дам, кому она могла бы дать подержать ленту, передала ее Дашковой, которая не теряя присутствия духа, тотчас же надела ее себе на шею. «Что мне оставалось делать в этот момент? — говорила Екатерина впоследствии, — у меня были более важные заботы, чем ссориться из-за локтя шелковой ленты.» Этот анекдот мне рассказала сама Екатерина.

* * *

У принцессы Нассау-Зигенской[359] бывали иногда забавные ответы. Когда король Густав III встретил ее в Спа, он хотя и сознавал что дамы его не могут любить[360], но стал разыгрывать в отношении к ней самую пылкую страсть. Однажды он бросился к ее ногам, восклицая, что она умрет, если она не ответит ему взаимностью. «Как Ваше Величество, — ответила принцесса, — и вы можете думать, что я вас не люблю! Ведь вы имеете самое убедительное доказательство моей любви: я не отдалась вам, чтобы не поставить вас в неловкое положение!»

* * *

Сражение под Иеной начиналось; раздавался грохот орудий. Стали обсуждать вопрос, не следует ли удалить королеву Прусскую, которая приехала к этому месту в сопровождении

своей старой обер-гофмейстерины, графини Фосс… Генерал Кеккеритц, адъютант короля, уже потерял голову, и г-жа Фосс, ответственность которой была очень велика, тщетно старалась его урезонить, он ничего не слышал и гарцевал вокруг кареты, не отвечая ей на ее вопросы и не зная на что решиться. Выведенная из терпения и думая, что он покидает их, чтобы ускакать в строй, она крикнула ему: «Королева приказывает вам остаться здесь, генерал! Старым развалинам, как вы и я, нечего там делать!»

Часть IV
Корреспонденты Головкина

I. Госпожа де-Сталь

1

Конте, 15 сентября 1805 г.

Вы не заслужили той радости, которую я ощущаю при мысли, что вы близ меня. Вы непременно должны тотчас же приехать ко мне, ибо я здесь остаюсь еще только месяц и желала бы, чтобы вы его всецело посвятили меня. Я страшно люблю Италию; во Франции я ничего не покупаю по той простой причине, что мне там еще не заплатили ни гроша: хотя в газетах нашли нужным писать совсем другое. Я думаю, что мы друг друга поймем лучше, чем когда-либо, но отсюда невозможно разговаривать с Веве; поэтому приезжайте сюда на продолжительное время. Я рассчитываю провести зиму в Женеве; это очень скучно, но надо ждать и страдать. Прощайте, я кончаю тем же, чем я начала, приезжайте поскорей…

2

22 октября 1805 г.

Дорогой граф, Ваше отсутствие — большое горе не для сердца, а для ума. Где вы — там движение и жизнь, которые исчезают вместе с вами. Отчего бы вам не приехал сюда на будущей неделе, т. е. в следующий понедельник: Монти, знаменитый Монти, приехал ко мне из Милана, и вы будете довольны услышать итальянский язык. Вы здесь увидите также Бенжамена и Проспера[361]. Прежде чем уединиться в Женева, я хотела бы немного порадоваться, увидя вас. Что вы думаете по этому поводу? Но вам следует приехать сюда без всякого промедления. Маленькая отлучка сделает вас более интересным и в их глазах. Сообщите мне о вашем здоровье и о том, что слышно на свете. Мне кажется, что армии обступают друг друга, но я держу пари за французов.

Прощайте, дорогой граф; я вас люблю так, как вы заслуживаете быть любимым, т. е. вы мне очень нравитесь.

3

Коппе, 5 ноября 1805 г.

Вот письмо от Эльзеара для вас. Я в пятницу еду в Женеву и мне, таким образом, придется уехать отсюда, не увидев вас. Я чувствую себя немного униженной, что Веве меня победило. Я думаю, как вы, что можно чувствовать редко, но глубоко, а, впрочем, можно выбирать; в наше время большие и малые коты одинаково делают больно. Говорят, что генералу Мону поручено передать условия мира, но если он заключит мир, последний будет походить на войну. Не знаете ли Вы что-нибудь про Пруссию? В ней заключается весь вопрос. Я не понимаю, почему вы не хотите приехать в Женеву, чтобы посоветоваться с Бретиньи. Если бы вы пожелали, я заблаговременно предупредила бы об этом префета, и это было бы вернее. Сюда приехали шведы и австрийские офицеры, которых не взяли в плен. Бенжамен благодарит вас за память. Он каждый день повторяет, и он верно сулит о людях, что вы один из очаровательнейших мужчин, которых он когда-либо встретил.

4

18-го февраля, Женева (1806 г.)

Я, право, удивлена, с какою легкостью вы сочиняете французские стихи. Я начала перевод той же самой пьесы и встретила в ней огромные трудности. Правда, что я хотела перевести слово в слово; это придает переводу истинный смысл и казалось мне необходимым, чтобы вызвать новые ощущения. Верно то, что вам следовало приехать в Сен-Жан[362]. Хотя мира еще нет, но нет и войны, и Женева издали сохранила подобие Швейцарии. Между Веве и Женевой я не вижу разницы. Вы здесь с моей стороны встретите радушный и внимательный прием[363]. Я вчера с большим успехом играла роль Альзиры, и если бы вы приехали раньше 15 марта, я бы вам сыграла Федру. Г-жа де Фрис[364] представляет из себя, как говорит Бенжамен, настоящую Андромаху, сохраненную в спирте. У нее есть талант… но… возраст! возраст! То, что он отнимает и что он дает — останется навсегда источником размышлений.

Приезжайте сюда до конца месяца. Я для вас сыграю Федру. Вы внесете веселость в разговоры и переведете мне оду Мюллера, которую я люблю больше других, а именно «Песнь Кассандры во время свадьбы Поликсены». Первого апреля я на две недели уезжаю в Коппе, а затем еду, чтобы повидаться с моим сыном, в сорока милях от Парижа. И так, подумайте, что я Вас почти что не увижу, если Вы не приедете сюда. Вы, как Орест, когда он прибыл из Тавриды. Но знайте, что для того, чтобы играть трагедию, надо

самому перенести страдания?

5

22-го шюля, Коппе (1808 г.)

Я рассчитывала застать Вас здесь и через Вас лишилась радостей этого лета. Вовсе нет! Я только нахожу, что Вы променяли тихий уголок на шумную жизнь Парижа и что Вы столько же думаете обо мне, сколько о г-же Наталии[365]. А впрочем, я это ждала от Вас. Вы не зависите от Ваших душевных настроений и не нуждаетесь ни в ком; если бы я стала перечислять все Ваши недостатки, я никогда не кончила бы, но я чувствую эти недостатки потому, что я Вас люблю, или, по крайней мере, потому, что Вы мне нравитесь, ибо сказать, что *я Вас люблю* — это почти клятва и чересчур много для Вашего великого легкомыслия. Говорят, что весь Париж находит Вас таким любезным, что Вас принимают за француза доброго старого времени, возвратившегося во Францию в облике русского, чтобы повеселиться. Но не думайте, что Вас шесть лет не будут трогать в Париже; почему Вам в этом отношении быть счастливее нас всех? Но если Вы хотите заслужить счастье добрым делом, то напишите мне через моего поверенного, который приедет в будущем месяце, длинное, длинное письмо, где будет сказано все, что Вы думаете, все что Вы знаете, словом письмо, которое могло бы заменить мне шестимесячное пребывание в Париже и один день беседы с Вами. Если в Вене будет спокойно, я вернусь эту зиму туда; я там чувствовала себя лучше, чем где-либо в другой ссылке. Женщины там любезны, страна спокойна и люди честны, одним словом, этот город напоминает добродушную толстую матушку, несколько неуклюжий вид которой усыпляет мое горе. Вас там очень любят, потому что это их манера хвалить людей. Если бы Вы мне написали, это придало бы мне некоторое значение. Вашему брату я дала много поручений для Вас. Исполнил ли он, по крайней мере, их? Издали Ваш брат немного напоминает Вас, в достаточной степени, чтобы заставить думать о Вас. Моно бы сознаться, что никто Вас не может заметить, если бы не мысль, что Вы ни в ком серьезно не нуждаетесь. Несмотря на Ваше ворчанье, я все же желаю иметь подробности о Вашей жизни, о Ваших занятиях. Кончаете ли Вы Вашу историю? Когда Вы увидите г-жу де Суза, то скажите ей, что я читала ее «Евгения Ротлена» с необычайным удовольствием. Насколько она превосходит г-жу де Жанлис! Прощайте, дорогой граф, когда я Вас увижу? Мне нечего Вас говорить, что я очень хотела бы сама

съездить за Вами.

6

Лион, 11 июня 1809 г.

Недавно я Вам написала длинное письмо, но путешественник, который должен был передать его Вам, не сделал этого и отдал мне его обратно. Я не хотела его послать вторично, хотя и не заготовила новых; мне кажется, что наши мысли меняются каждый месяц и что с часу на час чувствуешь себя устаревшим. Но что не меняется, так это представление, которое я имею о Вас, как об эодном из наиболее любезных и умных светских людей, и что Вы приехали в Париж для того, чтобы показать Парижу, как там бывали любезны, — не в очень давнее, но и не в последнее время, а в неопределенное, «идеальное» время — чтобы воспользоваться немецким выражением, ибо я ведь пишу о германии! Я приехала в Лион, чтобы увидеть Тальму[366] — это удовольствие, доступное ссыльным, но не думаю, чтобы цари этого мира могли иметь большее удовольствие, ибо это совершенство искусства в страсти и страсти в искусстве. Человеческое лицо не может идти дальше этого. Выражения, жесты, взгляды, — все находится в гармонии с душевным настроением, и слова мало значат на ряду с этими таинственными откровениями. Итак, Вы ни за что не хотите вернуться в Швейцарию этот год? У меня на уме — и я говорю про ум, когда не позволяю себе им пользоваться, — помирить Вас с Вашей тетей и нахожу тысячу прелестей в том, что доставило бы мне такое удовольствие — повидаться с Вами. Я прочла «Альфонса де Лодэв»[367] и нашла в нем чувствительность, а иногда и живость. Женщинам приходится столько страдать, что они всегда понимают горе и рисуют его правдиво.

Прощайте, я хотела бы Вам писать из такого места, откуда я могла бы сообщить Вам что-нибудь новое, и желаю только, чтобы Вы знали, что я о Вас скучаю и что письмо от Вас — для меня праздник.

7

Шомон на Луаре, 31 мая 1810 г.

Вы совершенно правы во всем, что Вы мне пишете. Но если бы я даже погрузилась во мрак неизвестности и принесла бы в жертву талант, данный мне Богом и моим отцом — я этим еще не приобрела бы блаженства. Поэтому я предпочитаю дать волю

моей натуре, которая. После Провидения, располагает мною. Если бы Вы не были олицетворенною осторожностью, я сказала бы Вам: приезжайте ко мне: но я даже не решаюсь Вам писать по почте и посылаю эту записку через Матвея. Несомненно, по крайней мере, то, что из всех огорчений, испытываемых мною в изгнании, одно из первых мест занимает невозможность с Вами беседовать. А так как я это удовольствие ценю, как счастье, то Вы мне не достаете так, как будто бы я Вам была нужна, и Вы мне так нравитесь, что мне кажется, что я Вас очень люблю. Тысячу поклонов.

P.S. Но отчего бы Вам не приехать в Турэну. Труворы происходят отсюда, и все образованные иностранцы посещают эту страну.

8

Клиши, 10 декабря 1814 г.?

Мне говорят что Вы сердитесь на меня, — это несправедливо. Я согласна не видеться с Вами раньше 1-го января; но в этот день все мои друзья меня здесь посещают. Я безропотно отказываюсь от Вашего общества, которое мне так нравится, а Вы меня еще вводите в заблуждение! Не потому ли, что я позволила себе посмеяться над Вашей рекомендацией в пользу одной барышни сомнительной добродетели? Вам это нипочем, а мне это могло бы повредить, и до тех пор, пока моя дочь не выйдет замуж, я не могу допустить никакого сомнительного общества, ни вблизи, ни издали. Другое дело — Вы, ибо, несмотря на Ваши наставления, Вы еще не мать семейства. Учитесь из этих наставлений, что следует любить тех, которые умеют нас ценить. Не знаю, говорится ли об этом в Евангелии, но это сказано в его духе.

Прощайте, прощайте, до первого января, но тогда Вам надо будет приходить ко мне каждый день.

II. Граф Иосиф де Мэстр

1

С.-Петербург, 6/18 апреля 1807 г.

Как Вы любезны, граф, и как Вы все умеете делать кстати! С 22-го октября я не получал ни одной строки от жены, поэтому Вы можете себе представить, как Ваше письмо попало во время! Но поверьте, что оно не нуждалось в этом предлоге, чтобы встретить радушный прием, ибо я всегда придаю большое значение всякому доказательству Вашей доброй памяти обо мне. Но так как в человеческой натуре всегда есть известная леность, в силу которой мы не любим писать без особенной надобности, я должен Вас благодарить, граф, что Вы мне столь любезно предоставили к тому повод; я Вам также очень благодарен за то, что Вы мне сообщаете новости о нашей достойной знакомой, г-же Юбер. Несколько дней тому назад я принял меры, чтобы известить ее, что я еще жив, так как я ее по-прежнему очень люблю. Но эта «неловкость», как Вы забавно выражаетесь, может мне стоит то, что я получу ответ в 1810 г. Я рассчитываю в одно прекрасное утро получить сразу пятнадцать или двадцать писем; тогда я распрощусь со своими друзьями и запрусь на несколько дней в комнату, чтобы читать и отвечать. Тем временем, я очень рад, что пакет, доставление которого Вы так любезно приняли на себя, попал туда, куда надо. Из одной строки Вашего письма я вывожу заключение, что Вы сделали некоторые попытки чтобы доставить мне письмо от г-жи де М. (де Мэстр); Вам это не удалось, но моя благодарность остается та же. Впрочем, Вы мне доставили громадное удовольствие, сообщив, что мои письма дошли до назначения. Я только что отправил двенадцатое — и все не получая ответа. Согласитесь, что я беспристрастный муж!

Я хотел бы с Вами потолковать об истории. Я думаю, что она не приносит никакой пользы. Никогда еще история не предупредила ни одной глупости, ни одного преступления. Эта тема помогла бы нам приятно провести, по крайней мере, один вечер в Женеве — но ведь мы так далеки от Женевы!

Вы хорошо делаете, граф, что живете больше в обществе покойников; но меня очень огорчает причина, заставляющая Вас это делать: подагра и пузырный песок! Боже мой, какие это внушительные названия и как я Вас жалею! Подагра не особенно приятна, но ее еще можно перенести. Она появляется с перерывами и не притесняет Вас так, как песок. Но соединение

обоих зол — ужасно. Впрочем, хотя я и не очень верю в медицину, мне все-таки кажется, что этот песок, который Вас мучит, не принадлежит к разряду неизлечимых, и что если бы Вы были вполне благоразумны, спокойны и послушны, Вы могли бы с ним справиться. Если Вам удастся избавиться от него, Вы, надеюсь, не оставите меня в неведении о столь приятной для меня новости.

Я передал Ваши поклоны шведскому посланнику, а также почтенному герцогу и г-ну де Тарси, которые Вам отвечают тем же. Что же касается моего сына, то он, к сожалению, далеко от благодарности. Он находится за Неманом, состоя на службе кавалергардским офицером, и возможно, что он в то время, как я Вам это пишу, участвует в каком-нибудь сражении. Вот где мой «песок» сидит, дорогой граф! Все это произошло вполне правильно и с общего согласия. Но, тем не менее, это мой «песок». Прощайте, граф, я Вас много раз благодарю за Ваше деликатное внимание. Рассчитывайте на постоянную мою благодарность и неизменную привязанность и пр.

2

С.-Петербург, 16/28 июля, 1807 г.

Я с чрезвычайным удовольствием прочел Ваше длинное и приятное письмо от 4/17 с. м. Благодарю Вас за все, что оно содержит учтивого и утешительного, но чтобы начать с моего личного положения, все мне говорит, что оно непоправимо. Когда французы заняли Савойю, в 1792 г., и я, следуя за королем, перешел через Альпы, я сказал моей верной компаньонке во всех превратностях жизни: «Дорогой друг, шаг, который мы делаем сегодня, — непоправим; он имеет решающее значение для всей нашей жизни». Будучи потом, вследствие приключения романического характера, вынужден вернуться в Савойю, я увидел близко французскую революцию и возненавидел ее еще больше. Я снова навсегда покинул Францию. Находясь по ту сторону границы, в Лозанне, на Женевском озере, я должен был допустить, что мое имущество конфисковали, не чувствуя при этом ни малейшего желания вернуться во Францию. С тех пор мне, правда, иногда улыбалась надежда, но это был лишь проблеск молнии во мраке ночи, и мое положение все ухудшалось. Постепенно мне наносились удары в Савойе, в Швейцарии, в Пьемонте, в Венеции и, наконец, в России. День сражения под Фридландом мне ничего более не оставил: отечество, состояние, семья и самый монарх, если верить предсказаниям, — все погибло.

Теперь, дорогой граф, что же Вы хотите, чтобы из меня вышло? Ведь фортуна — женщина, — она любит только молодых людей. Она знает, что мне пятьдесят три года, и какие у меня могут быть шансы чтобы она захотела выйти за меня замуж? Она не так глупа. И не думаете ли Вы, что я повергнут наземь? Я могу Вам сказать приблизительно то же, что сказал наш старый Мальзэрб:

Как часто, уже искалеченный,
Низвергнуть я молнией был,
Но волей разумной излеченный,
Об этом я скоро забыл!

Нельзя, конечно, сказать, чтобы я это совсем забыл, но я думаю об этом не так много, чтобы терять бодрость духа. На свете существуют только два истинных несчастья, это — угрызение совести и болезнь, — все остальное — воображение. Я же чувствую себя здоровым и ни в чем не раскаиваюсь, а поэтому я могу устоять на ногах; если бы мне пришлось начать снова, я ни в чем не изменил бы своего поведения.

То, что для меня всего грустнее, это — что я разъединен со столь дорогою для меня семьей, не имея никакой возможности приблизить ее к себе, или самому присоединиться к ней. В этом ужасном положении занятия для меня то же самое, что опий для восточных народов; они меня одуряют с таким же успехом, но с меньшею опасностью. Я был бы еще храбрее, если бы я мог получить утешительные письма от нашего бедного друга, г-жи Юбер-Аллеон; но ее нет, и вы меня наводите опять на этот меланхолический сюжет.

Судя по тому, что Вы мне пишете про «женевца» и про «римлянина», я подозреваю, что Вы не вполне в курсе приключений последнего. Когда он, несколько лет тому назад, был в Риме, он влюбился в одну красавицу, уроженку этой страны, и, для того чтобы жениться на ней, перешел в католичество. Воображаю, какое впечатление этот поступок произвел в Женеве! Впрочем, мнение Женевы тут не причем. Если г. Г. действовал по убеждению, я его одобряю и уважаю; если его соблазнила любовь, я, хотя и считаю это вредным, все же склонен его извинить, но если он действовал из легкомыслия или беспечности, я его глубоко презираю. Как бы то ни было, дорогой граф, пришлось, в конце концов, много лет спустя, привезти с собою римлянку и маленького римлянина, который, как мне часто твердила его бабушка, обещал все что только можно обещать; она пристрастилась к этому ребенку, как Вы только

можете себе представить, и овладела им всецело. Этого было достаточно, чтобы надосадить матери, но были еще и другие причины неудовольствия. Г-жа Юбер была протестанткой и принадлежала к старой школе Волтера, близким другом которого был ее муж, блаженной памяти. С другой стороны, у нее были друзья — католики, которые часто заставляли ее призадуматься. Из всего этого вышло, как мне кажется, большое равнодушие к величайшему из всех вопросов или, вернее сказать, к единственному вопросу, ибо всякий вопрос, прекращающийся вместе со смертью человека, еле стоит, чтобы о нем говорили. Рассудите сами, как такая наставница могла понравиться матери римлянки! Надо полагать, что между ними произошли ужасные сцены; а по моему мнению, никто не напоминает так покойного г. Дамиена[368], растерзанного лошадьми во все четыре стороны, как этот бедный человек, поставленный между матерью и женою, тянущими его, каждая в свою сторону. Растерзанный таким образом на две части, он, по смерти матери, восстановил опять свою целость, и может быть дал слишком почувствовать свое удовольствие по поводу обретенного вновь спокойствия и освобождения из-под опеки. Я Вам пишу все это в его оправдание, не стараясь его вполне обелить, так как я вообще считаю его немного слабым в отношении морали.

Я с большим удовольствием принимаю Ваше любезное предложение. Условимся насчет числа и решим это окончательно. Мне было бы очень приятно поболтать с Вами о всех событиях, случившихся в течение двадцати пяти лет, но это, по моему мнению, может быть только предметом разговора, и чернила здесь не причем. К сожалению, я не знаю, когда мне придется с Вами встретиться, ибо, по-видимому, каждый из нас тяжел на подъем. Но пока что, дорогой граф, я с величайшей благодарностью принимаю Ваше любезное предложение переслать по адресу мое письмо к жене. Я уже испробовал Ваших корреспондентов и нашел вполне благонадежными; поэтому прошу Вас посодействовать отправке прилагаемого при сем письма г-же Валлен; это фамилия, которую приняла моя жена, а меня зовут г-м де Вилльнёвом. Все, инспектора, какие только попадаются до самого Турина, имели достаточно времени, за последние десять лет, выучить эти две фамилии наизусть.

С такою же благодарностью и без всякой оговорки я принимаю Ваше поздравление по поводу того что мой сын остался невредимым. Я предоставляю спартанским матерям сохранять невозмутимость при виде останков их сыновей, приносимых домой на щитах, и не могу достичь такого величия. Конечно, лучше смерть, тысячу раз лучше, чем малейшее

проявление трусости или даже малейшая антимилитаристская гримаса; но все же лучше жизнь, чем даже наиболее почетная смерть! Мой сын в этом со мною не согласен, что и должно быть. Он хотел участвовать в этом походе, не будучи вынужденным к тому; я мог тому воспротивиться, но не сделал этого; однако, мой героизм дальше не идет, и я теперь доволен и сыном и собою. Он, впрочем, еще не приехал; когда он порывался навстречу французским пушкам, мне казалось, что он летит, как стрела; а теперь, когда он возвращается домой, он ползет, как черепаха.

Я вас еще благодарю, граф, за Ваше предложение, под которым я от всего сердца подписываюсь, а так как всякий договор приобретает ценность своею древностью, то я надеюсь, что он до моей смерти успеет обрасти тем почтенным мхом, который так ценится.

Весь Ваш, дорогой граф.

3

С.-Петербург, 1 ноября 1807 г.

Вернулись ли Вы в Ваш замок, граф? Я хотел бы это услышать от Вас лично, а также узнать, как Вы себя чувствуете после дороги в новом климате. Вы, вероятно, побывали в Женеве, этом городе, отличавшемся всегда своими великими эскулапами; не посоветовались ли Вы с ними мимоходом? Жаль, что наше знакомство с Вами и наш договор были так скоро прерваны разлукой. Письма — хорошая и полезная вещь, но для некоторых сообщений они недостаточны. Я много размышлял над тем, что Вы мне сказали в Вашем предпоследнем письме о способах быть мне полезным. Но я не вижу, каким образом. Для меня было бы, может быть, полезно сделаться известным с хорошей стороны *«там»*. Но это *«там»* хорошо против зла, а для блага — сомнительно. Когда чувствуешь за собою пятьдесят лет, — теряешь всякую гибкость, и все о чем можно просит, это — чтобы заранее озаботились об упокое души, который нас всех ожидает. Вы можете себе представить, дорогой граф, что с июня месяца я кружусь вокруг самого себя, чтобы выяснить, что я и где я. Чем больше я изучаю этот вопрос, тем менее я нахожу возможности помочь своему положению. Итак, раз это все кончено, остается только терпеть, и хотя говорят, что терпение — добродетель дураков, но в данном случае, если бы я даже обладал всем тем умом, которого мне недостает, я сомневаюсь, чтобы мне удалось отыскать другое убежище; я даже не способен чувствовать себя лучше.

Я Вас не прошу о каком-либо поручении для г-жи де Ф… так как с тех пор, как заключен мир, письма получаются исправно. Мы здесь удручены падением курса. Самые старые банкиры не видали ничего подобного. Когда я приехал, рубль равнялся 66 турским ливрам, а в момент, когда я Вам пишу, он равняется 45[369]. Вы можете себе представить, как приятно тем, у кого есть деньги для размена!

Ах, сколько хороших вещей я рассказал бы Вам, граф, если бы я имел сегодня удовольствие Вас видеть! Какая перемена! Какая неслыханная метаморфоза! Все, что было черно — теперь бело, а все что было бело — теперь черно. Легко утверждать, что все прекрасно. Но существует один ужасный пессимист, доказывающий противное, это — доктор «Курс». Мне кажется, что я слышу Мартена, противоречащего Панглоссу[370]. Будущность мне представляется как бездонный колодезь, в котором самый проницательный глаз не видит ни капли, — и если бы даже в нем можно было что-нибудь увидеть — мне, я думаю, не захотелось бы туда заглядывать. Наконец, дорогой граф, мысль моя достигла крайних пределов.

Если бы останавливались в Женеве, я надеюсь, что Вы в первом же письме сообщите мне кое-что о наших друзьях. Вы скажете мне еще несколько грустных слов о нашей бедной приятельнице и причините мне этим скорбную радость. Десять раз я хватался за перо, чтобы написать этому семейству, и десять раз бросал перо. Мое выжатое сердце не могло сказать того, что хотело. Видите ли Вы их? Пишете ли Вы им? Расскажите им об их истинном друге, который их не забывает, хотя он с 1798 г. для них умер. Если бы они меня когда-нибудь увидели, они могли бы поверить в привидения.

Здравствуйте и прощайте, дорогой граф, вот глупое письмо, но Вы меня извините, надеюсь, и вместо того, чтобы меня бранить, будете меня любить. Я на это рассчитываю.

III. Шевалье де-Буффлер[371]

25 октября, 1810 г.

Я надеялся в прошлый вторник быть у Вас в Монталлегре[372], чтобы поблагодарить Вас, Ваше Сиятельство, за те прекрасные советы, которые Вам внушил столь лестный для меня интерес; но мы узнали что Вас задержали, как и следовало ожидать, Ваши друзья, столь достойные Вашей любви и того счастья, которое Вы им доставляете.

Впрочем, я Вам благодарен не за Вашу похвалу, а за Вашу критику. Я нахожу в этом ту же разницу, как между вежливостью и дружбою, и считаю себя более способным отвечать Вам первою, чем второю.

Я с наслаждением воспользуюсь большею частью Ваших советов и собираюсь даже Вас обеспокоить на счет новых; я их буду ценить, как бриллианты, взятые из ларчика прелестной принцессы Амальфи[373], и если между ними оказались бы такие, которыми нельзя украсить ни ожерелья Ожива, ни шляпы Гулистана — я сделаю, как многие ювелиры, и оставлю их для себя. Нет надобности уверять Вас, граф, в тех чувствах, которые Вы внушаете создаваемым Вами же счастливцам. Для нас важнее уверить Вас в наших собственных чувствах и просить Вас дать нам почаще возможность поддерживать столь драгоценную для нас дружбу.

IV. Г-жа де Суза [374]

Я не могу удовольствоваться тем, что Вы мне написали такое любезное письмо которое я помещу в своем архиве, — я должна Вам еще выразить мою благодарность. Мне было очень лестно прочесть Ваши похвалы. Они не касаются того, что могло бы поразить других, и затрагивают то, чего Вы сами не знаете, а потому я перечитаю их, когда мне придется отвечать какому-нибудь критику. Я их прочту также моему сына, когда я, на старости лет, пожелаю придать себе в его глазах авторитет или значение. Вы знаете, что, когда речь заходит о материнской любви — я склонна бредить, и что Карл[375] всегда останется для меня «маленьким», даже когда он достигнет возраста, стоящего ближе к второму ребячеству, чем к первому.

V. Буаси д'Англо

Буживаль, 22-го июня 1813 г.

Я поздравляю Вас, граф, по поводу всех почестей, выпадающих на Вашу долю. Императрица Жозефина два дня тому назад приехала в сопровождении г-жи Линьере[376], чтобы полюбоваться Вашим прелестным домом, и говорят, что во всем парке Монталлегра нет угла, который не заслужил бы ее внимания и ее похвал. Если бы Вы меня предупредили о ее приезде, я стал бы во главе ее вассалов, чтобы поднести ей розы и куплеты; но все это случилось так неожиданно, что я узнал об этом событии лишь гораздо позднее. Вы знаете, что Ее Величество купила замок[377] у г-жи де Мэйн, но что она может его занять лишь по смерти последней. Тем временем она хочет увеличить свое владение по соседству, и я очень боюсь, как бы ей не удалось сделаться покровительницей нашего союза. У нее, по-видимому, есть связи в стороне, и в частности г-жа Линьер нам не очень-то предана. Я очень боюсь, как бы нас не попросили, как это сделали с Европой, подчиниться закону победителя.

В ожидании этой возможности, позвольте мне поговорить с Вами серьезно, но с полною откровенностью. Ходят слухи, что императрица хочет купить Ваш дом для себя или для кого-нибудь из ее Двора.

Если это Вас устраивает — я очень рад, но все же мне будет тяжело лишиться такого приятного соседства, как Ваше. Я надеюсь, что Вам известно все значение, которое я этому придаю. Я желал предоставить Вам все возможные средства, чтобы лучше использовать это, и был счастлив, когда встречал Вас на своих прогулках. То, что мне было очень приятно, когда это касалось Вас, может быть тягостным и неудобным по отношению к другим, и Вас могли бы заменить лица, которые будут считать себя в праве требовать от меня того, что мне было так приятно делать для Вас.

Вы, вероятно, уже предчувствуете, что речь идет о мостике, соединяющем Вашу дачу и мое владение. Конечно, я могу его снять, когда захочу, и Ваши преемники не могут предъявить на это права, но Вашими преемниками могут быть люди, перед которыми мое право покажется слишком слабым и которые почтут мои возражения за обиду. Герцог Бурбонский имел привычку охотиться в Эрменонвильском парке и в окрестных лесах; это не особенно нравилось г-ну Жирардену, который с горечью видел, как лошади и собаки герцога разрушали его прелестные лужайки и портили его рощи. Он придумал устроить

землянку для угольщиков у ворот, через которые герцог обыкновенно проезжал, и сделал над ней большими буквами надпись: «Всякий угольщик должен быть господином в своей хате». Говорят, что герцог был немного обижен, но всё же запомнил эти слова и больше не возвращался. Я не хотел бы быть вынужденным к подобной же аллегории и поэтому прошу Вас, если бы Вы продали Ваш дом, при первых же предложениях и раньше чем подписать купчую, приказать Вашему садовнику упразднить этот мостик, дабы новый владелец уже не застал его в Монталлегре. Я рассчитываю на эту любезность с Вашей стороны, как я вообще привык встречать с Вашей стороны содействие во всем, что справедливо и законно.

Я сейчас же отправляюсь в Лангедок, где я пробуду несколько месяцев с моим семейством, и очень желал бы застать Вас по возвращении на месте.

Примите, дорогой граф и сосед, уверения в моей преданности и моем совершенном почтении.

VI. Граф Каподистрия

1

Цюрих, 11 апреля 1814 г.[378]

Ваше Сиятельство,

Если бы не медленность типографа, которому я поручил умножение бюллетеней, полученных мною третьего дня из главной квартиры. Вы уже раньше получили бы приложенный при сем экземпляре, а также декларацию в таком виде, как я ее получил из нашей главной квартиры, и поэтому имеющий для меня значение подлинника. Ваше Сиятельство, может быть, уже заметили существенные различия между разными изданиями этого важного документа, распространенными среди публики. Кавалер фон Лебзельтерн[379] получил письма от князя Меттерниха. Они содержат те же новости и в то же время извещают, что наша армия покинула Париж 1-го апреля и двинулась на Фонтенебло, где остатки французской армии старались укрыться. Письма из Базеля утверждают, что Наполеон в Метце. Другие, не французского происхождения, сообщают, что он идет на Орлеан. Несомненно то, что 28-го он еще был в Труа и что с этого момента мы не знаем наверно, куда он направился. Это не удивительно. Как вы хотите, чтобы у наших кабинетов хватило времени сообщить нам подробности событий? Удовольствуемся тем, что мы узнаем их результаты, которые дают нам повод к самым лучшим надеждам. Как русские, мы можем этому радоваться от глубины нашей души. Мы блестящим образом восторжествовали над нашим врагом и над всеми большими и малыми кознями. Хотя и сами события отчасти этому способствовали, но терпение и умеренность, с которыми сумели их выждать, а также мудрость, с которою их вызвали, несомненно усугубляют славу нашего государя.

Благодарю Вас, граф, за все, что Вы были так добры высказать мне по поводу собрания сейма. Если в этом и есть доля моей заслуги, то она состоит лишь в том, что я взял на себя труд углубиться в настоящие причины раскола, который мог погубить Швейцарию. После того, как мне удалось их выяснить, целебное средство указывалось самой природой болезни, и его благотворное действие не могло подлежать сомнению с того момента, как нам предоставили на месте выбрать способ его применения. Мы предпочли самый мягкий способ, благодаря которому посредничество великих держав являлось для

Швейцарии почетным и благодетельным. Какая слава могла заключаться для союзников устроить Швейцарию на манер Наполеона? А с другой стороны, если спокойствие Швейцария за это время нарушалось, то спрашивается, оттого ли, что ее конституция была плоха, или же оттого, что она была дана Наполеоном? Зачем еще противоречить нашим принципам и упразднить одно посредничество, чтобы на его месте установить другое, сходство по своим внешним формам с первым? Мне на это ответят: «Потому, что швейцарцы не могут сговориться между собою без содействия посредника». Может быть. Но принял на себя дружественное посредничество, воздействовать разумом и пользоваться его бескорыстным влиянием на умы — это еще не значит собирать «Консульту»[380], диктовать ей закон и проводит этот закон с палкой в руках. Впрочем, наша истинная политика в Швейцарии не позволила бы применения подобных средств Мы желаем, чтобы эта страна была самостоятельна, свободна и независима и не носила бы на себе ига соседних стран[381], или одной из них, которая в будущем приобретет преимущественное влияние в южной Европе. Если великие державы теперь соединены общностью интересов и намерений, то можно ли сказать, что это всегда так будет? Но, навязывая Швейцарии конституцию, они будут по необходимости вынуждены ее защищать и заставлять других ее уважать, а это значит держать Швейцарию постоянно под опекой. Разве в этом состоит желание дать ей независимость и способствовать ей в этом? Разве впоследствии Россия будет в состоянии иметь такое же наблюдение за Швейцарией, как Австрия? И будет ли это наблюдение всегда благотворным? Мы можем отвечать за наши собственные намерения; но можем ли мы также отвечать за намерения наших союзников? Эти соображения, а также те, которые были вызваны миссией графа Зенффта, предначертали, так сказать план моих действий. Государь, уделив ему особенное внимание, соизволил его одобрить, и, следя за ходом, который мне как будто указывают события, я все-таки преследую свой путь и стараюсь направить на него также и моих коллег. Мы уже добились первого результата и теперь остается только им воспользоваться. Декларация государя при въезде его в Париж имеет также непосредственное воздействие на публику и более ясно определяет точку зрения, которой нам нужно придерживаться в наших действиях. Она все та же: поставить Швейцарию в такое положение, чтобы ей не было надобности обращаться к кому бы то ни было. Чтобы достичь эту цель, надо согласовать интересы, и чтобы провести это согласование, надо не приказывать, а предлагать. Чтобы убедить, надо быть

справедливым. Этим именно мы заняты в настоящий момент.

Мысль, которую Ваше Сиятельство высказали по поводу главного пункта, может также войти в категорию предметов компенсации. Мы еще не затронули этого чрезвычайно деликатного вопроса. Мне кажется, что он возникнет сам собою из сути переговоров. Нам тогда будет легче решить этот вопрос с меньшими жертвами и с таким видом, что мы отнюдь не предписываем закона этой стране, в предоставляем ей выбрать тот, который ей наиболее подходит. Этот способ посредничества должен быть очень тяжел для людей, привыкших к большим делам. Но к своей чести, я должен сказать, что если у меня в этом есть немного умения, то я приобрел его, управляя делами моего народа, когда он в политическом отношении находился под покровительством нашего государя. Я теперь говорю о Ионической республике, а поэтому чувствую себя в своей стихии и, во многих отношениях, не могу скрыть, что основания моей небольшой прозорливости я почерпнул в опыте, стоившем моему несчастному отечеству не мало жертв. Я был назначен министром в возрасте двадцати четырех лет, и до тех пор пока эта республика существовала, служил ей усердно и охотно. Но мне, все же, тогда недоставало опытности, и я смотрел на людей, не так как они представляются нам в действительности, а как мое воображение и мое сердце желали, чтобы они были, и часто увлекал мое правительство на путь ложных и опрометчивых или же преувеличенных мер. Теперь я едва ли опять впаду в такие заблуждения и мне только тяжело, что я не могу покаяться в тех, которые я совершил в ущерб моему отечеству. Увы, оно кажется долго не предоставит мне к тому удобного случая!..

Вот то длинное письмо, которое я уже давно собирался Вам писать, граф; в нем говорится о моем возрасте, о моих принципах, о моем навыке в делах республик и о плане, который я начертал себе по поводу настоящего поручения. Оно Вам, надеюсь, докажет, что я не недостоин Ваших добрых чувств и Вашей дружбы, которыми Вы меня удостаиваете.

Я Вам пришлю паспорт, который Вы желаете. Я не делаю этого сегодня, чтобы на будущей неделе еще раз иметь случай напомнить Вам о себе. Что Вы скажете про Парижские новости? Вы, должно быть, получили их раньше меня, так что я не считаю нужным сообщить Вам о низложении великого человека и о печальном конце его политической роли. Мне пишут, что он закончил жалким образом, послав Коленкура в Париж с поручением просит мира во что бы то ни стало, и что этот посланник, видя, что дела его государя непоправимы, занялся своими собственными делами и заключает свой особенный мир.

Говорят, что уже одиннадцать маршалов и генералов покинули Бонапарта.

Примите, Ваше Сиятельство, уверение в моей истинной преданности и моем совершенном почтении, с коими я имею честь быть и пр…

2

Санкт-Петербург, 2/14 июня, 1816 г.

Ваше Сиятельство,

Приступая опять к давно прерванной переписке, я желал бы иметь другой мотив, чтобы писать Вам, чем тот, который мне внушает мой долг.

Один немецкий журнал, под названием «Europaeische Annalen», приписывает Вам сочинение[382] о нравственном состоянии Франции, напечатанное у Пашу в Женеве в 1815 г., которое содержит рассуждения, могущие непосредственно затронуть уважение, подобающее шведскому Двору. Они не преминули привлечь внимание последнего и мотивировать жалобы, представленные посланником Его Величества короля Шведского Государю Императору. Ваше положение подданного и бывшего слуги Его Императорского Величества, Ваше имя, граф, и уважение, коим оно окружено, являются достаточными мотивами, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение насчет отношений, существующих между Россией и Швецией. Вследствие сего было бы желательно, чтобы Вы в будущем, в Ваших следующих сочинениях, воздержались от оглашения Вашего письма которое могло бы вызвать неосновательные и совершенно неуместные предположения. Если же Ваше Сиятельство сочли бы необходимым и в будущем дать огласку Вашим политическим мнениям путем печати, то соблаговолите, по крайней мере, не терять из виду необходимую осторожность, или смягчением выражений или же оставлением публики в неведении насчет их автора.

Я вынужден обратиться к Вашему Сиятельств с этими замечаниями по причинам высшего порядка и делаю это с тем большим усердием и вниманием что я наперед уверен в пользе, которую Вам угодно будет извлечь из них для будущности.

Пользуясь случаем, прошу Вас принять уверение в совершенном моем почтении, с коим я имею честь быть и т. д.

Граф Каподистрия[383]

3

Санкт-Петербург, 31 января, 1817 г.

Ваше Сиятельство,

Я нашел, что предмет письма, которое Ваше Сиятельство сделали мне честь написать от 2/14 числа минувшего декабря месяца, настолько интересен по существу, а также по своим последствиям, которые можно от него ожидать, что прежде всего считаю своим долгом представить Вам выражение моей благодарности за выбор, который Вы соблаговолили сделать, поручив мне столь почетную комиссию[384].

Я постарался исполнить Ваши намерения.

Государь Император, по докладе Его Величеству решений, принятых княгинею Суворой[385] в смысле обеспечения ее двум сыновья благ воспитания, соответствующего обязанностям, возлагаемым на них наследием славного имени, а также надеждам, которые они внушают своему государю и своей родине, — соизволил оценить ее материнскую заботливость. Уделя Гофвильскому воспитательному заведению особый интерес и осчастливливая г-на Фелленберга своим благоволением, Государь Император с удовольствием усмотрит предоставление молодым князьям преимуществ этого воспитательного заведения.

Переговоры, которые по этому поводу пришлось вести с другими опекунами закончены, и я спешу приложить при сем письмо, которое мне написал г-н сенатор в ответ на мое письмо, во исполнение повелений Его Императорского Величества.

Теперь остается только заручиться согласием г-на Фелленберга и мне кажется, что в нем нечего сомневаться. Не зная всех подробностей распоряжений княгини Суворовой по поводу помещения ее сыновей в Гофвиле, я пока должен воздержаться от сообщений директору означенного заведения. Но я воспользуюсь отправкой курьера, чтобы передать ему предварительное извещение, и буду выжидать второго письма от Вас, граф, чтобы действовать надлежащим образом.

Примите уверение в истинном почтении и совершенной преданности, с коими я имею честь быть и пр. и пр.

VII. Граф де Коаньи [386]

1

Отель Бово, улица Сент-Оноре
16-го февраля 1816 г.

Судьба государств, дорогой граф, и разные случайности как будто встречаются, чтобы воспрепятствовать нашему сближению. «Корсиканец» появляется, а Вы удаляетесь; Вы пишете (с Ваших же слов) моей дочери[387], а она не получает Вашего послания. Наш приятель, Крюссольский судья, заболевает и умирает, а немного спустя его душеприказчик находит в его бумагах письмо, адресованное мне, и присылает мне его — это было Ваше письмо; но подагра до такой степени овладела моею рукою, что я не мог даже распечатать это письмо, и лишь сегодня я могу приняться за ответ и то лишь приняться, потому что мое перо так дрожит, что Бог знает, когда я его закончу. Бог знает тоже, какое удовольствие мне доставило получить от Вас известие. Вы очень добры интересоваться новостями обо мне и моей дочери; они всегда были хороши. Мы не выезжали из Парижа ни на минуту и, сказать Вам правду, пребывание здесь мне никогда так не нравилось, как когда здесь был Бонапарт. Мы спрашивали, мы узнавали, мы составляли даже маленькие заговоры, и я катал свое кресло, как Диоген катал свою бочку, когда в Греции становилось неспокойно; ко всему этому примешивалось немного риска, что делало нашу жизнь весьма пикантной. Я чувствовал, что живу!

А теперь я ощущаю только тоску и однообразие покоя. Какие это, дорогой граф, печальные, чтобы не сказать постыдные, вещи: старость и бесполезность, взятые вместе. Как я это чувствую! Для меня существуют только одни животные инстинкты: сон и пища, и в них состоит мое времяпрепровождение, так что я буду, как Тит, когда в один прекрасный день у меня исчезнет аппетит. Старайтесь предупредить, я Вас умоляю, эту прискорбную развязку. Вы еще молоды, но время крылато: у Вас столько средств, столько талантов! Не дайте им заржаветь. Встряхните мантию лености, в которую Вы слишком плотно облеклись, устраивайте себе самому ложе, не предоставляя заботу об этом другим, и приготовьте средства, чтобы воспользоваться большим положением, которое Вам предлагают.

Я желал бы, чтобы имя Ришелье и честность того, кто его носит, дали бы нашему первому министру возможность сыграть большую и полезную роль. Но достаточна ли опытность,

приобретенная в Одессе для Франции? Бросив взгляд на карту, можно убедиться в том, что от берегов Черного моря до берегов Сены — расстояние большое. Я, правда, устроился на них хорошо, хотя мне это дорого стоило, но зато я чувствую себя превосходно. Мне надоело слушать, как они горланят, (а ведь они только это и делают) и самому надоело горланить, не обращая никого в свою веру, но, слава Богу, и сам не поддаваясь соблазну; я поэтому решил снова эмигрировать, не трогаясь с моего места за камином, в отеле Бово, где я живу. Я только налагаю на себя запреть готовить о том, что происходит или что еще произойдет, и прочитываю в газетах статьи о Франции и о Париже так, как я читаю статья о Константинополе. Таким образом, я для Вас, дорогой граф, являюсь корреспондентом наименее сведущим и интересным, какой только может найтись в современном Вавилоне. Моя дочь живет со мною и составляет мое счастье. Мы с ней не совсем сходимся во мнениях, но, с обоюдного согласия, решили не затрагивать этих вопросов, и я поэтому вполне наслаждаюсь ее заботливым уходом, ее умом и — главное — ее золотым сердцем. Оно проявилось, когда она из Вашего письма узнала, что Вы ее помните.

Бедная г-жа де Вопальер скончалась, г-жа Брюнуа выказывает много бодрости духа, но возбуждает сострадание. Что с ней будет? Будьте ко мне снисходительны за то, что я марал это письмо дольше, чем я думал. Это мне стоило некоторых усилий, но они смягчены удовольствием Вам писать. А для меня это большое удовольствие, хотя бы письменно беседовать с Вами, дорогой граф.

2

Отель Бово, 21 марта 1816

Ах, дорогой граф, когда негодяй нашел возможность забраться к Вам, ничто не в состоянии его оттуда выжить. Мой ревматизм доказывает мне верность этой печальной истины. Как только я успел ответить на Ваше письмо, которое так долго медлило дойти до меня, мой враг, отсутствовавший несколько дней, вероятно, для того чтобы заострить свои когти, снова появился, чтобы вонзить их в мое старое тело… Наконец, боли прошли, но осталась общая оцепенелость, физическая и нравственная, лишающая меня всякой способности действовать и мыслить; итак это не более, как толстое животное, которое теперь старается намарать Вам свою благодарность за Вашу добрую память. В виду столь хорошего намерения, я прошу извинить

пошлость моего послания.

Как Вы счастливы, что я не чувствую в себе сил описать Вам тот новый хаос, который нас теперь заставляют переживать! Нас тревожат не преступники, как прежде, а болтуны с претензиями, которые тормозят нас, когда у нас является настоятельная надобность двинуться вперед. Неужели у этих господ, кроме языков, нет рук, чтобы дать нам толчок и заставить нас тронуться с места. Вы думаете, что у нас только две палаты, дорогой граф, но знайте, что у нас их три: палата перов, палата депутатов и палата недовольных[388]. Последняя находится повсюду, от передней до будуара. Она изобилует тревожными слухами и кишит еще больше, чем первые две, чиновниками, финансовыми прожектерами и будущими министрами. Все эти группы производят оглушительный шум, но дела у них не видать. Министерство, не оглядываясь назад, попало в осиное гнездо, где вместо меда оно наткнулось на жальные уколы, которых для него не щадят. Потешно, что в наш век просвещения все, даже самые хитрые люди играют в жмурки. И мне тоже пришлось бы принять участие в этой партии, если бы я хотел просветил Вас насчет нашего положения. Что, собственно, касается моего, то оно было бы очень приятно при отсутствии ревматизма и некотором обилии червонцев. Вы знаете мою дочь, — а этим сказано все; так вот, живя с ней под одной крышей, в хорошей квартире, с видом на поля и хорошим воздухом, что можно больше желать в моем положении и в моем возрасте? Мне недостает такого состояния, которое поменьше напоминало бы бедность. У меня лишь сердце твердо и спокойно, и доказательством тому служат мои чувства к любезнейшему и дражайшему графу Головкину.

Моя дочь постоянно говорит мне о Вас и поручила мне Вам сказать, что все, что она желает — это, чтобы Вы скорее вернулись сюда. Вы можете быть уверены, что мои желания на этот счет не менее искренни.

3

Отель Бово, улица предместья Сент-Оноре
21 июня 1816 г.

С Вашей стороны, дорогой граф, очень коварно, что Вы предупредили мое желание высказать Вам мое мнение лишь тогда, когда можно будет более или менее точно установить черты и качества новой принцессы[389]. Пока она была в дороге, письма мало согласовывались насчет ее красоты, с момента же ее приезда разногласия остаются те же. Придворные профессионалы

утверждают, что она хорошенькая, неблагонамеренные люди осмеливаются говорить, что она безобразна, а правдивые — хотя не доходят до того, но приближаются к тому же утверждению; у нее во взгляде есть нечто напоминающее косоглазие и придающее ее глазам движение вверх, не соответствующее остальным ее чертам, в особенности нижней губе, которая в то же время производит движение в противоположную сторону, что ей очень не к лицу; у нее вообще очень заметна отвислая нижняя губа, свойственная австрийскому царствующему дому. Лицо у нее бесцветное, но ослепительной свежести. Она небольшого роста, но хорошо сложена; ноги у нее маленькие, но слегка вогнутые во внутрь. В общем она нехороша собой, даже для принцессы, как выразился вчера один из моих друзей. А впрочем дорогой граф, не обращайте большого внимания на мое описание; может быть, во всем, что я пишу, нет и слова правды, ибо я повторяю только слухи, а Вы знаете, что слухи чаще отдаляются от истины, чем приближаются к ней. Что же касается ее характера, то о нем еще нельзя судить. Она кажется доброй, нежной, веселой, но это еще ребенок.

Покончив со статьей «Принцесса», спрашивается, следует ли мне перейти к другим статьям?

Со времени закрытия палаты и Гренобльского происшествия, мы живем так спокойно, что напоминаем застывшее масло. Свободные празднества прошли при общем ликовании, но спокойно, как само счастье. Если и существует подпольное брожение, оно так запрятано, что его даже нельзя подозревать. В настоящее время король не более как член федерации, он так сроднился с предместьем Сант-Антуан[390] и так завоевал его симпатии, что он командует там больше, чем это когда-либо делал Сантерр. Теперь благословляют Людовика XVIII и его семейство, а всего три недели тому назад только и говорили о том, как бы его задушить. Эта переменчивость больше тревожить, чем успокаивает! Но общественное мнение все же начинает довольно ясно выражаться повсюду в провинциях, при почетном и лестном приеме роялистских депутатов, возвратившихся туда по окончании сессии. Это, я думаю, заставит министров снять повязку со своих глаз и убедиться, в чем именно состоит общественное мнение. Ах, г. де Ришелье, Вы покинули Черное море для того, чтобы погрузиться в другое море, по которому труднее плавать!

Мне незачем присоединяться к Вашему мнению относительно представительного строя, ибо я всегда был того же мнения. Он не годится для великой державы нашего материка. Это экзотическое растение, которое на этой почве может лишь зацвести ненадолго,

но никогда не принесет плодов. Армия всегда нарушит равновесие власти, а защита границ требует содержания очень сильной армии. Конституционное правление, конечно, соединяет в себе большие преимущества, но оно подходит только к островному государству и, как Вы правильно выражаетесь, к небольшому народу.

Но, дорогой граф, что я читаю, Ваше письмо или волшебную сказку? Вырывание каналов и прудов; высушивание болот; устройство шлюз; вырубка лесов; нивелировка земель; постройка маленького дворца; руку на сердце — это сон, о котором Вы мне рассказываете, ибо если это действительность, то где же Вы находите время и деньги, чтобы совершать такие чудеса? Ах, Вы должны обладать жезлом Армиды, чтобы перенести в Швейцарию, в один миг, английский парк, азиатский дворец и пр. и пр., или таким волшебным жезлом, который открывает сокровища, спрятанные в глубине земли[391]. Волшебник в Вюлльеране, чародей в Париже, Вы распространяете очарование везде, где Вы останавливаетесь. Я надеюсь, что Пломбьер, который я всегда так любил, тоже воспользуется Вашей сверхъестественною силою, и что Вы эту лощину превратите в долину Темпе. Но что я желаю прежде всего — это, чтобы купанье и воды в Бюссоне оказались для Вас целебными и сделали бы для Вашего здоровья то же, что природа сделала для Вашей любезности. Какую Вы тогда приобрели бы крепость!

Моя дочь посылает Вам тысячу поклонов; она была больна, но теперь вполне поправилась и в конце этой недели едет в деревню. Как мне будет недоставать ее! Ибо я тогда буду один, совсем один. Сжальтесь же над стариком-отшельником и утешьте его Вашей любезной и пикантной перепиской. Вы обязаны, дорогой граф, дать это доказательство интереса человеку, который Вас больше всех почитает и любить.

4

9 июля 1816 г.

Не знаю, дорогой граф, живы ли Вы еще или умерли. Верно только то, что одно из посланий Вашей Милости не дошло до Елисейских Полей, что вызвало во мне опасение, не отправился ли его автор на тот свет.

Но, к удовольствию и радости Вашего покорнейшего слуги, он третьего дня получил Ваше второе письмо…

Я Вам много благодарен за Вашу любезную переписку. Вы так часто меняете Ваше местопребывание и Ваши проекты, что мне

еще долго придется выражать Вам свою благодарность письменно, между тем как я надеялся принести ее Вам лично. Я, конечно, очень люблю читать Ваши письма, но все же предпочитаю слушать Вас и при этом глядеть на Вас. С Вами предметы для разговоров неисчерпаемы, начиная с политики кабинетов и кончая клубной болтовней; Вы владеете всеми этими предметами и, увеличивая интерес одних, изощряете пикантность других…

Когда еще никому не приходило в голову думать о женитьбе Людовика XV на Лещинской, она жила в стесненных обстоятельствах со своим отцом в Вейссенбурге. Последний каждый вечер ужинал и напивался с герцогом Буттвилем, командовавшим полком в этом городе. Его польское Величество регулярно заканчивал эти ужины рассказом о своих неудачах. Однажды герцог, сильно опьяневший, с осовелым взглядом самым трогательным голосом крикнул: «Замолчи, бедный мой король, ты мне надоел со своими несчастьями!»

И вот я вполне хладнокровно хотел бы им сказать: «Замолчите, Вы мне надоели с Вашей конституцией!» …И приверженцы, и враги ее мне одинаково несносны; как бы ни был интересен и важен предмет, но говорить о нем беспрестанно — становится пустословием. Поэтому не ожидайте от меня никаких рассуждений по этому поводу. Я ограничусь следующими словами: утверждают, что необходима хартия — хорошо, но позвольте же ее пересмотреть, изменить и выяснить, где нужно. Одна Минерва вышла из головы Юпитера во всеоружии. Как бы хороша ни была голова моего короля, ее все же нельзя сравнить с головой бога. Подумайте, что Его Величество уделил только два дня на то, чтобы сочинить и изложить этот закон, который я называю поэтому Компьенньским экспромтом. Не оставляйте же его в сыром виде, как тепличный плод; в этих скороспелых и искусственных растительных образованиях содержится больше воздуха, чем вещества. Я желал бы, чтобы они дозрели на лоне природы, и я боюсь, что этого именно не достает нашей хартии. А добродушная природы смеется над этими препятствиями и не допускает нарушения своих прав.

Наши поля в этот момент представляют тому лучшее доказательство; они обещают самый обильный урожай, несмотря на проливные дожди, затоплявшие землю. Если они и не потопили мою дочь, я все же думаю, что она была забрызгана грязью до самых ушей. Вот уже три недели, как она не выходит из этой грязи, превратившей всю нашу провинцию Бри в одну лужу. Но моя дочь при этом цветет и полнеет, судя по ее письмам, и я этому радуюсь, ибо здоровье — все, что ей осталось на свете, а

мне осталось только дитя. Благодаря ей одной и ради ее я переношу бремя этой жизни. При семидесятишестилетнем возрасте, да к тому же при ревматизме — какой смысл имеет это существование? Но моя дочь, моя дочь! — я убеждаю, себя что мои дни тебе нужны… Итак, надо жить, жить и для того, чтобы ценить Вашу дружбу и пользоваться ею; и если Вы мне уделите частичку этой дружбы — это будет лишь уплаченный по справедливости долг за те чувства, которые Вы мне внушаете.

5

Отель Бово, площадь Бово
27 июля 1816 г.

Я Вас люблю, дорогой граф, и по этой причине я чуть было не ответил Вам, потому что никогда не надо надоедать своим друзьям; а на той мертвой точке, на которой мы теперь остановились, переписка даже самого Вольтера заставила бы зевать арлекина. Говорит ли о погоде — она отвратительна; об урожае — он вселяет беспокойство; о виноградниках — они затоплены; о финансах — на их счет пожимают плечами; о министрах, о политике — все это самым возмутительным образом смешивают с грязью. Нет даже ни одного маленького домашнего скандала… Все неинтересно, повсюду недостаток движения и даже злословия. Как же Вы хотите, чтобы я со своей удочкой отшельника ловил в этой застывшей воде рыбу — будь это хотя бы пикантный пескарь? Я полагаю, что Вы находитесь в таком же затруднении в этой дыре — Пломбьере. Ах, как я когда-то там веселился — но я тогда был молод, и удовольствия украшали для меня эту пустыню, как Ваш вкус умел украсить пустыню, недавно покинутую Вами в Швейцарии. А в Ваши лета, дорогой граф, как бы ни была любезна г-жа Рекамье, ей пришлось бы превратиться в Армиду Стерлинг для того, чтобы ее чары заставили забыть однообразие местности и растительности минеральных вод. Я не имею чести знать этой дамы, но я ей обязан благодарностью, ибо мой старый рысак доживает свои дни на ее хлебах. Но она еще усугубляет мою благодарность, украшая Ваши дни своею любезностью. Мои дни более одиноки, чем они могли бы быть в Фиваиде. Дочь уехала в деревню, по крайней мере, на три недели. Это очень долго. Но ее здоровье требовало свежего воздуха, и если я так послушен моему королю и его хартии, то рассудите сами, как я должен прислушиваться к нуждам моей любезнейшей дочери. Увы! У нее есть крайне неотложные… но которых я не могу удовлетворить! Это мучение моей жизни, и я это слишком

хорошо сознаю. Больной и бедный старик не только составляет бремя для других, но и для самого себя. Когда же, наконец, Провидение отзовет меня с моего поста. Только бы это не случилось раньше, чем Вы, дорогой граф, вернетесь к нам, к Вашим друзьям. Я льщу себя быть в числе тех, которые желают это наиболее пламенно. Мои чувства интереса и почтения могут служить Вам в этом гарантией.

notes

Примечания

1

Журнал «Revue Suisse» в том же 1861 г. прекратил свое существование. В библиотеках России журнала нет.

2

Русская старина. СПб., 1896. Т. 88. № 11. С. 367.

3

Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб., Т. 1. 1895. С. 163.

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 1. М., 1956. С. 205.

Лихачев Н. П. Родопроисхождение дворян Головкиных. — Известия Русского Генеалогического Общества. СПб., 1903. Вып. 2. С. 89–148.

Хмыров М. Д. Графиня Екатерина Ивановна Головкина и ее время (1701–1791 года). Исторический очерк по архивным документам. СПб., 1867.

Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000. С. 162.

Там же. С. 163.

9

Из бумаг Графа Ю. А. Головкина. Документы о посольстве гр. Головкина в Китай. СПб., 1904. С. 6.

10

Лобанов-Ростовский А. Б. Указ. соч. С. 164; Ikonnikov N. La Nobless de Russie, Deuxieme edition. T.E.I. Paris. 1958. C. 132.

11

Проблемами воспитания занимался еще один Головкин — дядя графа Федора — Александр Александрович, написавший книгу «Мои мысли о воспитании женщин или основы проекта воспитания моей дочери». Лондон, 1777 (либо Мангейм, 1778). (На французском языке). Дочь — любимая кузина графа Федора Амалия д'Арюффен.

12

Понятовский С. А. Отрывки из дневниковых записок последнего польского короля Станислова-Августа Понятовского (написанных во время его пребывания в России с 2 марта 1797 по 12 февраля 1798). — Вестник Европы. СПб., 1808. Ч. 39. № 11, и другие публикации.

13

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. С. 161.

14

Мемуары графини Головкиной. Записки князя Голицына. М., 2000. С. 81–82.

Голос минувшего. М., 1913. № 12. С. 291–293.

16

Тартаковский А. Г. Павел I. — Сб. статей: Романовы. Исторические портреты. 1762–1917. М., 1997. С. 150.

17

Шильдер Н. К. Император Павел Первый. СПб., 1901. С. 150.

18

Эйдельман Н. Я. Грань веков. Политическая судьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. М., 1982. С. 57.

Тартаковский А. Г. Павел I. С. 211–212.

Там же. С. 212.

21

Там же. С. 222.

22

См., например: Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 50–52.

23

Шильдер Н. К. Указ соч. С. 408.

Тартаковский А. Г. Павел I. С. 214–216.

25

См. о де-Литта: Русский биографический словарь. СПб., 1914. Т. 13. С. 472–476; Великий князь Николай Михайлович. Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПБ., 1905. Т. 1. № 29.

Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 275.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. М., 2000. С. 471–474.

28

Великий князь Николай Михайлович. Русские портреты XVIII–XIX столетий. Т. 1. № 72. Вероятнее всего, что сведения биографического очерка, посвященного де-Витт, более всего соответствует истине.

Там же. № 85.

30

Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1980. С. 245, 365–366, 387.

31

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 тт. Т. 7. М., 1951. С. 22–23.

32

Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина. СПб., 1862. С. 52.

33

Leonce Pingaud.

Fondet de Montussaint.

35

«Истор. Библ. Сфинкса» т. 1. Мемуары графини Головиной. Ц. 2 р.

36

Имя Головкиных впервые появляется на Земском Соборе 1598 г. при избрании Годунова на московский престол. На этом Соборе, среди духовенства, присутствовал также Евстахий Головкин, инок св. Сергиевской Лавры. Его племянник, Родион Дмитриевич, имел двух сыновей: Симеона, родоначальника графской линии, угасшей в 1846 г., и Луку, родоначальника линии не титулованной и существующей по сей час. См. *Петр Долгоруков, Мемуары, т. 1, стр. 16.*

37

Мы отнюдь не думаем усомниться в честности русских, а говорим лишь о сознании чести (point d’honneur).

38

Слова Александра Александровича Головкина, камергера Фридриха Великого, приведенные *Леонсом Пэнго* (Leonce Pingaud) в его сочинении *«Les Fransais en Russie et les Russes en France»* стр. 111.

39

Этот патриархальный обычай отменен указом Петра I.

40

Помещение, предоставленное обитательницам женской половины царского двора.

41

Бонтыш Каменский. «Геройские подвиги знаменитых полководцев и министров Петра Великого» Первое примечание к статье о Головкине I, стр. 173.

42

Шерер, т. II, стр. 81 — ссылка у *Валишевского, Петр Великий.*

43

Единственный человек, который, может быть, осмелился говорить Петру о нравственной реформе его народа, был *Джильберт Бэрнет*, епископ Сольберийский. Этот замечательный человек рассказывает в своих *«Мемуарах»*, что ему в 1699 г., во время посещения Англии Петром I, было поручено давать царю о религии и конституции англичан все те разъяснения, которые он захочет иметь. «Он пожелал, — говорит Бэрнет, — ознакомиться с нашей религией, *но по-видимому не был расположен улучшить положение дел у себя, в Московии*… У него много вкуса к механике и он, кажется, природой более предназначен быть корабельным плотником, нежели великим государем».

44

Слова князя Августина Голицы во введении к его книги «La Russie au dix-huitieme Siecle». Париж. 1863 г.

Т. е. первый российский граф, который, в то же время носил титул графа Священной Римской Империи.

Здесь автор, по-видимому, подразумевает учреждение в России титулов барона, графа и «светлейшего» князя. Но он при этом забывает, с одной стороны, что русская родовая аристократия, т. е. как титулованное дворянство, происходящее от древних удельных князей, так и «столбовое» дворянство, которое главным образом состоит из потомков бояр, гораздо старше этого «западного учреждения» и не имеет ничего общего с попытками русских государей создать новое служилое, титулованное и нетитулованное дворянство в противовес старому родовому. С другой стороны, и на Западе, а именно во Франции при Наполеоне I и III, и в Англии еще во времена Генриха VIII, значительная часть аристократии создалась из самых низких слоев общества, нижних чинов, приказчиков и подмастерьев, так что и там далеко не все князья и графы отличаются родовитостью происхождения. (*Прим. перев.)*

47

Побочный сын Алексея Кирилловича Разумовского. См. *«Русская Родословная Книга»* князя *Лобанова-Ростовского,* т. II, стр. 85.

48

Алексей Федорович Орлов, грозный шеф жандармов (1788–1861 гг.) был побочным сыном Федора Григорьевича Орлова, брата Григория и Алексея Орловых.

Buschings Magazin, т. XIX, стр. 65.

50

Граф Федор здесь, очевидно, говорит о «Всепьянейшем Соборе» или Совете величайших пьяниц, членами коего состояли все приближенные Петра I. См. Семеновский «Слово и Дело», стр. 282.

51

Графиня Евдокия Ивановна Чернышева, урожденная Ржевская, возлюбленная Петра. Их связь продолжалась и после ее выхода замуж за Чернышева. Петр I умер от осложнения пузырного песка болезнью, причинившею смерть Франциска I, короля Франции. Некоторые утверждают, что виновницей этой болезни была г-жа Чернышева.

52

Родившись сыном бедного дворянина, владевшего в Алексинском уезде всего пятью семействами крепостных, Головкин достиг графского достоинства двух империй, Германской и Российской, и сделался владельцем *двадцати пяти тысяч* крестьян. *Петр Долгоруков, Мемуары.* Т. I, стр. 16.

Т. е. против здания, в котором заседает Сенат.

54

Может быть это была черта атавизма: когда Фридрих Вильгельм I взошел на престол, канцлер Гаврила Иванович советовал Петру I пригласить из Берлина разных артистов. См. *Соловьев,* т. XVII, стр. 12.

55

Не знаю, удалось ли ему спасти кое-что из редких вещей, находившихся в музее; но я видела не мало прелестных предметов, валявшихся на полу, разбитых и разбросанных. См. *Louise Fusil, Souvenirs d'une actrice*, стр. 265.

Bergholz Duschings Magazin т. II, стр. 463.

Helbig, Russische Gunstlinge.

Мемуары 1810 г.

Waliszewski, La Derniere des Romanov; «Царство женщин» 2-й том полн. Собр. Соч. Ц. 3 руб. Изд. «Сфинкс».

«Графиня Екатерина Ивановна Головкина». С.-Петербург, 1867 г.

61

В царствование Екатерины I.

Место вице-канцлера он занял лишь в 1740 г., после падения Бирона.

63

Предательство Грюнштейна было вознаграждено 927 «душами», которых Елисавета ему пожаловала по вступлении на престол.

Мемуары графа Миниха были впервые напечатаны на французском языке в Копенгагене, в 1774 г., под названием: «Ebauche pour donner une idee de la forme du gouvernement de l'impire de Russie». Место, на которое ссылается гр. Федор, в них не находится.

65

По-видимому, здесь идет речь о Максиме Васильевиче Берге (Magnus Iohann von Berg), родившийся в 1720 г. и умершем в 1784 г. в чине генерал-аншефа, брата деда графа Федора Федоровича Берга, известного своим управлением Царством Польским во время восстания 1863 г. См. Лобанов — Ростовский, «Русская Родословная книга», т. 1, стр. 49.

Писатель, основательно изучивший эту эпоху, рассказывает, напротив, что граф Головкин был задушен своими слугами, которым надоело пребывание в Германге — так назывался якутский поселок, где они жили. См. Павел Карабанов, *Статс-дамы и фрейлины при Русском Дворе в XVIII веке (* Русская Старина 1870 г. стр. 484.).

Головкин умер лишь на 14-м году ссылки.

68

Никита Юрьевич Трубецкой (1699–1767 г.), муж Анастасии Головкиной, сестры Михаила Гавриловича.

69

Граф Федор ошибается. Она жила всего девяносто лет (1701–1791 г.). Отец Павла Карабанова, напротив, рассказывал, что старуха внушала отвращение, главным образом потому, что у нее изо рта постоянно текли слюни и что она набивала себе нос табаком.

70

Это был не глупый человек, но пошлый царедворец. Он часто говаривал: «Кланяйтесь низко и вы поднимитесь высоко». Долгоруков. *Мемуары.* Т. 1, стр. 74.

71

Анна Гавриловна Головкина была одной из самых умных и привлекательных женщин своего времени. Некрасивая и рябая вследствие оспы, она, однако, была высокого роста, стройна, очень изящна и грациозна во всех своих манерах (см. Долгоруков. *Мемуары,* т. 1, стр. 189).

72

См. Валишевский. *«Петр Великий»,* изд. «Сфинкс», Москва. 1911 г.

73

Граф Михаил Петрович Бестужев, назначенный русским посланником в Берлине и вскоре после этого переведенный на ту же должность в Дрезден, имел не только подлость отречься от своей несчастной жены, но даже не ходатайствовал о смягчении ее участи. Уже шестидесятилетним стариком он в марте 1749 г. вторично женился на г-же Гаугвитц, вдове обер-мундшенка саксонского двора. См.: Долгоруков. *Мемуары,* т. 1, стр. 159.

Скандальная хроника того времени утверждает, что у нее было, если не несколько, то, во всяком случае, один утешитель: «С ведома и на глазах своего мужа она имела связь с фаворитом Петра II, князем Иваном Долгоруковым, который оскорблял честь Трубецкого, как публично, так и в его собственном доме. Однажды под влиянием выпивки князь Иван на дому у Трубецкого, хотел выбросить самого хозяина в окно, но ему помешал Степан Лопухин», (Долгоруков, *Мемуары,* т. 1, стр. 60).

Князья Трубецкие, княгини *Лизы Трубецкой.*

См. Карабанов, Статс-дамы и фрейлины при русском Дворе (*Русская Старина,* 1870 г., стр. 485).

77

Мемуары барона Пэлльнитца, письмо из Гааги, февраль 1738 г.

78

Впоследствии приданное графини Головкиной было еще увеличено благодаря щедрости Петра. Согласно Императорскому указу от 13 февраля 1723 г., ей были пожалованы некоторые земли, которые «когда-то принадлежали ее предкам» (вероятно, рыцарям Тевтонского ордена или Меченосцам) и находились в Лифляндии. См. *Grilzner. Der Adel des russischen Ostsee provinzen в Siebmachers Grosses und allgemeines Wappenbuch.*

Пекарский, История Академии наук, т. I, II и сл.

80

Из всего семейства Головкиных, граф Александр был, конечно, самый выдающийся. Он был одним из наиболее ловких дипломатов своего времени, человек замечательно умный и серьезный и одним из самых цивилизованных русских той эпохи. См. *Долгоруков Мемуары,* т. 1, стр. 115.

81

Один русский историк г. Щученко, объясняет слова «Кор ab» вариантом: «Kebab», напоминающим русское выражение: «Эка баба!» См. Голицын Н. С. в статье «Янтарная гостиная в большом Царскосельском дворце» (Русская Старина т. LVIII, стр. 366).

82

Фридрих-Вильгельм в общем получил с 1714–1724 г. и не обратился бы в 1715 г. к русскому самодержцу с просьбою «прислать ему еще несколько из своих солдат великанов». Аппетиты короля прусского разгорались, ибо немного спустя он опять просит Петра прислать ему не только «60 или 70 великанов», но также «больших лошадей». Эти подарки людьми со стороны русских монархов возобновились в начале девятнадцатого века, когда Александр I послал Фридриху Вильгельму III, любителю русских военных песен, в виде подарка, целый хор солдат-песенников. — См. «Русские солдаты на прусской службе», статья князя Н. С. Голицына (Русская Старина, т. LXVI, стр. 123).

83

Головкин получал в Париже годовой оклад жалованья в 48 000 руб. (См. *Архив князя Воронцова,* т. 1, стр. 390).

Мемуары. Письмо от 2 февраля 1733.

85

В канцелярии голландского посольства в России существует папка с письмами на немецком языке императрицы Елисаветы и г-жи Головкиной, которые они писали друг другу по разным вопросам, касавшимся детей последней. В царствование Елисаветы и Екатерины русский Двор все старался вернуть их в Россию. (Примечание графа Федора).

Анна Михайловна Воронцова.

87

Александр Сергеевич (1733–1811).

Вигель, Мемуары, т. 1, стр. 13.

Русская Старина, т. XVI, (1876), стр. 174.

90

В 1754 г. вице-канцлер М. Л. Воронцов написал графу Головкину по повелению императрицы письмо, в котором «приказывает» ему прислать двух старших сыновей в Россию. На это графиня Головкина письмом от 19 апреля умоляет вице-канцлера повлиять на императрицу в том смысле, чтобы она отказалась от своего решения. (Архив кн. Воронцова, т. III, стр. 663.)

91

Головкины и Сен-Жоржи состояли в родстве благодаря брачным союзам с одною и то же семьей — де-Местраль, хотя эти браки заключались в разное время. См. *V. Haag, La France protestante*.

Свобода совести, хотя и признается русскими законами, но лишь по отношению к подданным императора, исповедующим так называемые *иностранные* религии. Протестант, например, может перейти в православную веру. Но раз то что он становится православным, он подвергся бы большому риску, если бы посмел снова вернуться в протестантскую веру. // (Как известно, эти ограничения упразднены законом о свободе совести от 17 апреля 1905 г.) *(Примеч. перев.)*

Это огромное количество детей объясняется, может быть, религиозными влияниями. Граф Цинцендорф, тот самый, который основал секту «Моравских Братьев», был один из приближенных семейства Головкиных. Рождение многочисленных детей — стольких же «храмов Св. Духа» — было одной из заповедей этой основанной им секты.

Dieudonne Thiebault. Mes souvenirs de vingt and de sejour a Berlin t. III. Статья о графе Камеке.

95

Этот замок расположен на ближайших к озеру высотах, по соседству с великолепным замком Вюффлан.

Кантона Ваатланд (Vaud).

Sayous, Le dix-huitieme siecle a l'entanger. Ученый автор не совсем точно приписывает органу Лозанского общества нравственности только двухмесячное существование. Первое собеседование было напечатано в нем 28 июня 1766 г., а последнее 20 июня 1767 г. Таким образом, ваатландцы читали «Аристида» в течение целого года.

Thiebault, Mes souvenir de vingt ans, статья о «Камеке» и *I. D. E. Preuss, Friedrich der Grosse mit seinen Verwandteu und Freunden,* стр. 349

99

Неизданное письмо.

100

Ангажемент Барбарины имел последствием дипломатическое столкновение между Пруссией и Венецианской республикой. Прекрасная танцовщица, подписав уже контракт с администрацией оперы в Берлине, влюбилась в молодого лорда Мэкензи Стюарта и объявила, что она в Берлин не поедет. Ее, однако, отвезли туда насильно, не разлучая, впрочем, с возлюбленным. Позднее она вышла замуж за барона Каччеи и получила под старость титул графини Кампанини.

101

L. Schneider, Geschichte der Oper und des Koniglichen Opernhauses прибавления XXXII, стр. 77 и XXXIII, стр. 83.

Oeuvres (1847 г.) т. VI, стр. 121.

103

Journal du Luxe et des Modes, т. V, стр. 222 в цитате у *Шнейдера: Geschichte der Oper und des Konigl. Opernhauses in Berlin,* стр. 237.

104

См. *Querard, La France litteraire,* т. VIII, 1829. По каталогу же Британского музея эта брошюра была напечатана в Мангейме в 1778 году.

Eynard, Essai sur la vie de Tissot, стр. 187.

106

Он по утрам одевал ее в мужской костюм, а с обеда до вечера — в женский.

107

Великий Князь Николай Михайлович, граф П. А. Строганов, т. I, стр. 41.

108

Петр-Людвиг-Фридрих, обер-егермейстер, родился 13-го января 1768 г. — 5 декабря 1821 г.; в 1795 г. женился на Софье Александровне Демидовой, статс-даме, род. 23 мая 1766 г. ум. 19 октября 1831 г. Надо полагать, что именно этот член семейства Головкиных, а не Петр Александрович, как думает кн. Лобанов (Русская Родословная Книга, 2-е изд. 1895 г., стр. 162), во времена Павла принадлежал к реформаторской церкви в С.-Петербурге, так как Петр Александрович, который женился на своей племяннице, графине Камеке, умер еще в 1787 г. (см. таблицу IV). К нему же, стало быть, относится рассказ *Масона* в его *«Memoires secret sur la Russie»*: «Французские и швейцарские реформаторы имеют в Петербурге свою церковь, в которой немцам тоже разрешается устраивать богослужения на их языке; а так как первоначальные средства на содержание этого храма поступали от французов, то последние сохранили в своих руках заведывание им. Но немцы настаивали на полном соучастии в делах прихода и начали процесс, который они проиграли. Тогда они стали искать покровительства у Павла, который повелел рассмотреть дело вторично, в ревизионном порядке. Сенат, однако, подтвердил свое первоначальное решение. Последовал новый протест со стороны немцев и Павел приказал решить дело в их пользу. Маннсбендель из Мюльгаузена был тогда французским пастором, а граф Головкин, капитан флота, одним из церковных старост; они позволили себе некоторые замечания по поводу пристрастия государя. Вследствие этого, Маннсбенделя заключили в тюрьму, откуда его выпустили с обязательством немедленно покинуть Россию; графу же Головкину было приказано тотчас же выехать из Петербурга; затем он получил второй приказ отправиться на корабль, которым он командовал, и по прибытии туда был разжалован в матросы». См. *Архив князя Воронцова,* стр. 400. // Кроме Петра и Юрия у графа Федора был еще меньшой брат Гаврил (1775–1805 г.), капитан на голландской службе, который вернулся в Россию позднее своих братьев. Он в 1797 г. был принят в Семеновский полк и умер 19 октября 1805 г., вследствие ран, полученных им в сражении под Ламбахом. От своей жены, урожденной Ауроры Паткуль, он имел единственного сына, умершего в очень молодых годах. Яков Иванович *де Санглен* рассказывает в своих *«Воспоминаниях»* очень любопытный анекдот, характеризующий его как весьма оригинального человека (Русская Старина, т. XXXVI, стр. 487).

109

Wigel, La Russie envahie par les Allemands, стр. 65.

110

Вероятно, просьбы Екатерины Ивановны Головкиной, урожденной Ромодановской, вдовы Михаила Гавриловича, тоже способствовали этому результату. «Екатерина II, — пишет князь Долгоруков в своих Мемуарах (т. 1, стр. 115), — во время коронования вняла просьбам этой почтенной старухи и дала знать семейству Головкиных, что они могут вернуться в Россию в полной безопасности, что их имущество им будет возвращено и что им будет разрешено остаться в реформатском вероисповедании. Сыновья графа Александра Гавриловича, свыкшиеся с пребыванием в Голландии, для себя почтительно отказались от милости императрицы, но приняли ее предложение для своих сыновей.

«Воспоминания», т. II. Их автор Филипп Вигель — весьма любопытная личность. Будучи по рождению немцев, он отличался ненавистью к своему народу — общею всем отступникам чертою. Его весьма интересные «Воспоминания» относятся, главным образом, к царствованиям Павла I и Александра I. Кроме того, он издал в 1844 г. брошюру: *«Россия, захваченная немцами»*. Его точка зрения, открыто выраженная в этом памфлете, представляет собою, вероятно, секретные мысли громадного большинства русского народа. Вигель принадлежат к тому сословию второстепенного дворянства, происходящего от детей священников, чиновников, артистов и всякого рода служащих, прибывших из-за границы, которые — согласно исполнившему отчасти предсказанию маркиза Кюстина (La Russie en 1839, т. II, стр. 126) — «начнут будущую революцию в России».

112

Клапрот издал в 1809 г. в Лейпциге (2-е изд. в 1817 г.) анонимную брошюру: «Die russische Gesandschaft nach China im Jahre 1805», которая считается теперь библиографическою редкостью и где он описал приключения этой экспедиции, не пощадив критики по адресу некоторых членов ее, в особенности графа Головкина.

113

Церемония под названием кэу-тэу. Всякое лицо, допущенное к аудиенции у китайского императора, должно стать на колени, опираясь руками на пол, стукнуть челом три раза о пол, а затем привстать и повторить этот поклон еще два раза. (См. Клапрот).

114

Баронесса Монтэ, которая в своих интересных «Воспоминаниях» (Souvenirs, Paris, Plon) оставила нам верное описание высшего венского общества в начале прошлого столетия, несколько раз упоминает о графе Юрии Головкине: «… Граф Головкин, который дошел до великой китайской стены, пользуется с величайшим остроумием преимуществами путешественников, возвращающихся из дальних стран…» (стр. 182) …«Г. Головкин устроил в эту зиму у себя бал; он, между прочим, пригласил на этот бал князя Морица Лихтенштейна, скончавшегося два года тому назад! Какое это было грустное развлечение для его вдовы!»

115

Выписка из частного письма князя Меттерниха от 29 июля 1820 г. (по поводу разразившейся в Неаполе революции): «Невозможно себе представить наивность Головкина; она может быть сравнена лишь с его доброю волею, которая несомненно безукоризненна. Это один из тех людей, у которых не достает руководящей мысли; он корректен и некорректен, клерикал и либерал, христианин и язычник — все в течение четверти часа». (*Мемуары* князя Меттерниха, т. III, стр. 263). // Выдержка из частного письма князя Меттерниха из Троппау, 1-го ноября 1820 г.: «Вечера, когда гроза гремит снаружи и большие капли дождя стучат в окна, казалось бы, особенно располагают к интимным разговорам. Этот опыт, который мне пришлось так часто делать, проверен мною снова во время длинного разговора с Нессельроде, сидевшим передо мною за столом, за которым я писал, и вышедшеим от меня не более десяти минут тому назад. Он сам начал разговор о невозможности оставить Головкина в Вене. Император не желает читать его донесений, а Каподистрия не хочет его слушать (см. *Memoires,* т. III, стр. 375).

116

Prince Pieree Dolgoroukow: «La verite sur la Russie», стр. 46.

117

Gustine, La Russie en 1839, т. II, стр. 26 и сл.

118

Император Николай поручил ему эту должность вследствие разговора, который он имел с ним по поводу английских университетов. См. *Карнович: Замечательные богатства частных лиц в России.* С.-Петербург 1885 г.

119

В замке, в Ваатланде, где граф Юрий провел счастливые дни своей молодости, можно теперь еще видеть две акварели, представляющие церковь и парк в Константинове, близ Харькова, имении, принадлежавшем тогда ему.

120

Князь *Петр Долгоруков, Мемуары* т. I, стр. 116.

121

Этот самый анекдот приводится *Шубинским* в его *Исторических очерках и рассказах*. Но странно, что этот русский ученый приписывает неаполитанское посольство начальнику неудачной китайской экспедиции, не подозревая, по-видимому, о существовании веселого графа Федора.

122

О нем, очевидно, говорит баронесса Оберкирх в своих *«Мемуарах»* (глава XVIII). В качестве компаньонки графини дю Нор она познакомилась с ним в Голландии, летом 1782 г.

123

«Графиня Камеке, отличавшаяся своим умом, впоследствии помешалась от разных постигших ее огорчений, — говорит о ней граф Федор, — и когда связанный с нею пятидесятилетнею дружбою, прусский министр иностранных дел граф Финкенштейн, посетил ее в этом состоянии, она крикнула ему навстречу с кровати, где ее удерживали: «Не входите сюда, подумайте, что государство в ваших руках. Дружба могла бы сделать мою болезнь заразительной для вас!»

124

Людвиг Генрих де Николаи (1737–1820) сопровождал в 1769 г., в качестве гувернера, детей графа Кирилы Разумовского в Россию (См. *Васильчиков, Семейство Разумовских,* т. II, стр. 11, прим.). Назначенный библиотекарем великого князя Павла Петровича, он назвал себя «бароном» Андреем Львовичем Николаи. Его сын Павел (1777–1847) известный в свое время русский дипломат, в 1828 г. получил звание финляндского барона.

125

Софья Ивановна, дочь графа Ивана Карловича Эльмпт, который в день коронования императора Павла I был произведен в фельдмаршалы. Будучи еще камер-фрейлиной Екатерины II, графиня Эльмпт была лишена этого звания, бита кнутом и изгнана со Двора за то, что она распространила неприличные карикатуры Потемкина и других фаворитов императрицы. (*Долгоруков,* Мемуары, т. I, стр. 511).

126

Граф Отто Штакельберг (1736–1800), русский посланник в Мадриде, Стокгольме и Варшаве. Вот как его характеризует граф Федор: «Граф Штакельберг скорее малого, чем большого роста, скорее плечист, чем толст, с головою, украшенною пышными волосами и гордо поднятою кверху. Будучи посланников в Варшаве, он приучил себя к этой величавой осанке, которая, с тех пор стала для него привычной и так противоречит гибкости и услужливости проявляемым им к людям, пользующимся властью. Однажды вечером, когда императрица играла в жмурки с детьми, она, считая Штакельберга, который тоже участвовал в игре, не особенно ловким, стала его ловить, что ей, однако, не удавалось. Видя, что он от нее все ускользает, она, наконец, улучила минуту, тихо подошла к нему и схватила его за Александровскую ленту: «На сей раз я вас держу», — произнесла она. — «О, очень мало, только за кончик ленты», — ответил он ей. Дерзость этого ответа заставила императрицу отпустить его. Ее Величество всегда так умела собою владеть, что она, не сказав ни слова, ушла. Но вечером, когда она удалилась в свои апартаменты, она нам рассказала об этой выходке с большим негодованием и поклялась, что в ее царствование он никогда не получит голубой ленты».

127

Вот еще одно из забавных недоразумений, рассказанных графом Федором в его «Анекдотах»: «В самый разгар войны император Александр I послал к прусскому королю одного из своих ординарцев. Это был грузинский князь, фамилию которого я позабыл. Его пригласили к придворному столу и король, заметив, что этот офицер чувствует себя еще более неловко, чем он обыкновенно сам себя чувствовал, стал его расспрашивать. При каждом вопросе короля грузин вскакивал во весь рост, чтобы ответить. Неоднократные приглашения не могли его заставить остаться на своем месте. Когда подали огромную рыбу, король его спросил: «Скажите, а у вас в России есть такие осетры?» Князь вскочил, отвесил глубокий поклон и сказал: «Да, Ваше Величество, я сам имел честь быть таковым в течение целого года»… Осталось навсегда неизвестным, что он хотел этим сказать, но вся королевская свита и все придворные чуть не упали под стол со смеха. Всякий этикет и уважение к личности были забыты и, не исключая самих лакеев, все смеялись до упаду». Разгадку этого анекдота дал нам Князь Петр Долгоруков в своих «Мемуарах» т. I, стр. 97. Упоминаемый графом Федором грузинский князь был Георгий Эристов, умерший на русской службе в чине полного генерала; он был женат на дочери последнего грузинского царя. Его ответ, вызвавший такой взрыв смеха, объясняется тем, что ему послышалось, будто король его спросил, есть ли в Грузии *сержанты* (sergent — сержант и esturgeon — осетр по-французски сходные по звуку слова).

128

Единственный из Дюмуленов, имя которого достигло на военной службе некоторой славы, был генералом у Фридриха II прусского. Он умер в 1756 г. и не мог быть знаменитым учителем генерала фон Сухтелена, родившегося только в 1751 г. Таким образом тот кому граф Федор дает прозвище «великого» был вероятно, одним из тех специалистов по фортификационному делу, которыми тогда изобиловали Нидерланды.

129

Граф Ростопчин пишет графу С. Р. Воронцову 20-го июля 1794 г.: «Он (т. е. Зубов) делает все через посредство графини Шуваловой и окружает себя лицами, которые ему многим обязаны. В том числе и Головкин». *(Архив князя Воронцова,* т. VIII, стр. 99).

130

Граф Аркадий Марков писал 26 июня 1795 г. графу Андрею Разумовскому: «Вы спрашиваете меня, мой друг, насчет этого Головкина, который был у вас. Я вам его опишу в двух словах: это дерзкий сумасброд, который хочет придать себе важность. Графа Зубова он забавлял, потому что он действительно обладает некоторым остроумием, но граф его никогда не уважал и не питал к нему доверия. Он в делах не имеет никаких сведений и ему нельзя верить, а разные нескромности, которые он позволил себе во время поездки, навлекли на него строгий выговор, и если это его не образумит, то, по крайней мере, внушить ему молчание в делах, которые его не касаются. (*Васильчиков, Семейство Разумовских,* т. V, стр. 227).

131

Ученый современник. Сэр Вилльям Гамильтон, оставил нам по этому поводу замечательную хронику в своих *«Campi Phlegraei» или «Наблюдения вулканов Обеих Сицилий».*

132

«Этот человек страдает от последствий излишеств в молодости, — говорит *Горани* в своих «Секретных Воспоминаниях», — он раньше жил в такой веселой компании, что теперь напоминает ходячий скелет. От него несет смрадным запахом, смешанным с мускусом, пропитывающим его платья, отчего встреча с ним становится столь же несносной, сколь небезопасной. Когда он появляется в театре, ложи по соседству с его ложей становятся пустыми. Неоднократно бывали случаи, что лица мужского или женского пола не могли вынести его присутствия и лишались чувств» *(Gorani, Memoires secretes*, т. I, стр. 276).

133

В бумагах графа Федора мы находим следующее место, характеризующее его отношения к неаполитанскому правительству: «Милость, которою я пользовался при Дворе до тех пор, пока мой характер сделался более известным, побудила королеву и министров говорить со мною о положении дел с доверием. Они чувствовали все значение *тех представлений, которые я счел себя в праве им сделать.* Я предложил им единственное средство, которое могло вывести их с почетом из затруднений, а именно: всеобщую амнистию и прощение именем короля, который должен был вступить, подобно доброму отцу, возвращающемуся с охоты и прощающему своих детей; но я этим ничего не достиг и понял вполне ясно, что они скорее пойдут на все, чтобы только не предоставить королю той роли, которая ему подобала».

См. *Nicals Chatelain* в *Revue Suisse,* т. 24 (1861 г.).

135

Екатерина II Гримму 11 марта 1796 г. (*Записки Импер. Росс. Истор. Общ.* Т. XXIII, стр. 672)

136

Архив кн. Воронцова, т. VIII, стр. 118.

137

Васильчиков. Семейство Разумовских, т. V, стр. 277.

138

Dupre de Sain-Vaur, Peterbourg, Moscou et les provinces, Paris, 1830 г., т. VIII, стр. 227.

139

Обе эти депеши нам сообщены г. Фондэ-де-Монтюссэн.

140

См. *«Портреты и Воспоминания»,* статьи: королева Каролина, Фердинанд I и Гамильтон.

141

Эта записка будет использована и в главной своей части напечатана в подготовляемом к изданию труде г. Леонса Пэнго (Leonce Pingaud) под заглавием: «Головкин-дипломат».

142

Сведения, которые нам сообщает граф Федор о последующих приключениях этой странной четы, очень занимательны, если они и не вполне достоверны: «…Тем временем принцесса Нассауская унаследовала от своего брата Гозьдского имения, расположенные в Польше, и ее воображение рисовало ей блестящие доходы с них, которые она одна могла бы реализовать. Контракт на наем дворца Лоредон был расторгнут и эмигранты были предоставлены самим себе. По дороге в Польшу принц и принцесса остановились в Вене, чтобы зондировать там почву, которая, однако, оказалась неблагоприятной, и они отправились дальше, в свои владения. Первое их действие по приезде в деревню состояло в том, что они отняли у крестьян арендованные земли и стали их обсевать… Но я боюсь, что меня могут заподозрить в подражании принцессе, а все же я должен сказать то, что достоверно известно: …они стали обсевать земли лавандой, семена которой за большие деньги были выписаны из Франции. Имелось в виду забрать в свои руки всю торговлю лавандовою водою на Севере и на Востоке. Предполагалось покрыть Балтийское и Черное моря судами, нагруженными этой благовонной водой, и миллионы должны были стекаться со всех сторон. В самый разгар культуры этого прелестного растения принцесса довольно внезапно скончалась. Что же касается принца, то его ум мало-помалу так расстроился, что этот человек, казавшийся всегда таким серьезным и рассудительным, и отличавшийся такими рыцарскими манерами, умер, одетый в женское платье по старинной моде, с длинными локонами, ниспадавшими с его лысой головы, и со шлейфом, который несли два пажа в праздничной ливрее».

143

Об этом он сам пишет из своего изгнания барону Николаи.

144

В пятой главе книги, написанной о графе д'Антрэг (d'Anyraigues) Леонсом Пэнго: «Тайный агент во время Революции и Империи» (Un agent secret sous le Revolution et l'Empire, Paris, 1884 г.) содержатся ценные сведения о Дрезденском обществе начала XIX столетия.

145

«Безмолвие» Корреджио составляет главное украшение моей гостиной и эту картину все хвалят и ею восхищаются. К ней я прибавил лучшие рисунки моей коллекции. Их яркие и нежные краски в хорошо вызолоченных рамках выделяются очень красиво на сером английском фоне, окаймленном золотыми виноградными ветвями. Занавески из кисеи и нанки дополняют общее впечатление, представляющее весьма приятное на вид сочетание изящного с простым. Моя спальня вся задрапирована белым, что меня очень старит и придает мне ужасно толстый вид; довольно изящный будуар — тоже не способствует моей красоте; за то остальные комнаты не так приятны на вид, но более подходят к моей внешности. Мой балкон обставлен померанцевыми и гранатовыми деревьями, а также лавровишней, жасмином, резедой и туберозами, и если Вам угодно меня теперь посетить, мне не трудно будет встретить Вас с подобающим почетом (письмо г-же Эйнар-Шатлен от 11 июля 1808 г., напечатанное в Revue Suisse, т. XXIV, 1861 г.)

146

Это совсем новый дом, четырехугольный, с тремя окнами во фронте и в четыре этажа. Мои люди и я чувствует себя здесь очень хорошо, и я могу еще сдать маленькую квартиру. Все это заново меблировано и отличается северо-голландскою чистотою. Дом расположен среди маленького парка в английском вкусе, на берегу Сены, по дороге из Парижа в Сэн-Жермен, в четырех милях от одного и от другого, в полумиле от Мальмезона и в трех четвертях мили от Версаля. Люсьена и Марли — на горе над нами, а вокруг нас восхитительные и бесчисленные прогулки. Дамы, с которыми я вижусь, большею частью живут в окрестностях, а г. Буасси-д'Англа с его чудной библиотекой — у самых моих дверей». Письмо от 5 октября 1808 г. Николаю Шатлену, напечатанное в Revue Suisse, т. XXIV, 1861 г.).

147

См. в «Портретах и Воспоминаниях» статью «Нессельроде».

148

См. ниже «Русская колония во Флоренции с 1816 по 1817 гг.

Некоторые из его приближенных советовали ему приобрести права гражданства кантона Ваатланда и определиться там на общественную службу. Но он на это отвечал, что гордится своею любовью к Воотланду, но что вокруг этого маленького, тоненького и лишь немного подслащенного общественного пирога и без того уже толпится слишком много народу. «И потом, — говорил он, — человек, деду которого именным указом Петра Великого было поручено положить первый камень при закладке С.-Петербург, не мог бы в Лозанне занять место меньше старосты собора св. Франциска или педеля Академии, на которую и так много охотников».

Memoires du prince Metternich, т. VI, стр. 670.

151

В конце этой книги, под общим заглавием: «Корреспонденты Головкина», помещен выбор писем, исходящих от лиц известных своим умом, с которыми он находился в сношениях: г-жи Сталь, Жозефа де Мэстра, графа де Коаньи, шевалье Буффлера, графа Каподистрия и др.

152

«Consideration sur la consitution morale de la France», Geneve, Paschoud 1815.

153

См. в конце этой книги письмо графа Каподистрия от 2/14 июня 1816 г.

«L’Education dans ses rapports avec le Gouvernemant» Geneve et Paris ches Paschoud 1818.

155

Факсимиле этого письма находится в журнале «L’Art». (Июнь 1904).

Деятельное сотрудничество при составлении «Мемуаров» Станислава-Августа, последнего польского короля, внушило ему, может быть, вкус к подобным работам. Во всяком случае, подробности, сообщаемые им по поводу этих неизданных Мемуаров, весьма любопытны: «Я был одним из числа лиц, которые были допущены к ближайшему кругу короля. Давнишние деловые сношения, о чем я буду говорить в другом месте, те воспоминания об общественных событиях, которых меня удостоила Екатерина II, моя склонность к искусству и к литературе — вот данные, благодаря которым я во всякое время был вхож в кабинеты, куда я еще раньше вводил нескольких лиц, отличавшихся приятностью и благонадежностью обхождения. Однажды ночью, князь Безбородко был послан из Гатчины за мною и за вице-канцлером князем Куракиным, чтобы вызвать нас к государю для внезапного в одно и то же время допроса о характере наших сношений с королем. Мы на это имели лишь один ответ, но как наши отношения с ним ни были невинны, их все-таки пришлось прекратить. Я уже больше не встречал короля, кроме только как на торжественных выходах, и это было большой потерей для всего мира, так как мы постоянно редактировали, в виде Мемуаров, дневник, состоявший из девяти больший фолиантов, который был начат королем в день его коронования и закончен в день его отречения от престола. Там, с чистой совестью, как на исповеди, было собрано все — политика, вопросы управления, придворные интриги и любовные приключения. Положение короля среди Дворов Австрии, России и Пруссии в течение тридцати лет было такого рода, что постоянная необходимость знать обо всем создала из этого дневника наиболее полный из всех существующих отрывков истории. Точность дневника была доведена до того, что там можно было найти записки расходов мельчайших сумм, если только эти расходы имели какое-нибудь отношение к делам. Я тщетно требовал, на следующий же день после смерти короля, выдачи этого сокровища его семейству, но граф Сергей Румянцев, которому было поручено императором привести в порядок наследство короля, погрузил этот дневник в безбрежный океан правительственных хартий!»

157

Князь Петр Долгоруков пишет в своих «Мемуарах»: «Граф Федор был один из величайших хвастунов своего времени; он рассказывал, будто он ведет политическую переписку с Людовиком XVIII, выдавал себя за главного составителя Хартии 1814 г. и никогда не замечал, что, слушая его, все втихомолку посмеивались». (Dolgoroukov, Memoires т. I, стр. 115).

158

Следующий анекдот, оказавшийся в бумагах графа Федора, заслуживает внимания, так как он не лишен некоторой пикантности: «У нас в России жил один старик из Любека Эпинус, прикомандированный сначала к делу воспитания великого князя Павла, а затем к департаменту иностранных дел, где ему поручалась работа с шифрами. Под очень простою внешностью это был умный человек, отличный математик и физик, настоящий философ и величайший любитель ходить пешком. Екатерина II его очень ценила и воспользовалась случаем при учреждении учительских семинарий, чему он много содействовал, чтобы наградить его орденом св. Анны. Принося императрице свою благодарность, Эпинус сказал: «Я почтительнейше благодарю Ваше Величество за то, что Вы меня на остаток моей жизни предохранили от палочных ударов». Он всегда возмущался безнаказанностью, которая приобреталась в России орденами, но с этого дня он всегда носил свой орден на старом сюртуке коричневого цвета, в котором он совершал свои экскурсии».

159

Автор по-видимому ошибается, так как здесь речь идет не о Кампенгаузене, а о Сальдерне.

Этот эпизод, рассказанный графом Федором, хотя и не правдоподобен, но представляет некоторый интерес, так как указывает на одно из течений мысли, столь опасных для прочности трона, которые выступали наружу вследствие некоторых неправильностей в поведении Екатерины II.

Карла Августа (1758–1828 гг.)

Карла Людвига, дочь которого (Елисавета Алексеевна) впоследствии вышла замуж за императора Александра I.

163

См. подробности в «Зап. Имп. Росс. Истор. Общ. Т. XXVII, стр. 79; *Asseburg*, Denkwurdigkeiten, стр. 270; *Шильдер* Им. Павел I стр. 104 сл. Этот автор говорит: «Вся ответственность за это происшествие падает на ландграфиню, увлекшуюся мыслью о блестящем браке ее дочери».

Предпочтение, даваемое графом Федором этому объяснению внезапной немилости графа Андрея Разумовского, следует, вероятно, приписать не столько его любви к истине, сколько его ненависти к принцу Генриху Прусскому. «Никогда я не встречал человека более посредственного, пользующегося некоторою репутациею, ни более смешного, при больших протекциях, — говорит граф Федор в одной статье, посвященной специально принцу Генриху; — это был маленький человечек, очень худой и плохо сложенный, расхаживающий на очень высоких каблуках. У него — безобразное лицо с огромными глазами, как у плотвы, из коих один косится на бок, с большим сердцеобразным париком на голове, украшенным буклями в голубиное крыло. Его фрачный костюм пестрел розовыми, лиловыми и желтыми цветами. Жеманные манеры, напоминающие скорее старую кокетку, чем пожилого мужчину, и хриплый голос, который он старается смягчить развязными манерами, — вот этот человек, на которого вам указывают, приговаривая: «Это великий человек».

165

Русские историки любят подчеркивать легкость, с которою немецкие принцессы отступали от своей религии каждый раз, когда им приходилось выходить замуж за наследника русского престола. По этому поводу интересно прочесть приведенный Бильбасовым документ о принятии православия принцессой Ангальт-Цербтской, а также письмо Екатерины II графу Румянцеву от 17 августа 1792 г., приведенного генералом Шильдером (История Императора Александра I, стр. 231, прим. 120): «Вопрос о вере не составлял затруднений, не более чем все остальное, речь идет о принцессе Луизе Баденской, невесте великого князя Александра, впоследствии императора Александра I). Нашелся учитель богословия, который доказал Баденскому принцу преимущество православной веры, и успех получился такой, что можно было ожидать момента, когда сам принц пожелает перейти в эту веру.

Его сын, граф Александр Христофорович Бенкендорф, впоследствии был грозным шефом жандармов.

167

Псевдоним, под которым великий князь Павел Петрович путешествовал по Европе. (Прим. перев.)

168

В письме, написанном Иосифом II, императором Австрийским, его брату Леопольду Тосканскому, великому герцогу, он дает подробное описание графа и графини дю Нор и их свиты, и между прочим отзывается о Вадковском, как о незначительной личности, «Г. Вадковский очень красивый молодой человек» (см. *Joseph II und Leopold von Toscane. Ihr Briefwechsel von 1781–1790,* издание Арнета стр. 332–339).

169

Екатерина Нелидова родилась в 1756 г.

170

Произведенный впоследствии Павлом I в генерал-фельдмаршалы.

171

1751–1802 гг.

172

Супруга Григория Орлова, урожденная Екатерина Николаевна Зиновьева.

173

См. письмо Ростопчина графу Воронцову от 20 июня 1791 г. (Архив кн. Воронцова, т. VIII, стр. 99).

174

Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), известный русский государственный деятель, фаворит Павла I, затем потерявший его покровительство в результате соперничества с новым фаворитом императора графом Паленом П. А.

175

Шувалов Ивам Иванович (1727–1797) играл видную роль в правление Елисаветы Петровны. Отношения с великой княгиней Екатериной Алексеевной не складывались изначально из-за несовпадения их взглядов на престолонаследие. При возведении ее на престол Шувалов не проявил открытой поддержки, за что был послан за границу. Впоследствии был возвращен, стал членом избранного кружка Екатерины II, в качестве знатока помогал ей пополнять коллекции Эрмитажа.

Здесь следует сделать оговорку, что хронология не была сильной стороной графа Федора. Нередко события, которые он относит к одному году царствования императора Павла I, в действительности относятся к другому году.

177

Это место в рукописи графа Федора неразборчиво.

178

Петр Иванович Измайлов (1724–1807) был 28 июня 1762 г. вычеркнут из списков Преображенского полка, ибо вследствие его бдительности был задержан Пассек. Несколько дней после вступления на престол Павла I он из гвардии-капитанов был произведен в генерал-лейтенанты.

По-французски: Livonie-Siberie(?) *Прим. перев.*

Русские историки утверждают, что причиною этого возмущения был указ императора Павла, дозволявший крестьянам приносить присягу наравне с другими сословиями. Этот манифест произвел на сельское население впечатление акта, освобождающего крестьян от крепостного состояния, ибо до тех пор им не было разрешено приносить присягу на верность.

181

В царствование Павла две дамы, графиня Литта и княгиня Гагарина были произведены в кавалерственные дамы Мальтийского ордена. Камердинер императора Кутайсов, турецкого происхождения, удостоился того же отличия. Быстрота его карьеры была поистине поразительна: 6-го декабря 1798 г. — обер-егермейстер; 22 февраля 1799 г. — барон; 9-го января 1800 г. — граф. А брат прелестной княгини Гагариной в десятилетнем возрасте был уже флигель-адъютантом.

182

По случаю своего коронования Павел I буквально осыпал Безбородко чудными подарками. Во-первых, ему были пожалованы поместье в Орловской губернии и 30 000 десятин в Воронежской губернии, затем 6000 душ по его собственному выбору и, наконец, российское княжеское достоинство. Но эти роскошные подарки не могли привести в равновесие бюджет расточительного князя. Содержание настоящего гарема на турецкий манер и покупка драгоценных картин знаменитых мастеров стоили ему баснословных сумм. Его наследникам пришлось заплатить после его смерти, наступившей в 1799 году, огромные долги.

183

Я никогда не видел более трогательной сцены, хотя с хладнокровной точки зрения приходится рассматривать все это как результат общего нервного расстройства. (Прим. гр. Головкина).

Ленту ордена св. Андрея Первозванного. (Прим. перев.)

185

Он питал к папе Римскому ненависть, доходившую до смешного. «Вы будете надо мною смеяться, — сказал он мне однажды, — но папы представляются мне непрерывным рядом антихристов, а кардиналы — сообщниками дьявола». (Прим. графа Головкина).

Требовательность императора в отношении церемоний хорошо характеризуется эпизодом, рассказанным графом Федором в его заметках о Станиславе Августе, последнем польском короле: «Во время коронования его заставили появиться в королевской мантии на балконе за эстрадой, где происходило коронование. Вследствие усталости, или рассеянности, или же потому, что он считал Павла слишком занятым, чтобы думать о нем, а может быть и по той причине, что он не усматривал в этом ничего особенного — он сел. Но император, обернувшись, резким тоном велел ему передать приказание встать, что было исполнено Нарышкиным, впоследствии обер-гофмаршалом, в не менее резкой форме.

187

Князья Куракины получили два великолепнейших поместья, из коих одно величиною в 20 000 десятин, а вице-канцлер, кроме того, еще 4300 душ.

В общем 82 000 душ.

189

По всей вероятности Александр Львович Нарышкин, бывший с 1798 г. обер-гофмаршалом. По случаю коронации он получил только орден св. Анны 1-й степени.

190

Великий князь Константин Павлович женился в 1796 г. на принцессе Юлиане Саксен-Кабургской, которой тогда было 15 лет от роду. Приняв православие, она была наречена именем Анны. Она выносила грубости своего мужа до 1801 года, после чего навсегда оставила Россию. Формально развод последовал лишь в 1820 г. Она долго жила в своем имении Эльфенау, недалеко от Берна, а затем доживала свой век в Ля-Буассьере близ Женевы.

191

Анна Петровна Лопухина.

Эти замечания графа Федора о «немецкой партии» не лишены современного значения, ибо эта партия существует и ныне. Как во времена графа Федора, она состоит из «лиц различных национальностей», которые выдают себя за настоящих русских. Но действительно ли они русские? Этот, немного щекотливый, вопрос могут решить только русские чистой национальности.

193

Генерал Архаров был военным губернатором Петербурга. (Прим. перев.)

Точнее: внучатый племянник, так как не отец, а дед князя Александра Куракина был женат на Паниной, сестре графа Никиты Ивановича Панина.

Мария Федоровна. (Прим. перев.)

Об этом мы находим следующую заметку в переписке Ростопчина с графом Воронцовым: «Некий Воот, уполномоченный Гопе, скупает все векселя и делает прекрасное дело для себя, пользуясь особым покровительством императрицы». (Письмо Ростопчина Воронцову от 12 ноября 1797 г. *Архив кн. Воронцова,* т. VIII, стр. 185).

197

Александр Сергеевич Строганов (1738–1811), президент Академии Художеств. Может быть, граф Федор слишком строго судит об этой личности, во всяком случае он, по своему воспитанию и по своим знаниям в художественных и научных вопросах, возвышался над весьма многими придворными Павла I.

198

По-видимому граф Федор здесь ошибается во времени. Это событие следует отнести к лету 1799 года. (*См. Шильдер, Император Павел I,* стр. 428).

199

Василий Яковлевич Чичагов (1726–1809).

200

Павел Васильевич Чичагов (1762–1849) известен, главным образом, неудачей, постигшей его при попытке отразить отступление армии Наполеона I через Березину. После войны он удалился за границу. Как приверженец либеральных учреждений и будучи женат на англичанке, Эллен Проби, он поселился окончательно в Англии и принял даже английское подданство. К сожалению, вышедшие после его смерти, под его именем «Мемуары» (Берлин 1855 и Париж 1862) — апокрифичны.

201

Граф Федор не преувеличивает. Эта история произошла почти так, как он ее описывает. (См. *Шильдер Император Павел,* стр. 428).

202

Фамилия князя в рукописи графа Федора неразборчива.

203

31 октября 1798 г., Юлий Помпеевич — так русские звали командора Литта, — женился на вдове графа Скавронского, урожденной Энгельгардт, племяннице князя Потемкина. Эта женитьба состоялась вопреки основным правилам Мальтийского ордена, предписывавшим членам ордена безбрачие. Такое нарушение, впрочем, не было исключительным, если принять во внимание то странное обстоятельство, что между кавалерами Мальтийского ордена, назначенными Павлом I, находился граф Кутайсов, происходивший от мусульман и что этим орденом были пожалованы две дамы — княгиня Анна Петровна Гагарина, урожденная Лопухина, и графиня Литта, супруга командора.

На сей раз граф Федор преувеличивает. В действительности это дело происходило иначе. 27-го марта 1798 генерал-прокурор князь Куракин сообщил новороссийскому гражданскому губернатору тайному советнику Гелецкому следующее секретное предписание: «Известно государю императору, что тело покойного князя Потемкина доныне еще не предано земле, а держится на поверхности, в особо сделанном под церковью погребу и от людей бывает посещаемо, а потому находя сие непристойным, высочайше соизволяет дабы все тело без дальнейшей огласки, в самом же том погребу погребено было в особо вырытую яму, а погреб засыпан землею и изглажен так, как бы его никогда не бывало». Это предписание было в точности исполнено на месте ночью 28 апреля 1798 г. и, хотя, это сделано секретно, но вызвало в жизнь легенду о том, что тело Потемкина вынуто и выброшено (См. *Шильдер,* Император Павел I, стр. 427).

205

Акушер, помогавший Ее Величеству в предшествующих родах, был барон Иосиф Моренгейм, профессор родовспомогательного искусства при Воспитательном Доме. Это — прадед барона Артура Моренгейма, представителя России в Париже во время царствования Александра III.

Уже в 1788 г., когда родилась великая княжна Екатерина Павловна, жизнь ее матери была в большой опасности.

207

Александр Семенович Мордвинов, поверенный в делах, сначала в Генуе (1781–1785), а потом в Венеции (1785–1798 г.).

208

Граф Николай Семенович Мордвинов (1754–1845).

209

Эта статья, вероятно, одна из наиболее интересных в числе воспоминаний графа Федора не нашлась в его бумагах. Возможно, что те, которые рылись в его ящике, заключавшем в себе бумаги старого дипломата, имели какой-нибудь интерес в уничтожении этой статьи. // Эпизод с Лопухиной принадлежит к наиболее пикантным в царствование Павла I, даже если сношения государя с «дамой его мыслей» были лишь платонические, как доказывает нам русский историк, генерал Шильдер. Император впервые встретил г-жу Лопухину на балу, в мае месяце 1798 г., в Москве. Приближенные государя не преминули обратить его внимание на эту красавицу. «Она, Ваше Величество, из-за вас голову потеряла», — сказал один из царедворцев. Несколько месяцев спустя — 1-го августа 1798 г. — отец Анны Петровны имел счастье обедать за императорским столом. Восемь дней спустя, он был назначен генералом-прокурором. 20-го августа он удостоился получить от Его Величества великолепный подарок: прелестный дом покойного адмирала де Рибаса на набережной реки Невы. 23 августа он был назначен членом государственного совета. 6-го сентября он был произведен в действительные тайные советники. В тот же день его супруга, г-жа Лопухина, назначается статс-дамой. «Это увлечение времен рыцарства, — пишет 2 ноября 1798 г. граф Ростопчин графу Воронцову, — и никогда император ее не видит иначе, как публично или в присутствии ее отца или ее мачехи». *(Архив кн. Воронцова,* т. VIII, стр. 275*)*. Прошло не более пяти месяцев, как Лопухин был возведен в светлейшие князья — в награду за его «важность и усердие». Кроме того, вновь испеченный князь получил в придачу: 1) великолепное поместье с 8000 душ; 2) портрет Его Величества; 3) большой крест ордена св. Иоанна Иерусалимского; 4) Андреевскую звезду, осыпанную бриллиантами. Несмотря на все это, добродетель Анны Петровны оставалась непоколебимой, по крайней мере, если верить русским историкам. Она отказывалась от всех предложений императора и заявила ему, наконец, что ее сердце принадлежит князю Гагарину. Павел довершил свое великодушие тем, что не воспротивился этому браку. Свадьба молодой пары была отпразднована в присутствии Двора, и княгиня Гагарина стала, если и не фавориткой, то во всяком случае другом государя, который, продолжал ее осыпать своими милостями. Маленькие ссоры, правда не отсутствовали в этой идиллии, но в общем они отлично ладили между собою.

210

Екатерина Федоровна Барятинская (1769–1849) замужем за князем Василием Васильевичем Долгоруковым.

211

Федор Сергеевич Барятинский, обер-гофмаршал, участник государственного переворота Екатерины II.

212

Граф Федор ошибается. В 1799 г. в России существовал лишь один университет — Московский.

213

См. *Abbe Georges, Memoires,* т. VI, стр. 126.

Настоящий титул его был: «первоприсутствующий в коллегии иностранных дел».

215

Никита Петрович Панин (1771–1837) — сначала был послом в Берлине, а затем вице-председателем коллегии иностранных дел и вице-канцлером.

Причины немилости Ростопчина были совсем иные. (См. *Шильдер. Император Павел I,* стр. 480 и сл.).

217

Граф Федор встречался с королем у его сестры, принцессы Амалии, удостаивавшей своею дружбою графиню Камеке, урожденную Головкину.

218

Перигэ — главный город департамента Дордон в юго-западной Франции. Приготовляемые там паштеты напоминали Страсбургские пироги и пользовались в XVII столетии большою известностью. (*Прим. перев.)*.

219

Герцогиня Кингстон (1720–1788), по первому браку графиня Бристоль, прославилась в свое время скандальным бракоразводным процессом и впоследствии была осуждена за двумужество. (*Прим. перев.)*.

1737–1808.

221

Однажды он находился в многочисленном обществе в великолепном Летнем дворце, сооруженном графом Безбородко на берегах Невы. Сели за вист и партнером Роджерсона был сам граф. Этому веселому хохлу пришла в голову оригинальная мысль: каждый раз, когда у доктора был ренонс, он велел стрелять из пушки. Шотландец очень удивился, а потом рассердился и, будучи очень раздражителен, чуть не подрался со своим партнером.

222

Граф Николай Иванович Салтыков (1736–1816). Поручив главный надзор за воспитанием великих князей Александра и Константина Павловичей Николаю Ивановичу Салтыкову, Екатерина II отняла одной рукой то, что она им дала другой, выбрав воспитателем своих внуков Фридриха Цезаря де Лагарп. Салтыков виноват в выборе порочных людей, приставленных к великим князьям и противодействовавшим благотворному влиянию Лагарпа.

223

Наталья Владимировна (1737–1812).

224

Граф Николай Александрович Толстой, обер-гофмейстер Высочайшего Двора (1761–1816).

225

Светлейший князь Александр Николаевич Салтыков женился на Наталии Юрьевне Головкиной, дочери графа Юрия Александровича Головкина, двоюродного брата графа Федора.

226

После Тильзитского мира.

227

Тот, у кого не хватило бы терпения дочитать до конца фундаментальный труд князя Васильчикова «Семейство Разумовских» (5 томов), найдет в краткой заметке графа Федора существенную пользу. Правду сказать, члены этого семейства, так много стоившего России и так мало работавшего для нее, заслуживают скорее забвения. Но, в связи с потомством казака Разума, находится одно интересное обстоятельство генеалогического свойства. Николай Иванович Перовский, побочный сын министра народного просвещения при Александре I, Алексея Кирилловича Разумовского, был дедом известной Софии Перовской, вдохновительницы нигилистического заговора, закончившегося покушением 1-го марта 1881 г. Нижеследующая таблица показывает родство Софии Перовской с Алексеем Разумовским, морганатическим супругом императрицы Елисаветы: // Казак Разум // Алексей Разумовский (Морганатический супруг императрицы Елисаветы, гетман казаков), // Кирилла Разумовский, // Алексей Кириллович Разумовский (Министр народного просвещения (1748–1822)), // Николай Иванович Перовский (Таврический губернатор, ум. 1858.), // Лев Николаевич Перовский (ум. 1890) // София Перовская (повешена 2 апреля 1881 г).

Он вторым браком женился на баронессе Шенк фон Кастель в то время, когда его первая жена, урожденная баронесса Мальзен, была еще жива. Его второй брак не был признан законным в России.

229

Она постриглась в монахини под именем Агнии.

Ее муж, граф Апраксин, обвинялся в двоеженстве. Он увез Елисавету Кирилловну Разумовскую и женился на ней, хотя он уже был женат на Анне Павловне Ягужинской. Подобно г-же Васильчиковой, и графиня Апраксина удалилась в монастырь, где она скончалась в 1813 году.

231

Граф Федор, говоря о Кобенцле, имел осторожность не заимствовать черты его биографии из «Секретных воспоминаний» Масона. Поэтому приводимые им анекдоты вполне удачно дополняют портрет, нарисованный Масоном.

232

Иммануил-Иоанн-Непомук Зедделер, Тосканский посланник при Русском Дворе, был сыном барона Людовика Ивановича Зедделера, поступившего на русскую службу и принявшего русское подданство. Это предок целого семейства военных, отличившихся в войнах, которые Россия вела в XIX веке.

233

Виктор дю Блед в своем очерке о князе де Линь (Revue des Deux Mondes от 1 апреля 1889 г.) приводит отзыв графа Головкина, который ему был сообщен частным путем.

234

На Каленберге.

235

На французском языке здесь выходит игра слов, которая не может быть передана в переводе: «il y etait sans *connaissance*» — значит: он был там (т. е. в Академии наук) «без чувств» и то же «без знаний». (*Прим. перев.)*

236

Тоже игра слов, которая по-русски не совсем выходит: «Je ne veux que leur *bien»*, — значит, я желаю только их блага, в смысле их пользы, и может тоже значить их блага, или добра в смысле имущества. *(Прим. перев.)*.

1766–1822.

238

Словацкий, знаменитый польский поэт, умерший в Париже в 1840 г., посвятил поэму истории последних лет ее жизни, причем он в предисловии чуть ли не извиняется, что касается столь деликатного предмета. См. *Валишевский «Вокруг трона»,* стр. 152.

239

Мари-Габриель-Флоран-Огюст граф де Шуазель Бопре (1752–1817) принял фамилию Шуазель-Гуффье после женитьбы на последней из рода Гуффье. Вторым браком он был женат на княжне Елене де Боффрмон. Его старший сын Антуан-Луи-Октав (1773–1840), пер Франции и российский камергер, первым браком был женат на Потоцкой, а после ее смерти вторично женился на урожденной Тизенгаус, написавшей впоследствии «Воспоминания об императоре Александре». Ее сыновья были уже русские подданные.

240

Князь Франциск Ксаверий Любомирский, генерал-лейтенант на русской службе, кавалер орденов Св. Анны и Св. Губерта баварского, приходился графу Федору свойственником, так как он третьим браком, был женат на Марье Львовне Нарышкиной, сестре Екатерины Львовны, вышедшей замуж за Юрия Головкина, двоюродного брата графа Федора.

Эти пять племянниц князя Потемкина, перечисленные графом Федором, происходили от брака его сестры Елены с Василием Андреевичем Энгельгардтом. Шестая племянница была замужем за тайным советником Михаилом Жуковы.

242

Граф Федор молодится; он родился в 1766 г., так что ему тогда, в 1794 г., было уже двадцать восемь лет от роду.

243

Этот финляндский швед оказал России хорошие услуги. Максим Максимович Алопеус (1748–1822) был с 1790 и 1796 г., (а потом еще раз с 1802–1808), послом в Берлине. Возведенный в 1819 г. в баронское достоинство Финляндии и в 1820 в польское графское достоинство он, согласно описанию графа Федора, «имел внешность выскочки из мужиков и отличался более тонкостью и хитростью, чем умом. Знания его ограничивались канцелярским формализмом и не проникали в глубь политики».

Маркиз *Арагон* в своей книге *«Принц Нассау-Зигенский»* ничего не упоминает об этой миссии, но приводит в выдержках письмо принца, адресованное его жене из Берлина от 6-го декабря 1794 г.

245

Иллюминаты — протестантская секта, распространенная в XVIII столетии главным образом среди высших классов общества. *(Прим. перев.)*

Франц II, император Священной Римской Империи германской нации, а с 1801 г. Франц I император австрийский. (*Прим. перев.)*

247

Урожденной Комон-Ляфорс (1753–1842). Граф Воронцов, который ее видел в Англии, называет ее «нахальной интриганкой» (Архив кн. Воронцова, т. IX, стр. 310).

248

Зоя-Катон, графиня ди Кэйля (1784–1850), см. книгу, которую написал о ней Капфиг (1866 г.).

249

Мария Каролина, Неаполитанская королева (1752–1814), дочь Марии Терезии, Австрийской императрицы, и сестра Марии Антуанетты, королевы Франции.

250

См. *Gorani* т. 1 стр. 218.

251

Это намек на те несчастные куплеты, которые погубили его дипломатическую карьеру.

Она вышла замуж за императора Франца II, (впоследствии Франца I, императора австрийского).

253

Когда шведский король его спросил, женат ли генерал Актон (фаворит королевы), Фердинанд ему ответил, что нет, но что он любит жен своих друзей, и при этом засмеялся… Иногда он говорил, что королевская корона делает более заметными рога, украшающие чела королей, но что лучше смотреть сквозь пальцы на поведение королев, чем доводить дело до скандала, компрометирующего достоинство трона См. *Gorani «Memoires secrets».*

254

По поводу Фердинанда и Каролины Неаполитанских см. также: «Souvenirs de la baronne du Montet (Париж у Plon); стр. 98, 109, 245 и 250.

255

Английский живописец Ромней увековечил эти позы в замечательной серии картин.

256

Барон Петр Алексеевич фон дер Пален (1745–1826) был в то время генерал-губернатором Курляндии, Лифляндии, Эстляндии; позднее Павлом I возведен в графы, был его фаворитом и, в то же время, главою заговора, положившего конец царствованию и жизни этого государя.

257

Христофор Иванович Бенкендорф, отец знаменитого шефа жандармов.

Состоял впоследствии министром по делам Мальтийского ордена и в 1800–1801 г. был посланником в Вене.

259

1733–1808.

260

Наталия Петровна, урожденная Измайлова (1769–1849). В письме графа Федора от 3 июня 1809 г. из Монталлегре (Париж) мы читаем: «Романы так и сыпались; один из них был написан моею женою *«Alphonse de Lodeve»*; но как все это бедно и скучно! Вот, по крайней мере то что мне рассказывают, ибо я сам остерегаюсь проливать слезы в этом лабиринте». Это не единственный роман, который г-жа Головкина имеет на своей совести. Она еще публиковала повесть «*Елисавета С… история одной русской»*, изданную одной из ее соотечественниц в 1802 г. в Париже.

261

Императрица Елисавета Алексеевна (1776–1826) была третьей дочерью маркграфа Карла-Людовика Баденского. В 1793 г. она вышла замуж за великого князя Александра Павловича. Она занимает место в коллекции 39 портретов, нарисованных Луи де Сент-Обэном и изданных в фототипических воспроизведениях Его Императорским Высочеством великим князем Николаем Михайловичем.

262

См. по этому поводу главу V в *«Мемуарах графини Головиной».* (Изд. «Сфинкс», 1912 г.).

263

См. по этому поводу *Мемуары графини Головиной,* глава IX (Изд. «Сфинкс» 1911 г.).

Петр Степанович Валуев. Семейство Валуевых впоследствии дало России замечательного человека, бывшего министра внутренних дел при Императоре Александре II.

Входящей ныне в состав Прирейнской провинции (Пруссия).

Это был Максимилиан-Юрий-Карп, граф Нессельроде (1724–1810), отец знаменитого министра.

Она была гугенотского происхождения. *Кн. Долгорукова (Российская родословная книга* т. III стр. 203), приписывает Гонтарам еврейское происхождение.

268

Это был будущий министр иностранных дел и государственный канцлер Российской Империи; он родился в 1780 г. и умер в 1862 г. о нем рассказывают что Наполеон I, во время парадного обеда, сказал: «Вот маленький человек, из которого выйдет великий человек».

269

Канцлер граф Нессельроде неоднократно упоминает в переписке, опубликованной недавно его внуком (Париж, 1904 г., два тома) о дружеских отношениях, существовавших между ним и графом Федором; впрочем, долг благодарности к Головкину его, кажется, не особенно озабочивал.

Гурьев, не менее как Нессельроде, обессмертил себя по части высшей гастрономии. В то время, как зять изобретал пудинг и мороженое «a la Nesselrode», тесть обогатил московское кулинарное искусство гастрономическим шедевром, известным до сих пор под названием «гурьевской каши». Она состоит из составных частей, для переваривания которых надо иметь русский желудок (!).

271

Граф Фаллу в своей книге о *г-же Свичиной* дает весьма симпатичную характеристику г-же Нессельроде, подруге его героини.

В «Семействе Разумовских» князя Васильчикова, III т., стр. 441, находится рассказ о происхождении семейства д'Анштетт, который мы приводим здесь для сравнения: «Иван Осипович Анштетт, родом из Страсбурга, был человек замечательного ума, хотя немного циничен. В 1789 г. он поступил на русскую службу в чине офицера и был определен на галерный флот, находившийся под начальством принца Нассау-Зигенского. После шведской войны он был переведен на дипломатическую службу, оставаясь при этом под начальством принца Нассау-Зигенского. Ему поручили тайные переговоры в Берлине и в Польше. В 1801 г. он был назначен советником посольства в Вене. Разумовский оценил его блестящие способности. В Вене Анштетт сумел сблизиться со всеми выдающимися людьми. Он подружился с Поццо ди Борго и с Гентцом и способствовал вероятно сближению посла с этими политическими метеорами. Анштетт принадлежал к числу тех космополитических дипломатов, которых тогда было так много и которых добродушная Россия принимала с распростертыми объятиями. Не подлежит, впрочем, сомнению, что Анштетт, благодаря своему уму и своим широким знаниям, сильно отличался от массы других авантюристов, которым поручали, со столь характерной для нашей родины беспечностью, самые важные дипломатические секреты». Анштетт впоследствии был вознагражден за оказанные им услуги местом русского посланника во Франкфурте-на-Майне.

Например, на Венском конгрессе.

Семейство Меттерних происходит из области Нижнего Рейна.

Из этих «инструкций» впоследствии вышла характеристика, данная графом Федором о короле Фридриха Вильгельме III (см. выше).

Они снова встретились лишь в 1817 г. во Флоренции. Когда Меттерних впервые увидал Головкина в столице Тосканы, он вскрикнул, бросился в его объятия и остался некоторое время в таком положении, под влиянием сильнейшего волнения. «Зная, что я провожу вечера у г-жи д'Альбани, — рассказывает граф Федор, — он в этот же день представился ей. Он вошел, присел на один момент с хозяйкой, а затем, со словами: «Надо мне поухаживать за графом Головкиным» вышел из ее круга, сел рядом с моим креслом и больше не вставал со своего места в течение всего вечера. Столь теплая и явная дружба озадачила дипломатический корпус и министерство Тосканы. Я сделался предметом общего внимания. Так как Меттерних никогда не упускал титуловать меня в обществе превосходительным, то ко мне стали применять и внешние формы глубокого почтения, так что моя роль мне скоро опротивела до крайности». // Впечатление Головкина, что Меттерних играет с ним комедию, не изгладилось также после великолепного приема, оказанного ему со стороны князя Меттерниха во время его двухнедельного пребывания на водах в Лукке. И это впечатление подтвердилось злою шуткой, которую сыграл с ним его приятель, когда он его представил Двору, весьма щепетильному в вопросах этикета, в дорожном костюме: «в серой шляпе, белом жилете и легких нанковых панталонах» (см. ниже «Ливорнские празднества»).

Эти впечатления графа Федора об императрице Марии Луизе относятся к 1817 году, когда он встретил ее в Ливорно, на палубе корабля, который должен был везти в Бразилию ее сестру Леопольдину (супругу Дона Педро, наследного принца Бразилии). Несколько дней спустя он опять встретился с императрицей на водах в Лукке.

Дочери Людовика XV. Головкин выдает за факт слух, о котором часто упоминалось, но который все же остался гипотезой.

Приблизительно то же самое, что старший председатель судебной палаты. *(Прим. перев.)*

280

Это швед по всей вероятности был некто Риббинг. См. письмо госпожи Сталь Мейстеру от 17 мая 1744 г. *(Lettres inedites* стр. 113).

281

Луиза графиня д’Альбани (1753–1824), урожденная княжна Штольберг-Гедерн, была вдовой претендента на английский престол Карла Стюарта (1788) и подругой поэта Альфьери.

«Ave Maria» и «Angelus» — у католиков молитвы к Богородице. *(Прим. перев.)*

283

Жан-Габриэль Эйнар (1775–1863), женевский банкир, употребил свое влияние и свое огромное состояние на помощь грекам в их борьбе за независимость. Он был избран национальным собранием представителем Греции при всех дворянах Европы. Впоследствии он жил в Женеве и в Больё.

284

Ла Мэзанфор, который раньше жил в России. Он известен своей «Одой» (к русским) (С.-Петербург 1842 г.) и сочинением «Tableau politique de l’Europe» (Лейпциг 1813 г.)

285

Один цехин (золотая монета) равняется 3 рублям серебром. *(Прим. перев.)*

286

Александр Львович Нарышкин (1760–1826) сын Льва Нарышкина, развлекавшего великую Екатерину своими каламбурами; его брат, обер-егермейстер Дмитрий Львович женился на прелестной Марии Антоновне Четвертинской, знаменитой вниманием, которое ей расточал Александр I, Их сестра Наталия Львовна была супругой Юрия Головкина, двоюродного брата графа Федора.

287

Анна Ивановна, урожденная княжна Барятинская; ее прабабка, графиня Наталья Гавриловна Головкина, была сестрой деда графа Федора.

288

Обер-гофмаршал граф Николай Александрович Толстой (1761–1816).

«Он был прусским посланником в Париже, когда восходила звезда Бонапарта, и погубил себя с самого начала удивительной неловкостью, состоявшей в том, что к Бонапарту, во время аудиенции, обратился на итальянском языке. Этот человек, который был готов все отдать, чтобы быть французом, счел себя оскорбленным, и сколько потом стоило унижений, чтобы ослабить этот недостаток такта, который он никогда не мог забыть! В то время Луккезани в компании с Таллейраном и Марковым набрал сокровища. Несчастные немецкие князья приезжали в Париж, опасаясь потерять остаток их владений. После того как они устраивали свои дела с Таллейраном, последний посылал их к Маркову, а Марков, покончив с ними торг, направлял их к Луккезани. Наконец, Бонапарту представился случай удовлетворить свою ненависть. Он послал прусскому посланнику к подписи договор, от которого последний отказался с негодованием. Тогда он показал ему доказательства, что его жена стащила у герцога Корсуэрен бриллианты и предоставил ему выбор или подписать договор, или же быть, вместе с женою, отправленным до границы как воры. Несчастный подписал и выехал на курьерских лошадях в Берлин, чтобы покаяться в своем жалком поступке, что его и погубило (Примечание графа Федора).

290

Генерал Николай Федорович Хитрово, женатый на дочери знаменитого фельдмаршала Кутузова.

291

Граф Тизенгаузен был убит в сражении под Аустерлицем.

Он еще во время Консульства приезжал в Париж, чтобы выбирать артистов.

293

Знаменитые трагические артистки.

294

Елена Александровна Нарышкина в 1800 году вышла замуж за князя Аркадия Александровича Суворова (1750–1811), единственного сына знаменитого фельдмаршала. Ее муж утонул, когда переправлялся вплавь через Рымник, реку, на берегах которой его отец одержал славную победу, увековеченную в его титуле.

295

Сергей Михайлович Лунин, московский богач, сын которого впоследствии был замешан в военный бунт декабристов, в то время находился со своим семейством во Флоренции.

296

Итальянский композитор 18-го столетия (1741–1816), сочинивший первую оперу на эту тему. — «Севильский Цирюльник» Россини впервые был сыгран в Риме в 1816 г. По-видимому, граф Федор говорит здесь именно об этой новой опере Россини, которая в ноябре 1816 г. уже могла дойти до Флоренции.

Он умер в 1825 г., в Петербурге, скоро после своей матери, которая похоронена на кладбище под Мон-Валерьеном, близ Парижа

298

Марья Алексеевна Нарышкина, урожд. Сенявина (1769–1822)

299

Григорий Иванович Гагарин (1782–1837), посланник в Риме (1828–1833) и в Мюнхене (1833) Григорий Иванович Гагарин (1782–1837), посланник в Риме (1828–1833) и в Мюнхене (1833–1837).

300

Екатерина Петровна Гагарина, урожд. Соймонова, сестра Софьи Свечиной, перешедшей в католицизм, автора «Христианских Мыслей». Ее племянник Иван Сергеевич Гагарин (патер Гагарин) родился в Москве в 1814 г., сделался в 1843 г. иезуитом и умер в Париже в 1882.

301

Екатерина Николаевна Толстая (1789–1870) вышла замуж за Константина Ксаверьевича Любомирского.

302

168 паоли равняется 90 франкам.

303

200 паоли равняется 107 франкам.

Фридрих I, по милости Наполеона I, король Виртемберский

305

Юрий Головкин, русский посланник в Штутгарте.

306

Екатерина Павловна, сестра Александра I и супруга Вильгельма, короля Виртембергского (1816–1864).

307

См. ниже в отделе *переписка Головкина* письма графа Каподистрия.

308

Виктор Павлович Кочубей, возведенный впоследствии в княжеское достоинство.

309

Здесь, вероятно, идет речь о министр финансов и его сыне.

Хитрово скоро после того (в 1819 г.) умер.

311

Аркадий Иванович Марков (он же Морков) был послом в Париже с 1801 по 1803 г., где имел дочь от связи с г-жей Гюс, Варвару Аркадьевну, вышедшую замуж за князя Сергея Яковлевича Голицына. Узаконенная указом императора Александра I, она унаследовала графский титул и состояние своего отца.

312

Александр Аркадьевич Суворов (1804–1882) был один из самых лучших русских людей прошлого столетия. Этот прекрасный человек оставил в Прибалтийских губерниях память справедливого и просвещенного правителя. Будучи с 1861 по 1863 г. генерал-губернатором С.-Петербурга, он действовал наперекор страшному Муравьеву, Виленскому диктатору.

313

Гофвиль — знаменитое в свое время учебное и воспитательное заведение в Швейцарии — в кантоне Берн. См. ниже переписку с графом Каподистрия, письмо № 3.

314

Фелленберг был тогда директором учебного заведения в Гофвиле.

315

Тетя графа Федора, Екатерина Александровна Головкина, урожденная Шувалова (1733–1821), и ее сын граф Алексей Гаврилович, известный коллекционер, скончавшийся в 1823 г.

316

Это намек на неудачу графа Юрия Александровича Головкина в своей китайской экспедиции в 1805 году.

317

Граф Петр Гаврилович Головкин, обер-егермейстер, был женат на Софье Александровне Демидовой.

318

Здесь идет речь о свадьбе великого князя Николая Павловича, брата Александра I, с принцессой Шарлотой прусской, которая была отпразднована 1/13 июля 1817 г.

319

Головкин, как и многие другие, в данном случае был введен в заблуждение очень ловкой подделкой женевского писателя Люббен ду Шатовье (1772–1842) под названием «*Рукопись полученная неизвестным путем с острова Св. Елены»,* Женева 1817 г. Это сочинение, между прочим, приписывали Банжамену Констану, а затем г-же Сталь. Завеса анонимного писателя была приподнята гораздо позже, после выхода этого сочинения.

320

Шевалье О'Ара (O'Hara) проживал в Петербурге в течение последних годов восемнадцатого столетия. Будучи эмигрантом и не имея никаких средств, он благодаря графу Шуазель-Гуффье, получил место в императорской публичной библиотеке. Графиня Головина, у которой он в Петербурге бывал запросто, отзывается о нем в своих «мемуарах» только с хорошей стороны. См. *Keonce Pingand «Lrs Francias eu Russie»* стр. 311–313, где имеются о нем некоторые подробности.

321

В то время, когда Головкин писал это письмо, Савари (герцог Ровиго) переехал из Смирны в Австрию. При бегстве с острова Мальты у него не оставалось другого выбора, как искать защиты на турецкой территории. В Италии он не чувствовал себя в безопасности, а во Франции он был приговорен к смерти.

322

Сантини был камерфурьером при императоре Наполеоне I. Англичане его прогнали с острова Св. Елены, куда он последовал за Наполеоном. О приключениях Сантини, по возвращении его в Европу, на послесловие из «*Memorial de Sainte-Helene». Лас Казаса.* (Брюссельское издание, 1824 г.).

323

Г-жа Реньо де Сен-Жан д'Анжели, урожденная Боннель. Ее муж, статс-секретарь императорской фамилии, был изгнан приказом от 17 января 1816 г. и должен был скоро после того бежать в Америку. В «*Мемуарах*» генерала Тьебо находятся несколько страниц, оправдывающих название ее «негодяйкой».

324

См. письмо от 16 октября 1816 г.

325

Т. Риччи.

326

Каролина принцесса Брауншвейгская (1768–1821) вышла замуж за наследника английского престола, впоследствии короля Георгия IV.

327

Князь мира — Prince de la Paix — так звали известного Годой, первого министра в Италии при короле Карле IV (1788–1808) и любимца королевы *(Прим. перев.)*

328

Тут подразумевается постель в карете, какие устраивались в те времена в дормезах.

329

Иосиф Соломон Бартольди был известен в Риме, как меценат художников. Знаменитый композитор Феликс Мендельсон-Бартольди был его племянником.

330

Прежде чем покинуть Флоренцию, граф Феодор по приглашению князя Меттерниха, отправился в Ливорно, чтобы присутствовать там на празднествах, устроенных по поводу бракосочетания дон Педро, наследного принца Бразилии с Леопольдиной Эрцгерцогиней Австрийской (1817 г.).

331

Бывшей императрицы и супруги Наполеона I.

332

См. по поводу эрцгерцогини Леопольдины: *«Воспоминания баронессы дю-Монтэ»,* глава об Императрице Бразильской (Париж, Ппон).

333

Граф Фридрих (Федор Евстафьевич) Ангальт, дальний родственник императрицы Екатерины II, урожденной принцессы Ангальт-Цербской, род. 1732, умер 1794 г. Он приобрел особую известность, как директор сухопутного шляхетного корпуса, своим гуманным взглядом на воспитание и любовью к детям. Желчный и насмешливый, гр. Ф. Г. Головкин отмечает в «Записках» своих преимущественно отрицательные свойства Ангальта. В истории шляхетного корпуса время управления гр. Ангальта было золотым веком.

Он был сын наследного принца Ангальт-Дессауского Вильгельма-Густава от морганатического брака с дочерью пивовара Герре (Herre).

335

Принц Нассау-Зиген, Карл-Генрих-Николай-Оттон (р. 1743–1808 г.), адмирал, приглашенный на русскую службу Императрицей Екатериной II, прославился своими действиями против турецкого флота, как сподвижник Потемкина, при осаде Очакова. Вызванный в Петербург для начальствования гребным флотом в войне Дании со шведами, принц Нассау-Зиген сначала имел успех в борьбе со шведским флотом, но вслед затем, по собственной неосторожности потерпел поражение при Свекзунде в самом конце войны, закончившейся Верельским миром. После этого Нассау-Зиген оставил Россию.

Шарлотта Гоудзка по *биографири Дидо.* — Гримм называет ее также Годска и очень хвалит ее, см. «*Сборник Имп. Русск. Ист. Общ.*» Т. XLIV,157.

337

Александр-Генрих де Шовиньи де Бло род. 11 января 1751 г., посвящен в епископы Ломбеца (Гер) 30 марта 1788 г.

338

Это было после установления во Франции империи Наполеона.

Анстет, Ив. Осип. Д.т. с. — 1835 г. Он вступил в русскую службу в 1789 г. и в этом же году был под начальством принца Нассау-Зигенского.

340

Это произошло во время поездки Императора Александра в Англию в 1815 году.

341

Сильный юго-восточный ветер, свирепствующий в Средиземном и Адриатическом морях.

342

Графиня Потоцкая, урожденная графиня Минзех (1752–1798), была известна своими остроумными разговорами, в которых она не всегда соблюдала должную меру приличия. В своей стране она принадлежала к русской партии, поэтому пользовалась милостью Екатерины II. Из ее многочисленных детей «произведений лет и досуга» как она выразилась перед Головкиным, некоторые вступили в брачные союзы со знаменитыми русскими родами. Ее дочь Викторина вышла замуж за графа Октавия Шуазель-Гуффье, пера Франции. Когда он в 1798 г. скончалась, ее муж, граф Феликс Станислав Потоцкий (1752–1805) скоро утешился, женившись на «прекрасной Фанариотке» (г-же де Витте, см. выше статью о ней).

343

Непереводимый на русский язык французский каламбур: «Vos beautes cleopatriques mynt marc-antonifie»

344

Намек на три лилии в гербе Бурбонов и розу в гербе графов Водрель.

345

Граф Валентин Эстергази (1787–1838). Его сын Валентин (родившийся в 1814 г.) был в середине последнего столетия австрийским послом; его брат Владислав унаследовал Волынские имения, которые Екатерина II подарила его отцу, и принял русское подданство.

Царедворцы в своих колкостях обыкновенно прицеливаются к людям более достойным и серьезным, чем они сами. Среди фаворитов Екатерины II Ермолов был единственный, старавшийся просветить себя. Тальбиг, несомненно, очень строгий судья, в своем сочинении: «Russische Gunstlinge» не перестает хвалить его за его прекрасные качества и, в особенности выставляет его стремление к умственному развитию. Долгоруков говорит, что «он поселился в Австрии и умер в 1836 г. 82-х лет от роду, в своем поместье Фросдорфе, ставшем впоследствии известным как резиденция графа Шамбора.

347

Граф Федор, которому г-жа Сталь рассказала этот эпизод, вероятно, во время их встречи в Вене, в 1806 г., по ошибке перенес место ее свидания с Наполеоном в Милане, где ни г-жа Сталь, ни Люсьен Бонапарт не встречались с Наполеоном. Но в общем подтверждает этот «грубейший в свете вопрос», с которым, как сознается сама г-жа Сталь (см. ее «Dix annies d'exil» новое издание Поля Готье стр. 45–46), Наполеон обратился к ней, в 1800 г., в Париже, у генерала Бертье, где она в последний раз виделась со своим непримиримым врагом. (См. также статью «Leonce Pingaud» г-жа Сталь и герцог Ровиго в «Revuw de Paris» от 1 декабря 1903 г.).

348

По-французски здесь непереводимая игра слов: «Sans doute, vous faites lámour?» — «Votre Majeste me pardonnera, je láchete tout fait». (*Прим. перев.)*

Каролины, урожденной принцессы Брауншвейгской.

В данном случае «рога» были бы намеком на неверность бывшей супруги короля. *(Прим. перев.)*

351

Анна-Жозеф-Ипполит граф Морес де Малярси (1730–1800) пробыл всю свою жизнь в колониях и, после того как он сражался рядом с Монкальмом в Канаде, защищал с успехом, во время Революции, остров иль-де-Франс против нападений англичан.

352

Этот же самый анекдот был рассказан полковнику Фридриху фон Гагерну во время его пребывания при дворе Николая I (1839 г.) (см. *Дневник* его поездки в Россию в 1839 г. в его «Посмертных Сочинениях»).

353

Граф Иван Евстафьевич Ферзен.

354

В сражении при Манеевицах.

355

Иоган Густав родился в 1725 г., умер генерал-лейтенантом на саксонской службе.

356

Карл Иванович 1733–1808 г.

Урожденная Воронцова, автор *«Мемуаров»*

358

Тут на французском языке непередаваемая по-русски игра слов: «Jávez vous assez consideree» — «Je ne vous considere nullement, je vous regarde». *«Considerer»* по-французски значит «смотреть» и в то же время «уверить». *(Прим. перев.)*

359

По первому браку княгиня Сангушко, урожденная Шарлотта Гозьдска, была вторым браком замужем за принцем Карлом Отоном Нассау-Зигенским, известным «Кондоттьери», скончавшимся в 1809 г.

360

Намек на распространенный о нем современниками слух и на мнение, приписывающее права отца на его сына и наследника, Густава IV, офицеру Мунху.

Бенжамен Констан и Проспер де Борант.

362

Сен-Жан называется прибрежная часть холма, господствующего над Женевой с северо-востока, где Бонапарт решил соорудить укрепления. Находящийся на этом холме более на виду дом, которому Вольтер присвоил ничем неоправдываемое название «Les Delicese (отрада) перешел в собственность семейства Пероншен. Другой дом, поближе к Женеве, принадлежащий семейству Констан называется, как и весь холм, Сен-Жан и пользуется известностью другого рода, привлекающей иностранцев, а именно прелестным видом. Третий дом, находящийся в глубине, на берегу Роны, тоже имеет свою прелесть и называется «Сен Жан под горой» (Saint Jean sous Terre) (Примечание графа Федора к «*письмам собранным в Швейцарии»)*.

Эти симпатии не были взаимны. «Коппеская комедиантка» — эпитет, встречающийся часто в интимных письмам графа Федора. В «собранных письмах» он ее характеризует как женщину, блестящая репутация которой обходилась без старинных обычаев и строгих принципов.

364

Граф Фрис был банкир из Вены. Ему принадлежал красивый дом «Ля-Шаблиер», расположенный в полумиле от Лозанны, близ дороги в Эшапане.

365

Супруга графа Наталия Петровна Головкина, урожденная Измайлова.

366

Знаменитый французский трагик, умер в 1826 г. *(Прим. перев.)*

367

Роман, написанный графиней Головкиной.

368

Дамиен совершил в 1757 г. покушение на жизнь короля Людовика XV и был за это подвергнут казни: растерзанию лошадьми. *(Прим. перев.)*

Здесь, должно быть, ошибка в подлиннике. Один турский ливр почти равняется теперешнего франку, и поэтому рубль никогда не мог равняться ни 66, ни 45 ливрам (может быть 6,6 ил 4,5?). *(Прим. перев.)*

Лица из романа Вольтера «Кандид». *(Прим. перев.)*

371

Маркиз Станислав де Буффлер (1737–1815).

Дача графа Федора близ Парижа. *(Прим. перев.)*

373

Намек на роман графа Федор «Принцесса Амальфи».

374

Это письмо написано после публикации ее романа «Евгения и Матильда» в 1811 г.

375

Граф Карл Флао (Flahaut) 1785–1870 г.

376

Вдова одного разбогатевшего торговца редкостями.

377

В 1812 г. императрица Жозефина купила за 300 000 франков выстроенный из кирпича и камня замок, расположенный по шоссе в Марли и названный «Шоссейным замком», но оставила пожизненное пользование им владелице; по ее смерти, однако, ничего еще не было уплачено (Frederic Masson. Josephine repudiee» стр. 388).

В этот критический момент граф Каподистрия находился, в качестве полномочного посланника России, при Швейцарском сейме в Цюрихе.

Впоследствии австрийский посол в Петербурге.

380

Намек на так называемую «Консульту в Лионе» в 1802 г.

Эти чувства нашли себе оценку в Швейцарии, и город Лозанна поднес графу Каподития почетное гражданство.

«Frankreich und die Bourbons, im Jahre 1814» des in Lausanne privatisirenden russischen Grafen von Golovkin: Considerations sur la constitution morale de la Franse Geneve chez Pachoud 1815, von Possell (Europaeische Annalen). (Франция и Бурбоны в 1814 г. — из сочинения проживающего в Лозанне русского графа Головкина: «Рассуждения по поводу нравственного состояния Франции», Женева, у Пашу 1815 статья Поссельта в Европейских Анналах). // Вот место, которое, по всей вероятности, вменили в вину Головкину: // «Первым результатом победоносного союза было установление публичного права, которое даже самое взвинченное воображение могло лишь с трудом понять, которое должно было окончательно уничтожить нравственность и религию и которым восхищались всего только несколько дней наиболее заинтересованные в нем лица… Победоносные государи захотели посоветоваться с побежденными народами по поводу образа правления, который им больше всего подошел бы… Они не предвидели, что подобною санкцией мятежа и преступления в лоне иностранного народа они выдавали вольную революцию в собственной стране… Казалось еще менее правдоподобным, чтобы они могли унизить себя до такого безнравственного поступка, как предложение трона генералу или счастливому авантюристу, как Бернадотт, существование которого есть не что иное, как прискорбный памятник их прежней снисходительности.»

383

В бумагах графа Федора нашелся черновик его ответа графу Каподистрия, состоящий в следующем: // Ваше Сиятельство, // «Так как я вызвал неодобрение Его Величества Государя Императора, я сожалею, что причинил неприятность тому, которого Вы называете Шведским королевским принцем. Но на что он жалуется? Разве мое имя связано с сочинением, которое составило бы мою гордость, в виду защищаемых им принципов и смелости, с которой автор их защищает? И если он так интересуется тем, что я говорю и делаю, то как же он не знает сколько времени я уже отстранен от дел и какое расстояние меня от них отделяет? Пусть он успокоится. Когда представится случай вступиться за интересного молодого человека, племянника моего всемилостивейшего Государя, то защита его интересов наверно не будет поручена мне. // Я остаюсь и пр. // По-видимому это то же самое письмо, вариант которого граф Федор приводит в своем письме от 24 ноября 1816 г. к своей кузине г-же Местраль д'Аррюфан. (См. выше).

384

В этом письме идет речь о двух маленьких князьях Суворовых, Александре и Константине Аркадьевичах, внуках фельдмаршала, которые граф Федор застал во Флоренции предоставленных попечению их матери, особе слишком легкомысленной, чтобы наблюдать за развитием внуков героя. «Я испросил разрешения императора Александра и получил его иметь за ними наблюдение в самых решительный момент их жизни», — пишет граф Федор. Прибавим со своей стороны, что Александр Аркадьевич сделал честь своему покровителю и своим учителям.

385

Елена Александровна урожденная Нарышкина (1785–1855), вышедшая вторично замуж за князя Василия Сергеевича Голицына (1792–1856).

386

Огюст Габриель де Франкто, граф де Коаньи (1740–1817).

387

Герцогиня Флёри, известная под именем Эмэм де Коаньи, которую Андре Шенье обессмертил знаменитыми стихами «La Jeune Captive» («Молодая невольница»), см. о ней вышедшую недавно книгу Этьена Лами.

Непередаваемая по-русски игра слов: «chambre des deputes» и chambre des depites». (*Прим. перев.)*

389

Герцогиня Барри (урожденная принцесса Бурбонская обеих Сицилий), свадьба которой с герцогом Барри (вторым сыном графа Артуа, впоследствии короля Карла X) была отпразднована 17 июня 1816 г.

Здесь намек на демократические тенденции Людовика XVIII, который вначале искал сближения с рабочим классом. Предместье Сент-Антуан — рабочий квартал в Париже. *(Прим. перев.)*

391

Это намек на пребывание графа Федора в замке Вюлльеран, близ Лозанны, владении его родственников де Местраль.